

ИЗВЕСТИЯ

Гомельского государственного университета
имени Ф. Скорины

№ 1 (88)

Гуманитарные науки

2015

Гомельский государственный университет
имени Ф. Скорины

ИЗВЕСТИЯ

Журнал зарегистрирован в Министерстве информа-
ции Республики Беларусь
(свидетельство о регистрации
№ 1/87 от 18.11.2013 года)

Журнал включен ВАК Республики Беларусь
в перечень научных изданий Республики Беларусь,
в которых публикуются результаты
диссертационных исследований
(приказы № 207 от 13.12.2005, № 9 от 15.01.2010,
№ 57 от 16.05.2013)

Журнал включен в библиографические базы данных
ВИНИТИ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор А.В. РОГАЧЁВ, д-р хим.
наук, профессор, член-корр. НАН Беларуси
Зам. главн. редактора О.М. ДЕМИДЕНКО,
д-р тех. наук, профессор
Зам. главн. редактора М.В. СЕЛЬКИН,
д-р физ.-мат. наук, профессор

Члены редакционной коллегии:

Г.Г. Гончаренко, д-р биол. наук, проф.,
чл.-корр. НАН Беларуси
Ф.В. Кадол, д-р пед. наук, проф.
В.Н. Калмыков, д-р филос. наук, проф.
В.И. Коваль, д-р филол. наук, проф.
Г.Г. Лазько, д-р ист. наук, проф.
И.В. Семченко, д-р физ.-мат. наук, проф.
В.С. Смородин, д-р тех. наук, проф.
Б.В. Сорвиров, д-р экон. наук, проф.
В.М. Хомич, д-р юрид. наук, проф.
О.Г. Шляхтова, ответственный секретарь

Члены редакционной коллегии по гуманитарным наукам:

В.А. Дятлов (Украина), д-р ист. наук, проф.
А.И. Зеленков, д-р филос. наук, проф.
Ю.А. Лабынцев (Россия), д-р филол. наук, проф.
А.М. Литвин, д-р ист. наук, проф.
О.А. Макушников, д-р ист. наук, проф.
С.И. Михальченко (Россия), д-р ист. наук, проф.
А.А. Станкевич, д-р филол. наук, проф.
Г.П. Творонович-Севрук (Польша),
д-р филол. наук, проф.
И.Ф. Штейнер, д-р филол. наук, проф.
Я.С. Яскевич, д-р филос. наук, проф.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
246019, Беларусь, Гомель, ул. Советская, 104,
Телефоны: +375 (232) 60-73-82
E-mail: vesti@gsu.by
Интернет-адрес: <http://vesti.gsu.by>

Francisk Scorina Gomel State University

PROCEEDINGS

The Journal is registered in the Ministry of Information of
Republic of Belarus
(registration certificate
number 1/87 dated 18.11.2013)

The Journal is included in the Republic of Belarus
Higher Attestation Commission list of scientific publica-
tions of the Republic of Belarus, which publish the main
results for the degree of Doctor (Candidate) of Sciences
(Order number 207 dated 13.12.2005, number 9 dated
15.01.2010, number 57 dated 16.05.2013)

The Journal is included in bibliographic databases of the
All-Russia Institute of Scientific and
Technical Information (VINITI)

EDITORIAL BOARD

Editor-in-chief A.V. Rogachev, Sc. D, Professor,
Corresponding Member NASB
Deputy editor-in-chief O.M. DEMIDENKO,
Sc. D, Professor
Deputy editor-in-chief M.V. SELKIN,
Sc. D, Professor

Members of editorial board:

G.G. Goncharenko, Sc. D, Professor, Corre-
sponding Member NASB
F. V. Kadol, Sc. D, Professor
V.N. Kalmykov, Sc. D, Professor
V.I. Koval, Sc. D, Professor
G.G. Lazko, Sc. D, Professor
I.V. Semchenko, Sc. D, Professor
V.S. Smorodin, Sc. D, Professor
B.V. Sorvirov, Sc. D, Professor
V.M. Homich, Sc. D, Professor
O.G. Shlyahova, executive secretary

Members of editorial board for the humanities:

V.A. Diatlov (Ukraine), Sc. D, Professor
A.I. Zelenkov, Sc. D, Professor
Y.A. Labyntsev (Russia), Sc. D, Professor
A.M. Litvin, Sc. D, Professor
O.A. Makushnikov, Sc. D, Professor
S.I. Mihalchenko (Russia), Sc. D, Professor
A.A. Stankevich, Sc. D, Professor
G.P. Tvoronovich-Sevruk (Poland),
Sc. D, Professor
I.F. Shteiner, Sc. D, Professor
Y.S. Yaskevich, Sc. D, Professor

EDITORIAL OFFICE ADDRESS:
246019, Belarus, Gomel, Sovetskaya Str., 104,
Tel: +375 (232) 60-73-82
E-mail: vesti@gsu.by
Site: <http://vesti.gsu.by>

ИЗВЕСТИЯ

Гомельского государственного университета
имени Ф. Скорины

НАУЧНЫЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1999 г.
Выходит 6 раз в год

• 2015, № 1 (88) •

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: ИСТОРИЯ • ФИЛОЛОГИЯ • ФИЛОСОФИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

История

Боровка Е.А. Современная американская историография о проблеме ядерного нераспространения в Южной Азии	5
Горны А.С. Беларускія паланафілы і польскія ўлады ў Заходняй Беларусі міжваеннага перыяду: фінансавы аспект узаемадзеяння.....	11
Жихарев С.Б. Проблемы развития сухопутных путей сообщения в деятельности земств Черниговской губернии (конец XIX – начало XX вв.)	17
Келлер О.Б. Из истории городского права, правовых семей и сборников средневековой Германии.....	24
Марченко О.В. Течения русской монархической эмиграции в Германии в 1920-е годы ..	30
Мязга М.М. Візіт наркама замежных спраў СССР Г.В. Чычэрына ў Варшаву восенню 1925 г.	37
Телепень С.В. <i>Disciplina militaris</i> и воздержанность в пище: топос и реалии римской армейской действительности.....	42
Токць С.М. Сяляне і панскі двор ва ўсходняй Беларусі ў другой палове XIX – на пачатку XX ст.: сацыяльна-культурныя адносіны (на матэрыялах мемуарнай літаратуры).....	48
Янушевич И.И. Состояние антирелигиозной информационно-разъяснительной работы партийно-государственных структур в БССР в 1937–1941 гг.....	52

Филология

Берещенко Н.В., Насон Н.В. Особенности действия механизмов слитного произнесения при восприятии английской речи на слух	59
Бобошко Т.М. Образно-манипулятивная оценка адресата	64
Брызгалова Е.Н. Концепт «Париж» в эмигрантской поэзии Дон-Аминадо.....	69
Гладилина И.В., Усовик Е.Г. Проминализация как лингвистический и эстетический феномен.....	75
Гнездилова Я.В. Квазиспонтанность фатического метадискурса: эмотиологический аспект	80
Градюшко А.А. Визуализация как новый творческий метод веб-журналистики Беларуси....	84
Железовская Н.Л. Этноязыковая специфика эмоционально-оценочных единиц русских, белорусских и американских ассоциативных полей «человек».....	89
Иванова И.Е. Макроконцепт «творчество» в романах Дины Рубиной	96

Кирюшкина А.А. <i>О механизме эмотивно-прагматического кода языка</i>	102
Крикливец Е.В. <i>«Пастух и пастушка» В. Астафьева, «Альпийская балада» В. Быкова: специфика художественной системы</i>	107
Паўлавец Д.Д. <i>Мянушкі як від народнага іменаслоўя</i>	114
Северинова О.Л. <i>Образы измененных состояний сознания в романе А. Проханова «Чеченский блюз»</i>	120
Станкевіч А.А. <i>Канец – справе вянец: назвы паслявясельнага этапу шлюбнай абраднасці ў гаворках Гомельшчыны</i>	125
Суслова Н.В. <i>Нон-фикшн и собственно документальная проза в литературном процессе России 2000-х – первой половины 2010-х годов</i>	130
Тимошенко Е.И. <i>Об одном источнике энантиосемии в русском и других славянских языках</i>	135
Усольцева Т.Н. <i>Анатомия культурного мифа об А.С. Грибоедове</i>	139
Фираго Ю.С. <i>Взрослые и дети в нацистских лагерях смерти (по одноименному рассказу «Взрослые и дети в Освенциме» из сборника рассказов З. Налковской «Медальоны»)</i>	144
Хорсун І.А. <i>Язэп Семяжон перакладчык Шэкспіра</i>	149
Янковская С.А. <i>Лексико-деривационный аналитизм в представлении локативной семантики</i> ..	154
ФИЛОСОФИЯ	
Даренская В.Н. <i>Научное познание как фактор мировоззренческой трансформации в опыте о. Павла Флоренского</i>	161
Загорулько М.А. <i>Барочная метафизика «земного» и «небесного» (на примере сравнительного анализа философско-эстетических идей Григория Сковороды и представителей Черниговского литературно-философского круга)</i>	168
Калмыков В.Н. <i>Отчуждение как модус человеческого существования</i>	175
Малахов Д.В. <i>Онтология и аксиология: современность истоков вопроса о «Логосе» у Хайдеггера и Плотина</i>	180
Полищук К.А. <i>«Клиповая культура» в современном потреблении информации</i>	189
Фандеева А.К. <i>Особенности современного дискурса идентичности</i>	193
Цацарин В.В. <i>Гносеология И. Канта и неокантианство Г. Риккерта</i>	199
РЕЦЕНЗИЯ	
Коваль У.І. <i>Кніга пра дыялог культур</i>	204

PROCEEDINGS

of Francisk Scorina Gomel state university

SCIENTIFIC, PRODUCTION AND PRACTICAL JOURNAL

There are 6 times a year
Published since 1999

• 2015, № 1 (88) •

HUMANITIES: HISTORY • PHILOLOGY • PHILOSOPHY

CONTENTS

HISTORY

E.A. Borovka. <i>Contemporary American historiography on the issue of nuclear non-proliferation in South Asia</i>	5
A.S. Gorny. <i>Belarusian polonophils and Polish authorities in Western Belarus of the inter-war period: the financial aspect of the interaction</i>	11
S.B. Zhiharev. <i>Problems of development of land routes in activities of Zemstvos of Chernigov province (late XIX – early XX centuries)</i>	17
O.B. Keller. <i>From the history of urban law, legal families and collections of medieval Germany</i>	24
O.V. Marchenko. <i>Currents of Russian monarchist emigration to Germany in the 1920-s</i>	30
N.N. Mezga. <i>The visit of the People's Commissar for Foreign Affairs G.V. Chicherin in Warsaw in the autumn of 1925</i>	37
S.V. Telepen. <i>Disciplina militaris and abstention from food: the topos and realities of the Roman army reality</i>	42
S.M. Tokts. <i>Farmers and landowners in the eastern Belarus in the second half of XIX – early XX centuries: the social and cultural ties (based on the memoirs)</i>	48
I.I. Yanushevich. <i>State of anti-religious advocacy of party-state structures in BSSR in 1937–1941</i>	52

PHILOLOGY

N.V. Bereschenko, N.V. Nason. <i>Features of the mechanisms of linking pronouncing in the perception of English listening comprehension</i>	59
T. Boboshko. <i>Addressee's Image Manipulative Estimation</i>	64
E.N. Bryzgalova. <i>The concept of «Paris» in the emigre poetry of Don-Aminado</i>	69
I.V. Gladilina, E.G. Usovik. <i>Pronominalization as a linguistic and aesthetic phenomenon</i>	75
Ya.V. Gnezdilova. <i>Quasi-spontaneity of phatic metadiscourse: emotional aspect</i>	80
A.A. Hradziushka. <i>Visualization as a new creative method of online journalism in Belarus</i>	84
N.L. Zhalezouskaya. <i>Ethnolinguistic specificity of emotional and evaluative units of Russian, Belarusian and American associative fields «man»</i>	89
I.E. Ivanova. <i>Macroconcept «creativity» in the novels of Dina Rubina</i>	96
A.A. Kirushkina. <i>On the emotive pragmatic language code</i>	102
E.V. Kriklivets. <i>«The shepherd and shepherdess» by V. Astafiev, «Alpine Ballad» by V. Bykov: specificity of the art system</i>	107
D.D. Paulavets. <i>Nicknames as a kind of folk nomination</i>	114

O.L. Severinova. <i>The images of altered states of consciousness in the novel by A. Prokhanov «Chechen blues»</i>	120
A.A. Stankevich. <i>The end crowns the case: the names of after wedding marriage ceremony stage in the dialects of the Gomel region</i>	125
N.V. Suslova. <i>Non-fiction and documentary prose proper in the Russian literary process of the 2000s - early 2010s</i>	130
E.I. Tymoshenko. <i>On another source of enantiosemy in Russian and other Slavic languages</i> ...	135
T.N. Usoltseva. <i>Anatomy of a cultural myth about A.S. Griboyedov</i>	139
Yu.S. Firago. <i>Adults and children in nazi death camps (under the story of the same name «Adults and children in Osventsime» from Z. Nalkovskays's collection of stories «Medallions» ..</i>	144
I.A. Horsun. <i>Yazep Semyazhon as translator of Shakespeare's sonnets</i>	149
S.A. Yankovskaya. <i>Lexical and derivational analytism in presenting locative semantics</i>	154

PHILOSOPHY

V.N. Darenskaya. <i>Scientific knowledge as a factor of worldview transformation in the experience of Pavel Florenskiy</i>	161
M.A. Zagorulko. <i>Baroque metaphysics of «earth» and «heaven» (as an example, a comparative analysis of the philosophical and aesthetic ideas of Grigory Skovoroda and representatives of Chernigov literary-philosophical circle)</i>	168
V.N. Kalmykov. <i>Alienation as a modus of human existence</i>	175
D.V. Malakhov. <i>Ontology and Axiology: the present of the question of the origins of «Logos» in Heidegger and Plotin</i>	180
K.A. Polishchuk. <i>«Clip culture» in today's consumption of information</i>	189
A.K. Fandejeva. <i>Features of contemporary discourse of identity</i>	193
V.V. Tsatsaryn. <i>Epistemology of Kant and neokantianism of H. Rickert</i>	199

REVIEW

V.I. Koval. <i>The book is about the dialogue of cultures</i>	204
---	-----

История

УДК 327.37(54):930(73)

Современная американская историография о проблеме ядерного нераспространения в Южной Азии

Е.А. БОРОВКА

Рассматриваются отличительные черты современной американской историографии, посвященной проблеме ядерного нераспространения в Южной Азии. Анализируются позиции американских исследователей по ключевым аспектам истории ядерного противостояния между Индией и Пакистаном. Сделан вывод о том, что подходы американских историков в конце XX – начале XXI вв. к проблеме определялись как внутривнутриполитическими условиями, так и внешней политикой, проводимой Соединенными Штатами, а потому характеризовались влиянием на принимаемые решения, и обнаруживают черты политической ангажированности.

Ключевые слова: американская историография, проблема ядерного нераспространения, ядерное противостояние Индии и Пакистана, политика США в Южной Азии.

The distinctive features of modern American historiography devoted to the issue of nuclear non-proliferation in South Asia are discussed. The position of American researchers on key aspects of the history of nuclear confrontation between India and Pakistan are analyzed. It is concluded that the approach of American historians to the issue at the end of the XX and the beginning of the XXI centuries has been defined both by domestic political conditions and foreign policy pursued by the United States, and therefore characterized by the influence on decision-making, and discovers features of political engagement.

Keywords: American historiography, issue of nuclear non-proliferation, nuclear confrontation between India and Pakistan, American policy in South Asia.

Предотвращение распространения оружия массового уничтожения является неизменным приоритетом глобальной системы безопасности и предметом изучения в США. Завершение «холодной войны» и стремление США сохранить доминирующие позиции сопровождалось значительными изменениями в характере и источниках угроз для мирового сообщества. По общему мнению американских исследователей реальную опасность стали представлять государства, а также международные террористические организации, основные усилия которых направлены на приобретение ядерного оружия и средств его доставки. К концу XX в. Вашингтону удалось значительно усовершенствовать режим ядерного нераспространения. Немаловажная заслуга в этом принадлежит научному сообществу США, работа которого оказывает значительное влияние на принимаемые политические решения.

Ядерное оружие как инструмент «равновесия» эпохи «холодной войны» было превращено в инструмент поддержания мирового статус-кво и сохранения американского превосходства. Тем сильнее и болезненнее был удар, нанесенный Вашингтону Индией и Пакистаном в 1998 г., когда обе страны с разницей в несколько недель провели испытания ядерного оружия.

Необходимо отметить, что испытания ядерного оружия не были сюрпризом для американского руководства, поскольку проблема ядерного оружия в южноазиатском регионе давно находилась в центре внимания научного сообщества США, которое сигнализировало об этом своему руководству. Такое внимание легко объяснимо: наращивание ядерного потенциала в Южной Азии таит угрозу для региональной и международной безопасности, в свете возможного ядерного конфликта между Индией и Пакистаном. Это, в свою очередь, может навредить хрупкому состоянию мирового равновесия, установившегося в последние десятилетия, внося в него элементы нестабильности и глобального дисбаланса.

Это обстоятельство выводит изучение проблемы ядерного оружия и ядерного нераспространения в Южной Азии в иное поле исследования, что является крайне интересным для американской исторической науки. Проведенный обзор исторических исследований, позволяет сделать вывод о том, что ситуация, связанная с появлением у Индии и Пакистана ядерного оружия, отношение к этому мирового сообщества и США, являются предметами пристального внимания американских исследователей, несмотря на то, что сами публикации не стали предметом глубоких исследований как американских, так и зарубежных исследователей. В связи с этим, очень важным представляется проведение историографического анализа североамериканских исследований по вопросу ядерного оружия в Южной Азии и связанной с этим политики «ядерного нераспространения».

Американские исследования, посвященные проблеме ядерного разоружения, предлагают достаточно объективный экспертный анализ, активно обращаются к документам и первоисточникам, располагают обширным фактологическим материалом. Вместе с тем некоторые авторы из США, как например Д. Лоуэлл, пытаются идеализировать современную «нераспространенческую» политику. В своей работе он дает предвзятую оценку действиям «неугодных» Вашингтону государств, не внушающих доверия или же находящихся с ним в конфронтации [1]. В исследовании он приходит к выводам, что жесткая политика США в отношении стран подозреваемых в исследованиях и разработке ядерного оружия является оправданной.

В данной статье предпринята попытка анализа современных американских научных исследований по теме ядерного оружия и ядерного нераспространения в Южной Азии. Актуальность темы для Республики Беларусь обусловлена тем, что данное направление исследования не получило широкого распространения и освещения в белорусской исторической науке, что представляет возможность для изучения данной проблемы белорусскими исследователями. К тематике ядерного оружия, ядерного нераспространения и их историографии обращались А.А. Розанов [2], [3], В.А. Елфимов [4], Ю.В. Коваленя [5].

В современных работах американских авторов затронут широкий круг проблем: ядерное оружие в Южной Азии в контексте проблемы устойчивости международного режима ядерного нераспространения [6]; изменение статуса Индии и Пакистана в мировой ядерной иерархии и возможность их «инкорпорирования» в режим нераспространения с возможностью сохранения ядерного статуса, процесс трансформации американской внешнеполитической стратегии в Южной Азии [7], [8]; изучение новой роли Индии и Пакистана в системе нового «мирового порядка» [9].

В процессе изучения влияния ядерного оружия в Южной Азии на международный режим ядерного нераспространения американские исследователи придают большое значение теоретическому обоснованию причин, которые побудили Индию и Пакистан начать разработку ядерного оружия. Из них американские специалисты в первую очередь выделяют теорию рационального сдерживания, сформулированную одним из основателей школы неореализма К. Уолтсом [10]–[12] и Б. Фрэнкелом [13]. В соответствии с этой теорией вероятность вооруженного конфликта между двумя ядерными державами крайне невелика, а ядерное оружие представляется в качестве гаранта безопасности [10]. Среди американских исследователей получили распространение организационная теория, на формирование которой оказали влияние работы С. Сэгана [14], В. Уитгофа [15], а так же мифологизационная теория ядерного оружия П. Лавоя [16]. По мнению С. Сэгана, главы государств стремящихся к обладанию ядерным оружием пытаются действовать рационально, испытывая при этом влияние про- или антиядерного лобби внутри страны [14]. П. Лавой анализируя процессы распространения ядерного оружия, вводит термин «мифологизация» ядерного оружия, как искусственно преувеличенный масштаб внешней ядерной угрозы для правящих элит [16]. По мнению автора, работы этих исследователей являются немаловажными и ключевыми в изучении американской историографии ядерного оружия, а также для понимания исследователями особенностей процессов распространения ядерного оружия в Южной Азии.

К числу работ полностью посвященных теме ядерного оружия в южноазиатском регионе, в первую очередь, стоит отнести результаты исследований руководителя проекта «Индия/Южная Азия» при Брукингском институте, бывшего советника президента США С. Коэна [17]–[19]; бывшего заместителя секретаря посольства США в Индии Э. Теллиса [20], и специалиста в области нераспространения, профессора калифорнийского университета Дж. Перковича [6].

Монография Дж. Перковича представляет собой наиболее обстоятельное и детализированное исследование истории развития индийской ядерной программы, начиная со времени обретения Дели независимости и до 2001 г. В исследовании Дж. Перкович анализирует движущие силы развития гражданской и военной ядерных программ Индии, а так же демонстрирует несостоятельность применения реалистического подхода в исследовании ядерной политики Дели [6].

В отличие от анализа фактов Дж. Перковича, С. Коэн в своей работе [17] предпочитает останавливаться на выявлении причин, уделяя большое внимание исследованию индийского общественного мнения, стратегической культуры, мировоззрения и мироощущения политической элиты Дели. В своем исследовании автор приходит к выводу, что общественно-политические процессы, происходящие в индийском обществе, имеют исключительное влияние на проводимую Дели политику, в том числе и на отстаивание своих интересов в ядерной сфере. Это, по его мнению, отличает Индию от Пакистана, где прерогатива в выборе политики в ядерной сфере находится исключительно в руках государства. Эта работа, фактически, является отправной точкой для научной общественности США в изучении ядерной проблемы Южной Азии с позиции возможностей общественного мнения влиять на принимаемые Индией решения в вопросах ядерной безопасности. Работы этих авторов отличаются наибольшей глубиной и основательностью. В некотором смысле они являются рубежом изменения общественно-политической мысли научного сообщества США, которое, в отношении решения ядерных проблем в Южной Азии предлагает, прежде всего, ориентироваться на развитие сотрудничества с Индией, а не Пакистаном.

Из американских авторов, рассматривавших военные аспекты индо-пакистанских отношений, вопросов изменения ядерного статуса Индии и Пакистана, следует упомянуть работу Э. Арнетта [21]. В ней автор дает оценку и проводит сравнительный анализ тактико-технических возможностей ядерной составляющей вооруженных сил Индии и Пакистана. Э. Арнетт также не исключает возможности их изменения или трансформации с учетом возможного изменения внешнеполитической ситуации. Это исследование стало основой для американского научного сообщества в сопоставлении и сравнении ядерных военно-технических возможностей и потенциалов Индии и Пакистана.

Большой вклад в изучении военно-политических доктрин Индии и Пакистана и их ядерной составляющей в южноазиатском регионе внесли американские специалисты индийского происхождения [22], [23]. Их работы, в основном, касались изучения влияния гонки ядерных вооружений между Индией и Пакистаном на региональные отношения. Данные работы являются своеобразной реакцией экспертов на проведение Индией и Пакистаном ядерных испытаний. Авторы работ считают что любое изменение военно-политической обстановки между Индией и Пакистаном оказывает негативное влияние на региональные отношения.

Хорошо известно, что общественное мнение и, во многом, политический курс американской администрации находится в зависимости от деятельности «мозговых центров» различного политического направления, в которых происходит формирование основ внешней и внутренней политики Вашингтона. На сегодняшний момент наиболее влиятельными «мозговыми центрами» консервативной направленности являются «Институт предпринимательства» (American Enterprise Institute), «Фонд Наследия» (Heritage Foundation) и «Центр по изучению стратегии и международной политики» (Center for Strategic and International Studies). Из исследовательских центров демократического крыла стоит выделить «Институт Брукингз» (Brookings Institution) и «Совет по внешним сношениям» (Council on Foreign Relations). Среди исследований, подготавливаемых этими центрами для дальнейшего планирования американской политики в Южной Азии, стоит выделить доклад под названием «Новая политика США по отношению к Индии и Пакистану», который принимается в качестве точки отчета американской политики «вовлечения» Индии в переговорный процесс по ядерному оружию [24]. Он был подготовлен по настоянию заместителя госсекретаря С. Тэлбота «Советом по внешним сношениям» – одним из основных «мозговых центров» демократов по внешнеполитическим проблемам. С. Тэлбот приходит к выводу, что Индия стала де-факто ядерной державой, поэтому нельзя ограничивать отношения с ней вопросами ядерного нераспространения. Институтом «Брукингз» было подготовлено исследование о возможных изменениях политики США к Индии и Пакистану после проведения ими ядерных испытаний [25].

Авторы консервативного толка рассматривали возможность развития сотрудничества с Дели в области высоких технологий, требуя взамен соблюдения Индией международных стандартов экспортного контроля [26], [27]. Демократическое же крыло придерживалось мнения о том, что Индия и Пакистан должны придерживаться рамок нераспространения ядерного оружия, а их исследования в ядерной сфере должны подпадать под международные санкции [6]. Внешнеполитическая стратегия консерваторов была выражена в конце XX в. в работах авторитетных членов республиканской партии, занявших в 2001 г. высокие посты в администрации Белого дома. Среди тех, кто занимался разработкой и подготовкой внешнеполитической стратегии США в Южноазиатском регионе, можно отметить А. Фридберга, Р. Блэквилла, Э. Теллиса и др.

А. Фридберг, занимая пост помощника советника по национальной безопасности, ратовал за тесное военное сотрудничество с Дели. В одной из своих работ А. Фридберг рассматривает Индию как главный противовес растущей мощи Китая [26], а так же приходит к выводу, что сотрудничество с Дели будет продуктивным даже, несмотря на наличие у него ядерного оружия и наложенных международных санкций.

На ярковыраженных проиндийских позициях находился первый заместитель посла США в Индии, Э. Теллис. Он был одним из главных инициаторов активного сближения Вашингтона и Дели и принимал непосредственное участие в активизации американо-индийского ядерного сотрудничества и выработке «ядерной сделки» между Дели и Вашингтоном, объявленной в 2005 г. о чем свидетельствует ряд его работ [9], [27].

Процессам нуклеаризации южноазиатского субконтинента в 1990-е и политическим последствиям этого шага для США были посвящены публикации бывшего заместителя государственного секретаря США, одного из представителей демократического крыла исследователей, С. Тэлбота [28], [29]. С. Тэлбот высказывает мнение о том что, несмотря на стратегические и политические выгоды, от налаживания партнерских отношений между Индией и США в ядерной сфере, такая политика несет угрозу процессу ядерного разоружения и нераспространения и подрывает доверие остальных стран-участников процесса к США [29].

Как считает автор, влияние, оказываемое «мозговыми центрами», а так же американскими исследователями на внешнюю политику Белого Дома очень велико и заключается в том, что многие исследователи, ранее занимавшиеся изучением особенностей южноазиатского региона, попадали в администрацию Белого дома, влияя на проводимую им политику, в том числе в вопросах ядерного нераспространения.

Американские исследователи подчеркивают что, несмотря на то, что Пакистан и Индия, нарушают условия Договора о нераспространении ядерного оружия, их ядерный военный арсенал, в настоящее время, не является угрозой для США [9], [26], [27]. Ими высказывается предположение, что в определённых случаях он может быть полезен для отстаивания американских интересов в регионе, как, например, американо-индийское сотрудничество в ядерной сфере, направленное на нейтрализацию Китая [26]. Это обстоятельство показывает, что политика США идет в разрез с официальной американской позицией по ядерному нераспространению.

По мнению большинства американских исследователей, Индия и Пакистан не откажутся от обладания ядерным оружием. Американские исследователи считают, что возможное ужесточение Индией и Пакистаном своего режима контроля над ядерным экспортом будет содействовать укреплению национальной безопасности и интересов США. Таким образом, можно говорить о том, что в научной элите США к концу первого десятилетия XXI в. сложился устойчивый положительный консенсус относительно развития полномасштабного сотрудничества с Индией и Пакистаном в ядерной сфере, несмотря на наличие у этих стран ядерного оружия. Это подтверждает все противоречия американской внешней политики, на страже которой стоят американские историки и исследователи.

Таким образом, американскими исследователями накоплено большое количество научных наработок по различным аспектам проблемы ядерного оружия и его нераспространения в Южной Азии, что свидетельствует об интересе специалистов к данной теме, обусловленной проводимой США политикой в данном регионе. Вместе с тем необходимо отметить, что для американских исследователей характерна зависимость содержания их работ как от текущей

внешнеполитической ситуации, так и от принадлежности самих авторов к тем или иным политическим силам. Это, в свою очередь, позволяет говорить об использовании их исследований для продвижения решений выгодных с точки зрения американской дипломатии для США, т. е., об ангажированности занимаемых американскими исследователями позиций.

Литература

1. Dittmer, Lowell. South Asia's nuclear security dilemma: India, Pakistan and China / Lowell Dittmer. – London : An East Gate Book, 2005. – 296 p.
2. Розанов, А.А. Проблема прекращения гонки вооружений в 1960–1980-е гг. / А.А. Розанов // История международных отношений : учеб. пособие в 4 ч. / А.А. Розанов [и др.] ; под ред. А.А. Розанова. – Минск : БГУ, 2010. – Ч. 3 – С. 368–381.
3. Розанов, А.А. Проблема разоружения и борьба идей / А.А. Розанов. – Минск : Беларусь, 1988. – 168 с.
4. Елфимов, В.А. Международный режим нераспространения ядерного оружия: политические аспекты функционирования / В.А. Елфимов // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. – 1998. – № 3. – С. 88–92.
5. Коваленя, Ю.В. Влияние ядерной программы Ирана на внешнеполитический курс государства (1956–2011 гг.) / Ю.В. Коваленя // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2012. – № 1. – С. 67–73.
6. Perkovich, G. India's Nuclear Bomb. The Impact on Global Proliferation / George Perkovich. – Los Angeles : University of California Press, 1999. – 641 p.
7. Barone, M., Barnes, F., Cannon, C. The Bush Presidency at Midterm: An Assessment / M. Barone, F. Barnes, C. Cannon // The Heritage Foundation [Electronic resource]. – 2003. – Mode of access : <http://www.heritage.org/research/lecture/the-bush-presidency-at-midterm-an-assessment>. – Date of access : 22.05.2014.
8. Frank G Wisner II, Platt, N. New Priorities in South Asia: U.S. Policy Toward India, Pakistan and Afghanistan / Council on Foreign Relations and the Asia Society [Electronic resource]. – 2003. – Mode of access : <http://www.cfr.org/content/publications/attachments/India-Southasia.pdf>. – Date of access : 02.05.2014.
9. Ashley, A. Tellis India as a New Global Power. An Action Agenda for the United States / A. Ashley // Carnegie Endowment for International Peace [Electronic resource]. – 2005. – Mode of access : <http://carnegieendowment.org/files/Tellis.India.Global.Power.FINAL.pdf>. – Date of access : 15.05.2014.
10. Waltz, K., Sagan, S. The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed / Kenneth Waltz, Scott Sagan. – N.-Y. : W.W. Norton, 2002. – 288 p.
11. Waltz, K. Structural Realism After the Cold War / Kenneth Waltz // International Security [Electronic resource]. – 2000. – Mode of access : http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/waltz_kenneth_v25n1.pdf. – Date of access : 10.05.2014.
12. Waltz, K. The Emerging Structure of International Politics / Kenneth Waltz // International Security [Electronic resource]. – 1993. – Mode of access : http://polsci.colorado.edu/sites/default/files/2A_Waltz.pdf. – Date of access : 13.05.2014.
13. Frankel, B. The Brooding Shadow: Systemic Incentives and Nuclear Weapons Proliferation / Benjamin Frankel // Security Studies. – 1993. – № 3–4. – P. 37–38.
14. Sagan, S. Why Do States Build Nuclear Weapons? Three Models in Search for the Bomb / Scott Sagan // International Security [Electronic resource]. – 1993. – Mode of access: http://iis-db.stanford.edu/pubs/20278/Why_Do_States_Build_Nuclear_Weapons.pdf. – Date of access : 30.04.2014
15. Utgoff, V. The Coming Crisis: Nuclear Proliferation, U.S. Interests and World Order / Victor Utgoff. – Cambridge : MIT Press, 2000. – 319 p.
16. Lavoy, P. Nuclear Myths and the Causes of Nuclear Proliferation / Peter Lavoy // Security Studies. – 1993. – № 3–4. – P. 199.
17. Cohen, St. India : Emerging Power / Stephen Cohen // Washington : Brookings Institution Press, 2001. – 377 p.
18. Cohen, St. A New Beginning in South Asia / Stephen Cohen // The Brookings Institution [Electronic resource]. – 2000. – Mode of access : <http://www.brookings.edu/research/papers/2000/01/01southasia-cohen>. – Date of access : 18.04.2014.
19. Cohen, St. India Rising. / Stephen Cohen // The Brookings Institution [Electronic resource]. – 2000. – Mode of access : <http://www.brookings.edu/research/articles/2000/06/summer-india-cohen>. – Date of access : 18.04.2014.
20. Tellis, A. India as a New Global Power. An Action Agenda for the United States / Ashley Tellis // Carnegie Endowment for International Peace [Electronic resource]. – 2005. – Mode of access : http://carnegieendowment.org/files/CEIP_India_strategy_2006.FINAL.pdf. – Date of access : 22.04.2014.
21. Arnett, E. Nuclear Weapons and Arms Control in South Asia after the Test Ban / Eric Arnett. – Stockholm : Stockholm International Peace Research Institute, 1998. – 108 p.

-
22. Nayar, B., Paul, T. *India in the World Order : Searching for Major-Power Status* / Baldev Nayar, T. Paul. – Cambridge (UK) : Cambridge University Press, 2003. – 304 p.
23. Kamdar, M. *Planet India. The Turbulent Rise of the Largest Democracy and the Future of Our World* / Mira Kamdar. – New York : Scribner, 2007. – 352 p.
24. Wisner, F. *New Priorities in South Asia : U.S. Policy Toward India, Pakistan and Afghanistan. Report of an Independent Task Force Cosponsored by the Council on Foreign Relations and the Asia Society* / Wisner Frank. – New York : Council on Foreign Relations Press, 2003. – 105 p.
25. Haass, R., Halperin, M. *After the Tests : U.S. Policy Toward India and Pakistan. Report of an Independent Task Force* / Richard Haass, Halperin Morton. – Washington : Brookings Institution Press, 1998. – 39 p.
26. Friedberg, A., Ellings, R. *Strategic Asia : Power and Purpose, 2001-02* / Aaron Friedberg, Richard Ellings. – Seattle : The National Bureau of Asian Research, 2001. – 404 p.
27. Tellis, A. *India's Emerging Nuclear Posture : Between Recessed Deterrent and Ready Arsenal* / Ashley Tellis // RAND Corporation [Electronic resource]. – 2001. – Mode of access : http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2008/MR1127part1.pdf. – Date of access : 28.04.2014.
28. Talbott, St. *Dealing with the Bomb in South Asia* / Strobe Talbott // Foreign Affairs [Electronic resource]. – 1999. – Mode of access : www.jstor.org/stable/20049212. – Date of access : 10.05.2014.
29. Talbott, St. *Good Day for India, Bad Day for Non-Proliferation* / Strobe Talbott // Brookings [Electronic resource]. – 2005. – Mode of access : <http://www.brookings.edu/research/articles/2005/07/21southasia-talbott>. – Date of access : 18.04.2014.

УДК 930 (476) (1921 – 1939)

Беларускія паланафілы і польскія ўлады ў Заходняй Беларусі міжваеннага перыяду: фінансавы аспект узаемадзеяння

А.С. Горны

Даследуецца праблема фінансавання дзейнасці беларускіх прапольскіх (паланафільскіх) арганізацый рознымі ўстановамі Польскай дзяржавы ў міжваенны перыяд. Раскрываюцца раней малавядомыя факты, якія сведчаць аб імкненнях польскіх уладаў з дапамогай грашовых субсідый забяспечыць лаяльнасць пэўнай часткі беларускіх палітычных эліт Заходняй Беларусі, каб супрацьстаяць беларускім нацыянальна-дэмакратычным і леварадыкальным групам.

Ключавыя словы: Польшча, Заходняя Беларусь, беларускі нацыянальны рух, беларускія паланафілы, субсідыя.

The problem of funding the Belarusian polonophilic organization by various institutions of power of the Polish state in the interwar period is described. Previously little-known facts that demonstrate the intents of the Polish authorities to ensure the loyalty of a certain part of the Belarusian political elites of Western Belarus with the help of monetary grants are revealed.

Keywords: Poland, Western Belarus, Belarusian national movement, Belarusian polonophiles, grant.

Фінансавыя пытанні заўсёды з’яўляліся адным з важных кампанентаў дзейнасці палітычных рухаў, партый і арганізацый. Наяўнасць сталай крыніцы фінансавання нярэдка прадвызначала стабільнае развіццё той ці іншай арганізацыі і асабліва нацыянальнага руху, які пачынаў выходзіць на палітычную арэну дзеля барацьбы за нацыянальную дзяржаўнасць. Не быў выключэннем з гэтага і беларускі нацыянальны рух, які ў перыяд свайго зараджэння і ў далейшым працэсе арганізацыйнай працы патрабаваў значных грашовых інвестыцый. Аднак сёння праблема фінансавання беларускіх палітычных арганізацый у першай палове XX ст. даследавана нязначна і, на наш погляд, уяўляе адзін з найбольш актуальных кірункаў даследавання гісторыі Беларусі новага і наваейшага часу.

Вывучэнне пытання грошай для беларускай палітычнай работы натываецца на даволі цікавы аспект, звязаны з геапалітычным становішчам беларускіх земляў. Менавіта іх геапалітычнае становішча прадвызначыла той факт, што ў працэсе развіцця беларускага руху і станаўлення нацыянальнай дзяржаўнасці імкнуліся прыняць удзел розныя знешнія акторы – літоўскія, савецкія, польскія, нямецкія і іншыя, якія разлічвалі выкарыстаць «беларускае пытанне» ва ўласных геапалітычных інтарэсах. Значную ролю сярод іх меў польскі фактар. Створаная ў 1918 г. Польская дзяржава, жадаючы пашырыць свае межы на ўсход, звяртала ўвагу на прапольскія (паланафільскія) памкненні мясцовых беларускіх эліт і спрабавала падтрымаць іх грашова. Пасля заключэння Рыжскага міру, калі частка беларускіх земляў апынулася ў складзе Польшчы, яе ўлады зрабілі стаўку на шэраг беларускіх паланафільскіх арганізацый, якія павінны былі прапагандаваць сярод беларусаў ідэю лаяльнасці адносна Польшчы. Безумоўна, галоўным элементам іх падтрымкі сталі грашовыя субсідыі з польскага бюджэту. Таму мэта дадзенага артыкула – раскрыць фінансавы аспект узаемадзеяння гэтых арганізацый з польскімі ўладамі ў міжваеннае дваццацігоддзе, паказаць, як беларускія паланафілы атрымлівалі грошы ад ўладаў і на якія мэты іх выдаткоўвалі.

У канцы XIX – пачатку XX стст. польскі нацыянальны рух у Расійскай імперыі, нягледзячы на пераважна адмоўнае яго стаўленне да нацыянальнай эмансipaцыі беларусаў, быў арыенцірам і узорам грамадскай барацьбы для некаторых беларускіх палітычных і культурных актывістаў. Настрой тагачасных беларускіх эліт вельмі добра ахарактарызаваў адзін з тэарэтыкаў беларускага руху А. Цвікевіч, які, аналізуючы гісторыю беларуска-польскіх узаемадачынненняў, пісаў: «Учора мы былі з ёй (Польшчай – А.Г.) разам – у адным лагеры пратэстуючых, у адным лагеры змагаючыхся супроць царызму. Польшча была для нас прыкладам, – «распятая на крыжы!» – была старшым братам у цяжкай барацьбе, надавала сілы і

веры» [1, с. III–IV]. Многія палітыкі былі ўпэўнены, што незалежная Польшча ў будучыні не будзе перашкодай для незалежнасці сваіх усходніх суседзяў, а, наадварот, дапаможа атрымаць самастойнасць згодна вядомаму лозунгу «за нашу і вашу свабоду».

Падобныя тэндэнцыі шырока распаўсюджваліся ўжо ў пачатку польска-савецкай вайны, але асабліва моцна – пасля заняцця польскімі легіёнамі Вільні і выдання 22 красавіка 1919 г. вядомай адозвы «Да насельніцтва былога Вялікага Княства Літоўскага». У ёй галоўнакамандуючы польскага войска Ю. Пілсудскі падкрэсліў, што мясцовым жыхарам будзе дадзена магчымасць самастойна вырашыць усе нацыянальныя і рэлігійныя пытанні без усялякага націску [2, с. 81]. Створаная польскімі ўладамі на акупаваных заходнебеларускіх тэрыторыях Цывільнае ўпраўленне ўсходніх земляў (ЦУУЗ) пачало весці перамовы аб супрацоўніцтве з некаторымі беларускімі дзеячамі, сярод якіх сваёй актыўнасцю вылучаўся П. Аляксюк [3, с. 72]. У гэты перыяд польскія інстанцыі пачынаюць не толькі на словах ствараць падмурак для лаяльнасці беларусаў, але і спансіраваць мерапрыемствы, якія, на іх думку, мелі б значную палітычную вагу. Так, у маі 1919 г. кіраўнік II аддзела польскага Генштаба (дэфензівы) у Вільні В. Славэк выдаў П. Аляксюку для правядзення беларускага з'езда Віленшчыны і Гродзеншчыны каля 10 тыс. царскіх рублёў, выказаўшы пры гэтым пажаданне, каб на дадзеным з'ездзе Ю. Пілсудскі быў абвешчаны вялікім князем ВКЛ [4, с. 106]. Аднак, беларускі з'езд Віленшчыны і Гродзеншчыны, які адбыўся 8–9 чэрвеня 1919 г., пастанавіў дамагацца незалежнасці Беларусі ў саюзе з Літвой. Разам з гэтым, дэлегаты з'езда віталі адозву Пілсудскага і выказвалі надзею, што кіраўнік Польшчы зможа змяніць рэакцыйныя паводзіны польскіх акупацыйных войскаў у Заходняй Беларусі [3, с. 73]. Створаная на з'ездзе Беларуская рада Віленшчыны і Гродзеншчыны адразу звярнулася да міністэрства фінансаў Польшчы з просьбай аб выдачы пазыкі ў суме 5 млн. польскіх марак [5, с. 831].

Кульмінацыйнай прапольскіх настрояў беларускіх эліт у часы польска-савецкай вайны стала спроба стварэння беларускіх вайсковых частак у польскім войску. 2 жніўня 1919 г. па ініцыятыве Беларускай рады Віленшчыны і Гродзеншчыны была створана Беларуская вайсковая камісія (БВК) на чале з П. Аляксюком, якая павінна была кіраваць арганізацыяй беларускай арміі. Аднак афіцыйна камісія не была зацверджана польскімі ўладамі. 22 кастрычніка 1919 г. Ю. Пілсудскі падпісаў дэкрэт аб фарміраванні добраахвотніцкіх беларускіх частак у складзе двух батальёнаў, легалізаваўшы такім чынам БВК [6, с. 112–114]. Безумоўна, дадзеная структура патрабавала значнай грашовай падтрымкі, якую беларускія дзеячы чакалі ад польскага камандавання і цывільных уладаў. Прынамсі, 5 сакавіка 1920 г. Генеральная ад'ютантура Галоўнакамандуючага распарадзілася выплаціць са сродкаў міністэрства вайсковых спраў 400 тыс. марак на рахунак БВК і распрацаваць для яе месячны бюджэт [7, арк. 258]. Апошняя пастанова, магчыма, адразу не была рэалізавана альбо была спланавана ў нязначных грашовых памерах. Ужо ў канцы сакавіка сябар прэзідыуму БВК А. Прушынскі (А. Гарун) звяртаўся да Генеральнай ад'ютантуры з просьбай усталяваць месячныя выплаты ў памеры 50 тыс. марак для паўнаўдаснага дзейнасці штату камісіі па вярбоўцы добраахвотнікаў у розных гарадах [8, арк. 364]. Але, нягледзячы на распараджэнні вышэйшага польскага камандвання і фінансавую падтрымку, на месцах дзеячы БВК сутыкаліся з супрацьдзеяннем мясцовай польскай адміністрацыі, якая складалася пераважна з прыхільнікаў ідэі інкарпарацыі беларускіх земляў. Так, існаваў цыркуляр палітычнага інспектара Мінскай акругі ЦУУЗ, у якім павятовым старастам рэкамендавалася ствараць перашкоды агентам БВК у справе вярбоўкі добраахвотнікаў [9, с. 2].

Работу камісіі значна аслаблялі асабістыя спрэчкі і непаразуменні паміж яе кіраўніцтвам. У межах БВК працавалі як прапольскія дзеячы, так і прыхільнікі эсэраўскіх арганізацый, якія знаходзіліся на антыпольскіх пазіцыях і планавалі выкарыстаць рэсурсы камісіі ў мэтах барацьбы з палякамі [2, с. 89]. Да гэтага неабходна дадаць яшчэ і няшчырасць некаторых з членаў БВК, якія нярэдка на першае месца выстаўлялі свае асабістыя інтарэсы. Таму прычынамі канфлікту маглі быць ужо не толькі ідэйныя разыходжанні, але і грашовыя спрэчкі. Польскія фінансавыя патокі, якія ва ўмовах вайны было цяжка кантраляваць, сталі значнай спакусай для некаторых беларускіх паланафілаў, і ў прыватнасці для П. Аляксюка. У чэрвені 1920 г. ён унёс у касу БВК 300 тыс. марак, атрыманых ад міністэрства вайсковых спраў Польшчы. Аднак, як выявілася пазней, насамрэч польскія ўлады асігнавалі для БВК суму ў памеры 981 500 марак [10, арк. 203]. Прадстаўнікі камісіі пачалі абвінавачваць Аляксюка ў прысвойванні 681 500 марак з польскага бюджэту. Пазней Аляксюк заяўляў, што не хацеў аддаваць гэтыя сродкі ў рукі антыпольскага элемента [5, с. 839].

Рыжскі мір, падпісаны 18 сакавіка 1921 г. паміж Польшчай і Савецкай Расіяй, стварыў новыя ўмовы для развіцця беларускага нацыянальнага руху. Заходнебеларускія землі, якія паводле мірнага пагаднення адышлі да Польшчы, сталі тэрыторыяй, дзе беларускія дзеячы розных палітычных кірункаў працягвалі весці барацьбу за ажыццяўленне ідэалаў нацыянальнай дзяржаўнасці. На заходнебеларускай палітычнай арэне заявілі пра сябе ў тым ліку і беларускія паланафільскія арганізацыі. З аднаго боку, яны традыцыйна спадзяваліся знайсці падтрымку розных інстытутаў польскай улады, а з другога, улада сама была зацікаўлена ў з'яўленні лаяльных беларускіх групаў, якія б транслявалі сярод насельніцтва прапольскія ідэі. Адной з першых пляцовак у гэтым накірунку стала польская квазідзяржава Сярэдняй Літвы, створаная палякамі ў 1920 г. з мэтай адцягнуць тэрыторыю Віленшчыны з-пад кантролю Літвы. Літоўска-польскі канфлікт і падтрымка ў ім Літвы беларускімі нацыянальна-дэмакратычнымі арганізацыямі і ўрадам БНР прымусілі паланафілаў актыўна ўключыцца ў палітычную гульню, а польскія ўлады – аказаць ім грашовую дапамогу.

17 красавіка 1921 г. у Вільні па ініцыятыве былога кіраўніка беларускай дэлегацыі на Парыжскую мірную канферэнцыю Я. Ладнова быў утвораны Беларускі дзяржаўны камітэт (БДК), у які ўвайшлі А. Луцкевіч, А. Смоліч, А. Станкевіч, С. Рак-Міхайлоўскі, М. Гарэцкі, Б. Тарашкевіч і інш. Арганізацыя афіцыйна ставіла сабе за мэту стварыць каардынацыйны цэнтр беларускага руху дзеля барацьбы за незалежнасць Беларусі [4, с. 120–121], [11, с. 244]. Аднак насамрэч сапраўдным ініцыятарам стварэння БДК быў II аддзел польскага Генштаба, пры падтрымцы якога дзейнічаў Ладноў. Паводле разліку польскіх спецслужбаў, БДК павінен быў адцягнуць беларускія эліты ад супрацоўніцтва з Літвой, дапамагчы ім вырашыць «віленскае пытанне» на карысць Польшчы і перавесці цэнтр беларускага руху з Коўна, дзе месціўся ўрад БНР, у Вільню. Паказальна, што для ажыццяўлення гэтай акцыі Ладноў атрымліваў ад II аддзела штотымсячна каля 5 тыс. французскіх франкаў [12, с. 48–49], [5, с. 852]. Акрамя гэтага, спецслужбы разлічвалі непасрэдна фінансаваць працу БДК, бо, як успамінаў Б. Тарашкевіч, шэф II аддзела ў Вільні Бандроўскі перадаў для камітэта «пэўную суму грошай», якая, аднак, была неўзабаве вернута [4, с. 122]. Праз некалькі месяцаў правакатарская дзейнасць Ладнова была выкрыта і Беларускі дзяржаўны камітэт ліквідавалі.

Паралельна з дзейнасцю БДК распачаў сваю палітычную акцыю ў Сярэдняй Літве ўжо вядомы П. Аляксюк. У красавіку 1921 г. ён ініцыяваў стварэнне паланафільскай арганізацыі «Краёвая сувязь», якая актыўна прапагандавала ідэю злучэння беларускіх земляў з Польшчай. Дзеля разгортвання значнай палітычнай работы, Аляксюк пачаў шукаць апеку з боку палякаў, абраўшы пры гэтым не спецслужбы, а мясцовыя ўлады, у прыватнасці – Прадстаўніцтва (Дэлегатуру) польскага ўрада ў Сярэдняй Літве. Аднак апошняя ўстанова вельмі асцярожна паставілася да ініцыятывы Аляксюка і першапачаткова, дзеля бліжэйшага азнаямлення з арганізацыяй, згадзілася прафінансаваць толькі выданне паланафільскай газеты «Jednaść» [13, арк. 35 адв.], [14, арк. 30 адв.]. Тым не менш, паланафілы распрацоўвалі новыя праекты, якія вымагалі значных грашовых інвестыцый. Напрыклад, Аляксюк прапанаваў уладам падтрымаць паездку дэлегацыі «Краёвай сувязі» ў колькасці 12 чалавек на беларускую нацыянальна-палітычную канферэнцыю ў Прагу і выдаткаваць на гэтую мэту каля 2 млн. марак [13, арк. 124–124 адв.]. Можна дапусціць, што ўлады значна зменшылі планаваную суму, бо ў Прагу змаглі выехаць толькі 3 прадстаўнікі Краёвай сувязі.

Адносіны польскіх уладаў да акцыі Аляксюка рэзка змяніліся напярэдадні выбараў у Віленскі сойм. Выбары павінны былі адлюстравать перад міжнароднай супольнасцю прыхільнасць мясцовага насельніцтва Віленшчыны да Польшчы і легітымизаваць у будучыні інкарпарацыю Польшчай Сярэдняй Літвы. Віленскі Беларускі нацыянальны камітэт і ўрад БНР заклікалі беларусаў байкатаваць выбарчую кампанію, таму ўвага польскіх уладаў была звернута ў бок беларускіх паланафілаў. Яны павінны былі агітаваць супраць байкоту і прыняць удзел у выбарах ад імя беларускага насельніцтва Віленшчыны. У канцы лістапада 1921 г. Палітычны камітэт Савета міністраў Польшчы рэкамендаваў мясцовым уладам падтрымаць «Краёвую сувязь», а міністэрству замежных спраў – выдаткаваць для яе са свайго бюджэту грашовыя субсідыі [15, с. 27]. У снежні 1921 г. П. Аляксюк пачаў атрымліваць на выбарчую дзейнасць грошы з фондаў кіраўніцтва Сярэдняй Літвы. Прынамсі, 15 снежня яму выдалі 1 400 000 марак, 21 снежня – 1 572 500 марак, 29 снежня – 900 000 марак, а 3 студзеня 1922 г. яшчэ 1 572 500 марак [16, арк. 130–131]. Такім чынам на рубяжы 1921–1922 гг.

беларуская паланафільская арганізацыя «Краёвая сувязь» атрымала ад польскіх уладаў агулам больш за 5 000 000 польскіх марак, што па тагачасным курсе складала каля 2 000 далараў. Нягледзячы на гэтыя інвестыцыі, Аляксук і яго група цалкам прайгралі выбарчую кампанію, зрабіўшы, тым не менш, для міжнароднай супольнасці «бачнасць» удзелу беларускага насельніцтва ў выбарах.

У 1924 г. у перыяд агульнай радыкалізацыі беларускага нацыянальна-вызваленчага руху ў Польшчы, на палітычнай сцэне Заходняй Беларусі з'явілася новая паланафільская арганізацыя – Часовая беларуская рада (ЧБР з 1926 г. мела назву Беларуская нацыянальная рада). Яе кіраўнік А. Паўлюкевіч адразу пачаў ажыццяўляць захады па ўсталяванні кантактаў з польскімі ўладамі дзеля фінансавання прапольскай і антыбальшавіцкай акцыі. Асабліва цесна з прадстаўнікамі ЧБР супрацоўнічала віленская адміністрацыя – спачатку Дэлегататура ўрада ў Вільні, а пасля Віленскае ваяводскае ўпраўленне, і ў прыватнасці віленскі ваявода У. Рачкевіч [17, с. 38]. Грашовыя субсідыі для паланафільскай агітацыі Паўлюкевіч атрымліваў непасрэдна ў кабінёце дарадцы ваяводы Д. Пятроўскага [18, арк. 115]. Гарантыі фінансавай падтрымкі паланафілам далі таксама прадстаўнікі вышэйшага польскага кіраўніцтва. У прыватнасці, віцэ-прэм'ер Польшчы С. Тугут абяцаў ЧБР вылучыць канцэсіі на аўтобусныя перавозкі і ўтрыманне тытунёвых складаў, даходы з якіх павінны былі ісці на антыкамуністычную прапольскую агітацыю [19, арк. 249].

Цікавасць для нашага даследавання ўяўляюць дадзеныя аб фінансаванні акцыі А. Паўлюкевіча, якія ўтрымліваюцца ў адной з прац вядомага беларускага гісторыка У. Ігнатоўскага. У 1927 г. Ігнатоўскі напісаў брашуру «Каля магілы барацьбіта», дзе разглядаў абставіны замаху Б. Кавэрды на савецкага прадстаўніка ў Варшаве П. Войкава. Кавэрда меў сувязі з Часовай беларускай радай, таму ў брашуры некалькі старонак было прысвечана агляду дзейнасці гэтай арганізацыі. У якасці крыніц Ігнатоўскі карыстаўся лістамі асоб, якія «калісь былі ня толькі блізкімі да гэтай кампаніі (ЧБР – А.Г.), але нават уваходзілі ў яе склад» [20, с. 11]. З вялікай доляй верагоднасці можна меркаваць, што адной з такіх асоб мог быць былы віцэ-старшыня ЧБР Ф. Аляхновіч, які ў 1926 г. пераехаў у БССР. Нягледзячы на ідэалагізаваны характар выдання, шэраг фактаў аб дзейнасці беларускіх паланафілаў у ім пацвярджаецца іншымі крыніцамі, што дае падставы звярнуць увагу на некаторыя цікавыя дадзеныя. Так, Ігнатоўскі паведамляў, што А. Паўлюкевіч для існавання ЧБР і выканання яе планаў атрымліваў ад віленскіх ваяводскіх уладаў штомесячна спачатку 4 тыс. злотых, пасля – 3 тыс. [20, с. 19]. Акрамя гэтага, у брашуры мелася інфармацыя аб атрыманні ЧБР каля 10 тыс. злотых ад нейкага таварыства «паратунку крэсаў», пад якім, магчыма, мелася на ўвазе Таварыства стражы крэсавай. Паводле Ігнатоўскага, яшчэ адным спонсарам для Паўлюкевіча выступаў генерал С. Булак-Балаховіч, які выдаткаваў са сваіх асабістых сродкаў таксама 10 тыс. злотых [20, с. 17].

Аднак, як і ў выпадку з папярэднімі паланафільскімі арганізацыямі, кіраўніцтва ЧБР немэтазгодна распараджалася ўрадавымі субсідыямі, якія нярэдка асядалі ў кішэнях А. Паўлюкевіча і яго прыхільнікаў. У маі 1925 г. з выдадзеных уладамі грошай ён забраў сабе ў якасці пенсіі 800 злотых, 400 злотых выплаціў свайму сакратару і безгаспадарча траціў ад 300 да 400 злотых у месяц на арэнду пакояў у гатэлі, дзе месціўся сакратарыят ЧБР. «Пры такіх фондушах можна значна больш зрабіць, чым робіцца зараз, толькі патрэбна пэўная планавасць і гаспадарчасць», – падкрэслівалі некаторыя сябры арганізацыі, нязгодныя з дзеяннямі Паўлюкевіча [19, арк. 76].

Неабходна падкрэсліць, што ў 1920-х гг. паланафільская плынь беларускага руху не набыла значнай падтрымкі сярод заходнебеларускага насельніцтва і сваёй прысутнасцю толькі ўзмацняла раскольніцкія тэндэнцыі ў агульнабеларускім грамадска-палітычным жыцці. Адной з прычын яе слабасці ў гэты час з'яўлялася маргінальнасць яе лідараў, якія бачылі ва ўрадавых субсідыях крыніцу ўласнага бізнесу і заробку. Гэта прызнавалі нават самі ўлады, падкрэсліваючы, што ім было наканаваана весці працу з людзьмі, якія мелі хваравітыя амбіцыі і разняволены індывідуалізм [2, с. 101]. На рубяжы 1920–1930-х гг. на змену старым паланафілам прыйшла новая генерацыя дзеячоў, якая ставіла новыя мэты ў справе супрацоўніцтва з польскімі ўладамі. У 1929 г. на абломках былой Беларускай сялянска-работніцкай грамады ўтварылася так

званая група Луцкевіча-Астроўскага (таксама мела назву «беларуская санацыя»), якая імкнулася знайсці кампрамісы з санацыйным урадам Ю. Пілсудскага. Прадстаўнікі гэтай групы (А. Луцкевіч, Р. Астроўскі, Я. Шнаркевіч, А. Трэпка і інш.) заклікалі адмовіцца ад палітычнай барацьбы за самавызначэнне Заходняй Беларусі і цалкам засяродзіцца на беларускай культурна-асветніцкай працы [21, с. 387]. Ва ўмовах аслаблення асіміляцыйнай палітыкі польскіх улад адносна беларусаў у канцы 1920-х гг. група Луцкевіча-Астроўскага чакала «новую эру» ў польска-беларускіх адносінах [22].

На адрозненне ад папярэдніх паланафільскіх арганізацый, якія выкарыстоўвалі польскія субсідыі ў палітычных і прапагандысцкіх мэтах, «беларуская санацыя» планавала накіраваць дзяржаўныя фінансы збольшага на падтрымку існуючых беларускіх культурных інстытутаў. Прадстаўнікі групы Луцкевіча-Астроўскага даволі справядліва разважалі, што беларусы як раўнапраўныя грамадзяне Польшчы маюць права атрымліваць з дзяржаўных фондаў сродкі на сваё нацыянальнае развіццё [23]. Таму для каардынацыі культурнай работы у жніўні – верасні 1930 г. «беларуская санацыя» аб'яднала ўсе арганізацыі, якія знаходзіліся пад яе кантролем (Беларускае навуковае таварыства, Беларускі настаўніцкі саюз, Бацькоўскі камітэт Віленскай беларускай гімназіі і інш.), у адзіную «карпарацыю» – Цэнтральны саюз беларускіх культурна-асветніцкіх і гаспадарчых арганізацый (скарочана Цэнтрасаюз) [21, с. 389]. Р. Астроўскі як скарбнік Цэнтрасаюза ўсталяваў кантакты з Віленскім ваяводскім упраўленнем для атрымання грашовай дапамогі [11, с. 258]. Штомесячна віленскія ўлады выдаткоўвалі для Цэнтрасаюза 6 500 злотых [24, арк. 17]. У яго межах сродкі размяркоўваліся паміж арганізацыямі, якія ўваходзілі ў гэтае аб'яднанне. Напрыклад, у 1931 г. Віленскай беларускай гімназіі штомесячна выплочвалася каля 2 500 злотых, Віленскаму беларускаму музею – 1 000 злотых, студэнцкай карпарацыі «Скарынія» – 1 500 злотых [25, арк. 19].

Аднак Цэнтрасаюз на працягу 1931–1932 гг. аказаўся не ў стане кардынальным чынам паўплываць на польска-беларускія адносіны і пазіцыю ўладаў, якая ў гэты перыяд зноў вярнулася ў рэчышча нацыянальнай асіміляцыі беларусаў. Да таго ж прадстаўнікі Цэнтрасаюза ўсё больш увязваліся ў палітычную барацьбу з рознымі беларускімі групамі, у прыватнасці – з хрысціянскімі дэмакратамі і камуністамі. Таму група Луцкевіча-Астроўскага пачала шукаць новыя формы для арганізацыйнай працы. У канцы 1932 г. замест Цэнтрасаюза было ўтворана Таварыства беларускай асветы (ТБА), якое ставіла сабе за мэту выключна культурную работу [21, с. 390]. Як і яго папярэднік, ТБА мела фінансавую падтрымку з боку віленскіх ваяводскіх уладаў, якія штомесячна выдаткоўвалі для яго каля 3 000 злотых [25, арк. 41]. Акрамя гэтага, у маі 1935 г. кіраўніцтва таварыства звярнулася да начальніка грамадска-палітычнага аддзел Віленскага ваяводскага ўпраўлення аб выдзяленні яшчэ 1 000 злотых штомесячна для забеспячэння выдання друкаванага органа ТБА «Родны край» [26, арк. 8]. Паказальна, што ўсе фінансавыя справы арганізацыі зноў знаходзіліся пад кантролем Р. Астроўскага [25, арк. 41]. У будучыні гэтая акалічнасць стала адной з прычын расколу ўнутры «беларускай санацыі». Асабістыя і ідэйныя непаразуменні паміж А. Луцкевічам і Р. Астроўскім неўзабаве перайшлі ў фінансавую плоскасць, бо апошняга пачалі абвінавачваць у прысвойванні ўрадавых субсідый і хаатычным распараджэнні грашыма [24, арк. 211]. Спрэчкі і канфлікты негатыўна уплывалі на работу ТБА і яго «імідж» сярод польскіх уладаў. З-за арганізацыйнай слабасці і фактычнай недзеяздольнасці, у пачатку 1936 г. ваяводскае ўпраўленне адмовілася фінансаваць таварыства [27, арк. 9]. Пасля гэтага праўрадавы кірунак у беларускім нацыянальным руху фактычна перастаў існаваць.

Нягледзячы на выдаткаванне вялікіх на той час грашовых сродкаў, польскім уладам так і не ўдалося атрымаць значныя палітычныя дывідэнды і стварыць шырокі паланафільскі рух сярод беларускіх эліт Заходняй Беларусі. Разам з гэтым, паланафільскія арганізацыі, падтрыманыя польскімі ўладамі, на палітычнай арэне выступалі практычна супраць усіх беларускіх групаў рознай кіраванасці, што значна перашкаджала кансалідацыі беларускага нацыянальнага руху. Спробы «беларускай санацыі» ў 1930-х гг. перавесці фінансавыя патокі ў рэчышча культуры прынеслі пэўны поспех для шэрагу беларускіх культурных інстытутаў, які, аднак, адразу ж перакрэсліваўся палітыкай ураду па абмежаванні беларускага школьніцтва і культурнага жыцця. Плоцячы за лягальнасць беларусаў, польскія ўлады ў міжваенны перыяд не ўлічвалі таго, што яна павінна была б падмацоўвацца не толькі грашовымі адзінкамі, а рэальнымі зменамі ў ва ўсіх сферах жыцця беларускага народа.

Літаратура

1. Цьвікевіч, А. Адраджэньне Беларусі і Польшча / А. Цьвікевіч. – Менск–Вільня–Берлін : Выдавецкае таварыства «Вызваленне», 1921. – VII. – 191 с.
2. Кароткі нарыс беларускага пытання. – Мінск : Логвінаў, 2009. – 396 с.
3. Гамулка, К. Паміж Польшчай і Расіяй. Беларусь у канцэпцыях польскіх палітычных фарміраванняў (1918–1922) / К. Гамулка – Вільня : Выдавецтва ЕГУ, 2008. – 255 с.
4. Тарашкевіч, Б. Аўтабіяграфія / Б. Тарашкевіч // Спадчына. – 1996. – № 4. – С. 96–132.
5. Czarniakiewicz, A. «Inwestycja w lojalność»: Próby finansowania przez polskie instytucje rządowe białoruskiego ruchu narodowego / A. Czarniakiewicz // Przegląd Wschodni. – 2013. – Tom XII. – Zeszyt 4. – S. 825–862.
6. Латышонак, А. Жаўнеры БНР / А. Латышонак. – Беласток–Вільня : Беларускае гістарычнае таварыства, Інстытут беларусістыкі, 2009. – 366 с.
7. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (IJP). – Zespół : Adiutantura Generalna Naczelnego Wódza. – Teczka 701/2/7.
8. IJP. – Zespół : Adiutantura Generalna Naczelnego Wódza. – Teczka 701/2/24.
9. Krótki zarys historyczny białoruskiego polonofilstwa // Kurjer Wileński. – 1925. – № 183. – S. 2.
10. IJP. – Zespół : Adiutantura Generalna Naczelnego Wódza. – Teczka 701/2/26.
11. Луцкевіч, А. Да гісторыі беларускага руху / А. Луцкевіч. – Вільня–Беласток : Беларускае гістарычнае таварыства, Інстытут беларусістыкі, 2010. – 346 с.
12. Czarniakiewicz, A., Paszkiewicz, A. Kwestia białoruska w planach Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w latach 1919–1923 / A. Paszkiewicz, A. Czarniakiewicz // Przegląd historyczno-wojskowy. – 2011. – № 3. – S. 43–56.
13. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA). – F. 22. – Ap. 1. – B. 42. Доклад о деятельности белорусских буржуазно-националистических организаций и их руководителей в Польше, Литве и странах Западной Европы с приложениями, характеризующими деятельность данных организаций.
14. LCVA. – F. 22. – Ap. 1. – B. 54. Сведения о буржуазно-националистических белорусских партиях и организациях Польши и Литвы.
15. O niepodległą i granice / wstęp, wybór, opracowanie i przygotowanie do druku: Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski. – Warszawa-Pultusk, 2004. – T. 5 : Protokoły Komitetu Politycznego Rady Ministrów, 1921–1926. – 535 с.
16. LCVA. – F. 22. – Ap. 1. – B. 55. Raport w sprawach białoruskich na terenie Litwy Środkowej.
17. Аляхновіч, Ф. У капцюрох ГПУ / Ф. Аляхновіч. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1994. – 283 с.
18. LCVA. – F. 131. – Ap. 3. – B. 468. Akta prokuratora Sądu Okręgowego w Wilnie w sprawie A. Pawlukiewicza i A. Budziłowicza.
19. LCVA. – F. 15. – Ap. 2. – B. 232. Sprawozdania sytuacyjne z życia społecznego i politycznego m. Wilno 1925 r.
20. Ігнатоўскі, У. Каля магілы барацьбіта / У. Ігнатоўскі. – Менск : Беларускае дзяржаўнае выдавецтва, 1927. – 29 с.
21. Рижский мир в судьбе белорусского народа 1921–1953 гг : в 2 кн. / А.А. Коваленя [и др.]. // Нац. акад. наук Беларусі, Ін-т історыі. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – Кн. 1. – 593 с.
22. Копны. Як-жа запраўды будзе выглядаць «Новая Эра» / Копны // Наперад. – 1930. – № 22. – С. 1.
23. Эра. Яшчэ адна – можа апошняя – спроба / Эра // Наперад. – 1930. – № 21. – С. 1.
24. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва (БДАМЛіМ). – Ф. 3. – Воп. 1. – Спр. 270. Дакументы грамадскага суда Р. Астроўскага супраць А. Луцкевіча, У. Самойла, А. Трэпка.
25. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ). – Ф. 242п. – Воп. 1. – Спр. 435. Агляд стану і дзейнасці беларускіх нацыянальна-фашысцкіх групак у Заходняй Беларусі і іншыя матэрыялы па нацыянальнаму пытанню.
26. LCVA. – F. 51. – Ap. 7. – B. 763. Sprawa dotyczące redagowania czasopisma «Rodny kraj».
27. LCVA. – F. 53. – Ap. 23. – B. 2005. Akta w sprawie rejestracji i likwidacji związków i stowarzyszeń (statuty, sprawozdania, protokoły, korespondencja). Towarzystwo Oświaty Białoruskiej.

Проблемы развития сухопутных путей сообщения в деятельности земств Черниговской губернии (конец XIX – начало XX вв.)

С.Б. ЖИХАРЕВ

Показана роль земств Черниговской губернии в развитии путей сообщения в своей губернии. Отмечается, что практически все решения, принимаемые земскими собраниями и касающиеся изменений в местном дорожном хозяйстве, требовали согласования и утверждения на «высочайшем» уровне. Тем не менее по целому ряду проблем хозяйственного характера интересы местной исполнительной власти и органов общественного самоуправления совпадали. В подобных случаях губернаторы поддерживали земские инициативы и выступали заинтересованными ходатаями в высшие правительственные инстанции.

Ключевые слова: земство, губернатор, пути сообщения, Черниговская губерния, земское собрание, железная дорога, капитал, земская комиссия, ходатайство, финансирование.

The role of Chernigov Zemstvo in railroad expansion at its province is considered. It is noted that almost all decisions of Zemstvo assemblies and related changes in the local roads, required the negotiation and approval at the "highest" level. Nevertheless the interests of local executive board and municipal self-government institutions at a series of economical problems coincided. In such cases, the governors supported Zemstvo's initiatives and were concerned intercessors to higher government authorities.

Keywords: Zemstvo, governor, lines of communications, Chernigov province, Zemstvo's board, railroad, capital, Zemstvo's commission, proposition, finance.

В 1864 г. в результате земской реформы в России появилась система местного всеобщего самоуправления. Если распорядительные функции на губернском и уездном уровнях выполняли выборные земские собрания, то исполнительными органами самоуправления в губернии и уезде становились земские управы [1, с. 212–214]. Вместе с тем, власть имела право приостановить постановление или отклонить ходатайство земского собрания «<...> как выходящее из круга ведомства земских учреждений» [2, л. 1]. В данной статье пойдет речь о таком малоизученном направлении деятельности земств в России, как развитие сухопутных путей сообщения (ремонт местных гужевых дорог, строительство подъездных железнодорожных путей). Показана также роль земских учреждений Черниговской губернии по защите общественных интересов в условиях бюрократического противодействия со стороны властных структур.

В 1902 г. к работе приступило межведомственное «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности в России» под председательством С.Ю. Витте. Наряду с разработкой новых принципов сельскохозяйственной политики одним из направлений его деятельности стала подготовка проекта «Устава земских гужевых дорог», известного также как «Закон о местных дорогах». В основе проекта лежала идея полной передачи местных гужевых дорог в ведение земств. Принять участие в разработке документа изъявили желание органы земского общественного самоуправления Черниговской губернии. На сессии Черниговского губернского земского собрания, состоявшейся осенью 1903 г., был заслушан подготовленный земской управой доклад по обозначенной проблеме. Лейтмотив всех выступлений, объединенных общей темой, – это право губернского земского собрания обсудить проект «Закона о местных дорогах» и подготовить свое заключение до того, как он попадет в Государственный совет. Приоритетное право земства на предварительную экспертизу проекта, затрагивающего интересы населения Черниговской губернии, нашло отражение в постановлении земского собрания от 10 декабря 1903 г. [2, л. 6].

Решение гласных вызвало негативную реакцию со стороны местной исполнительной власти. 24 февраля 1904 г. Черниговский губернатор А.Х. Хвостов в официальном письме, адресованном министру внутренних дел по поводу решения земской управы, отмечал, что «находит подобные устремления, выходящими из границ компетенции земских учреждений,

и полагал бы признать таковые неподлежащими удовлетворению» [2, л. 1]. Глава МВД кн. П.Д. Святополк-Мирский не усмотрел в деятельности Черниговского земства ничего противозаконного. В ответном письме, датированном 20 декабря 1904 г., он разъяснял Хвостову, что стремление земских собраний обсуждать и делать заключения по законопроектам, касающимся местных интересов, не вступает в противоречие с «Положением о земских учреждениях» 1864 г. В то же время Мирский подтвердил верховенство Государственного совета над системой местного общественного самоуправления поскольку «заключения земских собраний нужно предварительно внести на уважение Государственного Совета» [2, л. 3].

Министр внутренних дел направил ходатайство Черниговского земского губернского собрания также председателю «Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности». Подобный шаг диктовался существенными изменениями, произошедшими в механизме выработки проекта «Устава земских гужевых дорог». На начальном этапе превалял бюрократический принцип, так как весь объем предварительной работы по подготовке первой редакции текста документа был возложен на Подготовительную комиссию при «Особом совещании». Вскоре стало очевидно, что существуют проблемы, решить которые в Санкт-Петербурге невозможно. Поэтому поступило предложение направить проект «Устава» на заключение местных губернских комитетов «Совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности» во главе с губернаторами. 20 июня 1904 г. Николай II своим указом санкционировал реализацию данной инициативы в 34 губерниях Европейской России, где действовало «Положение о земских учреждениях». В состав губернских комитетов входили председатели и все члены губернских и уездных земских управ. Председатели комитетов наделялись правом приглашать лиц, участие которых в работе признавалось полезным. Губернским комитетам поручалось подготовить свои заключения до 1 января 1905 г. [2, л. 6 об.].

Подобный порядок выработки положений «Устава земских гужевых дорог» не предусматривал передачу его проекта на обсуждение губернских земских собраний. По мнению начальника Главного управления по делам местного хозяйства Министерства внутренних дел С. Гербея, «при таком составе губернских комитетов земский элемент в них представлен весьма сильно, и взгляды земства могут найти себе полное выражение в заключениях комитетов. Вместе с тем, передача проектов непосредственно в земские собрания сильно задержала бы дело» [2, л. 7].

Таким образом, решение МВД означало поражение Черниговского земства. Глава ведомства А.Г. Булыгин в записке, датированной 8 февраля 1905 г., очередной раз напомнил о приоритетности бюрократических интересов над земскими: «данное ходатайство Черниговского губернского земского собрания следует отклонить, так как будет неудобно передавать на обсуждение земских собраний проект положения о местных дорогах до представления его на рассмотрение Государственного совета» [2, л. 8].

Много внимания Черниговское земство уделяло улучшению путей сообщения и проведению новых шоссейных и мощеных дорог в губернии, что было крайне важно для развития сельского хозяйства, торговли и промышленности. Вместе с тем ограниченные финансовые возможности местных представительных учреждений не позволяли обеспечить выполнение необходимых работ в полном объеме. Нехватка средств вынуждала земство обращаться в официальные инстанции за кредитами. Уходили годы, пока ходатайство рассматривалось на всех уровнях властной вертикали вплоть до самого императора. Даже поддержка земских инициатив со стороны губернатора не гарантировала быстрый результат. Так, 6 апреля 1894 г. Черниговское губернское земство направило ходатайство о выдаче ему безвозвратного пособия в размере 68126 рублей 81 копейки на устройство подъездных мощеных путей. Они (пути) должны вести к запланированным к постройке узкоколейным железным дорогам Чернигов-Круты и Конотоп-Пироговка. В Конотопском уезде требовалось также замощение подъезда к станции Дмитровка Либаво-Роменской железной дороги [3, л. 2].

Инициатива земского собрания была одобрена местным губернатором и МВД. Затем данное ходатайство переадресовали в МПС, и лишь 20 октября 1896 г. Департамент шоссейных и водных сообщений МПС рассмотрел и одобрил прошение Черниговского губернского земства. Завершающий аккорд в этой затянувшейся истории поставил Николай II. 19 мая 1897 г. император утвердил разрешение Государственного совета выдать казенное

пособие Черниговскому губернскому земству на устройство подъездных путей в размере 92082 рублей с отчислением от этой суммы 3% на содержание технического надзора [3, л. 1]. Контроль за проводимыми земством работами в Новозыбковском, Мглинском, Борзенском и Сосницком уездах взял на себя начальник 3 сухопутной дистанции Киевской округи. 18 сентября 1897 г. он официально информировал начальника Киевского округа путей сообщений С.М. Романовского о своем согласии возглавить технический надзор [3, л. 11].

Большое значение железнодорожному строительству через свои населенные пункты уделяли уездные земские управы. В 80-е гг. XIX в. земское собрание Стародубского уезда Черниговской губернии во главе с П.И. Скоропадским добивалось в правительственных инстанциях реализации так называемого «южного варианта» (через Стародуб) строительства Гомель-Брянской железнодорожной линии. Несмотря на довольно значительные показатели торгово-промышленной деятельности г. Стародуба, внимательные современники, наблюдавшие за изменениями в хозяйственной жизни своего города, отмечали, что Стародуб в течение XIX в. постепенно утратил лидирующие позиции в украинской торговле [4, с. 295]. К началу XX в. большой объем торговых операций перешел в старообрядческие слободы Стародубья. Вполне возможно, что в условиях неблагоприятной для уездного центра ситуации, П.И. Скоропадский видел в постройке Гомель-Брянской железной дороги через Стародуб фактор, способный придать импульс экономической жизни города и таким образом повысить его конкурентоспособность. Тем более, если учесть, что недалеко находился уездный г. Гомель своими хозяйственными успехами в значительной степени обязанный именно железным дорогам. Однако специальная комиссия по постройке новых железных дорог в России на заседаниях 27 сентября и 25 октября 1884 г. приняла решение строить Гомель-Брянскую линию по кратчайшему варианту, то есть через посад Клиницы Черниговской губернии в обход г. Стародуба [5, л. 8]. Железнодорожное сообщение через Стародуб началось только в XX ст. В 1900 г. узкоколейная железная дорога соединила уездный город со станцией Унеча Полесских железных дорог, а первые поезда на участке Унеча–Стародуб пошли по широкой колее летом 1928 г. [6, с. 15].

Новая и опять безуспешная попытка Стародубского земства добиться проведения железной дороги широкой колеи через свой уезд относится к началу XX в. 3 сентября 1908 года Черниговский губернатор и губернское по земским и городским делам присутствие выступили защитниками интересов Стародубского земства в МПС. Исполнительные структуры Черниговской губернии ходатайствовали о реализации через Стародубский уезд одного из двух проектов инженера Синявского: а) строительство железнодорожного пути от станции Бобрин Московско-Киево-Воронежской железной дороги до станции Почеп Полесских железных дорог или б) строительство акционерным обществом Приднепровских железных дорог линии Херсон–Екатеринослав–Полтава [7, лл. 1–1 об.]. 10 октября 1908 г. технический отдел управления по сооружению железных дорог МПС ответил Черниговскому губернатору, что строительство обозначенных железных дорог на средства частных инвесторов не планируется, а государственное финансирование на эти проекты не распространяется. Исполняющий обязанности министра путей сообщений, учитывая подобные обстоятельства, отклонил ходатайство Стародубского земства [7, л. 2].

В начале XX века правление общества Московско-Киево-Воронежской железной дороги вынашивало идею строительства железнодорожного пути из Прилуки на Нежин, Чернигов и Ново-Белицу. С целью реализации данного проекта в 1902 г. было учреждено строительное управление новых железнодорожных линий общества Московско-Киево-Воронежской железной дороги. В обязанности созданной структуры входила постройка железнодорожной линии Прилуки–Нежин–Чернигов–Ново-Белица. К 1910 г. строительное управление Московско-Киево-Воронежской железной дороги провело изыскания и подготовило проект, запланированной к постройке железной дороги.

На состоявшемся 12 декабря 1910 г. заседании Черниговского губернского земского собрания первым в повестке дня обсуждался вопрос о проведении железнодорожной линии Прилуки–Нежин–Чернигов–Ново-Белица. Председатель собрания А.К. Рачинский озвучил специально подготовленный земской управой доклад по данной проблеме. В выступлении

делался особый акцент на большом экономическом значении названной железной дороги для западной части губернии вместе с г. Черниговом. Автор доклада, председатель губернской земской управы Н.П. Савицкий, писал о значении железнодорожной линии следующее: «строительство спроектированного изысканиями общества Московско-Киево-Воронежской железной дороги пути от Прилук на Нежин, Чернигов и Ново-Белицу является вопросом неотложным как с точки зрения местных, так и общегосударственных интересов» [8, л. 81 об.]. Далее он предлагал «<...> просить господ министров путей сообщения, финансов, земледелия и торговли обратить внимание на вызываемую угнетенным экономическим положением всей губернии неотложность скорейшего разрешения вопроса о сооружении линии Прилуки-Нежин-Чернигов-Ново-Белица» [8, л. 82].

После обсуждения доклада председатель собрания сформулировал проект постановления. Затем проект был поставлен на голосование¹. Черниговское губернское земское собрание единогласно поддержало решение о строительстве железной дороги через эти населенные пункты. Губернской управе поручалось также составить пояснительную записку к проекту постройки железной дороги Прилуки-Нежин-Чернигов-Ново-Белица. Для продвижения принятого решения в Санкт-Петербурге была сформирована депутация. Ходатайствовать от лица Черниговского земства в МПС, Министерстве финансов, Министерстве земледелия и торговли поручили губернским гласным: А.К. Рачинскому, предводителю дворянства Сосницкого уезда графу В.А. Мусин-Пушкину, предводителю дворянства Суражского уезда М.А. Искрицкому, предводителю дворянства Нежинского уезда Ю.Н. Глебову, гласному М.В. Красовскому, гласному А.А. Свечину, гласному П.С. Коробку и председателю губернской земской управы Н.П. Савицкому [8, л. 82].

В начале 1912 г. Черниговское губернское земское собрание приступило к повторному обсуждению проектов строительства железной дороги Прилуки–Нежин–Чернигов–Новобелица и Льво-Днепровской железнодорожной линии [9]. О принципиальной важности этих линий свидетельствует тот факт, что до этого реализацией проекта активно занимались органы городского самоуправления г. Чернигова. Так, 15 декабря 1910 г. Черниговская дума уполномочила городского голову А.В. Верзилова, гласных М.Д. Рудина и А.А. Бакуринского ходатайствовать перед министрами финансов, путей сообщения, торговли и промышленности о строительстве железнодорожной линии Ново-Белица–Чернигов–Нежин–Прилуки. 18 января 1911 г. Черниговская городская управа направила соответствующим министрам ходатайства с подробным указанием причин постройки этой железной дороги. Затем в профильные министерства была представлена подробная записка городской управы с обоснованием причин постройки железнодорожной линии Ново-Белица–Чернигов–Нежин–Прилуки [10, лл. 2–2 об.].

С 1912 г. решением данной проблемы занялись органы общественного самоуправления Черниговской губернии. 21 января 1912 г. местная губернская земская управа обратилась к губернатору с просьбой направить проекты строительства железнодорожных линий Ново-Белица–Чернигов–Нежин–Прилуки и Льво-Днепровской железной дороги в Министерство финансов и на рассмотрение комиссии о новых железных дорогах Министерства путей сообщения [9, л. 1]. 27 января 1912 г. Черниговский губернатор, излагая суть ходатайства местного земства, в своем письме на имя министра финансов писал следующее: «я придаю особое большое значение проекту ввиду той огромной экономической выгоды, которую создаст для местного населения его осуществление. Поэтому всецело поддерживаю ходатайство местного земства» [9, л. 2]. Однако в связи с началом Первой мировой войны акционерное общество Московско-Киево-Воронежской железной дороги, взявшее на себя обязательства по сооружению линии Ново-Белица-Прилуки, отложило ее постройку на 10 лет.

В период довоенного промышленного подъема в России (1909–1913 гг.) органы земского самоуправления инициировали постройку подъездных железнодорожных путей к своим населенным пунктам. Министерство путей сообщения не возражало против сооружения

¹ В голосовании приняли участие: председатель собрания, предводитель дворянства Черниговской губернии А.К. Рачинский, 10 уездных предводителей дворянства, 11 председателей уездных земских управ, 3 члена губернской земской управы и 30 гласных.

«земских» железных дорог, так как их постройка, техническое оснащение и эксплуатация обходились значительно дешевле железнодорожных линий магистрального типа. В свое время оценивавший экономическую эффективность подъездных железнодорожных путей французский инженер Консидерер подчеркивал, что «сумма всех прямых и косвенных доходов, получаемых местным населением от местных железных дорог в 6 раз больше их валового дохода» [11, л. 4].

В 1910 г. Суражское земство приступило к выработке плана устройства подъездного пути от города Суража к станции Унеча Полесских железных дорог. Одновременно с земством реализацией данной идеи занялись суражские предприниматели, подготовившие ходатайство перед Министерством путей сообщения. 19 ноября 1911 г. коммерческая часть управления железных дорог Министерства путей сообщения ответила Черниговскому губернатору, что «вопрос о сооружении Суражского подъездного пути рассмотрен комиссией, которая высказалась за разрешение постройки этого пути на условиях возврата строительной стоимости из провозных плат» [6, с. 16].

Причиной, побудившей земское собрание Суражского уезда заняться необычной для органов местного общественного самоуправления деятельностью, стал провал проекта строительства магистральных железных дорог Льгов-Рига и Брянск-Минск. В ноябре 1910 г. местное земство уполномочило предводителя дворянства Суражского уезда М.А. Искрицкого и генерал-лейтенанта В.Т. Чернявского отправиться в МПС для выяснения вопроса о возможности постройки земством подъездного пути. Министр путей сообщений обещал поддержку земству, если оно обратится в данное ведомство с официальным ходатайством [11, л. 2]. Эта поддержка заключалась в безвозмездном предоставлении земству рельсов, скреплений и подвижного состава. Если полотно железной дороги и все ее сооружения будут выполнены в соответствии с утвержденным МПС техническим проектом и сметой, то с согласия Суражского земства ее эксплуатацию возьмет на себя государство. В таком случае земство может рассчитывать на выплату из эксплуатационных доходов железной дороги компенсации за понесенные в ходе строительства издержки.

14 января 1911 года Суражское уездное земское собрание одобрило проект строительства подъездного пути Унеча–село Красновичи–Сураж на условиях, предложенных МПС. Данное постановление послужило сигналом для соседнего Мглинского уездного земства. 15 января 1911 г. состоялось чрезвычайное заседание местной земской управы по поводу постройки ширококолейного подъездного пути от г. Мглина к будущему разъезду «Красновичи» Суражского подъездного пути [11, л. 1]. Присутствующие вначале заслушали доклад, подготовленный гласным Суражского уездного земского собрания С.И. Клименко, в котором он ознакомил мглинских земских деятелей с проектом постройки железной дороги в своем уезде. Затем мглинские гласные приступили к обсуждению условий строительства местной железной дороги. Большинство депутатов признали, что вариант, предложенный Суражским уездным земством, абсолютно приемлем и постановили принять его за основу.

В дальнейшем Суражское и Мглинское земства рассчитывали объединить свои усилия и действовать консолидированно. Проектируемая линия должна пройти от Унечи к селу Красновичи и оттуда повернуть на Запад к Суражу. Это направление давало возможность соединить центр уезда г. Мглин рельсовым путем с Полесскими железными дорогами. В таком случае в выигрыше остается Мглинское земство, прокладывающее свою линию по ровной местности без крупных рек, оврагов и подъемов. Строительство наиболее дорогого сооружения – моста через реку Унечу длиной 25 саженей – возьмет на себя Суражское земство. По предварительным расчетам общая сумма расходов на постройку подъездного железнодорожного пути составит 160 тыс. рублей или 22 тыс. 400 рублей на одну версту [11, лл. 2–3].

Кроме этих данных гласный, С.И. Клименко представил коммерческую записку, адресованную общему собранию земства Мглинского уезда. В ней он попытался определить доход будущего подъездного пути. Правильный расчет предполагаемой выручки от эксплуатации железной дороги был крайне необходим, чтобы определить сроки, которые потребуются земству для погашения всех видов долговых обязательств, возникших при формировании строительного капитала подъездного пути. По мнению автора записки, земство сможет погасить

весь процентный и беспроцентный долг в течение 16 лет. Основанием этой цифры стал учет экономического потенциала района тяготения будущего подъездного пути и предполагаемых доходов, получаемых земством от эксплуатации железной дороги [11, лл. 3 об.–4].

Клименко предвидел постепенный рост грузооборота вследствие развития торговли и промышленности в Мглинском и Суражском уездах. Он также прогнозировал, что за 16 лет произойдет увеличение грузов на 30 % благодаря позитивным демографическим изменениям в районе. Возле железной дороги возникнут новые торговые и промышленные предприятия, возрастет доходность лесных угодий. Предпринимателей, учреждающих новые заведения, привлечет крайне низкий уровень заработной платы в г. Мглине. Земство сможет получить дополнительные доходы, благодаря повышению размеров земского налогообложения этих предприятий. А доходы жителей близлежащих от подъездного пути населенных пунктов составят 600 рублей в день. Данная сумма учитывает прямые и косвенные преимущества, которыми может пользоваться население, проживающее в районе железнодорожного сообщения. К их числу относятся дополнительные транспортные возможности, рост цен на недвижимость, земельные и лесные угодья, более удобный и дешевый сбыт готовой продукции и многие другие преференции [11, лл. 4–4 об.].

На чрезвычайном заседании, состоявшемся 15 января 1911 г., Мглинское уездное земское собрание решило ходатайствовать в МПС о разрешении на постройку железнодорожного подъездного пути. Строительство линии Мглин – станция Красновичи (примыкает к железнодорожному подъездному пути Сураж–Унеча) должно осуществляться на условиях, изложенных в докладе гласного С.И. Клименко [11, л. 6 об.]. Для детальной проработки этого вопроса была избрана комиссия в составе 7 человек. Ей вменялось в обязанность составить записку о грузообороте подъездного пути, стоимости его сооружения и ожидаемых финансовых результатах. Данный документ должен рассматриваться в МПС и Межведомственной комиссии о новых железных дорогах [11, л. 7 об.]. По поручению земского собрания в Министерство путей сообщений и Главное управление по делам местного хозяйства направлялись гласные Ю.А. Барановский, С.И. Клименко и П.Б. Шимановский. В их обязанности входило ведение переговоров с руководителями этих ведомств о постройке железнодорожного подъездного пути.

4 февраля 1911 г. Мглинская уездная земская управа обратилась за поддержкой к Черниговскому губернатору. Управа надеялась на помощь главы губернии в лоббировании интересов Мглинского уезда в МПС и Главном управлении по делам местного хозяйства [11, л. 1 об.]. Спустя 10 дней губернатор в своем письме, адресованном министру путей сообщений, докладывал, что «постройка железнодорожной линии Мглин – станция Красновичи является в интересах местного населения во всех отношениях крайне желательной и полезной. Со своей стороны я всецело присоединяюсь к вышеизложенному ходатайству» [11, л. 6 об.]. 19 ноября 1911 г. эксплуатационный отдел управления железных дорог МПС уведомил Черниговского губернатора о создании специальной комиссии для детальной проработки вопроса о постройке подъездного пути Мглин-Красновичи. После завершения ее работы ходатайство Мглинского уездного земского собрания будет внесено на рассмотрение межведомственной комиссии о новых железных дорогах в России [11, л. 8 об.]. Комиссия высказалась за разрешение постройки Суражского подъездного пути на условиях возврата строительной стоимости из провозных плат. Осенью 1914 г. началось возведение насыпи от Унечи в сторону Суража и на Хутор-Михайловский. В строительстве железной дороги кроме мобилизованных военно-обязанных из разных местностей России принимали участие выходцы из Средней Азии, специально завезенные китайские рабочие, военнопленные. В 1919 г. закончилось строительство железной дороги до Суража [6, с. 16].

Таким образом, органы общественного самоуправления Черниговской губернии прилагали заметные усилия по развитию путей сообщения на подконтрольной им территории. Вместе с тем, оставаясь безвозмездными и не входя в систему органов государства, местные представительные учреждения находились под контролем губернаторской власти и Министерства внутренних дел. Практически все решения, принимаемые земскими собраниями и касающиеся сколько-нибудь серьезных изменений в местном дорожном хозяйстве, требовали

согласования и утверждения на «высочайшем» уровне. Однако неверно было бы также делать категоричный вывод о том, что губернаторская власть препятствовала деятельности земств. По целому ряду проблем экономического характера (ремонт шоссейных и гужевых дорог, строительство подъездных железнодорожных путей) интересы местной исполнительной власти и органов общественного самоуправления в принципе совпадали. В подобных случаях губернаторы поддерживали земские инициативы и выступали заинтересованными ходатаями в высшие правительственные инстанции.

Литература

1. Земская реформа : Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 г. // Реформы Александра II. – М. : Юрид. лит., 1998. – С. 211–230.
2. По ходатайству Черниговской губернской земской управы о передаче местных дорог в ведение земства // Государственный архив Черниговской области (ГАЧО). – Ф. 145. – Оп. 2. – Д. 86. – 10 лл.
3. Дело о техническом надзоре ведомства путей сообщения по устройству Черниговским губернским земством подъездных путей // Центральный государственный исторический архив Украины (ЦГИА Украины). – Ф. 692. – Оп. 11. – Д. 55. – 115 лл.
4. Поклонский, Д.Р. Стародубская старина. XI–XIX вв. Исторические очерки : в 3 кн. / Д.Р. Поклонский. – Клинтцы : Изд. Клинцовской городской типографии, 2002. – Кн. 2. – 384 с.
5. О постройке Гомель–Брянской железной дороги // Российский государственный военно-исторический архив. – Фонд 400. – Оп. 24. – Д. 798. – 72 лл.
6. Бовтунов, А.Т. «Узел славянской дружбы». Очерк о коллективах предприятий Унечского железнодорожного узла / А.Т. Бовтунов – Клинтцы : Изд. Клинец тип., 1998. – 307 с.
7. По ходатайству Стародубской уездной земской управы о проведении ширококолейной железной дороги через Стародубский уезд // ГАЧО. – Ф. 145. – Оп. 3. – Д. 528. – 4 лл.
8. О рассмотрении вопроса на заседании Черниговского губернского земского собрания о проведении железнодорожной линии Прилуки–Нежин–Чернигов–Ново-Белица. Из журнала засед. от 12 дек. 1910 г. // ЦГИА Украины. – Ф. 1439. – Оп. 1. – Д. 1250. – 119 лл.
9. По ходатайству Черниговского губернского земства об одновременном рассмотрении в Комиссии о новых железных дорогах проектов о сооружении железнодорожной линии (Прилуки–Нежин–Чернигов–Ново-Белица и Льво-Днепровской железной дороги) // ГАЧО. – Ф. 145. – Оп. 3. – Д. 814. – 3 лл.
10. По докладной записке члена Черниговской городской управы А.М. Балыки по вопросу о постройке железнодорожной линии через губернский город Чернигов // ГАЧО. – Ф. 145. – Оп. 3. – Д. 2720. – 16 лл.
11. По ходатайству Мглинского уездного земства о предоставлении права на постройку ширококолейного железнодорожного пути // ГАЧО. – Ф. 145. – Оп. 2. – Д. 484. – 12 лл.

Из истории городского права, правовых семей и сборников средневековой Германии

О.Б. КЕЛЛЕР

Исследуется история трёх компонентов немецкого средневекового права, а именно: истории городского права, правовых семей и правовых сборников. По причине того, что, начиная с XIII в. различные виды этих компонентов нашли применение и оказали своё влияние в странах Центральной и Восточной Европы, в том числе и на белорусских землях (речь идёт о Магдебургском, Кульмском и Ноймаркском городских правах), а также о переводных вариантах «Саксонского Зеркала» («*Speculum Saxorum*» и «*Jus Maideburgense*»), немаловажно ознакомить читателей с истоками этих видов.

Ключевые слова: история появления и распространения немецкого права, трансферт, сфера действия в Центральной и Восточной Европе, городское право, правовые семьи, правовые сборники, Магдебургское городское право, «Саксонское Зерцало».

Three components of the legal system in medieval Germany, i.e. history of urban law, legal 'families' and legal collections are studied. The research problem concerning the fact that various types of mentioned components had a great influence on the local legal systems in the countries of Central and Eastern Europe, including Belarusian regions is introduced. The examples of this influence include the spreading of the Magdeburg, Kulm and Neumark urban laws as well as translation of the Saxon Mirror (the *Speculum Saxorum* and the *Jus Maideburgense*).

Keywords: history of the origin and spreading of German law, transfer, scope and influence of German law in Central and Eastern Europe, urban law, legal 'families', collections of laws, Magdeburg urban law, Saxon Mirror.

Уже в XIII в. мы можем констатировать факт трансферта немецкого права на земли, расположенные к востоку от Германии. Вне всякого сомнения, исследование сферы распространения средневекового немецкого права на землях Центральной и Восточной Европы имеет большое значение. Одно лишь Магдебургское городское право – достояние общего европейского наследия, которое объединяет большую часть современных государств старого континента. Этот феномен, уникальный с точки зрения своего территориального масштаба, долговечности и разнообразного содержания, считается важным фактором, который позволил сформироваться гражданскому самосознанию и самоуправлению в европейских городах, а также сформировал их историческую самобытность. В период Средневековья и Нового времени во многих исторических регионах, расположенных восточнее Германии, были распространены два вида немецкого права: городское право и правовые сборники. Однако не всем известно, что подразумевается под «средневековым городским правом», какие правовые семьи имелись в то время, а также какие книги относятся к средневековым правовым сборникам.

I. Средневековое городское право. XII–XIII вв. – начало периода расцвета городского строя в Европе, а период расцвета городского права приходится на XIII–XV вв. [1, с. 16]. Так же, как и в других европейских странах, городское право сыграло значимую роль и в развитии права средневековой Германии. Действие норм городского права выходило далеко за рамки городов, название которых оно носило.

Когда сформировался институт «городского права»? Исследователь Вильгельм Эбель полагает, что формирование института городского права приходится на XII в. [2, с. 9]. Такова же позиция профессора Герхарда Дильхера, который указывает, что в XII в. в Германии развивается городское право, отличающееся от ещё не записанного Земского права нормами содержания, характером и состоянием развития [3, с. 49]. Немецкий историк права, профессор Карл Крёшель наполняет конкретикой подобные высказывания, отмечая, что в Германии привилегии получали как старые города, так и вновь основанные. К первым относится, например, город Аугсбург (1156). Ко вторым – Фрайбург (1120), Лейпциг (1156/70), Любек (1188, привилегия Барбароссы), Гамбургский Нойштадт (1189) и др. [4, с. 281–282]. Заведующий же кафедры истории права университета имени Мартина Лютера (г. Галле) Хайнер Люк подчёркивает, что несмотря на то, что средненемецкие города уже в XI в. постепенно начинают выделяться из общего правового порядка, городское право начинает контрастировать с ленным правом, как сравнительно самостоятельная группа, лишь с середины XIII в. [5, с. 25]. Нельзя не отметить тот факт, что городские права берут свои истоки из Земского права. Поначалу чёткой дифференциации между Земским и городским

правами не наблюдалось. Примером тому служит известное послание шеффенов города Галле силезскому городу Ноймаркту от 1235 г. Очевидно, что это послание шеффенов города Галле, датированное 1235 г., содержит некоторые положения Земского права [5, с. 25].

Решающую же роль в становлении городского права сыграли, во-первых, торговое право – то есть персональное право купцов, а, во-вторых, рыночное право – то есть специальное право рынка. Новое, городское право выходило за рамки купеческого окружения и стало релевантным для всех проживающих в городе людей [6, с. 679].

Старейшие городские права представляли собой королевские или частновладельческие привилегии. Зачастую они затрагивали сферу городского судоустройства или сферу городских свобод и вольностей. Последние, а именно: городские свободы и вольности охватывали намного больше, чем свободы и вольности торговцев. Нужно чётко представлять, что приток людей в поместья, деревни делал их зависимыми, несвободными. В большинстве же городских прав мы видим, напротив, следующую картину: приезжий ровно через год и один день с начала пребывания в городе уже становился свободным. Землевладелец (помещик) не мог его ни выгнать, ни заставить платить оброк или выполнять барщину. В силу вступал негласный закон-формула «Городской воздух делает свободным» [7].

Наглядным примером служат епископские города, привилегированные Генрихом V в XII в. Абсолютно все жители этих городов, имевшие первоначально различный правовой статус, были привилегированы и освобождены от крепостной зависимости. Кроме того, в привилегиях Генриха V речь шла: 1) о свободном праве наследования; 2) об единой городской юрисдикции и 3) о сословном равноправии в семейном праве. Равноправие плюс освобождение от исполнения личных трудовых повинностей одновременно обеспечивали свободу для права распоряжения собственной рабочей силой. Если господин не мог больше, как раньше, вмешиваться в вопросы, связанные с наследством, то происходило своего рода накопление капитала многими поколениями, а, соответственно, и сначала социальный взлёт своего собственного ремесленного производства, а затем и развитие торговой деятельности, приносящей доход. Для этого нужно было свободное распоряжение местопребыванием, что ранее являлось прерогативой мелкого слоя «королевских» торговых людей [6, с. 679]. Эти специально созданные для горожан вольности и свободы, дарованные многим новооснованным городам с самого начала, предполагали появление бюргерства, объединявшегося в городские общины, и, начиная с 1200 г., создавшего себе свой собственный орган – Городской Совет. Там, где бюргерство объединялось по образцу купеческой гильдии посредством клятвы, распри и насильственные стычки были исключены надолго. Поэтому, можно смело утверждать, что городской мир был более значимым и всеобъемлющим по сравнению с Земским миром или Божьим миром [6, с. 679].

Объединение в городскую общину, городской мир, городские вольности и свободы предполагали интенсивное закрепление права городского населения и, прежде всего, совершенствование уголовного права, а также развитие процессуального права и доказательственного процесса в сравнении с положениями Земского права. Так, например, появилась свобода (вольность), освобождающая от процессуальных формальностей старого делопроизводства, то есть от «*vaue*». Существование на достаточно ограниченной территории предполагало наличие органа, занимающегося соблюдением порядка, то есть своего рода «полиции» (правоохранительного органа). Экономическая жизнь, нацеленная на торговлю, промысел и хозяйственную коммуникацию, равным образом испытывала потребность в нормах, выходящих за рамки рыночного и старого торгового права. К привилегиям, которые даровались городу, вскоре добавилось право объединённого бюргерства или Вилькюр, что означает права нового, созданного автономно, в большинстве своём основанного на присяге горожан. Это новое городское право в узком смысле отличалось от устаревших родового и Земского прав. Причём отличалось оно как по степени действия, так и по своей рациональной степени изменчивости [6, с. 680]. Нуждалось новое право лишь в письменной фиксации своих норм. Подобную письменную фиксацию мы наблюдаем в конце XII – начале XIII вв. Нормы нового права фиксировались либо в форме привилегий короля или городского владельца, как сбора материалов внутреннего характера для конкретного города, либо в форме правовых обращений за разъяснениями дочерним городом к материнскому и, соответственно, ответов материнских города на эти поставленные дочерними городами вопросы [6, с. 680].

Говоря о своего рода отличительных «особенностях» городского права, как одной из областей средневекового права, можно выделить следующие. Известный немецкий историк права Карл Крёшель выделяет 4 особенности средневекового городского права [8, с. 18–25]. Первой отличительной особенностью городского права, с точки зрения Карла Крёшеля, являются индивидуальная свобода городских жителей и их свободное право на недвижимое имущество [8, с. 19]. Второй отличительной особенностью городского права, по мнению Карла Крёшеля, являются письменные фиксации городского права в так называемых привилегиях, его дарующих [8, с. 19]. К третьей отличительной особенностью городского права можно отнести семьи городского права [8, с. 20]. И, наконец, четвёртая отличительная черта городского права – это Конституция или основной закон города. В частности, речь идёт о формировании, начиная с XIII в., городского Совета [8, с. 21].

II. Семьи городского права. Итак, начиная с примерно середины XII в., новое городское право развивается параллельно с выделением коммунальных форм основного закона города (Конституции) на базе торгового права, обычаев, привилегий и автономного его возвышения до уровня правового порядка собственного вида, отличавшегося от Земского права, направленного, как правило, на аграрные отношения. Раннее городское право имело в своей основе старейшее торговое право, актуальное для Фландрии уже в XI в. и известное, как право гильдий. С фландрских земель оно попадает через Кёльн на земли средневековой Германии [6, с. 680].

На юго-западе Германии центрами распространения городского права служили старые епископские города и местечки с рынками; на юго-востоке важную роль в распространении городского права сыграла придунайская торговля. Городское право развивалось здесь или как местное (партикулярное) право одного города, или в рамках одной из семей городского права. Некая унификация была налицо лишь там, где существовала система высших инстанций, либо где можно было констатировать наличие постоянного обращения в суд, хотя и в данном случае могли встречаться отличия. На западе Германии (Аахен, Дортмунд, Франкфурт на Майне, Фрейбург) контакты между дочерними и материнскими городами были не столь масштабными, как на востоке страны. В регионах восточнее Эльбы, где в ходе переселенческого движения осваивались новые земли, одновременно с появлением городского права возникают крупномасштабные взаимосвязи. Как немецкие, так и славянские князья покровительствовали переселенцам и старались наделить потоки фламандско-нидерландского, немецкого, а также славянского населения новым правом, создавая тем самым для них стимул [6, с. 681].

В качестве наиболее известных примеров можно привести Любекское и Магдебургское право. В то время как ядром Любекского права во главе с Советом города Любека являлось право торговое, ядром Магдебургского права во главе с Коллегией шеффенов являлось право рыночное. Кроме того, Магдебургское право представляло собой смешанную систему, в которой нашли своё выражение и формы городской организации, и судоустройство города, и право переселенцев областей, расположенных восточнее Эльбы. Вдобавок к этому можно говорить о пунктах соприкосновения Магдебургского городского права с Земским правом по причине того, что вскоре после записи «Саксонского Зеркала», оно было достаточно тесно связано с ним, а впоследствии и зафиксировано в «Саксонском Вейхбильде» [6, с. 681].

Магдебургское право совместно с «Саксонским Зеркалом» получили действительно широкое распространение. Речь идёт как о Центральной, так и о Восточной Европе. Многие города, городские поселения и даже деревни наделялись Магдебургским правом [9]. Соответственный основатель города даровал своему новому поселению городское право уже существующего города, право которого, с его точки зрения, было направляющим и наиболее приемлемым для его вновь основанного поселения. Так возникли семьи городского права. В большинстве своём материнский город становился высшей инстанцией (оберхофом) для других городов, которые обращались в его за получением ответов в виде разъяснений на какие-то неясные вопросы. В Любеке за данными разъяснениями обращались в Совет. Этот город служил высшей инстанцией по отношению к ганзейским конторам, а также для всех городов с Любекским правом. В Магдебурге за разъяснениями следовало обращаться в Коллегию шеффенов, значение которой стало угасать в XVI в. Магдебург также, как и Любек, являлся высшей инстанцией для очень многих городов. Уже во второй половине XII века многие важные города, расположенные на Эльбе и Заале, такие как Галле, Лейпциг и Стендаль были наделены Магдебургским

правом. Это значит, что термин «магдебургское право» был известен уже давно и встречался в документах XII в. неоднократно [10]. Позднее вышеупомянутые города (Галле, Стендаль, Лейпциг) сами стали выполнять функции высших инстанций для уже других городов. Так, например, Стендаль становится высшей инстанцией для городов Кириц, Витшток, Нойруппин и Фридланд. Город Лейпциг, который в своё время получил право городов Галле и Магдебурга, становится высшей инстанцией (оберхофом) для городов Наумбург, Дрезден, Пирна, Дёбельн, Вурцен, Ошац, Лайсниг, Рохлиц и др. [6, с. 682].

Нельзя не отметить, что помимо немецких городов, ставшими наряду с Магдебургом высшими инстанциями для других городов, в Центральной и Восточной Европе тоже существовали специально созданные для этого оберхофы. В качестве наиболее известных из них следует назвать оберхофы Ноймаркт и Бреслау (Бреславль) – для городов Силезии, Краков – для городов Малопольши, Познань – для городов Великопольши, Лемберг – для городов Галиции и Подолии [6, с. 683].

Немецкие городские права средневекового периода традиционно подразделяются на шесть правовых семей [11, с. 20]. Причём эти правовые семьи самым непосредственным образом связаны с названиями групп населения конкретной исторической области, а именно: Фризии, Саксонии, Франконии, Тюрингии, Швабии и Баварии. Первая правовая семья – **фризская**. Тут же следует упомянуть, что по причине собственного своеобразного хода истории, а также из-за своих морских связей Фризия – историческая область на побережье Северного моря – достаточно рано отчуждается от Германии, а процветающие фризские города оказывают лишь незначительное прямое влияние на сущность немецких городов. Вторая правовая семья – **саксонская**. Она подразделялась на право Вестфалии (Дортмунд, Зёст, Любек и др.), а также право Остфалии и Энгерна (Гослар, Люнебург, Магдебург и др.). Именно отсюда берут истоки немецкие права (Любекское и Магдебургское городские права), получившие распространение во многих странах Центральной и Восточной Европы, в том числе и на белорусских землях. Третья правовая семья – **франконская** (Вормс, Кёльн, Шпейер и др.), четвёртая – **тюрингская** (Айзенах, Нордхаузен, Эрфурт и др.), пятая – **швабская** (Аугсбург, Страсбург и др.) и шестая – **баварская** (Нюрнберг, Регенсбург и др.) [11].

III. Средневековые правовые сборники. В XII – середине XIII вв. в различных странах Европы начинают появляться частные записи права, составленные сведущими в правовых вопросах учёными мужами. Все эти частные записи права, вне всякого сомнения, являлись значимыми источниками, сохранявшими обычное право [12, с. 19].

Налицо частные записи права в данный период времени в Италии – «Кодификация венецианского гражданского права» («*Usus venetorum*»), в Испании – «Фуэросы» («*fueros*»), в Дании – «Ютское право» («*Jydske Lov*»), в Исландии – «Серый гусь» («*Gragas*»), в Норвегии – «Законы Гулатинга и Фростатинга» («*die «Gesetze» des Gulathing und Frostuthing*»). В Англии такие записи именовались «обычаями районов» или «обычаями графств» («*borough customs*», «*county customs*»). В Шотландии они получили название «Законов Четырёх городов» («*Leges quattuor burgorum*»). Во Франции подобные записи назывались «кутюмы» («*coutumier*»). Они представляли собой правовые обычаи некоторых провинций, территорий либо городов средневековой Франции. [12, с. 19].

В регионах, расположенных восточнее Германии, подобные записи права частного характера появились несколько позже, в XIV в. В частности, речь идёт о записях права из Польши – «Свод древнейшего польского права» («*Najstarszy Zwod Prawa Polskiego*») и Богемии – «Книга рожмберская» («*Kniha Rožmberská*») [12, с. 19].

В Германии также налицо традиция записи права частными, сведущими в правовых вопросах, лицами. Эти записи, сделанные в период между 1200 и 1500 гг., немецкие учёные называют «Зерцалами права» («*Spiegel des Rechts*») или «Правовыми сборниками» («*Rechtsbücher*»). Самым значительным немецким средневековым правовым сборником является «Саксонское Зерцало». К дочерним сборникам «Саксонского Зерцала» относятся «Немецкое Зерцало», «Швабское Зерцало» и «Франконское Зерцало». Как «Саксонское Зерцало», так и его многочисленные копии сохранились на разных диалектах, а также были переведены на самые разные языки [12, с. 20].

В первой трети XIII в. к книгам, именуемым «Правовыми Зерцалами», добавляются «Сборники городского права». Учёные полагают, что первым из таких сборников был записан «Правовой сборник города Мюльхаузен». Примерное составление сборника: первая треть XIII в. Все последующие «Сборники городского права» были напрямую или косвенно связаны с «Саксонским Зерцалом». Это, прежде всего, старейшие силезские правовые сборники, а именно: «Правовой сборник города Лёвенберг», «Правовой сборник города Ноймаркт». Это многообразные Магдебургские правовые сборники с возникшими на их основе «Систематизированным шеффенским правом» и дочерними формами из Кульма, Торна, Данцига, Познани, Глогау, Бреслау и др. Это, наконец, «Сборник городского права города Лигниц». «Швабское Зерцало» оказало влияние на «Правовой сборник Рупрехта из Фрейзинга», на «Сборник городского права Вены» и на «Сборник городского права Мюнхена».

В XIV в. к «Правовым Зерцалам» и «Сборникам городского права» добавляются «Книги судопроизводства» и их сателлиты («Цветы права», «Информационное право» и др.), а в XV в. – «Сборники приговоров».

Сообразно вышеизложенному, а также в соответствии с данными, опубликованными в трёхтомнике немецкого учёного Ульриха-Дитера Оппитца в 1990 г., средневековые немецкие правовые тексты и их обработки в самых разных странах мира, можно разделить на следующие шесть групп [12, с. 21–87].

К первой группе «Правовые сборники Земского и Ленного права» («Land- und Lehnrechtsbücher») Ульрих-Дитер Оппитц относит: 1) «Саксонское Зерцало» («Sachsenspiegel»); 2) «Немецкое Зерцало» («Deutschenspiegel»); 3) «Швабское Зерцало» («Schwabenspiegel»); 4) Малое Имперское право («Франконское Зерцало») («Kleines Kaiserrecht» («Frankenspiegel»)); 5) «Земское право Бурга» («Burger Landrecht»); 6) «Штайермаркское Земское право» («Steiermärkisches Landrecht»); 7) «Вилькюр Ципса» («Zipser Willkür») [12, с. 21–45].

Ко второй группе «Сборники городского права» («Stadtrechtsbücher») Ульрих-Дитер Оппитц относит: 1) «Правовой сборник города Мюльхаузен» («Mühlhäuser Rechtsbuch»); 2) Магдебургские правовые сборники («Magdeburger Rechtsbücher»); 3) Собрании изречений шеффенов («Schöffenspruchsammlungen»); 4) «Правовой сборник города Цвиккау» («Zwickauer Rechtsbuch»); 5) «Мейсенский правовой сборник» («Meißner Rechtsbuch»); 6) «Правовой сборник Эльбинга» («Elbinger Rechtsbuch»); 7) Правовые сборники города Эйзенах («Eisenacher Rechtsbücher»); 8) «Сборник городского права города Лигниц» («Liegnitzer Stadtrechtsbuch»); 9) «Правовой сборник Рупрехта из Фрейзинга» («Freisinger Rechtsbuch»); 10) «Сборник городского права Вены» («Wiener Stadtrechtsbuch»); 11) «Сборник городского права Офена» («Ofener Stadtrechtsbuch»); 12) «Правовой сборник города Ноймаркт» («Neumarkter Rechtsbuch»); 13) «Правовой сборник города Лёвенберг» («Löwenberger Rechtsbuch»); 14) «Право шеффенов Берлина» («Berliner Schöffengericht»); 15) «Жилинская книга» («Silleiner Stadtrechtsbuch»); 16) «Правовой сборник города Глогау» («Glogauer Rechtsbuch»); 17) «Правовой сборник города Зальцведель» («Salzwedeler Rechtsbuch») [12, с. 46–63].

К третьей группе «Книги судопроизводства» («Rechtsgangbücher») Ульрих-Дитер Оппитц относит: 1) «Рихтштайг «Земского права»» («Richtsteig Landrechts»); 2) «Рихтштайг «Ленного права»» («Richtsteig Lehnrechts»); 3) «Каутела и Премис» («Cautela und Premis»); 4) «Цветок Магдебурга» («Blume von Magdeburg»); 5) «Цветок «Саксонского Зерцала»» («Blume des Sachsenspiegels»); 6) «Мудрость «Ленного права»» («Weise des Lehnrechts»); 7) «Информации Дитриха фон Боксдорфа» («Informaciones (domini ordinarii) des Dietrich von Bocksdorf»); 8) «Информация из «Саксонского Зерцала»» («Informacio ex speculo Saxonum»); 9) «Судебный персонал» («Vaculus iudicii»); 10) «Сборники приговоров» («Femrechtsbücher»); 11) «Отрывок о части наследства, представляющей собой съестные припасы» («Stück von Musteil»); 12) «Трактат «О денежном штрафе геведде»» («Traktat «Von gewedde»»); 13) «Вопрос об юрисдикции слуг» («Quaestio de iurisdictione servi»); 14) «Порядок определения степеней родства» («Die Regeln der Sippszahl»); 15) «Отрывок об улике» («Stück von der Beweisung») [12, с. 64–71].

К четвёртой группе «Глоссы» («Glossen») Ульрих-Дитер Оппитц относит: 1) «Глосса к Земскому праву «Саксонского Зерцала»» («Glosse zum Sachsenspiegel-Landrecht»); 2) «Глосса к Ленному праву «Саксонского Зерцала»» («Glosse zum Sachsenspiegel-Lehnrecht»); 3) «Глосса к «Вейхбильду»» («Glosse zum Weichbild») [12, с. 72–76].

К пятой группе «» («Sammelwerke»), с точки зрения Ульриха-Дитера Оппитца, следует отнести: 1) «Соединение многих правовых сборников» («Verbindung mehrerer Rechtsbücher»); 2) «Аббедарии» («Abecedarien»); 3) «Ремиссории» («Remissorien»); 4) «Вокабулярии» («Vokabularien») [12, с. 77–80].

И, наконец, к шестой и последней группе «Различные городские права» («Verschiedene Stadtrechte»), по мнению Ульриха-Дитера Оппитца, можно причислить: 1) «Городское право Венского Нойштадта» («Stadtrecht von Wiener Neustadt»); 2) «Сборник городского права города Прессбург» («Pressburger Stadtrechtsbuch»); 3) «Сборник городского права города Фрайберга» («Freiberger Stadtrechtsbuch»); 4) «Сборник городского права города Франкенберг» («Frankenberger Stadtrechtsbuch»); 5) «Правовой сборник Брюнна» (также: «Сборник шеффенских приговоров города Брюнна» («Brünner Rechtsbuch (auch: Brünner Schöffnenbuch»)); 6) «Городское право Гослара» («Stadtrecht von Goslar»); 7) «Городское право Аугсбурга» («Stadtrecht von Augsburg»); 8) «Городское право Мюнхена» («Stadtrecht von München»); 9) «Правовой сборник города Бриель» («Rechtsbuch von Briel»); 10) «Городское право Петтау» («Stadtrecht von Pettau (Ptuj)/Drau»); 11) «Правовой сборник города Херфорд» («Rechtsbuch der Stadt Herford»); 12) «Книга Рудольфа» («Rudolfsbuch») [12, с. 81–86].

Литература

1. Рогачевский, А.Л. «Меч Роланда». Правовые взгляды немецких горожан XIII–XVII вв. / А.Л. Рогачевский. – СПб. : Издательство С.-Петербургского университета, 1996. – 156 с.
2. Ebel, W. Deutsches Recht im Osten : Sachsenspiegel, Lübisches und Magdeburgisches Recht / W. Ebel. – Kitzingen : Holzner, 1952. – 27 s.
3. Dilcher, G. Landrecht-Stadtrecht-Territoriales Recht / G. Dilcher // Statuten, Städte und Territorien zwischen Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland / Hrsg. : G. Chittolini, D. Willoweit. – Berlin, 1992. – S. 49–52.
4. Kroeschell, K. Recht und Rechtsbegriff im 12. Jahrhundert / K. Kroeschell // Studien zum frühen und mittelalterlichen deutschen Recht. – Berlin, 1995. – S. 277–309.
5. Lück, H. Sachsenspiegel und Magdeburger Recht: europäische Dimensionen zweier mitteldeutscher Rechtsquellen / H. Lück. – Hamburg : Adiuvat, 1998. – 65 s. – (Adiuvat in itinere; V).
6. Lieberwirth, R. Stadtrecht-Stadtrechtsfamilien-Hansisches Recht. Unter besonderer Berücksichtigung des Magdeburger Rechts / R. Lieberwirth // Vertrauen in den Rechtsstaat. Beiträge zur deutschen Einheit im Recht. Festschrift für Walter Remmers. – Köln, 1995. – S. 677–685.
7. Schütze, P. Die Entstehung des Rechtssatzes : Stadtluft macht frei / P. Schütze. – Berlin : Verlag von E. Ebering, 1903. – 116 s.
8. Kroeschell, K. Stadtrecht und Landrecht im mittelalterlichen Sachsen / K. Kroeschell // Der sassen speyghel; 1 ; Beiträge und Katalog zu den Ausstellungen Bilderhandschriften des Sachsenspiegels. – Niederdeutsche Sachsenspiegel und Nun vernehet in Land und Stadt. – Oldenburg, Sachsenspiegel, Stadtrecht: Ausstellung in d. Landesbibliothek Oldenburg, im Stadtmuseum Oldenburg, 15. Jan. bis 2. Apr. 1995 / Hrsg. von Egbert Koolman u.a. – Oldenburg : Isensee, 1995. – S. 17–32.
9. Lieberwirth, R. Das sächsisch-magdeburgische Recht als Quelle osteuropäischer Rechtsordnungen / R. Lieberwirth. – Berlin : Akad.-Verl., 1986. – 34 s. – (Sitzungsb. der Sächsischen Akad. der Wiss. zu Leipzig. Philol.-hist. Kl. ; Bd. 127, H. 1).
10. Lieberwirth, R. Das Privileg des Erzbischofs Wichmann und das Magdeburger Recht / R. Lieberwirth. – Berlin : Akad.-Verl., 1990. – 28 s. – (Sitzungsb. der Sächsischen Akad. der Wiss. zu Leipzig. Philol.-hist. Kl. ; Bd. 130, H. 3).
11. Gaupp, E.T. Deutsche Stadtrechte des Mittelalters. 2 Bände in einem Band. Neudruck der Ausgabe Breslau 1851-52 / E.T. Gaupp. – Aalen : Scientia Verlag, 1966. – 274 s.
12. Oppitz, U.-D. Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters. Band I. Beschreibung der Rechtsbücher / U.-D. Oppitz. – Köln u.a. : Böhlau Verlag, 1990. – XVII. – 325 s.

Течения русской монархической эмиграции в Германии в 1920-е годы

О.В. МАРЧЕНКО

Впервые в отечественной историографии рассматривается деятельность русских эмигрантских монархических течений в Германии в 1920-е гг. Анализируются воззрения эмигрантов-монархистов относительно будущей формы государственно-политического устройства России и перспектив дальнейшего развития её экономики. Особое внимание уделяется рассмотрению тактических форм борьбы русских монархистов с Советской властью, а также влиянию различного рода факторов на снижение их активности в Германии.

Ключевые слова: монархисты, эмиграция, Германия, Советская власть, Советская Россия.

The activities of the Russian emigrant monarchist currents in Germany in the 1920 s are examined for the first time in the historiography of our country. The views of immigrants-monarchists on the future form of state-political system in Russia and prospects for further development of its economy are analyzed. Special attention is given to consideration of tactical forms of struggle of Russian monarchists with the Soviet power. The influence of different factors on reduction of their activity in Germany is examined.

Keywords: monarchists, emigration, Germany, Soviet power, Soviet Russia.

В Германии в начале 1920-х гг. функционировали различные по своей идейной направленности политические центры русской эмиграции. Её правый лагерь был представлен сторонниками возрождения монархии в России, которые стали с конца 1920-х гг. тесно сотрудничать с военными, входившими в состав «Русского общевойскаского союза» (РОВС) в зарубежье.

Деятельность русских монархистов в Германии поверхностно рассматривалась в работах советских историков: В.В. Комина [1], Л.К. Шкаренкова [2], Г.З. Иоффе [3] и др. Они акцентировали своё внимание на становление организационной структуры и специфику их взаимоотношений с антисоветскими политическими центрами в данной стране. При этом советскими авторами были фрагментарно проанализированы такие важные аспекты, как сущность идеологических доктрин, особенности тактических форм борьбы с Советской властью, внешнеполитическая ориентация различных русских эмигрантских монархических течений, функционировавших в Германии в изучаемый период. В российской историографии эмигрантам-монархистам посвящены труды Н.В. Антоненко [4], Е.И. Тимонина [5], статья Ю.Н. Емельянова [6] и др. Отмеченными выше авторами были изучены идеологические доктрины некоторых монархических течений в Германии, особенности их взаимодействия со своими идейными соратниками в других государствах Европы. Но в то же время ими не в полной степени были освещены меры по экономическому возрождению России после ликвидации Советской власти, предлагаемые монархистами-легитимистами, а также тактические формы борьбы представителей правого лагеря в данной стране. Содержательный фактологический материал о деятельности русских монархистов в Германии приводится в трудах таких немецких исследователей, как Г.Э. Фолькман [7] и С. Доденхейф [8].

Целью данной статьи является выявление особенностей становления и эволюции идеологических доктрин, тактических форм борьбы с Советской властью, внешнеполитической ориентации эмигрантских монархических течений в Германии в 1920-е гг.

На территории Германии в начале 1920-х гг. образовался ряд монархических организаций, среди которых особо выделялась группа, возглавляемая Н.Е. Марковым II. Её представители развернули активную деятельность по привлечению в свои ряды офицеров, чиновников, общественных деятелей, оказавшихся в эмиграции. Также ими были предприняты попытки установления тесных контактов с представителями русских монархических кругов в других европейских странах. Официальным печатным органом данной группы являлся журнал «Двуглавый орёл» Между русскими и германскими монархистами, среди которых были такие видные фигуры, как генералы М. Гофман и Э. Людендорф, были установлены тесные политические связи [9, с. 456–457].

Заметную роль среди русских монархических группировок в Германии играла организация «Союз верных». Возникнув на территории Эстонии в годы гражданской войны, она в скором времени перенесла свою деятельность в Германию, куда эмигрировало большинство её членов. При этом в состав данной организации входили все члены группы Н.Е. Маркова II, которые полностью контролировали её деятельность [9, с. 456].

Таким образом, русским монархистам в Германии в начале 1920-х гг. в короткие сроки удалось создать разветвлённую организационную структуру. Однако в их рядах не наблюдалось единства. Идеолог русского монархического движения Г. Лукьянов отмечал, что среди сторонников возрождения монархии в России возник раскол на консерваторов, которые отошли от дел, и деятелей, принимавших активное участие в политической жизни [10, с. 4–5].

В 1921 г. русским монархистам в Германии удалось объединить свои ряды путём создания «Российского монархического объединения» (РМО). В уставе данной организации отмечалось: «Русское монархическое объединение не партия и не политический союз, а организация, стремившаяся объединить возможно шире монархические течения всех оттенков, признающих принцип легитимной монархии, для совместной работы по воссозданию России на основах данного принципа» [11, с. 24–25]. РМО выступило с программным обращением, на основе которого должно было произойти объединение всех монархических сил русского зарубежья. В нём отмечалось, что восстановление монархии – это единственный путь спасения России [11, с. 27].

Деятели русской монархической эмиграции в Германии развернули активную деятельность по созыву съезда всех русских монархических организаций за рубежом. Бурную активность по подготовке данного форума проявил Н.Е. Марков II. Финансовую помощь русским монархистам оказали представители немецких правых кругов через посредство общества «Ауфбау», возглавляемого Максом Эрвином фон Шейбнер-Рихтером [9, с. 459]. Он был тесно связан с германскими национал-социалистами и свою главную задачу видел в объединении их усилий со сторонниками возрождения монархии в России в борьбе с Советской властью.

Консолидация рядов представителей русского монархического движения в эмиграции и разработка его программы произошла на съезде хозяйственного восстановления России в баварском городе Рейхенгалле в мае 1921 г. Приверженцы восстановления монархии отчётливо осознавали, что реставрация прежних порядков в стране невозможна и необходимы меры, которые в будущем изменят её облик [12, с. 17].

В программе отмечалось, что «единственный путь к возрождению великой, сильной и свободной России – есть восстановление в ней монархии, возглавляемой законным государем из дома Романовых, согласно основным законам Российской империи» [13, с. 7]. Среди монархистов не существовало единства взглядов по поводу формы будущей монархии в стране. Чтобы не допустить раскола, в программе съезда было отмечено: «Приветствуя объединения различных течений монархической мысли и не считая себя в праве за рубежом России, предопределять будущие формы государственного устройства Империи Российской, съезд полагает, что вернейший залог благоденствия, силы и самого бытия России заключается в действенном единении царя со своим народом...» [13, с. 8].

Монархисты после ликвидации большевизма в России придавали большое значение развитию органов местного самоуправления. Они должны были получить более широкие полномочия в области законодательства, управления и суда [13, с. 8]. Идеологи русского монархизма заявляли, что восстановление народного хозяйства России необходимо производить только на основе рыночных отношений. При этом ими декларировалось сохранение права частной собственности и обеспечение свободы торговли. В области промышленности приоритет отдавался развитию частного сектора. Значимое внимание на съезде было уделено и решению аграрного вопроса. В программе отмечалось, что русскому народу чужды социалистические формы землевладения и только единоличное владение землёй на правах частной собственности может привести к сельскохозяйственному прогрессу. При этом крестьянство рассматривалось русскими монархистами в качестве главного политического союзника, так как оно, по их мнению, являлось основным носителем монархических традиций [13, с. 9]. Следует отметить, что в программе сторонников возрождения монархии в России совершенно не учитывались интересы рабочего класса страны, составлявшего значимую часть её населения.

На съезде в Рейхенгалле произошло избрание «Высшего монархического совета» (ВМС), являвшегося постоянным руководящим органом с неограниченными полномочиями, которому подчинялись все русские монархические структуры в зарубежье. Организацию возглавил Н.Е. Марков II, а его заместителем стал архиепископ Евлогий. Помимо них, с состав руководства ВМС вошли князь А.А. Ширинский-Шихматов, А.М. Масленников, барон М.А. Таубе, митрополит Антоний [9, с. 462–463].

Большое значение на этом съезде было уделено разработке тактики борьбы с Советской властью. Данному аспекту посвятил свой доклад В. Соколов-Бараньский. Он подчеркивал, что монархисты должны активно взаимодействовать с антисоветскими кругами как за рубежом, так и непосредственно внутри самой России. Сторонники возрождения монархии были готовы воспользоваться услугами различных религиозных, политических и общественных организаций Западной Европы и отдельных националистических группировок бывшей Российской империи в эмиграции в ликвидации советского строя [14, сс. 13, 18]. Основными способами свержения Советской власти признавались интервенция и выступления, подготовленные силами внутренней контрреволюции в самой России [14, с. 20].

Большие надежды в ликвидации советского строя русские монархисты возлагали на помощь европейских государств. Т. Локоть, опровергая обвинения в германофильской ориентации съезда, писал: «Русские монархисты – реальные политики, а потому они в такой мере германофилы, как и англофилы, и франкофилы и какие угодно «филы» – в действительности они – только русофилы, только интересы России являются истинным центром внешней политики, та внешнеполитическая комбинация, которая в наилучшей мере будет полезна в деле восстановления разрушения революционной России, фактически и определит их международную ориентацию» [15, с. 36].

Однако приоритет отдавался ими Германии. Идеолог русского монархического движения В. Ярославов в период, предшествующий Рейхенгалльскому съезду, отмечал, что для немецкого правительства существует только один путь – это путь оказания помощи русской монархии [16, с. 11].

После Рейхенгалльского съезда 1921 г. русские монархисты попытались объединить под своей эгидой все эмигрантские антисоветские силы. Но создание единого фронта происходило с большими затруднениями. Это было связано с тем, что монархисты отвергали своё сотрудничество практически со всеми основными политическими центрами русской эмиграции в Германии. Особую ненависть они испытывали к партиям её левого лагеря, являвшимся главными виновниками крушения старых порядков в России [17, с. 9–10]. Также они исключали какие-либо контакты и с кадетами в Германии, так как последние не исключали возможности воссоздания республики как будущей формы государственно-политического устройства России после ликвидации Советской власти [18, с. 37]. Своего единственного стратегического партнёра в борьбе с Советской властью монархисты видели в Русской армии в изгнании, представители которой в силу традиций, по их мнению, должны были придерживаться идеи монархии [19, с. 40–41].

Но, тем не менее, формирование будущего союза между ними происходило с большими затруднениями. Эмигрантов-монархистов не устраивала позиция руководства Русской армии в изгнании, запрещавшего своим офицерам принимать участие в политической деятельности. Ими был взят курс на создание монархической организации среди офицерского состава структур, подчинённых П.Н. Врангелю в Германии. Это вызвало протесты со стороны руководства Русской армии в изгнании [9, с. 448]. Но это никоим образом не повлияло на позицию монархистов. В своей беседе с сенатором Н.Н. Чебышевым глава ВМС Н.Е. Марков II заявил следующее: «Армия должна идти под монархическим знаменем. Если Врангель не согласится – он будет устранён» [20, с. 18]. Чтобы спасти её от раскола, П.Н. Врангель был вынужден пойти на сотрудничество с русскими монархистами, поскольку его ближайшие сподвижники имели одинаковые с ними воззрения. Также его привлекало и то, что у сторонников реставрации монархии существовали тесные контакты с германскими политическими кругами, которые он рассчитывал использовать в своих интересах [9, с. 36–38].

Но главным стержнем, способствовавшим консолидации рядов структур, подчинённых П.Н. Врангелю и ВМС, являлась общая ненависть к Советской власти. Он писал позднее сенатору В.В. Чебышеву: «Что же касается сохранения добрососедских отношений с ВМС, то я никогда не давал повода к нарушению таких отношений, неоднократно заявляя, что готов работать со всеми, кто целью свое ставит свержение большевистской власти и создание не социалистической России» [20, с. 14]. Несмотря на неприятие монархистами позиции «непредрешенства», которой впоследствии придерживался РОВС, возникший на основе Русской армии в изгнании, между ними и русскими военными в дальнейшем было установлено тесное взаимодействие.

После проведения Рейхенгалльского съезда в Германии продолжился процесс возникновения монархических организаций, создававшихся выходцами из России. Так, на русском народно-учредительном съезде, состоявшемся в Берлине 25 марта 1922 г., была образована немногочисленная по своему составу, но достаточно влиятельная среди сторонников правого лагеря группа конституционалистов-монархистов. Она вошла в общемонархическое объединение, созданное на съезде в Рейхенгалле, и ориентировалась на союз с русскими военными, возглавляемыми генералом П.Н. Врангелем. Лидерами данного течения являлись бывшие кадеты Е.А. Ефимовский и А.М. Масленников [6, с. 120–121]. Также в состав группы конституционалистов-монархистов входили такие известные фигуры в эмиграции, как В.В. Бискупский, барон М.А. Таубе, М.И. Горемыкин и др. [1, с. 39]. Её печатным органом была газета «Грядущая Россия», ставшая выходить с сентября 1921 г., но в скором времени прекратившая своё существование.

В качестве будущей формы государственно-политического устройства России Е.А. Ефимовский, А.М. Масленников и их соратники рассматривали конституционную монархию, возглавляемую династией Романовых. При этом верховная власть должны была принадлежать царю, исполнительная – правительству, а законодательная – разделяться между монархом и парламентом [1, с. 38–39]. Идеологи конституционалистов-монархистов ратовали за восстановление великой и неделимой России с исключением из её состава Финляндии и Польши. Большое внимание ими уделялось развитию органов местного самоуправления с приданием им широких полномочий в области законодательства, суда и др. [4, с. 117].

Дальнейшее развитие народного хозяйства в России после ликвидации советского строя представители данного течения планировали осуществить на основе реставрации капитализма. Они являлись приверженцами восстановления права частной собственности, свободы торговли, невмешательства государства в регулирование экономических процессов. В области промышленности отдавался приоритет развитию частного сектора. Что же касается области аграрных отношений, то здесь делалась ставка на индивидуальное крестьянское хозяйство капиталистического типа. При этом конституционалисты-монархисты гарантировали закрепление за крестьянами земли на правах частной собственности [4, сс. 153, 159]. Е.А. Ефимовский, А.М. Масленников и их последователи гарантировали представителям рабочего класса России создание новых рабочих мест, улучшение условий их труда и быта [4, с. 170].

Тактические формы борьбы конституционалистов-монархистов не отличались разнообразием и были полностью идентичны с озвученными на Рейхенгалльском съезде. Реализацию своих планов представители данного течения связывали с Германией, а затем, оказавшись во Франции, с её правительственными кругами [7, с. 92].

Однако единство сил, достигнутое на Рейхенгалльском съезде, оказалось недолговечным. Свои права на российский престол предъявил великий князь Кирилл Владимирович. Его решение вызвало бурю негодования у русских монархистов, поскольку согласно законодательству Российской империи о престолонаследии, он не должен был вступать в брак с лютеранкой. К тому же приверженцы монархии не могли простить великому князю Кириллу Владимировичу красного банта, прикреплённого к его морской офицерской форме, с которым он пришёл на заседание Государственной думы после событий Февральской революции. Они отдавали предпочтение другому претенденту на российский престол. Утвердиться на нём, по мнению русских монархистов, должен был великий князь Николай Николаевич.

В это время развернули бурную активность сторонники великого князя Кирилла Владимировича, действовавшие главным образом в Баварии. Среди них были такие известные фигуры в среде русской эмиграции в Германии, как генерал В.В. Бискупский и граф А.А. Бобринский. Приверженцы Кирилла Владимировича создали в Мюнхене «Русский легитимный монархический союз».

С 1923 г. они стали издавать газету «Вестник русского монархического объединения в Баварии» [3, с. 285–286]. О своём подчинении Кириллу Владимировичу объявили младороссы, а также ряд монархических организаций, действовавших на территории различных европейских государств. Легитимисты пытались создать под своей эгидой единый эмигрантский фронт в Германии, направленный против Советской власти. Однако в силу принципиальных идейных разногласий ими исключалось взаимодействие с большинством русских политических центров, функционировавших в данной стране. В качестве главного союзника легитимисты рассматривали Русскую армию в изгнании, возглавляемую генералом П.Н. Врангелем. Но её руководство придерживалось позиции «непредрешенства» в отношении будущего государственного строя России и исключало различного рода контакты с ними, склоняясь при этом к поддержке великого князя Николая Николаевича. Также легитимистами было установлено тесное сотрудничество с представителями немецкой монархической и набиравшей силу национал-социалистической партий [21, с. 81–82].

Свои политические воззрения великий князь Кирилл Владимирович изложил в интервью одному из швейцарских изданий в 1925 г. Он считал, что будущее России – это восстановление в ней конституционной монархии. Кириллом Владимировичем гарантировалось соблюдение личных прав и свобод граждан, равенство религий и национальностей в России. В качестве социальной опоры монархии рассматривались крестьяне и казаки как носители традиционных монархических воззрений. Восстановление народного хозяйства России планировалось осуществить на основе капитализма при сохранении права частной собственности. При этом полностью исключалось вмешательство государства в регулирование экономических процессов. Основная роль в промышленности отводилась частному сектору. Но в то же время Кириллом Владимировичем не были предложены меры по разрешению аграрного вопроса [8, с. 187–188]. В 1927 г. им была обнародована новая программа, в которой предусматривалось восстановление монархии при сохранении такого элемента новой государственной системы, как Советы. Их состав планировалось формировать из беспартийных политиков и представителей профсоюзов. Советы предполагалось созывать нерегулярно. Их решения должны были носить совещательный характер, а вся полнота власти принадлежала бы монарху. Провозглашалось восстановление великой и неделимой России с предоставлением одним национальным территориям управленческой самостоятельности, другим – автономии, а третьих предполагалось включить в состав империи на принципе федерации [4, с. 124]. В программе 1927 г. Кирилл Владимирович уделил более пристальное внимание решению аграрного вопроса. Им гарантировалось сохранение за крестьянами земли, полученной в годы революции, а бывшим же владельцам она должна была предоставляться в других местах [8, с. 188]. Основным приоритет легитимисты отдавали развитию индивидуального крестьянского хозяйства, функционировавшего на рыночной основе, допуская при этом сохранение большинства колхозов [4, с. 156–157]. В отношении рабочего класса России великий князь Кирилл Владимирович гарантировал создание социального законодательства и введение 8-часового рабочего дня [8, с. 188].

Тактика борьбы легитимистов с Советской властью имела свои особенности. Её свержение планировалось осуществить путём проведения внутреннего переворота. Легитимисты придавали большое значение антисоветской пропаганде, а также подготовке агентуры, которая, проникнув на территорию СССР, должна была совершать различного рода диверсии. Через приграничные страны ими производилась доставка литературы с целью популяризации идей данного движения среди местного населения [21, с. 88]. Легитимисты возлагали большие надежды на поддержку Германии в борьбе с большевиками.

Как показал дальнейший ход развития исторического процесса, планам сторонников возрождения монархии в России не суждено было сбыться. Экономический кризис 1923–1925 гг., охвативший Германию, вынудил основную массу эмигрантов-монархистов покинуть её пределы. Немецкие власти были всерьёз обеспокоены их активным вмешательством во внутренние дела страны. Об этом свидетельствовали факты участия офицеров-монархистов в капповском путче 1920 г. и в «пивном путче» 1923 г. в Баварии [3, сс. 268, 288]. Для обеспечения безопасности государства германским правительством были приняты меры по их высылке за пределы страны. Однако главным фактором снижения активности русских монархистов в Германии являлось сближение её с Советской Россией в рамках Рапалльского процесса. Он способствовал развитию взаимовыгодного сотрудничества обеих стран в военной и экономической сферах.

Таким образом, в начале 1920-х гг. эмигранты-монархисты в Германии представляли серьёзную опасность для Советской власти. Объединив ряды своих сторонников за рубежом на Рейхенгалльском съезде, они так и не смогли в силу идейных расхождений и внутренних раздоров создать единый антисоветский эмигрантский фронт. Только приверженцам великого князя Николая Николаевича и конституционалистам удалось установить тесное взаимодействие с русскими военными, возглавляемыми П.Н. Врангелем. Представители правого лагеря в качестве будущей формы государственно-политического устройства России рассматривали монархию. Сторонники великого князя Николая Николаевича ориентировались на воссоздание абсолютной монархии, а легитимисты – на её сочетание с советской системой Советов. Конституционалисты отдавали предпочтение конституционной монархии. Монархисты планировали осуществить возрождение народного хозяйства России на основе рыночных отношений. В области промышленности отдавался приоритет частному сектору. Что же касается аграрных отношений, то делалась ставка на индивидуальное крестьянское хозяйство, но при этом легитимисты допускали возможность сохранения колхозов. Свержение Советской власти сторонники великого князя Николая Николаевича и конституционалисты планировали осуществить путём интервенции и выступлений внутренней контрреволюции в России. Легитимисты ориентировались на подготовку и осуществление внутреннего переворота с участием антисоветских элементов. Главные надежды на свержение советского строя монархисты возлагали на Германию. Однако влияние внутривнутриполитических и внешнеполитических процессов, основным из которых являлось развитие добрососедских советско-германских отношений в рамках Рапалльского процесса, способствовало краху их планов.

Литература

1. Комин, В.В. Политический и идейный крах русской мелкобуржуазной контрреволюции за рубежом : учеб. пособие : в 2 ч. / В.В. Комин. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1977. – Ч. 1. – 120 с.
2. Шкаренков, Л.К. Агония белой эмиграции / Л.К. Шкаренков. – 3-е изд. – М. : Мысль, 1987. – 236 с.
3. Иоффе, Г.З. Крах российской монархической контрреволюции / Г.З. Иоффе. – М. : Наука, 1977. – 320 с.
4. Антоненко, Н.В. Идеология и программатика русской монархической эмиграции / Н.В. Антоненко. – Мичуринск : Изд-во Мичурин. гос. аграр. ун-та, 2007. – 204 с.
5. Тимонин, Е.И. Исторические судьбы русской эмиграции (1920–1945-е гг.) / Е.И. Тимонин. – Омск : Изд-во СибАДИ, 2000. – 290 с.
6. Емельянов, Ю.Н. Монархическое движение и монархические организации русской эмиграции (1920-е – середина 1930-х годов) / Ю.Н. Емельянов // История и историки : Историографический ежегодник : сб. ст. / Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории; под ред. А.Н. Сахарова. – М., 2003. – С. 108–141.
7. Volkmann, H.-E. Die russische Emigration in Deutschland. 1919–1929 / H.-E. Volkmann. – Würzburg : Hoizner, 1966. – 154 s.
8. Dodenhoeft, S. «Last mich nach Russland heim». Russische Emigranten in Deutschland von 1918 bis 1945 / S. Dodenhoeft. – Frankfurt am Main [etc.] : Lang, 1993. – 338 s.
9. Русская военная эмиграция 20-40-х годов : док. и материалы / Ин-т истории М-ва обороны Рос. Федерации ; сост.: И.И. Басик [и др.] ; редкол. : Золотарев [и др.]. – М. : Гея, 1998. – Т. 1 : Так начиналось изгнание, 1920–1922. – Кн. 2 : На чужбине. – 751 с.
10. Лукьянов, Г. Наши задачи / Г. Лукьянов // Двуглав. орёл. – 1921. – 4 вып. – С. 4–12.
11. Проект Устава Российского монархического объединения в Германии // Двуглав. орёл. – 1921. – 5 вып. – С. 24–29.
12. О задачах съезда // Двуглав. орёл. – 1921. – Вып. 10. – С. 12–29.
13. Основные положения, принятые съездом хозяйственного восстановления России в Рейхенгалле (Бавария) с 16 по 24 мая (ст. ст.) 1921 г. // Двуглав. орёл. – 1921. – Вып. 9. – С. 7–10.
14. Соколов-Бараньский, В. Доклад по основам тактики и организации Монархического Движения / В. Соколов-Бараньский // Двуглав. орёл. – 1921. – Вып. 11. – С. 14–22.
15. Локоть, Т. Германия и монархическая Россия / Т. Локоть // Двуглав. орёл. – 1921. – Вып. 16. – С. 34–38.
16. Ярославов, В. К истории русско-германских отношений / В. Ярославов // Двуглав. орёл. – 1920. – Вып. 1. – С. 5–11.

-
17. Тальберг, Н. От декабристов до большевиков / Н. Тальберг // Двуглав. орёл. – 1921. – Вып. 15. – С. 2–12.
18. Свистунов, Б. Некролог кадетской партии / Б. Свистунов // Двуглав. орёл. – 1921. – Вып. 17. – С. 31–37.
19. Ковалевский, Е. О чём молчит армия / Е. Ковалевский // Двуглав. орёл. – 1921. – Вып. 23. – С. 40–43.
20. Русская военная эмиграция 20–40-х годов : док. и материалы / Ин-т истории М-ва обороны Рос. Федерации ; сост. : И.И. Басик [и др.] ; редкол.: Золотарев [и др.]. – М. : Гея, 2001. – Т. 2 : Несбывшиеся надежды...1923. – 483 с.
21. Граф, Г.К. На службе императорскому дому России, 1917–1941 (воспоминания) / Г.К. Граф. – СПб. : Блиц, 2004. – 688 с.

Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины

Поступила в редакцию 04.11.2014

УДК 94:327(47+57+438)"1925"

Візіт наркама замежных спраў СССР Г.В. Чычэрына ў Варшаву восенню 1925 г.

М.М. МЯЗГА

Выяўляюцца прычыны, рэканструкцыі ходу і аналізу наступстваў візіта наркама замежных спраў СССР Г. Чычэрына ў Варшаву ў верасні 1925 г. Абгнутаўваецца гіпотэза, згодна з якой візіт не быў сведчаннем і вынікам паляпшэння польска-савецкіх адносін. Ён уяўляў сабой рэакцыю на неспрыяльныя змены для СССР і Польшчы ў міжнароднай сітуацыі, і павінен быў стаць, як разлічвалі ўрады дзвюх краін, інструментам ціску на іх знешнепалітычных партнёраў. Тым самым Масква і Варшава спадзяваліся больш паспяхова абараніць свае дзяржаўныя інтарэсы ва ўмовах падрыхтоўкі Гарантыйнага пакта.

Ключавыя словы: савецка-польскія адносіны, візіт, Г. Чычэрын, А. Скшыньскі, Гарантыйны пакт, перамовы, Германія.

The causes of the visit of People's Commissar for Foreign Affairs of the USSR Georgy Chicherin to Warsaw in September in 1925, course of the visit, and analysis of the visit's consequences are discussed. The foundation for the hypothesis that the visit could not be considered as a result of improvement of Polish-Soviet relationship is provided. It was a reaction based on the unfavorable changes for Poland and USSR in the international situation, so, as it was expected in both countries, the visit had to be used as leverage against foreign political partners. Thus, Moscow and Warsaw were hoping to successfully defend their national interests during preparation of the Rhineland Pact.

Keywords: Soviet-Polish relationship, visit, Georgy Chicherin, Aleksander Skrzyński, Rhineland Pact, negotiations, Germany.

Савецка-польскія адносіны 1920-х гг. вызначаліся складанасцю, наяўнасцю вострых супярэчнасцей. Пры гэтым у іх назіраліся значныя перапады, і часам намячалася тэндэнцыя да паляпшэння. Асабліва прыкметнай яна стала ва ўмовах перамоў па падрыхтоўцы Рэйнскага пакта ў 1925 г. Адною з найбольш яскравых праяў пацяплення ў савецка-польскіх адносінах стаў візіт у Варшаву ў верасні 1925 г. наркама замежных спраў СССР Г. В. Чычэрына. У дадзеным артыкуле зроблена спроба высветліць матывы, якімі кіраваліся ўрады дзвюх краін пры арганізацыі гэтага візіта, рэканструюваць яго ход, устанавіць наступствы візіта для міжнародных адносін.

У Варшаве міжнародную сітуацыю, якая склалася ў 1925 г. у сувязі з падрыхтоўкай Рэйнскага пакта, ацэньвалі як дастаткова складаную для Польшчы. У мемарандуме польскага МЗС у сувязі з гэтым адзначалася ўзмацненне агрэсіўных тэндэнцый у міжнародных адносінах, што звязвалася з палітыкай Германіі і СССР. У першай узмацнялася імкненне да рэвізіі вынікаў Першай сусветнай вайны. Другі імкнуўся, як гаварылася ў мемарандуме, «да агульнага грамадскага перавароту ў інтарэсах свайго ўласнага імперыялізму». Пры гэтым адзначалася, што антыпольская палітыка Германіі раўназначна цеснаму германа-расійскаму супрацоўніцтву, і калі Гарантыйны пакт пакіне свабоду рук Германіі ў справе рэвізіі яе ўсходняй мяжы, то штурхне яе ў абдымкі Савецкай Расіі. Пры гэтым выказвалася надзея, што несумяшчальнасць Гарантыйнага пакта і Рапальскага дагавора прывядзе да разрыву цеснага супрацоўніцтва СССР і Германіі. Вырашэнню гэтай задачы надавалася асаблівае значэнне [1, s. 335–339].

Пагаршэнне знешнепалітычнага становішча Польшчы і імкненне ўнесці дадатковыя разнагалосці ў савецка-германскія адносіны, падштурхнула яе ўрад да дэманстрацыі некаторага паляпшэння адносін з СССР. Гэта праявілася, у прыватнасці, у жаданні арганізаваць візіт у польскую сталіцу савецкага наркама замежных спраў. Паўпраз у Варшаве П. Войкаў яшчэ 22 мая паведамляў у Маскву, што польскі міністр замежных спраў А. Скшыньскі ў гутарцы з ім выказаў думку аб асабістай сустрэчы з Чычэрыным [2, л. 202]. Стан адносін паміж Масквой і Берлінам у той час даваў польскай дыпламатыі спадзяванні на тое, што названая прапанова будзе прынята. У маі 1925 г. у прамове на з'ездзе саветаў СССР Г. Чычэрын

гаварыў, што ўступленне Германіі ў Лігу нацый азначае канец Рапала [3, s. 12]. 2 чэрвеня савецкі наркам замежных спраў накіраваў мемарандум германскаму міністру замежных спраў, у якім адзначаў, што ўступленне Германіі ў Лігу нацый без СССР азначала б яе далучэнне да «варожай нам групоўкі... Гэта канец Рапальскай сістэмы» [4, с. 237]. У чэрвені пад час візіту ў Берлін намесніка наркама замежных спраў М. Літвінава не ўдалося дабіцца адмовы Германіі ад падпісання Гарантыйнага пакта і ўступлення ў Лігу нацый [5, s. 516]. Пацярпеўшы няўдачу, М. Літвінаў 13 чэрвеня ў гутарцы з міністрам замежных спраў Г. Штрэзаманам даў зразумець, што ў гэтай сітуацыі СССР можа пайсці на збліжэнне з Польшчай і Францыяй [6, s. 95]. 19 ліпеня савецкі друк апублікаваў заяву кіраўніка савецкай дэлегацыі на гандлёвых перамовах з Германіяй Я. Ганецкага. Ён выказаў меркаванне, што ў кіруючых колах Германіі існуе моцнае супрацьдзеянне дагавору з СССР, адбываецца зацягванне перамоў [7]. Г. Штрэзаман у сваіх мемуарах адзначаў, што з чэрвеня 1925 г. савецка-германскія адносіны перажывалі памрачэнне [5, s. 519]. У той жа час у Берліне было заўважана некаторае пацяпленне ў польска-савецкіх адносінах. Г. Штрэзаман пасля гэтага прадпісаў германскай дэлегацыі на гандлёвых перамовах у Маскве заставацца на месцы, каб, «улічваючы палітычныя меркаванні, заключыць з рускімі які б то ні было дагавор» [8, с. 137]. Адмову германскай дэлегацыі ад тактыкі зацягвання перамоў заўважыў пасол Польшчы ў Маскве Кентжыньскі і паведаміў у МЗС сваёй краіны 16 жніўня, што савецка-германскі дагавор павінен быць падпісаны ў бліжэйшы час [9, і. 171].

У Варшаве ў такой сітуацыі была адноўлена ідэя арганізацыі сустрэчы польскага і савецкага міністраў замежных спраў. Гэта звязана і з няўдачамі польскай дыпламатыі на заходнім напрамку. У сярэдзіне жніўня сарваўся візіт А. Скшыньскага ў Лондан, бо, па словах П. Войкава, «ніякага распалажэння да таго, каб бачыць Скшыньскага, у Чэмберлена не маецца». А перамовы польскага міністра замежных спраў у Парыжы не прынеслі жаданага выніку. Францыя адмовілася ад далейшай падтрымкі Польшчы па пытанні аб заключэнні Гарантыйнага пакта [10, лл. 1, 11]. 4 верасня П. Войкаў, паведамляючы Г. Чычэрыну аб імкненні палякаў арганізаваць візіт савецкага наркама ў Варшаву, звязаў гэты крок польскай дыпламатыі з жаданнем прадэманстраваць збліжэнне з СССР напярэдадні сесіі Лігі нацый і разглядаў яго як тактычны ход [10, л. 32]. Савецкая прэса ў гэты час шмат пісала аб тым, што ў Жэневе, дзе ідуць перамовы аб Гарантыйным пакце, А. Скшыньскі разгарнуў актыўную дзейнасць, каб дабіцца гарантый для ўсходніх граніц Германіі [11].

У Маскве на гэты раз польская ініцыятыва аб візіце наркама замежных спраў была сустрэта станоўча. У многім гэта звязана са станам савецка-германскіх адносін на той момант. У канцы жніўня – пачатку верасня палітбюро на двух пасяджэннях абмяркоўвала пытанне аб гандлёвых перамовах з Германіяй. 27 жніўня было прынята рашэнне пайсці на саступкі Германіі пры падрыхтоўцы дагавора. 3 верасня палітбюро палічыла мэтазгодным з удзелам М. Літвінава арганізаваць сустрэчу савецкай і германскай дэлегацый на гандлёвых перагаворах, таксама даручыць яму пагутарыць з паслом Германіі У. Брокдорф-Ранцаў і пацвердзіць гатоўнасць савецкага ўрада пайсці на саступкі пры падрыхтоўцы гандлёвага дагавора [12, с. 91–92]. Акрамя імкнення інтэнсіфікаваць перамовы з Германіяй праз пэўныя саступкі, больш актыўнае абмеркаванне спрэчных пытанняў, савецкае кіраўніцтва лічыла мэтазгодным паўплываць на пазіцыю германскага ўрада пагрозай збліжэння з Польшчай. У лісце ад 6 верасня на імя М. Літвінава Г. Чычэрын выказаў меркаванне, што такая дэманстрацыя савецка-польскага збліжэння «можа напалохаць Германію і зрабіць яе больш пакладзістай» [13, л. 7]. Імкненне аказаць ціск на Германію як матыў свайго візіту ў Варшаву Г. Чычэрын прыводзіць і ў тэлеграме, якую накіраваў 7 верасня ў Варшаву П. Войкаву. Ён пісаў, што мог бы паехаць у Берлін і праз Рыгу, але гэта «зробіць уражанне абыходу Варшавы і будзе прадстаўлена як прыкмета ахаладжэння адносін паміж нашымі ўрадамі. Наўрад ці гэта пажадана» [14, л. 112]. Такім чынам, савецкі наркам не хацеў, каб склалася ўражанне аб пахаладанні ў польска-савецкіх адносінах. Наадварот, неабходна было з дапамогай візіта прадэманстраваць іх высокі ўзровень, што Германіяй заўсёды ўспрымалася як непажаданы факт.

10 верасня ў «Известиях» быў надрукаваны перадавы артыкул, прысвечаны савецка-польскім адносінам. У ім адзначалася імкненне Варшавы ў апошні час да паляпшэння адносін з СССР. Звязвалася гэта з падрыхтоўкай Гарантыйнага дагавора і імкненнем Англіі

задаволіць Германію за кошт Польшчы [15]. Названую публікацыю можна разглядаць як сігнал для палякаў, што Г. Чычэрын гатовы нанесці візіт у Варшаву. 14 верасня адбылася гутарка М. Літвініва з давераным у справах Польшчы ў СССР Зелязінскім. Апошні актыўна выказаўся за прыезд Г. Чычэрына ў польскую сталіцу і паведаміў, што ён можа адбыцца ўжо 19–20 верасня, калі А. Скшыньскі вернецца з Жэневы ў Варшаву [16, л. 54]. У той жа дзень на імя Г. Чычэрына была атрымана з Варшавы тэлеграма П. Войкава. Ён адзначаў імкненне палякаў да таго, каб у бліжэйшы час візіт Г. Чычэрына ў Варшаву адбыўся. Больш за тое, палякі вядуць гаворку і аб магчымым візіце ў адказ А. Скшыньскага ў Маскву. Такое актыўнае імкненне Польшчы прадэманстраваць збліжэнне з СССР П. Войкаў звязваў не з іх рэальным жаданнем палепшыць савецка-польскія адносіны, а з вынікамі перамоў у Жэневе [17, с. 531]. Улічваючы вялікую зацікаўленасць польскага ўрада ў прыездзе Г. Чычэрына ў Варшаву, савецкая дыпламатыя стала адцягваць гэты візіт, тым самым паказваючы, што ён патрэбны, перш за ўсё, польскаму ўраду. 18 верасня П. Войкаў праінфармаваў наркама замежных спраў, што палякі вельмі балюча адрагавалі на адтэрміноўку візіту [10, л. 36]. 25 верасня ён зноў тэлеграфавваў у Маскву, што польскі ўрад усяляк раздувае значэнне візіта Г. Чычэрына і імкнецца не толькі надаць яму характар транзітнага праезду праз Варшаву і не проста візіта міністра замежных спраў СССР, але хацеў бы «бачыць у прыездзе Чычэрына прапанову палякам нейкага блока з намі». Войкаў адзначае вымушаны характар такіх крокаў з боку Польшчы і падкрэслівае, што палітычная і эканамічная ізаляцыя Польшчы штурхае яе да Савецкай Расіі. Гэта прызнае нават лагер Ю. Пілсудскага [10, лл. 47, 49, 59].

Такім чынам, савецкае кіраўніцтва расцаніла запрашэнне Г. Чычэрына ў Варшаву як чыста тактычны ход з боку польскай дыпламатыі. Але публічна савецкі ўрад падкрэсліваў значэнне візіту як факта, які дэманструе паляпшэнне польска-савецкіх адносін. К. Радэк у адным з артыкулаў у савецкай прэсе напярэдадні прыезда ў Варшаву Г. Чычэрына адзначаў, што ў апошні час у палітыцы кіруючых колаў Польшчы намячаецца імкненне да збліжэння з СССР, і савецкае кіраўніцтва можа толькі вітаць такія змены [18]. Савецкі ўрад, з аднаго боку, хацеў прыездам Чычэрына ў Варшаву аказаць ціск на Германію, але, з другога боку, непакоіўся, каб дэманстрацыя збліжэння з Польшчай не паўплывала празмерна адмоўна на савецка-германскія адносіны. 24 верасня ў «Известиях» быў надрукаваны перадавы артыкул, прысвечаны савецка-германскім адносінам. У ім адзначалася, што рапальская лінія церпіць сур'ёзныя змены ў сувязі з перамовамі аб Гарантыйным пакце і запланаваным уступленнем Германіі ў Лігу нацый. Але адначасова падкрэслівалася, што ўжо закончана праца над гандлёвым дагаворам і яго «падпісанне паівінна стаць фактам, які пацвердзіць нязменнасць рапальскай палітыкі» [19]. Гэты артыкул адлюстроўваў афіцыйную пазіцыю савецкай дзяржавы, і яго з'яўленне напярэдадні візіту Г. Чычэрына ў Варшаву не было выпадковым. Ён даваў зразумець Германіі, што, нягледзечы на гэты візіт, захаванне сяброўскіх адносін паміж СССР і Германіяй магчыма і рэальнай дэманстрацыяй гэтага стане падпісанне гандлёвага дагавора.

Польскі ўрад разлічваў прыездам Чычэрына аказаць ціск як на Германію, так і на краіны Захаду, каб прымусіць іх больш лічыцца з польскімі інтарэсамі. Адна з галоўных польскіх газет «Кур'ер Варшаўскі» адзначала, што ў сувязі з падрыхтоўкай Рэйнскага пакта Польшча ўжо ізалявана і ніколі да гэтага часу яе становішча не было такім сур'ёзным. У сувязі з гэтым газета наступным чынам адзначала значэнне візіта Г. Чычэрына: «Адзіным светлым прабліскам на змрочным гарызонце польскай знешняй палітыкі з'яўляецца прыезд Чычэрына. Аднак не варта думаць, што збліжэнне паміж СССР і Польшчай надыйдзе адразу» [18]. Другая буйная польская газета «Варшавянка» адзначала: «Візіт Чычэрына ў Варшаву сведчыць, што з боку Расіі Польшчы пагражае меншая небяспека, чым з боку Германіі». Указвалася, што візіт ёсць адлюстраванне наступіўшага ў адносінах паміж дзвюма краінамі павароту спраў да лепшага [20, ss. 362, 365].

У сувязі з пералічанымі абставінамі Г. Чычэрыну, які прыбыў у Варшаву 28 верасня, быў аказаны самы цёплы прыём. У ходзе перамоў міністраў замежных спраў дзвюх краін адбыўся абмен думкамі па праблеме заключэння Гарантыйнага пакта. Чычэрын указваў пры гэтым на факт адмовы Германіі гарантаваць польскую граніцу і ўзнікшую ў сувязі з гэтым пагрозу для Польшчы. Ён адзначаў, што польская палітыка варожая СССР на двух асноўных

накірунках: 1) імкненне стварыць балтыйкі саюз; 2) наяўнасць польска-румынскага саюза. Савецкі наркам паўтарыў прапанову заключыць дагавор аб ненападзе і няўдзеле ў варожых кааліцыях. Пры гэтым ён падкрэсліў, што ў СССР ёсць прастора для манёўра, бо існуе магчымасць англа-германскага збліжэння і франка-польскі саюз. Абодва гэтыя блокі, паводле яго слоў, будуць запрашаць да сябе СССР [21, сс. 416, 418].

Пасля завяршэння візіту Г. Чычэрына ў Варшаву польскія палітыкі і прэса працягвалі падкрэсліваць яго значэнне. Як адзначаў П. Войкаў у тэлеграме ў Маскву 2 кастрычніка, «гэта было ім неабходна для дэманстрацыі перад Англіяй, гэтак жа як і перад Германіяй» [21, с. 420]. 8 кастрычніка ў сеймавай камісіі па замежных справах выступіў прэм'ер-міністр У. Грабскі. Ён ахарактарызаваў візіт Г. Чычэрына як факт, які сведчыць аб паляпшэнні польска-савецкіх адносін. Паводле яго слоў, гэтыя адносіны складаюцца ўсё больш і больш спрыяльна, і візіт Г. Чычэрына даказаў, які прагрэс дасягнуты ў справе аслаблення напружанасці паміж Масквой і Варшавай. Гэта было імкненне выкарыстаць візіт Чычэрына для ціску на Захад напярэдадні Лакарнскай канферэнцыі. Не выпадкова ў прамове Грабскага прагучаў і тэзіс аб неабходнасці для Польшчы дабівацца поўнай гарантыі сваіх граніц [22].

Прыезд Г. Чычэрына ў Варшаву выклікаў хваляванне ў Берліне. У германскай прэсе быў апублікаваны артыкул Г. Штрэзамана, прысвечаны савецка-польскай сустрэчы. Германскі міністр замежных спраў адзначаў, што візіт Чычэрына ў Варшаву ў той час, калі Германія рыхтуецца да ўдзелу ў Лакарнскай канферэнцыі, не з'яўляецца выпадковасцю, і выказаў шкадаванне, што Масква і Берлін займаюць супрацьлеглыя пазіцыі па пытанні аб неабходнасці ўступлення Германіі ў Лігу нацый і падпісання Гарантыйнага пакта [5, с. 515]. Начальнік усходняга аддзела германскага МЗС Г. Дзірксан у сваіх мемуарах пісаў потым, што знаходжанне Г. Чычэрына ў Варшаве на шляху ў Берлін было жэстам, які нагадваў шантаж [23, с. 87].

Услед за Варшавай, Г. Чычэрын прыбыў 30 верасня ў Берлін. Трэба прызнаць, што варшаўская сустрэча зрабіла на германскі ўрад пажаданае для Масквы ўражанне. Г. Штрэзаман у гутарцы з Г. Чычэрыным 1 кастрычніка заявіў аб прынцыповай згодзе Германіі заключыць палітычны дагавор з СССР, а ў бліжэйшы час падпісаць гандлёвы дагавор [12, с. 93]. 7 кастрычніка Г. Чычэрына прыняў прэзідэнт П. Гіндэнбург і паведаміў, што ён упаўнаважыў пасла ў Маскве У. Брокдорф-Ранцау падпісаць гандлёвы дагавор з СССР [22]. Не была абмінута на перамовах і польская праблема. Г. Чычэрын у чарговы раз выказаў апасенне, што падпісанне Германіяй Гарантыйнага пакта прывядзе да якога-небудзь, хай нават ускоснага, пацвярджэння германа-польскай граніцы. На гэта Г. Штрэзаман адказаў, што Германія ніколі не пойдзе добраахвотна на прадастаўленне гарантый Польшчы [5, с. 515]. Як бачым, Маскву ў сувязі з падрыхтоўкай Гарантыйнага пакта палохала не толькі збліжэнне Германіі з Захадам, але і магчымасць прадастаўлення ёю гарантый польскай заходняй граніцы, чым ў значнай ступені быў бы аслаблены нефармальны савецка-германскі саюз, які ў многім меў антыпольскую аснову. На тое, каб развясць гэтыя апасенні, быў накіраваны і мемарандум Г. Штрэзамана савецкаму паўпраду ў Берліне ад 10 кастрычніка. У ім указвалася, у прыватнасці, што аб гарантыі ўсходняй граніцы Германіі ў праекце Гарантыйнага пакта няма і мовы [5, с. 512].

Такім чынам, візіт Г. Чычэрына ў Варшаву ў канцы верасня 1925 г. быў абумоўлены не столькі развіццём двухбаковых польска-савецкіх адносін, колькі склаўшайся міжнароднай сітуацыяй. Яна мянялася ў неспрыяльны бок як для СССР, так і для Польшчы. Адбывалася аслабленне сувязей абедзвюх краін з традыцыйнымі саюзнікамі. У такой сітуацыі прыезд савецкага наркама замежных спраў у Польшчу стаў для яе кірубчых колаў сродкам ціску на Захад, каб прымусіць яго ў большай ступені ўлічваць яе інтарэсы пры падрыхтоўцы Гарантыйнага пакта. СССР спадзяваўся, што гэтая дэманстрацыя польска-савецкага збліжэння стане адным з фактараў, які прымусіць Германію захаваць рапальскую палітыку.

Літаратура

1. Dokumenty z dziejow polskiej polityki zagranicznej 1918–1938 : w 2 t. – Warszawa : Inst. Wyd. PAX., 1989. – Т. 1. – 540 s.
2. Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ). – Ф. 04. – Оп. 32. – П. 217. – Д. 52667.
3. Grosfeld, L. Polska a stosunki niemiecko-sowieckie. 1918–1939 / L. Grosfeld – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988. – 43 s.

4. Советско-германские отношения 1922–1925. Документы и материалы : в 2 ч. – М. : Политиздат, 1977. – Ч. 1. – 408 с.
5. Streseman, G. Vermachtnis / G. Streseman : in 3 b. B. 2. – Berlin : Ullstein von Henri Bernhard, 1932. – 611 s.
6. Kaminski, M. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. 1918–1939 / M. Kaminski. – Warszawa : Młodzieżowe Agencja Wydawnicza, 1987. – 120 s.
7. Известия. 1925. 19 июля. №163 (2496).
8. Никонова, С.В. Очерки европейской политики Германии в 1924–1929 годах / С.В. Никонова. – М. : Наука, 1977. – 373 с.
9. Archiw Akt Nowych. MSZ. Sygn. 6635.
10. АВП РФ. – Ф. 04. – Оп. 32. – П. 217. – Д. 52668.
11. Известия. – 1925. – 12 сентября. – № 208 (2541).
12. Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Европа. Решения особой папки 1923–1939. – М. : РОС-СПЭН, 2001. – 400 с.
13. АВП РФ. – Ф. 04. – Оп. 32. – П. 217. – Д. 52673.
14. АВП РФ. – Ф. 04. – Оп. 32. – П. 217. – Д. 52670.
15. Известия. – 1925. – 10 сентября. – № 206 (2539).
16. АВП РФ. – Ф. 04. – Оп. 32. – П. 217. – Д. 52672.
17. Документы внешней политики СССР : в 22 т. – М. : Издат. Политической литературы, 1965. – Т. 7. – 760 с.
18. Известия. – 1925. – 27 сентября. – № 221 (2554).
19. Известия. – 1925. – 26 сентября. – № 220 (2553).
20. Stroński, S. Pierwsze lat dziesięć (1918–1928) / S. Stroński. – Lwów – Warszawa : Gabrynowicz i syn, 1928. – 627 s.
21. Документы и материалы по истории советско-польских отношений : в 14 т. – М. : Наука, 1966. – Т. 4. – 559 с.
22. Известия. – 1925. – 9 октября. – № 231 (2564).
23. Дирксен, Г. Москва, Токио, Лондон. Двадцать лет германской внешней политики / Г. Дирксен. – М. : «ОЛМА-ПРЕСС», 2001. – 446 с.

Disciplina militaris и воздержанность в пище: топос и реалии римской армейской действительности

С.В. ТЕЛЕПЕНЬ

Исследуется проблема идеологической и фактической взаимосвязи между римской *disciplina militaris* и так называемой «стратегией голода», то есть той практикой военного лидерства, которая основывалась на эксплуатации, характерной для римских воинских традиций темы воздержанности в пище. Делается вывод об обусловленности *disciplina militaris* такой системой обучения войска, которая состояла в приучении воинов к осознанному самоограничению. И важнейшим ресурсом воздействия на солдат был личный пример полководца, следовавшего аристократическому топосу *temperantia*.

Ключевые слова: римская армия, традиционное сознание, военное лидерство, продовольственное обеспечение, «стратегия голода», *disciplina militaris*.

The problem of interrelation ideological and actual interrelations between Roman *disciplina militaris* and the so-called «hunger strategy» is investigated. It was the practice of military leadership which was based on the exploitation of typical Roman military traditions threads – abstention from food. It is concluded that *disciplina militaris* was such a system of training troops, which consisted in training soldiers to the conscious self-restraint. And the personal example of the commander following aristocratic topos of *temperantia* was the major resource for influence on the soldiers.

Keywords: Roman Army, traditional consciousness, military leadership, food maintenance, «hunger strategy», *disciplina militaris*.

Изучение истории и культуры античных обществ имеет непреходящее значение, обусловленное той важной ролью, которую играет греко-римское наследие в жизни современного человечества. Образцы античной классики активно влияют на сознание самых различных слоев общества. В свою очередь, исторические и филологические науки, ориентированные на изучение античного прошлого, имеют давние традиции, продолжаемые новыми поколениями исследователей, зачастую открывающими на основе анализа, казалось бы, давно изученных источников новые аспекты исторического и культурного бытия обществ Греции и Рима. С начала XX в. мировое антиковедение сосредоточено на поиске стратегий научного поиска. Отсюда – особое, в сравнении с другими науками о прошлом, понимание актуальности. В антиковедении оно прежде всего связано с новыми подходами и направлениями. Одним из важнейших направлений современной науки о классической древности является изучение цивилизационных особенностей античного общества [1, с. 293–294]. Особый интерес как зарубежных, так и отечественных исследователей вызывают идеологические основания процессов, приведших к переходу от республики к монархии в Древнем Риме [2, с. 19–27]. При этом сохраняется научный интерес к проблеме данных особенностей в контексте традиций римского военного сообщества [3, с. 142]. Предметом всестороннего изучения не раз становились самые различные аспекты этих традиций, их идеологическая основа и пропагандистское оформление [4, с. 29–56], [5, с. 77–101, 106–114]. Особое место было уделено идеологии *disciplina militaris* («воинская дисциплина») [6, р. 13–35]. Относительно механизмов пропаганды в ранней Римской империи важным событием в свое время стал выход книги М.Г. Абрамзона «Монеты как средство пропаганды официальной политики Римской империи». Автор, обобщив по сути документальный монетный материал, вполне справедливо утверждает, что по крайней мере «с установлением принципата Августа официальная пропаганда впервые приобрела размах государственного предприятия», и «императоры старались постоянно напоминать легионерам о долге перед ними и страной, об основных римских добродетелях, составляющих систему гражданских и военных ценностей» [7, с. 10, 91]. Тем не менее, как нам кажется, необходима дальнейшая конкретизация различных аспектов идеологии и пропаганды как факторов, оказывавших важное влияние на процесс становления такого важнейшего механизма политической власти позднереспубликанского и раннеимператорского Рима, каким была профессионали-

зировавшаяся армия. Необходимым также представляется исследование соотношения между явлениями морально-психологического порядка и реально имевшей место практикой внутренней жизни римского воинского сообщества.

Современное состояние исследований о римской армии и ее традициях пока не позволяет утверждать, что тема воздержанности как идеологемы и практики, направленных на поддержание дисциплины, в науке о Древнем Риме получила должную разработку. Ситуация парадоксальная, так как античные авторы к этому вопросу обращались довольно часто. Например, для глорификатора староримских добродетелей Тита Ливия умеренность – это качество идеального римлянина [8, с. 10]. Можно сравнить эту установку с описанием образа жизни Катона Старшего, чей образ стал символом указанных достоинств [9, с. 598]. Схожие мысли, причем применительно к римской армейской действительности, можно встретить и в других сочинениях – Тацита [10, с. 580], Плутарха [11, с. 45], Саллюстия [12, с. 56], Аммиана Марцеллина [13, с. 36–37]. Соответственно, предметом нашего рассмотрения является идеологическая и фактическая взаимосвязь между римской *disciplina militaris* и той практикой военного лидерства у древних римлян, которая основывалась на теме и идейной установке воздержанности в пище как особой добродетели настоящего римского воина.

Античная литературная традиция дает примеры полководцев, считавшихся у римлян выдающимися. Среди командиров, подражание которым выглядит стандартом поведения военного лидера даже в позднейшие периоды римской истории, античные авторы чаще всего называют полководцев II в. до н. э. – разрушителя Карфагена Сципиона Эмилиана и Квинта Метелла, окончательно разгромившего Македонию. И тот и другой изображаются поборниками дисциплины, которую наводят среди своих солдат, в том числе путем введения в армии запретов и ограничений на излишества в отношении питания. Якобы Сципион и Метелл запретили воинам употреблять мясо, если только оно не было жареным или вареным [14, с. 96], [15, с. 377], [12, с. 66], [16, с. 253–254], [17, с. 87].

Отметим, что значимая для полисного сознания роль личного примера как средства осуществления военного лидерства источниками фиксируется также. Например, о личной воздержанности Сципиона Эмилиана сообщает Полибий [18, с. 377–381]. Сципиону, вероятно, подражал политический союзник Юлия Цезаря (затем его противник в гражданской войне 40-х гг. I в. до н. э.) Гней Помпей. О последнем сообщается, что он ограничивал себя и в том, что он ел, и в том, каким способом пища была [19, с. 445], [20], [21, с. 282].

Еще более ярким примером подражания образам воздержанности был сам Юлий Цезарь, о котором сообщают, что он, ради выражения дружеского расположения к некоему Валерию Леону, ел «приправленные оливы», которые другие участники обеда есть не пожелали [19, с. 616–617], [22, с. 34]. Р. Саллер предполагает, что «приправленные оливы» – это пища, никак не соответствующая вкусам римской знати [23, р. 75–79]. С учетом того, что Светоний писал о Цезаре, когда тот уже стал для римлян символом полководческих талантов, можно предположить, что описанный случай – это часть сознательно культивированного образа. Данный образ хорошо вписывается в общую картину популярных в I–II вв. сюжетов. Так, анонимный автор I в. н. э., условно именуемый Псевдо-Фронтином, написавший сочинение, специально посвященное военному искусству, приводит примеры греческих и римских полководцев, демонстративно употреблявших простую пищу [16, с. 260–261]. Очевидно, что любые ассоциации между пищей и *otium* (отдыхом) или *luxuria* (роскошью) автором сознательно исключаются, а потребление пищи становится символом *labor militaris* (воинского труда).

Приведенные сообщения о Помпее и о Цезаре как раз показывают, насколько был нетипичен для аристократов столь умеренный режим питания. Между тем «типичность» в поведении знати, то есть следование общим образцам поведения была жестко регламентирована, в том числе сакральными установлениями [24, р. 27]. Исключения в стиле поведения здесь могли быть связаны лишь с особым статусом авторитетного политического и военного вождя. Так, воздержанность Помпея и Цезаря явно была связана с их военным лидерством, немыслимым без демонстрации солидарности в лишениях полководца и его войска. Закономерно, что схожим образом ведет себя намного позже император II в. Адриан, подражая тем самым Сципиону Эмилиану, Метеллу и Траяну [25, с. 348].

Что же касается рядовых воинов, то известным примером воздержанности солдат в отношении пищи и в целом дисциплинированности является случай, описанный Псевдо-Фронтином: воины прославленного римского командира Марка Скавра покинули лагерь, в расположении которого оказалась яблоня, покрытая спелыми плодами, не сорвав с дерева ни одного яблока [16, с. 261–262]. Любопытно, что приведенный пример воздержанности солдат – единственный, который дает Фронтин (Псевдо-Фронтин) в соответствующей части своего сочинения. И напротив, примеры воздержанности полководцев в этом же сочинении и многочисленнее и красноречивее. Тем не менее общий контекст рассказа о воинах М. Скавра позволяет судить о том, как в глазах римлян *disciplina militaris* была связана с умением воинов сдерживать свои потребности в пище. Однако нет сомнения в том, что сознательное самоограничение здесь было осознанным умением скорее военного лидера, чем рядового воина [26, с. 138]. И мы едва ли обнаружим здесь противоречие с тем фактом, что в источниках можно встретить указания на присутствие в багаже многих римских командиров (и не только) предметов роскоши [27, с. 93], [11, с. 352]. Важно, что это те свидетельства, которые в соответствии с риторической практикой античной историографии были призваны сконцентрировать внимание на негативных аспектах увлечения излишествами [28, р. 239–248].

Если говорить о реальном положении дел с продовольствованием римской армии в позднереспубликанский период, то здесь остается еще много неясного [29, р. 1–44]. Полководцам эпохи гражданских войн приходилось сами маршруты движения легионов определять в соответствии с возможностями продовольственного обеспечения солдат [30, с. 38, 50]. И задачи, которые в этом случае решались, были связаны не просто с жизнеобеспечением войска, но с поддержанием минимального уровня, на котором только и возможно было сохранение лояльности воинов. Теоретик военного дела Онасандр (I в. н. э.) писал, что солдаты не получающие достаточного пропитания, будут сражаться хуже [31]. Более того, из записок Цезаря следует, что от такого войска возможно ожидать открытого неповиновения [30, с. 45, 128].

С другой стороны, Цезарь неоднократно использовал факт привычки своих солдат терпеть лишения как преимущество в борьбе с противником. Примером здесь является эпизод из истории гражданской войны 40-х гг. I в. до н. э. В 49 г. до н. э. Цезарь действовал в Испании против республиканских войск, возглавлявшихся Афранием и Петреем. Проявившаяся в ходе кампании готовность воинов Цезаря терпеть невзгоды, связанные с нехваткой продовольствия, стала, вполне возможно, одной из причин падения дисциплины в легионах Афрания и Петрея. Цезарь, пишет, что когда он приказал своему войску следовать далеко в сторону от очевидной цели (реки Ибер), причем идти в местность с явно худшими условиями для пропитания войска, то солдаты противника стали ругать своих командиров за то, что те решили двинуться вслед Цезарю, обрекая республиканское войско голоду [27, с. 24–26, 28–38]. Если верить источникам, дисциплинированность воинов Цезаря давала ему преимущество действовать в соответствии с принципом, о котором сообщает Псевдо-Фронтин: «Г. Цезарь говорил, что он применяет против врага тот же способ, который большинство врачей применяют против телесных недугов – побеждать их скорее голодом, чем железом» (пер. А.Б. Рановича) [16, с. 267].

В известном эпизоде по Диррахии (в Греции) – опять же из истории гражданской войны 40-х гг. I в. до н. э. – в сходных обстоятельствах воины Цезаря и его противника Помпея ведут себя совершенно неодинаково. Под Диррахией солдаты Цезаря, испытывая недостаток в продовольствии, тем не менее, забрасывали помпеянский лагерь диковинным хлебом, выпекавшимся ими из чага, горького на вкус корня, едва пригодного в пищу. Этим они явно показывали противнику свою готовность бороться, не взирая на очевидные тяготы [27, с. 76]. И напротив, когда воины Помпея, сами столкнулись с нехваткой продовольствия, то, согласно Цезарю, стали в большом количестве перебегать в его лагерь [27, с. 80]. Как справедливо замечает Гарнсей, стойкое поведение воинов в условиях тяжелых лишений возможно было лишь в ситуации крепкой соратнической связи между полководцем и его войском [32, р. 36–41].

Очевидно, что готовность солдат выносить тяготы была связана не просто с дисциплиной и тренировкой в узком смысле этого слова, но с соответствующим настроением солдат. Однако это отнюдь не противоречит той мысли античных теоретиков, что приучение солдат к воздержанности в пище – это важное условие поддержания дисциплины. Если верить источникам, Сципион Эмилиан и Квинт Метелл именно ограничением солдатского рациона добились укрепления армейской дисциплины. Кажется, нет оснований сомневаться, что

Метелл специально требовал простых способов приготовления пищи, чтобы приучить своих солдат к самостоятельному приготовлению пищи и тем обеспечить их лучшую приспособляемость к условиям военной обстановки. Тем более что предписывавшиеся методы готовки (варка и жарение) не требовали сложных приспособлений: только вертел и котелок, которые Сципион позволял своим солдатам иметь в качестве кухонной утвари в условиях боевой обстановки [14, с. 96]. Для сравнения приведем пример еще одного любимого солдатами полководца – Гая Мария, прославившегося несколькими десятилетиями после Сципиона Эмилиана и Квинта Метелла. Как известно, Марий установил для воинов правило готовить себе пищу самостоятельно [27, с. 96].

Разумеется, идеализированное изображение воздержанности в пище, предполагаемое свойственное римскому армейскому социуму, не может быть взято на веру как безусловно имевшая место постоянная практика. Представляется необходимым соотнести картину, представляемую античными историками-риторами, с данными археологии и папирологии. Как полагает П. Гарнсей, в I–II вв. римские стационарные лагеря обеспечивались продовольствием на достаточно приличном логистическом уровне [32, р. 125–126]. Археологические, эпиграфические и папирологические данные позволяют заключить, что после завершения периода гражданских войн римские солдаты уже редко испытывали недостаток в провианте. Данные папирологии показывают, что среднего ранга офицеры расквартированных в стационарных лагерях отрядов могли позволить себе даже дорогие виды вин [33, р. 68]. Также и пища, потреблявшаяся, например, в лагере Виндоланды (провинция Британия) рядовыми солдатами, отличается достаточным разнообразием и обилием [33, р. 76–77], [34, р. 217], [35, р. 202–203].

Вероятно, следует согласиться с мнением М. Бишоп, который полагает, что армия Римской империи в сравнении с армией периода Республики находилась в лучшем логистическом положении, являвшимся результатом профессионализации военной службы и расквартирования войск в местах постоянной дислокации [36, р. 111–113]. Войско эпохи Цезаря – это еще в значительной степени гражданское ополчение, не знавшее регулярной интендантской службы и стационарного квартирования, а потому страдавшее от нерегулярности продовольственных поставок [37, с. 45]. Вот почему войско Марка Антония в Парфии (I в. до н. э.) оказалось хотя и отягощенным предметами роскоши, но без достаточных запасов продовольствия и питьевой воды [38, р. 96].

Но именно лучшее в логистическом смысле положение солдат Империи в сравнении с воинами Республики и побуждало теоретиков военного дела вроде Онасандра искать пути компенсации «изнеженности» солдат имперских легионов. Отсюда, собственно, – рекомендации Онасандра ограничивать рацион солдат, приучать их в мирное время к ратным трудам и умеренности [31]. Р. Дэвис и М. Бишоп прямо заключают, что ригоризм Онасандра есть прямой результат «переформатирования» римской армии из ополчения в профессиональное войско [35, р. 33], [36, р. 59–60].

Призыв теоретиков военного дела эпохи Юлиев–Клавдиев и Флавиев относительно простого рациона для солдат означал побуждение командиров к подготовке войска для несения тягот походной жизни с ее перебоями в поставках продовольствия. То есть речь велась о подготовке к перенесению тех лишений, с которыми в республиканское время римская армия сталкивалась регулярно. Между тем различие между армией Империи и войском Римской республики – это различие между войском находящимся в постоянном лагере, и тем, которое не выходит из почти непрерывных военных действий [38, р. 96]. Необходимость приучения к лишениям солдат уже императорских легионов была тем более актуальной, что военная реформа Августа, приведшая к возникновению настоящего профессионального войска, сопровождалась массовой демобилизацией солдат, набравшихся еще в республиканский период [39, с. 116]. Действительно, археологическое изучение временных мест дислокации римских войск в Британии, вероятно обозначавших собой места проведения маневров, позволяет заключить (на основании остеологического материала), что здесь римские солдаты имели рацион существенно более умеренный, чем в постоянных лагерях той же провинции. И в то же время, остеологический материал по постоянным лагерям Римской Британии отличается от материала с территории местных невоенных поселений: если на территории постоянных лагерей обнаруживается большое количество крупных рогатых животных, для невоенной округи более характерны кости овец или коз [34, р. 193], [40, р. 139], [41, р. 201–202].

Можно, таким образом, заключить, что хотя фактически солдаты отнюдь не всегда находились в жестких логистических рамках (особенно это касается периода Империи), тем не менее, существовала традиционная установка на воспитание у солдат готовности сносить лишения. Идеологически эта практика обеспечивалась активно пропагандировавшимися образцами поведения воинов и полководцев республиканского прошлого. Среди тех тягот, с приучением к которым у современников ассоциировалась военная служба, была скудность питания или как минимум простота рациона. Тем не менее, преломленная в сознании античных авторов практика таким путем превращалась в литературный тоpos, идеологически связанный с понятием *disciplina militaris*, понятием устойчивым, крепко связанным в римской культурной традиции с республиканским прошлым. Из этого прошлого в литературные сочинения императорского времени перешли образы выдающихся полководцев предшествующего периода, включая образ Юлия Цезаря. Подражание последнему стало одним из ресурсов личного влияния на армию полководцев эпохи Империи. Апробированная Цезарем «стратегия голода» в наиболее общих чертах была воспринята потомками и стала той практикой военного лидерства у древних римлян, которая основывалась на теме и идейной установке воздержанности в пище как особой добродетели настоящего римского воина.

Литература

1. Кнабе, Г.С. Человек и группа в античности : Обзор новой зарубежной литературы / Г.С. Кнабе // Избранные труды : Теория и история культуры. – М. – СПб.: Летний сад; М. : «Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)», 2006. – С. 293–315.
2. Токарев, А.Н. Становление социальной идеологии принципата императора Августа / А.Н. Токарев. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2011. – 268 с.
3. Махлаюк, А.В. Духи предков, доблесть и дисциплина : социокультурные и идеологические аспекты античной военной истории в новейшей историографии / А.В. Махлаюк // Вестник древней истории. – 2010. – № 3. – С. 141–162.
4. Махлаюк, А.В. Армия Римской империи. Очерки традиций и ментальности / А.В. Махлаюк. – Нижний Новгород : НГУ имени Н.И. Лобачевского, 2000. – 235 с.
5. Махлаюк, А.В. Солдаты Римской империи. Традиции военной службы и воинская ментальность / А.В. Махлаюк. – СПб. : Акра, 2006. – 440 с.
6. Fang, S.E. Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate / S.E. Fang. – Cambridge : Cambridge University Press, 1999. – XV. – 336 p.
7. Абрамзон, М.Г. Монеты как средство пропаганды официальной политики Римской империи / М.Г. Абрамзон. – М. : Изд. РАН, 1995. – 656 с.
8. Ливий, Тит. История Рима от основания Города : в 3 т. ; пер. с лат. / Тит Ливий. – М. : Ладомир, 2002. – Т. 1. – Кн. I–X. – 702 с.
9. Плутарх. Сравнительные жизнеописания : в 3 т. ; пер. с греч. / Плутарх. – СПб. : Кристалл, 2001. – Т. 1. – 672 с.
10. Тацит Публий Корнелий. Анналы. Малые произведения. История ; пер. с лат. / Публий Корнелий Тацит. – М. : Изд. АСТ; Ладомир, 2003. – 984 [8] с.
11. Плутарх. Сравнительные жизнеописания : в 3 т. ; пер. с греч. / Плутарх. – СПб. : Кристалл, 2001. – Т. 3. – 672 с.
12. Крисп Гай Саллюстий. Сочинения ; пер. с лат. / Гай Саллюстий Крисп. – М. : Наука, 1981. – 224 с.
13. Марцеллин, Аммиан. Римская история ; пер. с лат. / Аммиан Марцеллин. – СПб. : Алетейя, 1996. – 669 с.
14. Аппиан. Римская история ; пер. с греч. / Аппиан. – М. : Изд. АСТ; Ладомир, 2002. – 878 [2] с.
15. Плутарх. Застольные беседы ; пер. с греч. / Плутарх. – Л. : Наука, 1990. – 592 с.
16. Фронтин Секст Юлий. Стратегемы ; пер. с лат. / Секст Юлий Фронтин // Военное искусство античности. – М. : Эксмо; СПб.,: Terra Fantastica, 2003. – С. 161–274.
17. Максим Валерий. Достопамятные деяния и изречения ; Пер. с лат. / Валерий Максим. – СПб. : СПбГУ, 2007. – 308 с.
18. Полибий. Всеобщая история : в 2 т. ; пер. с греч. / Полибий. – М. : АСТ, 2004. – Т. 2. – Кн. XI–XXIX. – 756 [3] с.
19. Плутарх. Сравнительные жизнеописания : в 3 т. ; пер. с греч. / Плутарх. – СПб. : Кристалл, 2001. – Т. 2. – 736 с.

20. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека ; пер. с греч. / Сицилийский Диодор [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа : <http://simposium.ru/ru/node/9724> – Дата доступа : 16.01.2012.
21. Флавий Вегетий Ренат. Краткое изложение военного дела ; пер. с лат. / Вегетий Ренат Флавий // Военное искусство античности. – М. : Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2003. – С. 275–391.
22. Транквилл Светоний Гай. Жизнь двенадцати цезарей ; пер. с лат. / Гай Светоний Транквилл // Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Властелины Рима : биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана. – М. : Изд. АСТ; Ладомир, 1999. – С. 7–338.
23. Saller, R. Anecdotes as Historical Evidence for the Principate / R. Saller. // Greece and Rome. – 1980. – Vol. 27. – P. 69–84.
24. Varhelyi, Z. The religion of senators in the Roman empire / Z. Varhelyi. – Cambridge : Cambridge University Press, 1999. – XII. – 267 p.
25. Элий Спартиан. Жизнеописание Адриана ; пер. с лат. / Спартиан Элий // Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей; Властелины Рима : биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана. – М. : Изд. АСТ; Ладомир, 1999. – С. 341–362.
26. Шалимов, О.А. Образ идеального правителя в Древнем Риме в середине I-го – начале II века н. э. / О.А. Шалимов. – М. : ИВИ РАН, 2000. – 185 с.
27. Цезарь Гай Юлий. Записки Юлия Цезаря и его продолжателей : в 2 т. ; пер. с лат. В 2 т. / Гай Юлий Цезарь. – М. : День, 1991. – Т. 2 : О Гражданской войне. Об Александрийской войне. Об африканской войне. – 184 с.
28. Rossi, A. The Camp of Pompey: Strategy of Representation in Caesar's *Beiium Civile* / A. Rossi // Classical Journal. – 2000. – № 95. – P. 239–256.
29. Roth, J.P. The Logistics of the Roman Army at War (264 B.C. – A.D. 235) / J.P. Roth. – Leiden : Brill, 1999. – XXI. – 399 p.
30. Цезарь Гай Юлий. Записки Юлия Цезаря и его продолжателей : Пер. с лат. В 2 т. Т. 1. О Галльской войне / Гай Юлий Цезарь. – М. : День, 1991. – 190 с.
31. Онасандр. Наставления военачальникам ; пер. с греч. / Онасандр [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа : <http://www.xlegio.ru/sources/onasander/> – Дата доступа : 11.05.2013.
32. Garnsey, P. Food and Society in Classical Antiquity / P. Garnsey. – Cambridge : Cambridge University Press, 1999. – XIV. – 175 p.
33. Bowman, A.K. A Life and Letters on the Roman Frontier / A.K. Bowman – New York : Routledge, 1998. – 192 p.
34. King, A.C. Animal Bones and Dietary Identity in Military and Civilian Groups in Roman Britain, Germany and Gaul / A.C. King // Military and Civilian in Roman Britain: Cultural Relationships in a Frontier Province / ed. T.F.C. Blagg and A.C. King. – Oxford : British Archaeological Reports. British Series, 1984. – P. 187–217.
35. Davies, R.W. Service in the Roman Army / R.W. Davies. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 1989. – 270 p.
36. Bishop, M.C. Praesidium: social, military and logistical aspects of the Roman army's provincial distribution during the early principate / M.C. Bishop // The Roman Army as a Community ; ed. A. Goldsworthy and I. Haynes. – Ann Arbor : Journal of Roman Archaeology. Supplementary Series, 1999. – P. 111–117.
37. Колобов, А.В. Римские легионы вне полей сражений (эпоха ранней Империи) / А.В. Колобов. – Пермь : изд. ПГУ, 1999. – 128 с.
38. Waateringe van Groerman, W. Food for Soldiers, Food for Thought / W. Waateringe van Groerman // Barbarians and Romans in North-West Europe ; ed. A.P. Fitzpatrick, J.C. Barret, L. Macinnes. – Oxford : British Archaeological Reports. International Series, 1989. – P. 96–107.
39. Парфенов, В.Н. Император Цезарь Август : Армия. Война. Политика / В.Н. Парфенов. – СПб. : Алетейя, 2001. – 278 с.
40. King, A. Animals and the Roman army: evidence of animal bones / A. King // The Roman Army as a Community / ed. A. Goldsworthy and I. Haynes. – Ann Arbor : Journal of Roman Archaeology. Supplementary Series, 1999. – P. 139–149.
41. King, A. Diet in the Roman world: a regional inter-site comparison of the mammal bones / A. King // Journal of Roman Archaeology. – 1999. – № 12. – P. 168–202.

Сяляне і панскі двор ва ўсходняй Беларусі ў другой палове XIX – на пачатку XX ст.: сацыяльна-культурныя адносіны (на матэрыялах мемуарнай літаратуры)

С.М. Токць

Разглядаецца характар сацыяльных адносін паміж сялянамі і панскім дваром ва ўсходняй Беларусі ў другой палове XIX – на пачатку XX ст. Пасля рэформы 1861 г. панскі двор страціў адміністрацыйную і судовую ўладу над сялянамі. Існавалі таксама вострыя сацыяльна-эканамічныя супярэчнасці паміж памешчыкамі і сялянамі, якія часта перарасталі ў канфлікты. Разам з тым памесная шляхта валодала вялікім культурным капіталам, ведамі і тэхналогіямі, якія маглі адыграць вельмі значную ролю ў мадэрнізацыі беларускай вёскі. Але вялікая культурная дыстанцыя паміж дваром і вёскай не дазваляла рэалізаваць гэтую магчымасць.

Ключавыя словы: сяляне, памешчыкі, сацыяльны канфлікт, культурны капітал, культурная дыстанцыя.

The nature of social relations between peasants and landowners in the eastern Belarus in the second half of XIX – early XX century is studied. After 1861 the landowners lost administrative and judicial power over the peasants. There were sharp socio-economic disputes between farmers and landowners. These disputes often generated conflicts. Landowners had valuable knowledge and technology. This knowledge and technology could play an important role in the modernization of the Belarusian village. Nevertheless, the cultural distance between landowners and peasants prevented from implementation of this opportunity.

Keywords: Peasants, landlords, social conflict, cultural capital, cultural distance.

Уводзіны. Рэформа 1861 г. карэнным чынам змяняла характар сацыяльных адносін у беларускім грамадстве. Панскі двор, які на працягу некалькіх стагоддзяў выступаў у ролі мясцовага агента дзяржаўнай улады, траціў свае ўладныя паўнамоцтвы. Дзяржаўная бюракратыя цяпер абыходзілася без яго пасярэдніцтва, непасрэдна кіруючы новаўтворанымі ўстановамі сялянскага самакіравання. Страта функцыі прадстаўніка дзяржаўнай улады была непасрэдна звязаная і са стратай такога важнага для панскага двора фактара, як прымусовая прыгонная праца сялянства. Дворныя гаспадаркі цяпер мусілі радзіць сабе ўжо ў прынцыпова іншых эканамічных умовах. У беларускай савецкай гістарыяграфіі гісторыя сялянства з'яўлялася адным з прырытэтных накірункаў. Але адносіны вёскі з панскім дваром разглядаліся амаль выключна праз прызму эканамічнай эксплуатацыі сялян зямлямі. Польскія даследчыкі таксама ў апошнія гады шмат увагі надаюць гісторыі памеснай шляхты на беларускіх землях. Асабліва гэта датычыць успамінаў памешчыкаў, іх літаратурнай творчасці [1], а таксама сацыяльна-эканамічнай і палітычнай дзейнасці [2], [3]. У дадзеным артыкуле мы спрабуем асвятліць эвалюцыю адносін паміж панскім дваром і сялянскай вёскай у Беларусі найперш у сацыяльна-культурным вымярэнні, паказаць суб'ектыўнае бачанне гэтых адносін вачыма і зямляніна, і селяніна, а таксама акрэсліць уплывы аб'ектыўных чыннікаў, якія вызначалі іх характар і кірунак развіцця.

Пра характар адносін паслярэформеннай вёскі і панскага двора можна даведацца найперш са шматлікіх мемуараў, якія пазней ствараліся якраз прадстаўнікамі памеснай шляхты. Адрозна варты зазначыць, што гэты «панскі» погляд з'яўляецца аднабаковым і даволі істотна скажае рэальнасць, тым больш, што многія мемуары пісаліся ўжо тады, калі іх аўтары пасля сацыяльных катаклізмаў XX ст. знаходзіліся вельмі далёка ад сваіх родавых гнёздаў, а свет былых панскіх маёнткаў уяўляўся ім своеасаблівым страчаным раем. Як сцвярджае польскі даследчык Міраслаў Устшыцкі, для большасці шляхецкіх мемуарыстаў характэрнай з'яўлялася вера ў натуральнасць патрыярхальнага ўкладу вясковага жыцця, ідэя апекі над сялянамі з боку панскага двора, погляд на іх, як на «малодшых братоў» [1, s. 282]. Гэты ж аўтар паўтарае тую думку, што адносіны паміж панамі і сялянамі на «ўсходніх крэсах» нават на пачатку ўжо XX ст. істотна адрозніваліся ад той сітуацыі, якая, напрыклад, склалася на тэрыторыі Вялікапольшчы, што ўваходзіла ў склад

нямецкай дзяржавы: «У параўнанні з Велькапольшай, дзе селяніну падавалі руку і трактавалі як партнёра ў такой самай сферы дзейнасці, адрозненні былі каласальныя. За Бугам яшчэ на пачатку XX ст. выключна адзінкі спрабавалі нясмела ўводзіць больш партнёрскія стасункі ў адносінах пераважна з заможнымі сялянамі...» [1, s. 282].

На ўсходзе былой Рэчы Паспалітай ідэя захавання выразнай сацыяльнай дыстанцыі паміж дваром і вёскай, стэрэатыпы пра натуральную вышэйшасць памешчыкаў над сялянамі, трывала захоўваліся і часта нават культываваліся ў асяроддзі землеўладальнікаў. Ідэальную карціну патрыярхальнага і шчаслівага сужыцця вёскі і панскага двора ў парэформенныя гады (з захаваннем, натуральна, поўнай дамінацыі двора амаль ва ўсіх сферах жыцця) падаюць многія мемуарысты змянскага паходжання. Караль Барысовіч, які паходзіў з маёнтка Разальмава Клімавіцкага павета Магілёўскай губерні так ахарактарызаваў парэформенныя ўзаемаадносіны сялян і двора: «Пасля скасавання прыгону стасункі тыя былі, аднак, надалей трывалыя, без бізуна з боку пана і без прымусу. Памешчык быў лекарам, суддзёй, праўным дарадцам, апякуном – так прынамсі было ў Разальмаве. Па лекі, дровы, пазыку пад пазнейшую адпрацоўку ішлі (сяляне – С.Т.) да двора, дзе рэдка сутыкаліся з адмовай. Таму сцэжкі, якія злучалі двор з вёскай пераважна не зарасталі травой, а таксама пустазеллем непрыязнасці і ненавісці». Барысовіч сцвярджаў, што двор і вёску паядноўвалі не толькі матэрыяльныя інтарэсы, але і старадаўні звычай, паводле якога адносіны паміж панам і сялянамі ўспрымаліся ў патрыярхальным ключы, як адносіны паміж бацькам і дзецёмі. На вялікія святы вяскоўцы тлумна прыходзілі да двора, каб выказаць пану свае віншаванні. Бацька мемуарыста з кожным цалаваўся, пасля чаго запрашаў усіх да святочнага стала, дзе размаўляў з сялянамі пра іх сямейныя справы і клопаты: «Вясновае сонца асвятляла гэтую учту і здавалася мне, што лепшы дзень – супрацоўніцтва і братняй любові надыйдзе ўжо хутка» [4, s. 38–39].

Іншыя мемуарысты шляхецкага паходжання таксама ахвотна прыпамінаюць розныя эпізоды, калі сяляне прыхільна выказваліся пра часы паншчыны. Так, Караль Барысовіч апісвае размову з адным старым селянінам: «У 1917 годзе... размаўляў са старым разальмаўскім селянінам Змітраком. Памятаў ён добра часы паншчыны – і, як кожны амаль старэйшы чалавек – быў перакананым кансерватарам. У размове пра свабоды ўстаіў: А навошта тая “свабода”? Якой яшчэ трэба. Хіба кепска было за часоў паншчыны ў вашага дзеда: карова ў мужыка здохла, пан загадваў выдаць з фальваркавага хлеву, – хлеба не хапіла, – выдалі з “імбару”, а цяпер... хто дапаможа? Толькі зладзейства не любіў стары пан, але быў справядлівы і “ўважны” пан: часам – як цяжарную бабу загадваў высякчы – то заўсёды казаў па “жывот” яму выкапаць» [4, s. 37].

Ужо сам акт абвешчання вызвалення сялян расійскім ўладамі ў 1861 г. выклікаў шматлікія хваляванні вяскоўцаў, незадаволеных умовамі вызвалення, якія, так напярэду, мала што змянялі ў іх жыцці. Для ўладальнікаў гэтыя хваляванні часта ўяўляліся небяспечнай пагрозай самым падставам іх існавання, а таксама горкім расчараваннем спадзяванняў на пабудову гарманічнага сужыцця з вёскай. Ядвіга Кяневіч з Мазырскага павета пісала ў канцы 1862 г.: «(...) страшэнны рэвалюцыйны пажар ахопліваў нас з усіх бакоў (...) што тут казаць пра ўплыў двароў, калі бачым, што ён быў ніякі, нават там, дзе з поўным пасвячэннем народу аддаваліся» [5, s. 100, 101]. Асабліва ж балючым для памешчыкаў ударам стаў той факт, што значная частка сялянства ў часе паўстання 1863 г. адкрыта выступіла на баку расійскіх уладаў і часта з ахвотай удзельнічала ў цкаванні сваіх жа ўладальнікаў. Так, Ядвіга Кяневіч пісала 28 лютага 1863 г. «Дадзены мужыкам заклік лавіць (паўстанцаў – С.Т.) прыняты імі з захапленнем – больш чым войска стараліся (...) У той дзень 19 адчыталі на набажэнствах і таксама паведаміла ім духавенства: Скончылася над вамі праклятае панаванне ляхаў. І эхам радасці адказалі: Лавіць Палякаў!» [5, s. 104]. Многія запалоханыя землеўладальнікі ўцякалі са сваіх маёнткаў, каб схаватца ў гарадах пад аховай расійскіх войскаў. 5 мая 1863 г. Ядвіга Кяневіч напісала: «Ва ўсім павеце хіба мы адныя засталіся на месцы (...) Раз’юшаныя сяляне сочаць, хапаюць і вяжуць уласных паноў, катуюць тых, каго схопіць у лесе» [5, s. 137]. У выніку такога стаўлення з боку сялян памесная шляхта пачала баяцца магчымых пагромаў з боку вёскі. Караль Барысовіч узгадваў, што ў 1863 г. памешчыкі Магілёўскай губерні думалі пра стварэнне мабільных узброеных аддзелаў самаабароны супраць сялян, на выпадак іх выступленняў

супраць паноў [4, s. 57–58]. Ён жа прыводзіў прыклад, што ў адным з паведаў Магілёўскай губерні некалькі ўладальнікаў сабраліся пагуляць у карты, што выклікала вельмі нечаканую рэакцыю сялян: «Вечарам мужыкі напалі на двор, павязалі паноў як баранаў і завезлі да ваеннага начальніка паведа» [4, s. 61]. У выніку такіх здарэнняў толькі пашыралася дыстанцыя паміж дваром і вёскай, абрываліся ранейшыя сувязі. Ядвіга Кяневіч напісала 10 кастрычніка 1863 г.: «Перапыняем на колькі магчыма ўсякія адносіны з вёскай, навучаныя прыкладам іншых, да чаго гэта прыводзіць. Апостальства нашае нікому сёння не патрэбнае» [5, s. 152].

У беларускай савецкай гістарыяграфіі звычайна падкрэсліваўся грабежніцкі ў стасунку да сялян характар рэформы 1863 г. А між тым, яна была цяжкім выпрабаваннем і для памешчыкаў, якія са страхам чакалі яе наступстваў. Ядвіга Кяневіч пісала ў кастрычніку 1863 г. пра працу так званых прававеральных камісій, якія ва ўмовах паўстання 1863 г. пераглядалі ўстаўныя граматы паміж памешчыкамі і сялянамі на карысць апошніх: «Агульны лямант тут нанова распачаўся. Праверальная камісія, распачаўшы працу, ясна паказала свой намер – поўнага зрабавання ўладальнікаў, адабрання ім усёй уласнасці» [5, s. 150].

У такіх умовах многія землеўладальнікі спрабавалі да мінімума абмежаваць кантакты з навакольнымі сялянамі, а таксама пазбегнуць залежнасці ад іх працоўнай сілы. Развіццё новых тэхналогій дазваляла двару скарачаць патрэбы ў паслугах часовых работнікаў з сялян. Часам гэтыя патрэбы пакрываліся коштам прыцягнення парабкаў з аддаленых, нават замежных краёў, якіх некаторыя памешчыкі пачалі асаджаць на сваіх землях. Антоні Кяневіч пісаў у сваіх успамінах, што «яго дзед адкупіў за 100 рублёў ад заможнага яўрэя ў Каралеўстве Польскім некалькі сялянскіх сямей, што адпрацоўвалі таму за пазыкі, і пасяліў гэтыя сем'і ў асобнай калоніі каля свайго маёнтка, збудаваўшы для іх невялікія хаты, а таксама надзяліў кавалкамі зямлі. За гэта перасяленцы адпрацоўвалі ў фальварку» [6, s. 34–35].

Канфлікты паміж вёскай і дваром пачалі імкліва нарастаць у часе рэвалюцыі 1905 г. Ірэна Галынская пісала пра падобныя падзеі на Ўсходзе Беларусі: «У 1905 годзе сяляне пачалі бунтаваць, узброеныя банды хадзілі разбіваць і нішчыць маёнткі, часта забіваючы ўладальнікаў двароў. Нашы сяляне нас не чапалі, а калі аднойчы прыйшла такая банда з Чарнігаўшчыны, наш поп з Чарацянкі Айцец Міхал прыбег з крыжам у руцэ (...) стаў перад імі ў дзвярах нашага дому: “Не дам рабаваць і забіваць дзяцей, а калі хочаце, дык спачатку забіце мяне (...)”. Мужыкі знялі шапкі, поп іх перахрысціў крыжам, і ўсе адышлі. Скончылася ўсё перапалохам дзяцей і службы» [7, k. 25].

У гэтакіх умовах многія памешчыкі выкарыстоўвалі своеасаблівыя стратэгіі прыстасавання, скіраваныя на максімальнае пазбягання канфліктаў з сялянамі. Ірэна Галынская пісала пра стаўленне яе бацькі да лясных злодзеяў з ліку мясцовых сялян, што той наказваў сваім ляснікам, каб яны толькі палохалі такіх, але давалі магчымасць уцячы, каб не даводзіць канфлікт да небяспечнай развязкі. У выніку, як пісала мемуарыстка: «У часе рэвалюцыі нічога у нас не знішчылі, і нас не пераследавалі. Былі заўсёды добразычлівыя» [7, s. 31]. Тут варта падкрэсліць, што якраз недахоп лесу, які амаль увесь належаў панам, з'яўляўся адной з самых балючых праблем развіцця сялянскай гаспадаркі. У вёсках нават гаварылі, што той, хто не злодзей у лесе, і ў хаце не гаспадар. Таму паводзіны бацькі Ірэны Галынскай з гэтага пункту гледжання былі абсалютна рацыянальнымі. Пад час руска-японскай вайны, як успамінала мемуарыстка, прызваныя ў войска мясцовыя сяляне прыходзілі ў панскі двор, прасілі пана паклапаціцца пра іх сем'і, а пані давала ім крыжыкі. Бацька Ірэны Галынскай арганізаваў у сваім маёнтку школу [7, s. 33]. Мемуарыстка таксама ўспамінае пра біццё вепраў у маёнтку, на якое талакой збіраліся мясцовыя сяляне, каб дапамагчы ў разборцы забітых свіней. Кожная жанчына магла штосьці забраць з сабой са свежаніны: «У часе той працы распавядаліся казкі, навіны, а каля паўночы, калі біла 12-ая гадзіна, распачыналіся аповяды пра духаў і страхі» [7, s. 34].

Караль Барысовіч пісаў, што на беларускіх землях у асяроддзі памеснай шляхты сфармаваўся тып чалавека, які «будучы палякам, кахаў па-свойму Беларусь, як складовую частку Польшчы, альбо будучы беларусам кахаў сваю больш шырокую айчыну Польшу (...) Амаль кожны з нас мог сказаць пра сябе “Gente Alba-Ruthenus, natione – Polonus”, паколькі нашы прадзеда прынялі польскую культуру разам з гербамі і вольнасцямі, якія давала прыналежнасць да польскай шляхты. Але не парвалі мы духоўных сувязяў з беларускім народам» [7, s. 39–40].

Падобная амбівалентнасць, як вынікае з крыніц, была характэрнай для многіх прадстаўнікоў беларускай памеснай шляхты. Караль Барысавіч сцвярджаў, што сам ён браў чынны ўдзел у беларускай нацыянальнай агітацыі, асабіста выпісваў беларускія каляндары, друкаваныя выдавецтвам «Наша Ніва» на пачатку XX ст. і раздаваў іх народным настаўнікам [7, s. 41]. Адначасова, як сцвярджаў мемуарыст, ён займаўся і польскай нацыянальнай агітацыяй у асяроддзі беларускамоўнай засяянкавай шляхты: «Я марыў аб спалышчэнні дробнай шляхты польскага паходжання, але пераважна ўжо збеларусізаванай, і абеларушванні тутэйшага сялянства, ужо ў значнай ступені праз войска і школу зрусіфікаванага» [7, s. 41]. Варта адзначыць, што падобнае бачанне нацыянальных адносінаў на пачатку XX ст. ужо цяжка было прымірыць з набіраючым моц этнакультурным нацыяналізмам, які не цяпеў падобнай амбівалентнасці.

Заклучэнне. У другой палове XIX – на пачатку XX ст. памесная шляхта Беларусі як сацыяльная група перажывала істотныя структурныя змены. З яе асяроддзя фармавалася навуковая інтэлігенцыя, значная частка прадстаўнікоў так званых «вольных прафесій». Многія з гэтай групы выязджалі ў вялікія гарады Расійскай імперыі, а таксама за мяжу, дзе маглі знайсці прымяненне сваім ведам і амбіцыям. Але многія заставаліся на радзіме, спрабавалі наладзіць добрыя стасункі з мясцовым сялянскім насельніцтвам. Але ў цэлым гэтыя спробы не прынеслі поспеху. Можна, на нашу думку, сцвердзіць, што працягвала існаваць вялізная культурная дыстанцыя паміж дваром і вёскай, якую не маглі пераадолець асветніцкія намаганні асобных памешчыкаў. Для большасці ж свет за брамай іх маёнтка ўяўляўся хоць прыгожай, але ўжо чужой і незразумелай краінай.

Літаратура

1. Ustrzycki, Mirosław. Ziemianie polscy na kresach 1864–1914. Świat wartości i postaw / M. Ustrzycki. – Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2006. – 406 s.; Zadencka, Maria. W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Obraz Litwy i Białorusi w twórczości wybranych polskich pisarzy emigracyjnych / Maria Zadencka. – Uppsala : Uppsala Univ. Depart. of Slavic Languages, 1995. – 219 s.
2. Jurkowski, Roman. Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864–1904. Działalność społeczno-gospodarcza / R. Jurkowski. – Warszawa : Drukarnia DUO, 2001. – 604 s.
3. Jurkowski, Roman. Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziemi Zabrzanych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906–1913 / R. Jurkowski. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. – 550 s.; Jurkowski, Roman. Wyobrażenia i rzeczywistość. Polscy panowie i białoruscy chłopcy w świetle pamiętników ziemian i realiów kresowych drugiej połowy XIX – początku XX wieku / R. Jurkowski // Polacy i sąsiedzi – dystans i przenikanie kultur. – Cz. II : Zbiór studiów pod redakcją Romana Wapińskiego. – Gdańsk, 2001. – S. 26–42.
4. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Dział Rękopisów. 15413-II. Pamiętniki do 1939 r. Cz. 1. Karol Borysowicz. Białoruś jaką pamiętam.
5. Kieniewicz, S. Dereszewicze 1863 / S. Kieniewicz. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – 191 s.
6. Kieniewicz, A. Nad Przypiecią dawno temu... : Wspomnienia zamierzchłej przeszłości / A. Kieniewicz. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. – 557, [2] s.
7. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dział Rękopisów, 15560 – II, Iren z Lisowskich Hołyńska, Wspomnienia. Dwory na Kresach.

Состояние антирелигиозной информационно-разъяснительной работы партийно-государственных структур в БССР в 1937–1941 гг.

И.И. ЯНУШЕВИЧ

Проводится анализ мероприятий партийно-государственных структур по активизации антирелигиозной информационно-разъяснительной работы с населением в 1937–1941 гг. в БССР. Главным исполнителем запланированных мероприятий ЦК КП(б)Б был определен созданный еще в середине 1920-х гг. Союз воинствующих безбожников. Выработаны и обоснованы взаимосвязь и взаимодействие антирелигиозных пропагандистских мероприятий и социально-политических процессов в советском обществе накануне Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: антирелигиозная пропаганда, Православная церковь, атеистическое воспитание.

The party-state structures activities to enhance the anti-religious outreach within the population of 1937–1941 years in Belarus is analyzed. It was determined, that the main executor of the CC CP(b)B planned activities was League of Militant Atheists created in the mid-1920s. The relationship and interaction of anti-religious propaganda activities and socio-political processes in Soviet society on the eve of the Great Patriotic War were developed and substantiated.

Keywords: anti-religious propaganda, Orthodox Church, atheistic education.

Изменения в политической и социально-экономической жизни граждан России после ноября 1917 г. не могли не затронуть и духовный мир человека. Коренная ломка всего государственного устройства требовала соответствующего информационно-пропагандистского сопровождения. Иллюзиями о поддержке массами своих преобразований лидеры большевиков себя не обнадеживали. Взяв за основу идеи исключительности и величия России, власти возвели на них идеалы нового советского общества. Спасительная миссия самого справедливого и единственного в мире социалистического государства, способного привести население планеты ко всеобщему благоденствию, была достаточно близка гражданам. Квазирелигиозный характер коммунистической идеологии дезорганизовал некоторых верующих. Направлять же и реализовывать проект могла только передовая часть общества во главе с большевистской партией. Строителем светлого коммунистического будущего должен был стать «новый человек», созданный по образу и подобию уже имеющихся и постоянно появляющихся в дальнейшем вождей разного уровня, стахановцев, героев-летчиков, пионеров-героев, людей с «горячим сердцем, холодным рассудком и чистыми руками». Главным источником таких представителей нового общества могли стать только представители общества старого. Именно они подлежали перевоспитанию с целью победы в себе былых привычек. Материалистическое мировоззрение должно было стать залогом отторжения от традиционных ценностей, отрыва от многовековой христианской культуры. Безусловно, для решения столь масштабной задачи возникла необходимость создания и поддержания в работоспособном состоянии громадной системы идеологического воздействия на массы и потребовались годы кропотливой работы. В статье предпримем попытку исследования промежуточных результатов эффективности работы агитационно-пропагандистской системы в БССР в антирелигиозной сфере спустя два десятилетия с начала атеистического эксперимента без анализа целесообразности осуществления подобной деятельности.

Вопросы организации агитационно-пропагандистской работы под руководством компартии в советский период изучались достаточно многими учеными, общественными деятелями, партийными функционерами и т.д. Исследования в сфере антирелигиозной пропаганды имели значительный уклон в сторону демонстрации весомого атеистического наследия и формулирования теоретических основ материализма, соответствующих духу времени [1]–[3]. Практическая сторона вопроса значительно идеализировалась под идеологическим прессом компетентных товарищей. Источниковая база была весьма ограничена. Большинство документов

рассекретили после 1991 г., что и вызвало огромный исследовательский интерес. Основная часть работ после развала СССР посвящена истории Русской православной церкви и иных религиозных организаций. Непосредственно проблема пропаганды безбожия в 1930-е гг. не нашла своего отражения в научных трудах. Во многом предопределили необходимость такого исследования такие ученые, как В. Алексеев [4], В. Новицкий [5], Т. Протько [6] и М. Шкаровский [7]. Источниковую базу составляют материалы Национального архива Республики Беларусь и Государственного архива Российской Федерации.

1937 г. взят за крайнюю дату не в силу символичности двадцатилетнего периода существования богоборческой власти. Главным образом это связано с важными решениями КП(б)Б по организации антирелигиозной работы. Безусловно содержание решений бюро ЦК КП(б)Б, резолюции собраний и совещаний находились в прямой зависимости от тональности февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 г., указавшего на «политическую близорукость», и последовавшей за ним волны изъятия граждан. Еще одним значимым событием в деле организации борьбы с религией явилась перепись населения 1937 г. Вопрос об отношении к религии был внесен лично И. Сталиным. Ответ обескуражил и его, и получивших доступ к результатам. Около 57 % или около 90 млн. граждан даже при угрозе всевозможных санкций записались верующими. С учетом секуляризации дореволюционного общества, ликвидации религиозных организаций, объективной невозможностью дачи честного ответа социально-активной категорией населения успехи безбожия (67 млн.) были не столь внушительны как преподносилось пропагандой и предполагалось ответственными работниками. «Религиозным дурманом» были «поражены» практически все слои (классы) социалистического общества. Религиозность была высокой. И если для неграмотных старше 70-ти лет положительный ответ у 94,5 % был в целом ожидаем и оправдан, то 32,5 % у грамотной молодежи от 16 до 19 лет означал практически полный провал деятельности партийно-государственных структур на антирелигиозном фронте. Хотя результаты переписи сразу же были засекречены, на местах представляли расклад сил. Например, в Дрибинском районе при сборе подписей за открытие церкви из 1068 303 были от людей младше 30 лет [8, л. 370]. Становилась очевидность ошибочности определения уровня религиозности граждан наличием официально действующих молитвенных зданий, внешних атрибутов причастности к культу, зарегистрированных священнослужителей, зафиксированных исполнений религиозных обрядов. Естественно, с учетом массового силового закрытия храмов, изъятия клира, глумления над участниками культовых практик и отнесением терпимого отношения к верующим к проявлению враждебности по отношению к советской власти, внешне картина выглядела вроде бы и на достаточном для самоуспокоения уровне. На самом деле ситуация была вредна как для агитационно-пропагандистской работы, так и для духовно-нравственного состояния общества. Об этом неоднократно указывалось комиссией по делам культов при ЦИК СССР: «Религиозность населения административно загнана в подполье. Она выливается в тайные формы, ищет выхода и находит сначала в некотором изменении религиозных обрядов и их приспособлении к существующей обстановке, а в последствии в формы организованных нелегальных групп, которые широко используются контрреволюционным элементом для создания контрреволюционных групп фашистского и террористического порядка» [9, л. 110]. Стиль текста соответствует духу времени. 1936–1937 гг. заставляли ответственных работников во всех видеть фашистов, террористов, хотя на самом деле абсолютное число к ним причисленных, пусть и антибольшевистски настроенных, но просто желавших исповедовать ту или иную религию. Лишенные возможности участвовать в жизни официально зарегистрированных, а значит ответственных за свою культовую практику и отношение к властям организаций, верующие подвергались серьезнейшей мировоззренческой дезориентации. Возникавшие формы религиозной жизни зачастую были весьма далеки от каноничных для традиционных конфессий. В той же информации комиссии по делам культов находим следующие характеристики этих форм: «Появились бродячие попы. Легче орудуют всякого рода проходимцы, знахари, предсказатели, святые и др.» [9, л. 110]. Склонность людей к окултно-мистическим действиям подменяла традиционную религиозность, тем самым подготавливая «почву для всякого рода антисоветской агитации, слухов, сплетен (об антихристах)» и «повышая у части общества интерес к религиозным верованиям» [9, л. 110]. Руководство партии и НКВД понимали, что проводимая линия по уничтожению организационных основ

религиозных организаций оказалась по сути ошибочной и бесперспективной. Изъять громадное количество граждан было нереально, а с учетом демографической ситуации и недостатка рабочей силы и не выгодно. Перевоспитать абсолютно не приемлющих материализм не удалось и за двадцать лет, то вопрос необходимо было решать ближайшей перспективе. С целью локализации влияния радикальных верующих НКВД БССР предложил план по умиротворению колеблющихся: «К/р церковный элемент, используя отсутствие действующих церквей, проводит усиленную антисоветскую агитацию среди отсталого слоя населения, истолковывая в антисоветском духе политику партии и советской власти в части свободного отправления религиозных обрядов и тянут верующих в подполье. Вследствие этого и для быстрейшего нанесения оперативного удара по антисоветскому церковному активу и для антирелигиозного разложения отсталых религиозных масс, считаем необходимым допустить возобновление служб в ряде церквей (10–12), которые не функционируют и вопрос о закрытии которых не подымался» [10, л. 76–77].

В дополнение к своему предложению Народный комиссар внутренних дел БССР майор госбезопасности Наседкин в докладной в ЦК КП(б)Б указывал на необходимость усиления антирелигиозной работы всей системой агит-пропа. Комиссар знал ситуацию в республике и осознавал, что действия властей по закрытию молитвенных зданий формировали неблагоприятный климат для проведения столь злободневной антирелигиозной пропаганды. В БССР их к 1936 г. функционировало 10,9 % от дореволюционной численности, хотя по СССР насчитывалось 28,8 % , по РСФСР – 35,6 % и только УССР с 9 % опережала нашу республику [9, л. 81]. Причем основная масса поступающих в Постоянную комиссию по вопросам культов при Президиуме Верховного Совета СССР жалоб была на незаконное закрытие храмов. Из БССР только в 1935 г. было 152 ходока. По подсчетам данной комиссии незаконно было закрыто 32,4 % [11, л. 96]. Из законно закрытых не использовалось 22 %. «Законно» в данном случае считается, что была соблюдена процедура, при этом в абсолютном большинстве случаев принятые «по просьбам трудящихся» решения не учитывали мнение верующих граждан. Абсолютно невероятно что бы жители села Бродецкое Березинского района были согласны с закрытием своего храма когда ближайший сохранившийся располагался на расстоянии 70 км., а в Витебске после ликвидации последней из десяти церквей на расстоянии 50 км. Если не удавалось прервать богослужения законодательно допустимым путем, то местные власти шли на различные ухищрения. В частности в сельхоз предприятиях остро стоял вопрос хранения зерна, особенно во время жатвы. Верующие давали согласие на временное непрофильное использование помещения церкви под зерносклад. В данный период они не пользовались зданием, но установленные платежи за него взыскивались. После использования церкви возвращались «верующим в испорченном виде, культовое имущество обычно ломается и расхищается» [9, л. 97]. Часто изымались храмы под засыпку зерна при наличии иных свободных для этих целей помещений. Местные власти таким образом вместо совершенствования форм и методов антирелигиозной работы применяли характерную для начала 1920-х гг. и 1930-х гг. тактику административного нажима.

Естественно охватить квалифицированными лекторами и способными к организации антирелигиозной работы кадрами все население власти были не в состоянии. С учетом показателей религиозности представляется, главной задачей была локализация активных форм проявления недовольства антирелигиозной политикой государства. Здесь возникала необходимость координации действий всех властных структур. На агитаторов и пропагандистов ложилась задача разъяснения гражданам контрреволюционной сущности и обыденной отсталости участников не санкционированных действий. Причем вопрос опережения этих самих действий религиозного характера был практически не выполним. Постфактум собирались ударные группы, которые организовали информационно-разъяснительную работу, а где было необходимо подключались и компетентные органы для изъятия наиболее активных верующих. Особенную обеспокоенность пропагандистов вызывало «святое письмо» «от божьей матери отца сыны святого духа от белого монастыря», активно распространявшееся среди верующих в предвоенные годы. Суть письма сводилась к призыву к покаянию, соблюдению постов, верности к Богу. Неверующие «будут наказаны от бога громами и огнями, пойдет народ на народ, брат на брата и будет между вами большое кровопролитие» [12, л. 108]. Сомневающиеся предупреждались о неминуемой каре божьей за отступничество от веры. Письмо следовало переписать 9 раз и разослать другим людям.

С учетом имевшейся, особенно в 1937 г., ситуации с изъятиями граждан, распространяемых слухов о неминуемой войне с Гитлером и угрызениями совести за внешний отказ от веры письмо производило на граждан серьезное впечатление. Неуверенность в завтрашнем дне, боязнь за родных и близких и прочие возникающие проблемы направляли мысли людей к Богу. На этой почве фиксировались массовые, по мнению ответственных работников, антисоветские выступления как в Шкловском районе: «В колхозе «1-я пятилетка» колхозницы не вышли демонстративно на работу, не пустили своих детей в школу и заставили детей переписывать это «божье послание» на 9 листах. Переписали и отдали в другие места. В домах, где по несколько лет не было икон, появились чудотворцы и «божьи матери» с угодниками» [13, л. 61]. В подобных местах необходимо было срочно организовывать антирелигиозный десант.

Еще одной существенной проблемой для антирелигиозников стала новая «сталинская конституция». Предполагавшийся очередной шаг по полному запрещению любой религиозной деятельности был отвергнут И. Сталиным, обозначившим при обсуждении новой редакции следующее: «Далее идет поправка к статье 124-ой проекта Конституции, требующая ее изменения в том направлении, чтобы запретить отправление религиозных обрядов. Я думаю, что эту поправку следует отвергнуть, как не соответствующую духу нашей Конституции» [14, с. 149]. За признанием права на исповедование любой религии последовала волна жалоб на незаконное снятие с регистрации молитвенных зданий и заявлений об открытии и их и официально не закрытых, но и фактически не функционирующих храмов. В этой ситуации пропагандисты обязывались объяснить населению, что, несмотря на дарованную партией «широчайшую демократию», сама по себе мысль об открытии храмов является контрреволюционной. Подпись под заявлением могла значительно усложнить жизнь человека, особенно если после проведенной профилактической беседы он не соглашался ее отозвать. Однако реально противопоставить что либо возникшему движению было сложно. Это обозначалось и в докладной секретарям ЦК КП(б)Б: «Уже из одного сопоставления подачи заявлений на закрытие (112) и открытие (237) молитвенных домов за 1936 г. явно свидетельствует о значительной активизации церковников и всей слабости нашей антирелигиозной пропаганды в республике. Причем, надо иметь в виду, что церковники при организации ходатайства об открытии молитвенных домов проводят вокруг каждого заявления более усердную свою «массовую» по существу контрреволюционную работу по одурачиванию трудящихся, нежели наши партийные, комсомольские, профсоюзные и другие организации проводят антирелигиозную, политвоспитательную работу вокруг сбора подписей за закрытие церквей, костелов, синагог» [15, л. 394–395]. Сама процедура проходила не транспарентно. Многие были вынуждены подписывать в силу служебного или семейного положения, а в деревнях вместо разъяснительной работы подписи часто просто фальсифицировались.

Между тем именно информационно-разъяснительную работу в борьбе с религиозными деятелями назвал главной И. Сталин. Выступая в ноябре в 1936 г. с докладом «О проекте Конституции Союза ССР» на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов при обсуждении редакции новой конституции в плане предоставления священнослужителям избирательных прав Сталин однозначно обозначил: «...Говорят, что опасно, так как могут пролезть в верховные органы страны враждебные советской власти элементы, кое-кто из бывших белогвардейцев, кулаков, попов и т. д. Но чего тут собственно бояться? Волков бояться, в лес не ходить. В первых, не все бывшие кулаки, белогвардейцы или попы враждебны Советской власти. Во вторых, если народ кое-где и изберет враждебных людей, то это будет означать, что наша агитационная работа поставлена из рук вон плохо, и мы вполне заслужили такой позор, если же наша агитационная работа будет идти по-большевистски, то народ не пропустит враждебных людей в свои верховные органы. Значит, надо работать, а не хныкать...» [14, с. 149].

На это нацеливали и решения ЦК КП(б)Б и совещания пропагандистов. В 1938–1939 гг. ситуация постепенно изменяется в сторону систематизации в проведении агитационно-пропагандистской работы. Не смотря на имеющиеся проблемы, партийные структуры уже способны были решать серьезные вопросы на идеологическом фронте. Определенное И. Сталиным задание «поднять политическую работу нашей партии на должную высоту, поста-

вив во главу угла задачу политического просвещения и большевистской закалки партийных, советских и хозяйственных кадров» с огромными трудностями, но выполнялось [16, л. 45]. Партпросвещение приобретало систематический характер. Вузы выпускали профессиональных идеологических работников. Были подготовлены адаптированные учебные программы курсов и кружков. Изданы методические материалы. Структурирование позволило ликвидировать дублирование функций. В Минске и Гомеле создавались научно-методические центры. Укрупнение школ политграмоты способствовало качественному росту педсовета. Подготовку коммунистов начали осуществлять в соответствии с их общим уровнем грамотности, исключив возможность перевода по несколько раз с одного кружка в другой в связи с невозможностью освоения программы. Значительное изменение наметилось в составе пропагандистов. Трудно определить профессиональный потенциал изъятых НКВД и разоблаченных как врагов народа, но замена достаточно образованными малограмотными лекторами-пропагандистами, безусловно, усиливала работу. В систему агит-пропа вливались коммунисты, закончившие специальные курсы по переподготовке.

В целом система политпросвещения вселяла в партийное руководство республики уверенность в возможности активизации и антирелигиозной работы. Для восстановления наиболее полной картины на места 23.04.1937 г. было направлено письмо за подписью заведующего отделом партийной пропаганды и агитации ЦК Л. Готфрида с просьбой дать характеристику деятельности религиозных организаций и «паведаміць, якую дапамогу вам пажадана атрымаць ад ЦК і другіх менскіх арганізацый па гэтаму пытанню» [17, л. 219]. Основываясь на предложениях с мест, информации НКВД, инструктивных письмах ЦС СВБ СССР в республике с 1937 г. начинает реализовываться комплекс антирелигиозных мероприятий, в целом носивших первоначально организационный характер по возрождению ячеек СВБ. На базе создаваемой структуры безбожников партийным организациям предстояло вовлечь в антирелигиозную работу как можно большее количество участников. Основными застрельщиками в этом направлении должна была стать социально-активная часть общества. Учителя, врачи, инженерно-технические работники, коммунисты и комсомольцы своим примером критического отношения к религии и церкви могли воздействовать на население. Опорные пункты антирелигиозной работы сосредотачивались в школах, избах-читальнях, клубах. Для подготовки пропагандистов организовывались специальные курсы. Через которые только в 1940 г. прошло 103 слушателя. В том же году была создана внештатная лекторская группа в количестве 75 человек из наиболее подготовленных научных работников. При Президиуме Академии наук БССР во главе с академиком С.Я. Вольфсоном была создана группа атеизма, на которую возлагалась задача по совершенствованию научно-методической базы атеистической работы. Предполагалась подготовка и издание научно-популярных брошюр для агитаторов и пропагандистов. Главной формой организации антирелигиозной работы становятся индивидуальная работа атеистов с верующими коллегами, родителями учащихся и лекции. Материалы выступлений рецензируются и редактируются ведущими белорусскими учеными. Лекторская группа ЦС СВБ БССР только за 1940 г. прочитала 803 лекции из них 526 в западных областях, охватив около 72 тысяч слушателей [18, л. 25].

К существенным недостаткам в деле организации антирелигиозной работы следует отнести нежелание ей заниматься такими важнейшими идеологическими институтами как комсомол и профсоюз. Данные организации практически игнорировали этот участок информационно-разъяснительной работы. Располагая значительной материальной базой вместо идеологической обработки трудящихся и учащихся они большее внимание уделяли зарабатыванию средств на проведении досуговых и иных мероприятий. ЦК ВЛКСМ в июне 1941 г. указывал, что некоторые их структуры увлеклись «вульгарным», развращающим народ платным досугом, превратив его «чуть ли не в единственную форму культурно-массового обслуживания молодежи» [19, л. 108]. Очень слабо, а во многих местах практически полностью отсутствовала антирелигиозная работа в сельской местности, где была сконцентрирована основная масса носителей религиозного мировоззрения. В недостаточной степени продвижению безбожия способствовала центральная республиканская пресса. За 1940 г. такие газеты как

«Звезда» и «Советская Белоруссия» опубликовали только по 3–4 соответствующих материала, некоторые районные по 1–2, что в условиях недостаточного количества специальной антирелигиозной литературы значительно осложняло работу низовых организаций. Главным образом из-за отсутствия квалифицированных оплачиваемых сотрудников не удалось к июню 1941 г. наладить работу изб-читален и парткабинетов. Руководство ими на общественных началах только с формальной точки зрения позволяло говорить о их эффективном функционировании. На практике помещения были плохо оборудованы, часто надолго закрыты, а имеющаяся там литература никем не использовалась. Воссоединение с западными областями Беларуси и Украины способствовало значительному перемещению туда квалифицированных специалистов пропагандистов, что негативно сказывалось на работе в восточных регионах.

Таким образом, проведенное исследование показало, что партия и правительство ставили перед агитационно-пропагандистским сектором сложные задачи, решение которых на практике было неосуществимым. Общественно-политическая ситуация в период завершения формирования нового государственного строя требовала максимальной концентрации усилий всех звеньев идеологического механизма. Антирелигиозная работа, не смотря на декларируемую официальными структурами опасность для советского общества религиозных пережитков и церковных организаций, не являлась приоритетной в данной сфере. К концу 1930-х гг. главной формой распространения атеизма становиться информационно-разъяснительная работа, эффективно охватывающая незначительную часть населения. Большинство граждан советского государства не придерживались материалистического мировоззрения, а возникающие формы культовых практик и объединений верующих наносили урон духовно-нравственному развитию общества. Как показала в дальнейшем практика советского безбожия, реализуемая на основании оптимизированной И. Сталиным коммунистической идеологии квазирелигиозного характера, для секуляризации общества необходимо было ликвидировать носителей положительной информации о религии и церкви: культуру, воцерковленную семью, возможность организации повседневной жизни в соответствии с религиозным учением и догматами. Наличие примера мученического подвига десятков тысяч священников и мирян (даже и при миллионах вероотступников), авторитет родных и близких, мировоззренческий поиск в условиях сохранившейся еще исторической памяти, некое идейное тождество ценностных ориентаций традиционных конфессий и коммунистического учения в комплексе с имеющимися организационными и методологическими недоработками не позволили к 1941 г. сформировать в БССР эффективную антирелигиозную агитационно-пропагандистскую систему.

Литература

1. Жук, А.П. Становление научно-атеистической мысли в Советской Белоруссии / А.П. Жук. – Минск : БГУ им. В.И. Ленина, 1981. – 243 с.
2. Платонов, Р.П. В.И. Ленин о научных основах атеистической пропаганды / Р.П. Платонов. – Мн. : 1969. – 147 с.
3. Круглов, А.А. Развитие атеизма в Белоруссии (1917–1987) / А.А. Круглов. – Минск : Беларусь, 1989. – 367 с.
4. Алексеев, В.А. Штурм небес отменяется? Критический очерк по истории борьбы с религией в СССР / В.А. Алексеев. – М. : Россия молодая, 1992. – 246 с.
5. Канфесіі на Беларусі / В.В. Грыгор'ева [і др.] ; пад рэд. У.І. Навіцкага. – Мінск : Экаперспектыва, 1998. – 325 с.
6. Протьюко, Т. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917–1941 гг.) / Т. Протьюко. – Минск : Тесей, 2006. – 687 с.
7. Шкаровский, М.В. Русская Православная Церковь в XX веке / М.В. Шкаровский. – М. : Вече, Лепта, 2010. – 480 с.
8. Национальный архив Республики Беларусь (НА РБ). – Ф. 4 п. – Оп. 1. – Д. 12099.
9. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). – Ф. 5263. – Оп. 1. – Д. 32.
10. НА РБ. – Ф. 4п. – Оп. 1. – Д. 13219.
11. ГА РФ. – Ф. 5263. – Оп. 1. – Д. 46.
12. НА РБ. – Ф. 4п. – Оп. 1. – Д. 12082.

13. НА РБ. – Ф. 4п. – Оп. 1. – Д. 11852.
14. Сталин, И. Доклад на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. / И. Сталин // Вопросы истории. – 1995. – № 3. – С. 3–15.
15. НА РБ. – Ф. 4п. – Оп. 1. – Д. 11834.
16. НА РБ. – Ф. 4п. – Оп. 1. – Д. 13188.
17. Государственный архив общественных объединений Гомельской области. – Ф. 451. – Оп. 3а. – Д. 1211.
18. НА РБ. – Ф. 4п. – Оп. 1. – Д. 15512.
19. Российский государственный архив социально-политической истории. – Ф. 1м. – Оп. 4. – Д. 282.

Белорусский государственный университет

Поступила в редакцию 06.11.2014

ФИЛОЛОГИЯ

УДК 11.111'342.3

Особенности действия механизмов слитного произнесения при восприятии английской речи на слух

Н.В. БЕРЕЩЕНКО, Н.В. НАСОН

Анализируется значение произносительных навыков при изучении и преподавании иностранного языка, а также сложности, препятствующие адекватному пониманию иноязычной речи. Рассматривается характер процесса восприятия речи на слух, а также условия обеспечения произносительной слитности при сцеплении звуков в межсловных консонантных и вокалических стыках.

Ключевые слова: обучение аудированию, слухо-произносительные навыки, восприятие речи на слух, беглость речи, механизмы слитного произнесения фонем в связной речи, связующие звуки, элизия.

The importance of pronunciation skills in the study and teaching of foreign languages, as well as the difficulties impeding adequate understanding of foreign speech are analyzed. The nature of the process of listening comprehension, as well as the conditions which provide linking of sounds in consonantal and vocalic word junctures are considered.

Keywords: teaching of listening, listening and pronunciation skills, listening comprehension, fluency, linking of phonemes in connected speech, linking sounds, elision.

Повсеместная информатизация позволяет если не упростить, то, по крайней мере, существенно облегчить процесс овладения иностранным языком в целом и слухо-произносительными навыками в частности. Последние подразумевают владение звуковым строем языка, правильным произношением и культурой речи (собственно произносительные навыки), а также способность к совершению действий и операций по узнаванию и различению отдельных фонем, слов, смысловых синтагм, предложений и т. д. (аудитивные навыки), что является неременным условием эффективной иноязычной коммуникации. Уже в самом начале обучения следует уделять достаточно внимания работе над произношением, в ином случае потом исправить ошибки и улучшить сформированные навыки будет сложнее. Именно начальный этап является самым сложным и ответственным. Здесь происходит формирование не только слухо-произносительной базы, то есть способности правильно ассоциировать слышимый звук с соответствующим ему значением и продуцировать звуки, соответствующие определенным значениям, но и всех остальных тесно связанных с ней навыков и умений. Как правило, на этом этапе используются довольно простые упражнения, в основе большинства которых лежит имитация звуков, их дифференциация на слух, а также произнесение звуков, звукосочетаний, слов, словосочетаний. Но именно сформированность устойчивых норм произношения обеспечивает последующее нормальное функционирование диалогической и монологической устной речевой деятельности, а также является неременным условием успешного восприятия и понимания речи со слуха, т. е. аудирования.

Человеку свойственно слушать и понимать значительно больший объем информации и на более высоком уровне, чем выражать свои мысли посредством говорения или письма. И то, насколько точно и полно мы воспринимаем полученную информацию, может определить наши последующие действия. Научить учащихся понимать звучащую речь – одна из важнейших целей обучения [1, с. 124].

Часто, помимо восприятия речи со слуха, мы выполняем и другие действия: наблюдаем, говорим, пишем и т. д., но в большинстве своем, для того чтобы адекватно функционировать в конкретной ситуации, необходимо понимать то, что слышишь.

На занятии практически невозможно формировать лишь один речевой или языковой навык. Работая с аудиотекстами, мы одновременно отрабатываем лексические, грамматические, фонетические навыки. Аудиотексты дают информацию для обсуждения, что, в свою очередь, предполагает дальнейшее развитие навыков говорения или письма. В этом случае аудирование является средством обучения. Провести четкую грань здесь непросто. Даже термин «устная речь» изначально предполагает как навыки аудирования, так и навыки говорения. Диалог как форма устноречевого общения невозможен без хорошо сформированных навыков аудирования и говорения.

Практический опыт обучения иностранному языку, практика устного перевода и просто общения на иностранном языке убеждают в том, что аудирование является одним из самых сложных видов речевой деятельности. Во-первых, оно характеризуется одноразовостью предъявления. Следовательно, надо учиться понимать текст с первого прослушивания, поскольку в реальных ситуациях общения повторы зачастую просто исключены. Во-вторых, мы не в состоянии что-либо изменить, не можем приспособить речь говорящего к своему уровню понимания. У каждого человека есть свой стиль, иногда он слишком научный, а иногда чересчур эмоциональный, насыщенный идиомами и образными выражениями, далеко не всем понятными. В-третьих, существует целый ряд объективных сложностей, препятствующих пониманию речи с первого раза [1, с. 125]. К ним можно отнести внешние шумы, помехи, плохую акустику. Трудности довольно часто возникают и при отсутствии видимого источника речи. Исследования доказали, что если источник речи видим, то процент понимания речи со слуха будет намного выше, чем в его зрительное отсутствие. Мимика, жесты, движения губ и просто контакт глаз способствуют лучшему пониманию речи, дополняя ее вербальный компонент. Как следствие, использование аудиозаписей в процессе обучения является очень важным моментом в подготовке будущих специалистов, будет существенным образом способствовать подготовке слушателей к ситуациям реального общения и снимет возможные сложности.

Кроме того, трудности могут возникнуть и в связи с индивидуальными особенностями источника речи, под которыми понимаются и особенности дикции, тембра, темпа, паузации, а также возможные нарушения артикуляции. К препятствию, стоящему на пути адекватному восприятию и пониманию поступающей информации, можно отнести и уровень языковых сложностей, иными словами использование большого количества незнакомой лексики, идиоматических выражений, разговорных формул, специальных терминов, аббревиатур.

Чем больше объем семантического поля учащихся, чем обширнее их словарный запас, тем легче им понимать речь на слух. Знание речевых моделей, обслуживающих конкретные ситуации общения, наиболее частотных фразеологизмов и клише может значительно облегчить понимание речи на слух. Таким образом, при обучении аудированию следует ориентироваться на речевой опыт учащихся, выбирая соответствующую структуру работы с аудиотекстом. Понимание потенциальных трудностей, которые тот или иной текст представляет для конкретной аудитории, может помочь грамотно организовать тренировку необходимых речевых умений [1, с. 127].

Проблемы с восприятием речи на слух также зачастую обусловлены звуковыми особенностями иностранного языка и имеют чисто фонетическую природу, будучи непосредственно связаны с фонологической компетенцией. Иными словами, именно неадекватная интерпретация некоторых явлений связной речи и провоцирует сложности в понимании устного сообщения [1, с. 126].

Восприятие речи на слух опирается главным образом на слуховые ощущения. Наши органы слуха испытывают воздействие от звучащей речи собеседника. Речевой слух, который по праву считается одним из основных механизмов аудирования, обеспечивает восприятие устной речи, деление ее на смысловые синтагмы, словосочетания, слова. Благодаря этому механизму происходит узнавание знакомых образов в потоке речи [1, с. 127]. Отчетливость слуховых ощущений играет решающую роль в процессе понимания речи на слух. Но, воспринимая чужую речь, мы одновременно воспроизводим слышимое в форме внутренней речи, так как слуховое ощущение вызывает слухомоторную реакцию. Следовательно, наличие четких артикуляционных навыков также является условием, обеспечивающим точность и быстроту понимания.

Следует отметить, что восприятие английской речи на слух сопровождается целым рядом и специфических трудностей. Основной фонетической трудностью является отсутствие четкой границы между звуками в слове и между словами в предложении. Затрудняет также

наличие в иностранных языках таких фонем, которых нет в родном языке. Трудность, связанная с расхождением между написанием и произношением слов, особенно типична для английского языка. Наличие в сознании учащегося графического образа слова, отличающегося от звукового, часто препятствует узнаванию этого слова в звучащей речи, ввиду большей четкости и прочности первого. Русские учащиеся часто путают на слух слова, различающиеся только такими качествами звука, которые несущественны в родном языке. Кроме того, в потоке речи знакомые слова меняют привычное звучание под влиянием ассимиляции, дезаксентуации и других фонетических явлений. Очень важную роль при восприятии речи на иностранном языке играет темп речи, обращенность или необращенность речи к слушающему, привычность данного голоса для воспринимающего, наличие или отсутствие зрительной опоры.

Приведенные выше данные о характере процесса восприятия речи на слух и сопровождающих его трудностей позволяют сделать выводы относительно тех умений, которые необходимо развить при обучении аудированию. Это, прежде всего, умение узнавать на слух усвоенные образцы речи, членить их на элементы. Очень важным является умение узнавать слова, претерпевшие изменения в потоке речи; выделять слова, стоящие под ударением; осмысливать тип интонации, с которой произносится данное предложение; дифференцировать близкие по звучанию слова; воспринимать речь на слух, как при наличии, так и при отсутствии зрительной опоры; воспринимать речь определенного темпа; воспринимать речь разных лиц.

Понимание речи на иностранном языке сопровождается сложной мыслительной деятельностью, включающей узнавание языковых средств и осмысление содержания. В основе понимания смысла высказывания в целом лежит так называемое словесное понимание. Осмысление слышимой речи происходит на основе взаимодействия ощущений и мышления. Под воздействием речи на наши органы чувств в нашем сознании возникают определенные речевые образцы, которые нужно узнать и осмыслить, в результате чего наступает понимание речи.

Доведение произносительных навыков до автоматизма является важным условием успешного формирования и совершенствования навыков аудирования и во многом определяет качество последующего обучения. Однако после завершения начального этапа работы над произношением, суть которого заключается в создании слухо-произносительной базы, вследствие всё возрастающего потока языковой информации, увеличения лексического запаса, овладения сложными грамматическими конструкциями, наблюдается неосознанное переключение внимания учащихся на содержательную сторону речи, при этом игнорируется фонетическая сторона и все чаще имеет место аппроксимация.

Как следствие – ранее сформированные навыки постепенно утрачиваются в силу своей «невостребованности», что в конечном итоге отрицательно сказывается на квалификации будущих специалистов. Таким образом, естественной задачей последующих этапов изучения иностранного языка становится поддержание приобретенных навыков, воспрепятствование их деавтоматизации, которая выражается во все более сильном проявлении интерференции. Важно поэтому органично вписать работу над произношением в общую работу над иностранным языком. Данный подход как нельзя лучше сочетается с задачей по совершенствованию аудитивных навыков, выполнение которой не только считается неотъемлемой частью учебного процесса, но и является актуальной для квалифицированного специалиста на всем протяжении его профессиональной деятельности.

При обучении аудированию немаловажное значение имеет предварительная отработка отдельных звуков и различных интонационных моделей изучаемого языка, что определяет успешность последующего восприятия эффективного и адекватного восприятия и понимания воспринимаемой речи. Кроме того, очень важную роль играет знакомство в теории и на практике с таким понятием, как «беглость речи».

П. Тенч определяет беглость речи как «плавное соединение элементов на приемлемом уровне скорости произнесения» [2, с. 61]. П. Роуч считает, что «значительная роль в овладении приемами беглой речи на английском языке отводится выработке навыков устранения межсловных пауз в связной речи, и в этом-то и кроется практическая важность слитного произнесения» [3, с. 131]. Нарушение правил слитности негативно сказывается как на артикуляторной четкости, так и на восприятии речи на слух.

Некоторые студенты учат английский язык, опираясь на зрительное восприятие, а не на слуховые ощущения, что приводит к ложному заключению: слова во фразе должны произноситься так, как они выглядят в напечатанном виде, то есть они должны быть разделены пробелами. Обычно их речь изобилует паузами, которые следуют после каждого слова. При восприятии речи не носители языка, предвкушая услышать цепочку слов, которые, по их разумению, должны перемежаться каскадом пауз, часто испытывают существенные трудности в распознавании отдельных слов и, в конечном итоге, в правильном декодировании устного высказывания в целом.

Итак, для того, чтобы понимать беглую речь, изучающий язык должен обладать комфортным уровнем знания и владения навыками артикуляторных механизмов связной речи, то есть развивать беглость собственной речи. Фонетисты единодушны в том, что в достижении этой цели ключевым является понятие произносительной слитности (linking) [4, с. 27].

Одно из обязательных условий обеспечения произносительной слитности – это сцепление звуков на стыке слов. Идеально фонема произносится изолировано. Реально фонема подвергается изменениям, это так называемое явление коартикуляции, одним из видов которой является ассимиляция – уподобление фонем, характерное для согласных. Речевая действительность допускает упрощение межсловных консонантных стыков (C + C) до стяжения в однофонемный сегмент. Например, в быстрой речи в словосочетании «does she» – [ˈdʌʃʃɪ] [z] заменяется на [ʃ]. То есть, говорящий стремится минимизировать речевые усилия, максимально облегчая артикуляцию, результатом чего являются звуковые упрощения. Еще один пример этому – явление элизии, или выпадение согласного (а иногда и целого слога) в беглой речи – «next day» произносится [neks deɪ], «looked back» – [lʊk bæʃ].

Однако межсловные вокалические стыки не подлежат структурному упрощению такого рода, поскольку выпадение вокалического сегмента – слогиносителя – повлекло бы нарушение ритмико-акцентной структуры высказывания. Результаты экспериментальных исследований демонстрируют сохранение бифонемной структуры вокалических межсловных сочетаний при любой степени звуковых модификаций во фразе [5]. Процесс, происходящий при соединении гласных на стыках слов, противоположен элизии: носители языка вставляют добавочный звук для того, чтобы обозначить переход от одного гласного к другому. Для связывания гласных на межсловных стыках в английском языке прибегают к связующим звукам [r], [w] и [j]. Данный вид вставочной звуковой связки также продиктован экономией речевых усилий. С точки зрения говорящего реализовать плавный переход от словоконечного гласного к словоначальному в стыковом вокалическом сочетании действительно удобнее при помощи связующих консонантных элементов. Если первое стыковое слово завершает гласный звук, а второе стыковое слово также начинается с любого разрешенного правилами фонотактики гласного, соединение стыковых гласных реализуется через сонант [r]. Этот звук называют связующим [r], если первое стыковое слово заканчивается на письме буквой «r» или сочетанием букв «-re». Следует иметь в виду, что в современной английской разговорной речи звук [r] (по аналогии со связующим [r]) может встречаться на стыке слов и в тех случаях, когда это не оправдано написанием. Эта консонантная вставка именуется интрузивным [r]: «an idear of it» «pastar and sauce» and «sawr and conquered». Следует отметить, однако, отсутствие нормативного связующего [r] в таких «неудобных» сочетаниях слов, как «a roar of laughter» «an error of the jury».

При стечении гласных на межсловных стыках арсенал связующих средств английского языка располагает еще двумя консонантными глайдами – [w] и [j]. Эти звуки призваны облегчать переход от словофинального к словоначальному гласному в тех случаях, когда первое стыковое слово не имеет в написании буквы «r». Выбор конкретного интервокального глайда зависит от природы гласного, завершающего первое стыковое слово. Если словоконечными гласными являются /əʊ/, /aʊ/, /u:/, /ʊ/ (u-тип), используют [w], например: how often /haʊw ɒfn/, so empty /səʊw empti/, you answer /ju:w ɑ:nsə/. Если же слово заканчивается на /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/, /ɪ/, /i:/ (i-тип), прибегают к связующему звуку [j]: try it on /traɪj ɪt ɒn/, say it again /seɪj ɪt əˈgen/, the answer /ðɪj ˈɑ:nsə/.

Таким образом, произносительная слитность – это исключительно важная черта разговорного английского языка, которая требует особого внимания и интенсивной тренировки. Цель такой тренировки – обеспечить студента необходимыми фонетическими и фонологиче-

скими знаниями и умениями реализовывать механизмы слитного произнесения фонем в связной речи для обеспечения беглости речи и максимальной аппроксимации к носителям языка в процессах речепроизводства и речевосприятия [4, с. 29].

Принимая во внимание то огромное влияние, которое адекватные произносительные навыки оказывают на качество владения иностранным языком, следует формировать у учащихся потребность в их автономном совершенствовании, в связи с этим управляемая самостоятельная работа, организуемая, как правило, в рамках любого учебного курса, становится как нельзя кстати, поскольку помогает студентам не только учиться самостоятельно, но и подталкивает к последующему самообразованию. Кроме того, огромные возможности для организации самостоятельной работы студентов как над произносительными, так и над другими навыками, без которых невозможно знание иностранного языка, открывают современные информационные технологии, позволяющие реализовать на практике различные методические приемы и индивидуализировать процесс обучения.

Литература

1. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам : пособие для студентов пед. вузов и учителей. 3-е изд. / Е.Н. Соловова. – М. : Просвещение, 2005. – 239 с.
2. Tench, P. Pronunciation Skills. / P. Tench. – Macmillan Publishers, 1991. – 124 p.
3. Roach, P. English Phonetics and Phonology. A Practical Course. / P. Roach. – Cambridge University Press, 2004. – 262 p.
4. Михальчук, В.А. Стратегическая важность обучения произносительной слитности в английском языке / В.А. Михальчук // Проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков : сборник научных статей. – Выпуск 12. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – С. 27–29.
5. Михальчук, В.А. Модификации английских гласных в связной речи (на материале вокалического стыка) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / В.А. Михальчук [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.dissercat.com/content/modifikatsii-angliiskikh-glasnykh-v-svyaznoi-rechi-na-materiale-vokalicheskogo-styka>. – Дата доступа : 17.12.2014.

Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины

Поступила в редакцию 22.12.2014

Addressee's image manipulative estimation

T. BOBOSHKO

Communicative and functional typology of estimative statements of the addressee (ESAs) is presented and main features of the ESA of image manipulation are provided. The latter one is considered from the viewpoint of the representation of the addresser's statement perlocutionary effect, the determination of its strategies and tactics, and the study of its functional aspect.

Keywords: image manipulation, estimative statement of the addressee, perlocutionary effect, strategy and tactics, function.

Представлена коммуникативно-функциональная типология оценочных реактивных высказываний (ОРВ). Особое внимание сосредоточено на образно-манипулятивном ОРВ, которое рассматривается с точки зрения выражения перлокутивного эффекта иницирующей реплики, определения комплекса его стратегий и тактик, а также изучения его функционального аспекта.

Ключевые слова: манипуляция образами, оценочное реактивное высказывание, перлокутивный эффект, стратегия и тактики, функция.

Introduction. The estimation category attracts considerable interest while «everyone evaluates everyone and everything, truly and falsely, necessarily and unnecessarily. There is no help for it» [1]. Besides, researchers claim that estimative statements are among the most frequently used means of manipulation [2]–[5].

The focus on an addressee as a dependent participant in interpersonal communication is an urgent issue as well [6]. His estimative statement is a result of the addresser's statement influence. It is a means of persuasion regarding the interlocutor as well, so the interchange of communicative roles takes place. In the light of the aforesaid, the *estimative statement of the addressee (ESA)* is a speech act that 1) serves as an evaluative means of speech influence (perlocutionary effect) manifestation of the addresser's statement; 2) at the same time it expresses the intention (strategies and tactics) regarding the interlocutor [7]; 3) carries out some function in the discourse [8].

This work aims at presenting a communicative and functional typology of ESAs and providing main features of the ESA of image manipulation, i.e. its description as the perlocutionary effect representation, its strategies and tactics as well as its functions. The article also presents the expression means of each of the described kinds of the image manipulative estimation.

Material and Methods. The analysis is based on authentic examples taken from modern English fiction. That is 30 texts of British and American writers published between 2000–2012. The total amount of the ESAs under consideration is 3380 units. Of these, 210 are ESAs of image manipulation.

The theoretical basis of the investigation integrates main principles of modern pragmalinguistics, communicative and functional linguistics [2], [7], [9], speech acts theory [10], [11], and discourse theory [12], [13]. It considers the manipulation theory as well [14]–[16], [17], [18]. The research employs a set of methods: linguistic description, inductive and deductive, intent, discourse, structural and functional, presupposition and implication analyses as well as quantitative analysis.

Results and Discussion. The typology of ESAs is based on the following parameters: 1) classification of ESAs in accordance with the perlocutionary effect of the addresser's statement; 2) determination of strategies and tactics inherent in ESAs; 3) study of the ESAs' functional aspect.

The basis of the first parameter is the assertion that the perlocutionary effect of the addresser's statement is represented in the addressee's statement [16]. According to this parameter proper (83 % from the total amount of analyzed ESAs) and manipulative ESAs (17 %) as well as their kinds are distinguished. *Manipulative estimative statement of the addressee* is a speech act representing evaluation in order to accomplish implicit influence on cognitive, emotional, and behavioral spheres of the interlocutor's vital activity for the satisfaction of some needs [5], [14]–[16]. According to the offered typology 5 kinds of manipulative ESAs are singled out: image manipulative ESAs (6,2 %), conventional manipulative ESAs (3 %), operations-on-subjects manipulative ESAs (1,8 %), personality-oriented manipulative ESAs (2,1 %), and spirituality-oriented manipulative ESAs (3,9 %).

It should be noted that the image manipulative ESA is the most frequent kind among manipulative ESAs. This fact underlines the person's sensibility to the influence on his / her needs and interests. It makes necessary the study of the tactics the ESA employs and the functions it realizes as well as verbal and non-verbal means of such manipulation.

The image manipulative ESA represents the perlocutionary effect of the addresser's statement that causes the addressee's intention to evoke evaluative associations between the image and relevant needs, values, interests in the interlocutor's mind. Thus, this kind of ESAs motivates the addresser's further activity in accordance with the manipulator-addressee's goal:

(1) *«Like mother, like daughter, is that what you mean?» Nicholas was growing irritated.*

«I'm sorry, Dad, but... it bears consideration» (Sallis S. Sea of dreams).

The addressee carries out the manipulative **strategy** within all kinds of manipulative ESAs [17], [18]. In the image manipulative ESAs this strategy is realized by a set of *tactics*:

– **the tactics of influence on emotions and feelings** (1,6 %) aims at the establishment of spontaneous, unconsidered positive or negative evaluative associations between an image and a relevant issue in the addresser's mind [16], [19]:

(2) *Jane (extremely interested in it): «Really? And was she really beautiful? She was a model, right?»*

Mark: «She was all right. Not my type. Tall and blonde and skinny. You know. Typical model» (Cabot M. Every boy's got one).

The tactics is based on the violation of the Maxim of Manner («Avoid obscurity of expression.», «Avoid ambiguity») [9].

The estimative manipulative statements realizing such a tactics implement the following **functions**:

– **manipulative** (1,25 %): the addressee performs implicit influence on the addresser's emotions and feelings, modifies his values, intentions, views, estimative criteria aiming at self-benefit or for the manipulative object's, society's good [16], [20];

– **accumulative** (0,2 %): the estimation contained in the statement description or its connotation maintains the value system connected with the addressee's priorities and / or that existed in some period in some society [16], [21];

– **cognitive** (0,07 %): by estimation of some object image, the addressee brings it into correlation with ideal, normative model of the world, so that it provides adequate perception and comprehension of the statement [16], [21];

– **emotive** (0,08 %): serves as an expression means of the addresser's emotive perception of reality [16], [21];

– **the tactics of reference to authority** (1,6 %) lies in mentioning the positive or negative image of some authority for the addresser, i.e. a person, knowledge, verbal and non-verbal experience, etc [16]:

(3) *«What's good here?»*

«Everything. I love this place. It's owned by Masaharu Morimoto, one of the Iron Chefs» (Scottoline L. Killer smile).

The tactics of reference to authority is based on the violation of the Maxim of Quality («Do not say what you believe to be false») [9].

The estimative manipulative statements realizing such a tactics implement manipulative (1,25 %), accumulative (0,3 %), and cognitive (0,05 %) **functions**:

– **the tactics of appeal to interests and needs** (1,3 %) is represented in the estimative statements appealing to the image of addresser's basic needs (physiological, security, social needs, the dignity, and self-realization needs [22]:

(4) *«Do you honestly think the only thing that interests me about Gray is his money?»*

«I can't see what else there is» (Reid C. The personal shopper).

The tactics of appeal to interests and needs is based on the violation of the Maxim of Relation («Be relevant») [9].

The estimative manipulative statements realizing such a tactics implement manipulative (1,15 %), cognitive (0,05 %), and emotive (0,1 %) **functions**:

– **the tactics of guarantee concession** (0,7 %): social norms and rules, existing senses and values of the addresser make him accept the estimative statement concerning them without doubt, consideration, and the communicative situation analysis:

(5) «*And yet you say you're sure he's innocent?*»

«*Oh, I know that, there's no question of it. Allergies may take a little longer to figure out*» (Easterman D. Maroc).

The tactics of guarantee concession is based on the violation of the Maxim of Quality («Do not say what you believe to be false») [9].

The estimative manipulative statements realizing such a tactics implement manipulative (0,6 %), cognitive (0,02 %), and emotive (0,08 %) **functions**;

– **the tactics of answer delay / evasion** (0,6 %) consists in the unreasonable usage of evaluative truisms, but the addressee doesn't present his opinion concerning the image of some events, people, objects, etc. It allows realization of the “diplomatic” variant of estimative speech manipulation:

(6) «*It's Aunt Lucille, isn't it?*» I said. «*You made that deal with the sheriff?*»

He stared hard at me. «She's family, Peter Joseph. She's my sister» (Childress M. Crazy in Alabama).

The violation of the Maxim of Relation («Be relevant») [9] is the foundation of the tactics of answer delay / evasion.

The estimative manipulative statements realizing such a tactics implement manipulative (0,44 %), accumulative (0,1 %), and cognitive (0,06 %) **functions**;

– **the tactics of own or public view pressure** (0,4 %) aims at modification of the «inverted» addresser's model of the world by means of pressure distinct from his evaluative associations, interests, social norms, rules, and values, typical mechanisms of actions:

(7) «*Pucci?*»

«*Emilio Pucci. Italian. Simple lines. Bold geometrics. He's new, he's bright, he's perfect. He's you*» (Childress M. Crazy in Alabama).

The basis for the tactics of own or public view pressure is the violation of the Maxim of Quality («Do not say what you believe to be false») [9].

The estimative manipulative statements realizing such a tactics implement the following **functions**: manipulative (0,21 %), accumulative (0,1 %), cognitive (0,05 %), and emotive (0,04 %).

While the **representation means** typical of the above-mentioned tactics in estimative manipulation by images are almost similar, we present them at the end of the description of the ESA communicative and functional features. Nevertheless, the means peculiar to only one or two of the tactics are emphasized.

At *lexical and semantic level* the addressee's statements include the estimation of a person's character (1,67 %), situations (1,5 %), his/her appearance (1 %), capabilities, abilities, and possibilities (1 %), places (0,4 %), behaviour (0,3 %), attitude to others (0,2 %), feelings (0,13 %), etc. Concerning the vocabulary division into absolute estimations (*good, well, difficult, etc.*), estimations with descriptive elements (*charming, powerful, skinny, demanding, etc.*), and occasional (implicit) estimation (*family, a free spirit, a five-year-old in your mother's make-up, a little ray of sunshine, etc.*), it should be noted that the second and the third types prevail considerably (0,3 %, 3,7 %, and 2,2 % respectively). Researchers claim that implicitness and connotation serve as important means and possibility for a manipulator to draw a veil over the disagreeable thought, which is «placed» in the manipulated person's mind [17]. Besides, a significant feature of ESA is its modification by qualifiers: intensifiers (*very, too, much, so, surely, always, absolutely, especially, on the whole, all, right now, possessive pronouns (myself), modal verbs (might, should), that's the point!, you know, oh*) and deintensifiers (*nearly, and all that, or so quite, just, actually, enough, some*). The ESAs realizing the tactics of answer delay / evasion employ words-fillers, e.g. *well, from time to time, fleetingly, I suppose*.

The ESAs of image manipulation do not employ a great deal of expressive means (EMs) (1,5 %):

– simile (0,8 %): *like a five-year-old in your mother's make-up, like a flower*;

– antithesis (0,7 %): *I'm fantastic, come and see me in jail, a young man with a hundred years' experience*,

and stylistic devices (SDs) (4,7 %):

– metonymy (0,4 %): *That is the devil. Lupo Bianco*;

– antonomasia (0,5 %): *Liberty Boyd, Vile Richard*;

– allusion (1,2 %): *the Crusades might be fu, I'm not wild about Capone*;

– metaphor (0,8 %): *a whirlwind, a force of nature, a little ray of sunshine*;

– irony (0,3 %): *I'm impressed with Edible Ed*;

– epithet (1,5 %): *whining woman, sacred place, charming English teacher*.

It should be noted that most of the connotation means are used in the ESAs realizing the tactics of reference to authority and the tactics of own or public view pressure. The means of stylistic semasiology give liveliness, peculiarity to the estimative statements, make the interlocutor apprehend uncritically the facts that are desirable for the manipulator [3].

From a *syntactic* point of view, the image manipulation ESAs are represented by simple (3,7 %), compound (1,5 %), and complex (1 %) sentences. Besides, the following SDs add to the general expression of the image manipulative ESAs: ellipsis (2 %), parenthesis (0,6 %), enumeration (0,5 %), repetition (0,6 %), aposiopesis (0,4 %), as well as EMs: parcellation (1,1 %), parallelism (0,8 %), etc. Like stylistic semantic means, stylistic syntactic ones are mostly used in the ESAs realizing the tactics of reference to authority. These means grant the statements with dynamical power, greater expressiveness, and stronger persuasiveness.

Manipulative effect is also obtained by using foregrounding of the statement, i. e. transitivity of communicative situation, interchange of active and passive voices, modal words, nominalization, truisms before presenting manipulative information, alogical statements, complex conditional sentences, emphatic constructions, etc [14]. A significant role in manipulative ESAs is played by indicators of a statement's subjectivity (*believe me, trust me, you know, repetition of pronoun I, etc.*) that create the unimportance effect, but still they make the addresser accept manipulative information without its comprehension.

As far as *non-verbal means* of manipulative estimative sense representation are concerned, the following example may be given:

(8) «D'you like it?»

«Awful!» *I teased him. I had to be mean, because otherwise I'd end up saying something about how utterly gorgeous he looked and how the cut set off the shape of his cheekbones and the fullness of his mouth* (Wright D. The history of Lucy's love life in 10 ½ chapters).

In addition to the described manipulation by speech manner, it may also be conducted by mimicry, pauses etc.

The abovementioned communicative and functional features of the ESA of image manipulation may be presented in the following dialogue:

(9) «I look really old for my age, don't I?» *I said, miserably.*

«No, you look like a five-year-old in your mother's make-up.» *he said* (Fielding H. Bridget Jones).

According to the perlocutionary effect of the initial statement, the addressee's statement is ESA of image manipulation. The addressee aims at cheering up the distressed addresser. Manipulation here is for the addresser's benefit and is used to persuade the interlocutor that she is still young and beautiful and looks funny, childish, and ridiculous «like a five-year-old in her mother's make-up». This intention is realized in using the tactics of influence on emotions and feelings. The statement implements the manipulative function.

Such an aim is achieved due to the combination of representation means. At lexical and semantic levels the evaluation of appearance is realized by using occasional estimation (*a five-year-old in your mother's make-up*) as well as EM (simile) and SD (epithet). Syntactically, the ESA is a simple extended sentence.

Conclusions. This article investigated the ESA of image manipulation within a communicative and functional framework, i.e. its strategies, tactics, functions, and means of representation. A number of conclusions may be drawn from this study.

Firstly, according to the perlocutionary effect representation we distinguish proper ESAs and manipulative ESAs. The most frequently used kind of the latter type is the ESA of image manipulation (6,2 %).

Secondly, within the scope of the image manipulative ESA the addressee carries out a manipulative strategy as well as a set of tactics: influence on emotions and feelings, reference to the authority, appeal to interests and needs, guarantee concession, answer delay / evasion, own or public view pressure. They meet the requirements of successful manipulation accomplishment, i.e. hidden influence on cognitive, emotional, and behavioral spheres of vital activity, creating illusory freedom of making a decision, etc. [5], [14], and are based on violation of the Maxims of the Cooperation Principle [9].

Thirdly, the ESAs of image manipulation accomplish manipulative, accumulative, cognitive, and emotive functions. Thus, the ESA in the functional aspect is interpreted as a speech act that, on the one hand, accomplishes implicit influence on the interlocutor's intentions, and on the other hand,

maintains the value system connected with the addressee's priorities; it may also contribute to adequate comprehension of reality as well as provide its emotional perception. Considering this fact, it is possible to assert about multifunctionality and universality of the ESAs as a linguistic phenomenon.

Fourthly, though the mentioned verbal and non-verbal means of representation are not necessarily typical of the ESA of image manipulation, but in certain circumstances they create the favourable atmosphere for manipulation.

Further studies may establish verbal ways of protection from manipulation by estimative statements.

Bibliography

1. Oleksyn, T. *Praca i płaca w zarządzaniu* / T. Oleksyn. – Warszawa : Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, 2001. – 398 s.
2. Halliday, M.A.K. *An Introduction to Functional Grammar* / M.A.K. Halliday, Ch. Matthiessen. – L. : Hodder Headline, 2004. – 700 p.
3. Martin, J.R. *The Language of Evaluation: Appraisal in English* / J.R. Martin, P.R.R. White. – L. : Palgrave, NY : Macmillan, 2005. – 291 p.
4. Thompson, G. *Evaluation in Context* / G. Thompson, L. Alba-Juez. – Liverpool : University of Liverpool; Madrid : UNED, 2014. – 418 p.
5. Зирка, В.В. Языковая парадигма манипулятивной игры в рекламе : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Зирка Вера Васильевна. – Днепропетровск, 2005. – 242 с.
6. Арутюнова, Н.Д. *Язык и мир человека* / Н.Д. Арутюнова. – 2-е изд., испр. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
7. Космеда, Т.А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики : формування і розвиток категорії оцінки / Т.А. Космеда. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 345 с.
8. Приходько, А.И. Семантика и прагматика оценки в современном английском языке / А.И. Приходько. – Запорожье : ЗГУ, 2004. – 321 с.
9. Grice, H.P. *Meaning* / H.P. Grice // *Semantics : an Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics and Psychology*. – Cambridge, 1975. – P. 53–59.
10. Austin, J.L. *How to Do Things with Words* / J.L. Austin. – Oxford : Oxford University Press, 1962. – 174 p.
11. Searle, J.R. *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language* / J.R. Searle. – Cambridge : Cambridge University Press, 1969. – 203 p.
12. Чайка, Л.В. Вербальні конфлікти : комплексний лінгвістичний аналіз (на матеріалі англійської мови) / Л.В. Чайка. – Ірпінь : Видавництво НУДПСУ, 2014. – 272 с.
13. Dijk, T.A. van. *Strategies of Discourse Comprehension* / T.A. van Dijk, W. Kintsch. – NY : Academic Press, 1983. – 389 p.
14. Dijk, T.A. van. *Discourse and Manipulation* / T.A. van Dijk // *Discourse&Society*. – 2006. – Vol. 17, No. 3. – P. 359–383.
15. Доценко, Е.Л. Психология манипуляции : феномены, механизмы и защита / Е.Л. Доценко. – М. : ЧеРо, 1997. – 344 с.
16. Иссерс, О.С. *Речевое воздействие* / О.С. Иссерс. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 240 с.
17. O'Keefe, D.J. *Persuasion: Theory & Research* / D.J. O'Keefe. – Thousand Oaks, CA : Sage, 2002. – 384 p.
18. Шостром, Э. *Человек-манипулятор* / Э. Шостром. – Мн. : ТПЦ «Полифакт», 1992. – 127 с.
19. Гак, В.Г. Эмоции и оценки в структуре высказывания и текста / В.Г. Гак // *Вестник Московского университета. Серия 9, Филология*. – 1997. – № 3. – С. 87–95.
20. Левицький, А.Е. *Основи функціональної лінгвістики* / А.Е. Левицький. – Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2004. – 124 с.
21. Якобсон, Р. *Лингвистика и поэтика* / Р. Якобсон // *Структурализм «за» и «против»*. – М., 1975. – С. 193–230.
22. Maslow, A.H. *A Theory of Human Motivation* / A.H. Maslow // *Psychological Review* [Электронный ресурс]. – 1943. – Issue 50(4). – Режим доступа : <http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm>. – Дата доступа : 04.12.2014.

УДК: 821.161.1-1+929*Дон-Аминадо

Концепт «Париж» в эмигрантской поэзии Дон-Аминадо

Е.Н. БРЫЗГАЛОВА

Исследуется концептосфера эмигрантской поэзии Дон-Аминадо (А.П. Шполянского). Концепт «Париж» рассматривается на материале стихотворений, вошедших в эмигрантские сборники стихов. Данный концепт является одной из основ концептосферы и выражает мироощущение героя-эмигранта.

Ключевые слова: концепт, концептосфера, Дон-Аминадо, эмигрантская поэзия, Париж, Москва.

The sphere of concepts in the emigrant poetry of Don-Aminado (Aminad Shpoliansky) is analyzed. The «Paris» concept is studied on the poetry included in the books of poems «Dym bez Otechestva», «Nakinu v Plashch», «Neskuchny Sad» and «V te Basnoslovnye Goda». This concept constitutes one of the principles for the sphere of concepts and shows the world-view of the émigré.

Keywords: conceptual sphere, concept, conceptual field, emigrant literature, poetry, Paris, Moscow.

Эмигрантские стихи сатириконеца Дон-Аминадо (А.П. Шполянский, 1888–1957) – составили четыре сборника, опубликованные в Париже в разные годы: «Дым без отечества» (1921), «Накинув плащ» (1928), «Нескучный сад» (1935), «В те баснословные года» (1951). В них отразились не только поэтический талант и мастерство этого очень тонкого художника, умевшего показать красоту и полифонизм русского слова, но и мироощущение эмигранта, оказавшегося на чужбине и вынужденного заново строить свою жизнь, искать в ней нечто позитивное и уверенно смотреть вперед, в завтрашний день.

Париж стал для Дон-Аминадо (как и для тысяч его соотечественников) той чертой, которая разделила жизнь на *до* и *после*. Поэтому он воспринимал этот город по-особому, связывал с ним все свои надежды и ждал от него очень многого. Можно с полным правом сказать, что Париж занимает исключительно важное место в эмигрантском творчестве поэта и имеет концептуальное значение.

В последние годы интерес к концептологии и концепту в науке не ослабевает, а нарастает. Свидетельством этому служит поток научных исследований, посвященных данной проблеме и охватывающих когнитивную лингвистику, психолингвистику, лингвокультурологию, журналистику, литературоведение и искусствоведение (понятие о «визуальном концепте») [1], [4], [8], [11]. Это подтверждает мысль об актуальности и научной значимости данного аспекта. Поэтому обращение к концептосфере того или иного автора продуктивно и поучительно [9], [10]. Обратимся к концептосфере эмигрантского творчества Дон-Аминадо и проанализируем концепт «Париж» – один из наиболее значимых и сложных.

Семантическое поле «Парижа» предельно широко и многозначно. В его границах оказываются многие другие концепты, связанные и с ним, и друг с другом именно благодаря тому, что оказались в его притяжении. Этот явно доминирующий концепт образует многие новые смыслы, как-то проясняет уже устоявшиеся и многое открывает в миропонимании героя, в формировании его новой, эмигрантской, судьбы. При этом и сам концепт эволюционирует, изменяются его границы, понятийный объем, даже смысл, который самым непосредственным образом связан с судьбой героя-эмигранта.

В первом сборнике стихов Дон-Аминадо «Дым без отечества» уже в самом названии, восходящем к пьесе «Горе от ума» А.С. Грибоедова («И дым Отечества нам сладок и приятен» [5]) и стихотворению «Арфа» Г.Р. Державина («Отечества и дым нам сладок и приятен» [6]), заявлена основная тема, выражающая душевную боль эмигранта, оказавшегося на чужбине и лишенного родины. Много горечи, обращенной на самого себя и товарищей по изгнанию («Свершители», 1920, «Вселенские хлопоты», 1920), абсолютное отторжение от происходящего в послереволюционной России («Эдем», 1920), размышления о дальнейшей судьбе родины, столь популярные в эмигрантской среде и вызывающие у лирического героя всё больше ироническую усмешку, так как не имеют под собой никакой реальности («и ежедневная похлёбка об отчизне...» [7, с. 64]) – все это есть в стихотворениях 1920–1921 гг.,

вошедших в сборник. Многие темы, впервые представленные здесь (например, неприятие советской России), встречаются и в более поздних произведениях. Можно утверждать, что концепт «утраченная родина» – один из доминирующих и в этом сборнике, и во всем эмигрантском творчестве поэта. В «Дыме без отечества» это «незадачливая родина» («Очень просто», 1920), «северная страна, зачеркнутая на европейской карте» [7, с. 72], убитая и поруганная, преданная «господами отрицателями, элегантными циниками, скептиками», «недержателями речи рифмованной» и др. [7, с. 67].

Для лирического героя очень важно переосмыслить все, что произошло и внутренне примириться с этим. Наверное, поэтому он старается принять пережитое: «Да свершится все, что неизбежно: // Не мы творит историю веков» [7, с. 65]; «Так быть должно. И так уже бывало. // Гроза сметет опавшие листья» [7, с. 66]. Наряду с осознанием неизбежности произошедшего в его душе зреет уверенность в том, что все как-нибудь уляжется, жизнь не кончилась с отъездом из России: «И будет день. И будет все сначала. // И новый сад. И новые цветы» [7, с. 66].

Другим доминирующим концептом в концептосфере «Дыма без отечества» и всего эмигрантского творчества поэта оказывается «Париж». Если все, что связано с утратой родины, ассоциируется у лирического героя с прошлым и вызывает душевную боль, то настоящее и будущее для него невозможно без Парижа. Поэтому герой мучается ощущением собственной чужеродности, «несоединяемости» с городом. Концепт «Париж» оказывается очень тесно связанным с концептами «утраченная родина», «ностальгия», «эмиграция» и некоторыми другими, более мелкими. Если попытаться представить семантические поля этих концептов графически, то окажется, что все они переплетены и часто сложно бывает выделить какой-то один, тем более что эмоционально все концепты окрашены трагическим мировосприятием героя. Легче всего развести «утраченную родину» и «Париж», так как они противопоставлены друг другу, особенно в сборнике «Дым без отечества». «Ностальгия» тяготеет к «утраченной родине», а «эмиграция» – к «Парижу». Но во многих стихотворениях все эти концепты образуют единое целое, в котором все чаще главным оказывается «Париж».

Наверное, эмиграция изначально трагична, потому что во все времена и в любой стране, принявшей беженца, ему приходится круто ломать устоявшиеся представления о жизни и самого себя. На мой взгляд, наиболее точно об начальном периоде эмигрантской жизни написала Дина Рубина в книге «Иерусалимцы»: «Первые недели эмиграции показались тяжелой болезнью – брюшным тифом, холерой, с жаром, бредом да не дома, на своей постели, а в теплушке бешеного поезда, мчащегося черт знает куда...» [12, с. 62]. И это при том, что переезд в Израиль был ее добровольным выбором и страна пребывания была ей по многим причинам дорога. Для А.П. Шполянского и других представителей «первой волны» эмиграции отъезд был вынужденным и потому несопоставимо более трагичным. Потом, к концу 20-х гг., жизнь улеглась и все как-то разрешилось – это выразилось в стихах второго сборника – «Накинув плащ». А пока боль, растерянность, неустроенность, неуверенность в завтрашнем дне и неприспособленность к парижской жизни буквально на поверхности в каждом стихотворении.

Обратимся к стихотворению «Париж» (1920), вошедшему в первый сборник стихов. Оно представляется очень важным потому, что в нем смысл одноименного концепта раскрыт наиболее полно. Здесь поэт обнажил самые сокровенные на тот момент мысли и чаяния в жизни каждого человека, оказавшегося на чужбине: он попытался нащупать точку опоры, которая бы в дальнейшем держала его на плаву, примирила с новой действительностью и с воспоминаниями. Примирила бы с мыслью, что все прежнее осталось там, в России, а теперь пришла пора обустраиваться здесь, в Париже.

Стихотворение разделено автором на три части-строфы. Каждая из них имеет свою тему и особый синтаксический рисунок, диктующий свой ритм и мелодию звучания. И все три части создают единое целое, которое, наверное, можно представить в виде алгоритма «Я и Париж». Поэтому логично, что в первой части «Парижа» поэт перечисляет все, что у него ассоциируется с прежней жизнью.

Характерно, что в строфе, состоящей из 22 стихов, 14 начинаются с союза *и*, который и «нанизывает» друг за другом воспоминания, выхватывая из памяти то «ураган прошедших лет» [7, с. 70], то «чей-то милый силуэт» [7, с. 71], то «дом, и скрип зеленой ставни. // И блеск оконного стекла» [7, с. 71]. Не только в начале стихов, но и в середине тоже используется этот

союз, позволяющий присоединять друг к другу все новые и новые образы из прошлого. Если посчитать, то оказывается, что союз *и* встречается 18 раз в одинаковых синтаксических конструкциях: это или простые назывные предложения («И чья-то бедная могила» [7, с. 70]), или сложноподчиненные конструкции с назывным предложением в качестве главного и с определительным придаточным, прикрепленным к главному при помощи союза *который* («И жизнь, которая текла» [7, с. 71]). Такое синтаксическое построение позволяет включить в перечисление неограниченное количество понятий, лиц, предметов и прочего. К концу строфы все эти призрачные реалии из ушедшей жизни («горячий бред о том, что было» [7, с. 70]), до этого очень «разновеликие» и сочетавшиеся по прихоти причудливой памяти, обретают границы и укладываются в определенные рамки: «И то, чем жизнь была согрета // И от чего теперь пуста» [7, с. 71]. И последние две строки окончательно проясняют авторскую мысль: «Я все сложил у парапета // Резного Сенского моста» [7, с. 71]. Другими словами, вся прежняя жизнь теперь рассматривается им как оставшаяся там, в прошлом. Под ней как бы подведена черта.

Свое настоящее и будущее герой связывает с Парижем. Отсюда ощущение робкой надежды, открывающей вторую часть-строфу: «Не ты ли сердце отогреешь // И, обольстив, не оттолкнешь?!» [7, с. 71] Она самая длинная – 24 стиха. В отличие от первой, здесь союз *и* встречается всего три раза в обращении к городу. Кроме уже процитированного начального двустихия, это строки «И ты живешь и не живешь» и «И вечно ищешь достиженья» [7, с. 71]. Вся строфа – это восприятие Парижа героем, его попытка объясниться с самим собой и с этим городом, в который его забросила судьба.

Концептуальная сложность Парижа проявляется в противоречивости его восприятия лирическим героем. В одной фразе город ассоциируется и с осенью как временем созревших плодов, и с весной-юностью, когда будущий плод только-только завязывается: «Созревший, сочный и осенний, // Прикосновений ждущий плод, // Ты самый юный и весенний» [7, с. 71]. Казалось бы, воплощенное противоречие, разрушающее образ, но это совсем не так. Поэтическое мастерство Дон-Аминадо, изначально присущее ему чувство какого-то тонкого равновесия и меры проявляется и здесь. Следующие слова снимают противоречивость и утверждают своеобразие и Парижа, и парижан: «Как твой поэт, как твой народ» [7, с. 71].

И вот теперь, пояснив читателю свое понимание Парижа, поэт рисует несколько картин, позволяющих увидеть город. При этом автор использует другую, по сравнению с первой частью, синтаксическую модель: здесь четырежды повторяется подчинительный союз *где*, причем три из четырех придаточных определительных предложения оформлены как самостоятельные, то есть отделенные от главного точкой («Латинский город. Где под часовенкой старинной // Дряхлеет сердце короля» [7, с. 71]). Таким образом, ритмический рисунок изменяется, как и мелодия звучания. Кроме того, к последнему предложению, начинающемуся с *где*, явно ускоряется ритм. Это ощущение достигается за счет увеличения последнего предложения (до 7 стихов против 2 в предыдущих), и в более сложном способе рифмовки, и в лексическом наполнении (три глагола движения в одной строке): «Где сумасшедшею лавиной // Чрез Елисейские поля // В Булонский лес, зеленый ворот, // Стесненный пряжкой Этуаль, // Летит, несется, скачет город, – // Одна певучая спираль» [7, с. 71].

Границы концептуального поля Парижа в этой строфе предельно расширяются и за счет аллюзивных параллелей с поэзией А.А. Блока. В произведениях Дон-Аминадо 20-х гг. постоянно присутствует антитеза «Париж – Москва», «Париж – Россия». О ее смысловом наполнении мы еще поговорим. В данном стихотворении смысловой план оппозиции, четко зафиксированный в первой части, можно определить как «прошлое» («ураган прошедших лет») и «настоящее» («благословить... и дом чужой, и отчий дом»). Россия не упоминается, но синтаксический рисунок аллюзивно относит нас к стихотворению А.А. Блока «Русь» [2], в котором при помощи союза *где* изображена «в дремоте» Русь – волшебная сказка, страшная и притягательная одновременно («Где ведуны с ворожеями чаруют злаки на полях...» [2]), а «летающий, несущийся, скачущий город» невольно противопоставляется «летающей степной кобылице» – Руси из цикла «На поле Куликовом» [2]. Причем ускорение движения подчеркнуто поэтами вполне определенно. На первый взгляд может показаться, что параллель между А. Блоком и Дон-Аминадо произвольна, но это не так. Конечно, не будем настаивать на осознанном противопоставлении, задуманном поэтом-эмигрантом. Дон-Аминадо очень широко использовал «чужое слово», причем мастерски передавал через него ироническое отношение к

героям или описанным событиям из эмигрантской жизни («Натюрморт», 1926, «Созвездие конститутанты», 1921 и др.). Скорее всего, это неосознанное противопоставление, но оно важно, так как усиливает ощущение внутреннего драматизма. Лирический герой Блока был порождением Руси, её частицей, влекомой судьбой вместе со страной в будущее, повторяющей все её движения, а герой Дон-Аминадо оказался вне этого движения и вне этой действительности. Итак, во второй строфе понятийный объем концепта «Париж» очерчивается вполне определенно: это взгляд на город героя-эмигранта, наблюдающего за его жизнью со стороны.

Завершающая часть-строфа стихотворения проясняет то, чего ждет герой, каким он видит свое место в Париже. Вспомним, вторая часть начиналась с надежды, что Париж не оттолкнет, обольстив, но «отогреет сердце». Третья строфа самая короткая – 12 стихов – и самая сокровенная, так как герой вслух проговаривает свою отчаянную, «последнюю» надежду обрести здесь дом, почувствовать этот город своим. В первом стихе он называет себя «гостем случайным» [7, с. 72], «бегущим» в том же ритме, что и весь город, но все же в стороне от всех, хотя и с надеждой на воссоединение. И в финале надежда побеждает. Это подчеркивается и синтаксически: на смену односоставным назывным конструкциям приходят двусоставные («И я с тобою... бегу...» [7, с. 72]). В первых 8 стихах доминирующим становится союз *чтоб*, повторяющийся 4 раза («Чтоб выпить этот вечер синий, // Как пьют блаженное вино» [7, с. 72]). А в последних четырех (как и в первой строфе) четырежды повторяется *и*, опять меняя все: «Благословить моря и сушу // И дом чужой, и отчий дом, // И расточить больную душу // В прозрачном воздухе твоём» [7, с. 72]. Таким образом, в финале стихотворения его смысл окончательно проясняется: возможность обрести свое будущее в Париже и примириться с прошлым – вот что самое главное для лирического героя. Поэтому Париж так важен для него.

Говорить о смысловом наполнении концепта «Париж» в лирике Дон-Аминадо 20-х гг. достаточно сложно, так как он многолик. Прежде всего, конечно, Париж становится местом жительства для героя-эмигранта. Он постепенно осваивает это новое топонимическое пространство – и в стихах появляются упоминания парижских площадей, улиц, знаменательных мест. Сады Тюильри: «Сижу в золотом Тюильрийском саду...»; «Как много гвоздик в Тюильрийском саду» («Непобедимое» [7, с. 74–75]), район Пасси: «Плтемся переулками Passy» («Застигнутые ночью» [7, с. 75]), Эйфелева башня: «И на Эйфелевой вышке // Господин телеграфист // Сообщает неуклонно...» («Республиканские восторги» [7, с. 78]); «...построят чудо Эйфелевой башни...» («О, Madelon!», 1920 [7, с. 79]); «Вновь над Эйфелевой башней // Светит месяц молодой» («Без заглавия», 1927 [7, с. 243]), Сена: «Дождь <...> и стекает на асфальт, // А оттуда прямо в Сену...» («Без заглавия», 1926 [7, с. 98]); «Пароход плывет по Сене...» («Эмигрантские частушки», 1927 [7, с. 206]), Лувр: «Таскай хоть в Лувр ее, к Венерам...» («Сон в зимнюю ночь», 1933 [7, с. 151]), Елисейские поля: «И зачем я гулял // По полям Елисейским» («Весеннее безумие», 1926 [7, с. 188]); «Только ходим к Елисеям, // В Елисейские поля» («Эмигрантские частушки», 1927 [7, с. 206]), Булонский лес (ст. «В Булонском лесу», 1927) – вот далеко не полный перечень парижских топонимов.

Если посмотреть на частотность использования названий мест французской столицы в произведениях разных лет, то оказывается, что в стихотворениях 30-х гг., вошедших в сборник «Нескучный сад» (1935), они встречаются гораздо реже, чем в 20-е гг., а в сборнике «В те баснословные года» (1951) их почти нет. Это закономерно: за прошедшие годы герой стал считать себя частью городской жизни, исчезло ощущение новизны. Он стал парижанином, и город воспринимается им как единственно возможное место действия: «Под Парижем, на даче, под грушами, // Вызывая в родителях дрожь, // На траве откровенными тушами // Разлеглась и лежит молодежь» («Аси – муси», 1932 [7, с. 132]). Иногда встречается определение *парижский*: «Тяжкие грозди глициний, // Утро, симфония света. // Воздух прозрачный и синий, // Воздух парижского лета» («Август», 1931–1935 [7, с. 148]). Таким образом, можно говорить об изменении границ и семантического наполнения концепта.

В 30-е гг. именование Парижа как будто уходит вглубь стихотворений, а на первый план выходит эмигрантская жизнь. Эта тема появилась еще в стихах сборника «Накинув плащ», где поэт старался приободрить товарищей по несчастью: «Ты ж не сыр, чтоб слезой своей гордиться» («Призыв к бодрости», 1926 [7, с. 107]) и заставить их увидеть в жизни нечто позитивное: «Спешите жить и в дни изгнания...» («Пока не поздно», 1928 [7, с. 113]). В произведениях начала 20-х гг. эмиграция, как уже говорилось, воспринималась только в трагических

тонах. Потом, к концу десятилетия, эмигрантская жизнь представлялась чем-то уже привычным, налаженным. В стихотворениях сборников «Накинув плащ» и «Нескучный сад» эмигрантская обыденность выражается через двуязычие: «...сидели приятные гости // На страшно уютных сомье» («Из Генриха Гейне», 1934 [7, с. 131]); «Имел хождение русский пневматик» («Последние римляне», 1933 [7, с. 133]). Другим свидетельством изменения восприятия эмигрантской жизни становится появление новых комических жанров, переводящих описание эмигрантского «житья-бытья» в бытовую план: басни («Познай себя», 1935) и частушки («Эмигрантские частушки», 1927). Появляется тема подросших детей, вступающих в парижскую жизнь: «Средним вырастет французом // Этот самый Колька наш» [7, с. 157]. Пожалуй, в стихотворении 1936 г. «Идиллия» поэт подвел своеобразный итог эмигрантской теме: «В общем, жизнь утрамбовалась, // Утряслась, как говорят» [7, с. 157]. В последнем сборнике стихов изображения быта и бытия русских парижан почти нет.

Как уже было сказано, концепт «Париж», воспринимающийся как одна из основ концептосферы эмигрантской поэзии Дон-Аминадо, взаимодействует с другими концептами. С этой точки зрения интересно проследить соотношение концептов «Париж» и «Москва». В первых двух сборниках они часто сопутствуют друг другу, их концептуальные поля пересекаются, так как они обозначают для героя две поры его жизни: прошлое и настоящее. Если Париж обладает реальными чертами, то Москва – это не столько реальный город (хотя встречаются и упоминания московских мест, как в стихотворениях «Арбатские голуби», 1926 и «Татьянин день», 1926), сколько символ утраченной родины. Поэтому названия русских городов меняются («Эх, если б узкоколейка // Шла из Парижа в Елец...» / «Бабье лето», 1926 [7, с. 111]). В стихотворении «Труженики моря» (1920) [3, с. 65–68] услужливая память подсказывает герою названия городов при подъезде к Москве из Крыма: «Курьерский поезд петербургский. // Горячий борщ, конечно, в Курске, // И северная ель. // Скорей, скорей! Уж Тула – справа. // Вот старый Серпухов. Застава. // Мгновенье... и – Москва» [7, с. 84]. Несколько раз в стихотворениях при русском названии стоит неопределенное местоимение *где-то*, подчеркивающее символичность использованного топонима: «И было приятно, что все это было // Не где-то в Торжке, а в Париже, на Сене» («Вечеринка», 1933 [7, с. 135]).

Все русские названия символизируют для героя Россию, они заполняют семантическое поле концепта «утраченная родина», а Париж остается Парижем и не «вливается» во «Францию». Он для героя важен сам по себе, так как становится средоточием жизни эмигранта, а потом и его детей. «Утраченная родина» теперь – это всегда ностальгия, но уже окутанная поэтической дымкой, почти лишенная боли, далекая, часто снятая, но оставшаяся далеко в прошлом. Она не имеет никаких точек соприкосновения с советской страной, которая всегда и неизменно подается как нечто резко осмеиваемое и отрицательное.

Кроме того, концепты «Париж» и «Москва» постоянно противопоставляются друг другу, причем их оппозиция получает в разных стихотворениях разный смысл. Так, в «Колыбельной» (1920) Москва видится герою чем-то естественным, в то время как Париж – средоточие цивилизации, где все развивается согласно логическим законам: «Это, братец, не Москва, // Где на улицах трава. // Здесь асфальт, а в нем газон, // И на все есть свой резон» [7, с. 73]. А в стихотворении «Застигнутые ночью» (1921) «Париж неутомимый, // Творящий, созидющий, живой <...> следит за умирающей Москвой» [7, с. 75]. Иногда вместо Москвы или Петербурга как символов утраченной родины возникает более общий концепт «Россия», как в стихотворении «В дни Мессии» (1926). Герой обращается к Богу с просьбой вернуть русскую эмиграцию домой: «Им – Париж, а нам – Россия» [7, с. 185].

Хотелось бы остановиться еще на одной семантической составляющей концепта «Париж». Характерно, что, как бы плохо ни жилось эмигранту в данный момент, его отношение к Парижу всегда положительно. Этот город, в котором он поначалу чувствовал себя сторонним наблюдателем, всегда восхищал его. Это «город-светоч, город-свет» [7, с. 73], в нем «воздух прозрачный и синий» [7, с. 135], в нем витают особые запахи, выделяющие его среди других городов Европы: «Вечных запахов Парижа // Только два. Они все те же: // Запах жареных каштанов // И фиалок запах свежий» [7, с. 90]. Париж восхищает его своей красотой («Городские фонтаны», 1927).

Итак, в концептосфере эмигрантской поэзии Дон-Аминадо концепт «Париж» оказывается одной из определяющих величин, так как его концептуальное пространство предельно насыщено и часто взаимодействует с другими. Одним концептам (как, например, «Москва» или «утраченная родина») он противостоит, с другими объединяется, создавая новые концептуальные единства (как, например, «эмиграция»). Исключительность этого концепта определяется тем, что для очень многих соотечественников поэта Париж стал родным. Не стоит забывать, что именно в этом городе талант Дон-Аминадо заблистал многими совершенными гранями.

Литература

1. Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека [Текст] / Н.Д. Арутюнова. – М. : Изд-во «Языки русской культуры», 1999. – 896 с.
2. Блок, А.А. Собрание сочинений / А.А. Блок [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа : http://az.lib.ru/b/blok_a_a/. – Дата доступа : 23.09.2011.
3. Брызгалова, Е.Н. Творчество сатириков в литературной парадигме Серебряного века : монография [Текст] / Е.Н. Брызгалова. – Тверь : Изд-во А. Ушакова, 2006. – 320 с.
4. Вежицкая, А. Язык. Культура. Познание [Текст] / А. Вежицкая. – М. : Русские словари. – 416 с.
5. Грибоедов, А.С. Горе от ума. Комедия в 4-х действиях / А.С. Грибоедов [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа : <http://ilibrary.ru/text/5/p.1/index.html>. – Дата доступа : 20.09.2011.
6. Державин, Г.Р. Стихи / Г.Р. Державин [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа : <http://www.stihi-rus.ru/1/Derzhavin/>. – Дата доступа : 21.09.2011.
7. Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь. Стихотворения. Политический памфлет. Проза. Воспоминания [Текст] / Дон-Аминадо. – М. : «ТЕРРА» – «TERRA». – 580 с.
8. Демьяненко, В.З. Понятие и концепт в художественной литературе и научном языке [Текст] / В.З. Демьяненко // Вопросы филологии – 2003. – № 1. – С. 35–47.
9. Колесов, В.В. Концепт культуры: образ – понятие – символ [Текст] / В.В. Колесов // Вестник С.-Петербургского университета. Сер. 2. – 1992. – Вып. 3. – С. 30–39.
10. Кошелев, А.Д. К эксплицитному описанию концепта «свобода» [Текст] / А.Д. Кошелев // Логический анализ языка. Культурные концепты. – М. : Изд-во МГУ. – С. 61–64.
11. Лихачев, Д.С. Концептосфера русского языка [Текст] / Д.С. Лихачев // Известия РАН. Сер. «Литература и язык». – 1993. – № 1. – С. 3–9.
12. Рубина, Д. Иерусалимцы [Текст] / Д. Рубина. – М. : Эксмо, 2011. – 260 с.

Прономинализация как лингвистический и эстетический феномен¹

И.В. ГЛАДИЛИНА, Е.Г. УСОВИК

Рассмотрен процесс прономинализации, его роль в формировании эстетики русского литературного постмодернизма. В качестве материала исследования взяты романы Д. Липскерова «Пространство Готлиба», «Последний сон разума», «Сорок лет Чанчжоэ».

Ключевые слова: постмодернизм, текст, симулякр, лингвистический анализ, местоимение, прономинализация.

The pronominalization process and its role in shaping the aesthetics of Russian literary postmodernism are considered. As research material D. Lipskerov's novels were taken.

Keywords: postmodernism, text, simulacrum, linguistic analysis, pronoun, pronominalization.

В работах исследователей художественного текста огромное внимание уделяется фонетическим, лексическим и синтаксическим ресурсам, а морфологический потенциал недооценивается, он оказывается на периферии научных интересов как лингвистов, так и литературоведов. Это происходит потому, что некоторые языковые явления априорно считаются малоценными в художественном отношении и остаются за горизонтом внимания специалистов. Примером тому служит подход филологов к оценке художественного потенциала местоимений. Однако в языке нет ничего, что при определённых условиях не могло бы стать художественно значимым. У местоимений, как и у каждой части речи, свои истоки выразительности, а ее степень, уровень художественного использования всегда зависит от мастерства автора.

По своему категориальному значению местоимения – это прономика, семантика которой неопределённа. Текст же в традиции постмодернизма утрачивает строгость предметной спецификации, в нем отсутствует всё объясняющий концепт: за описываемыми явлениями нельзя обнаружить никакой глубины, сущности, будь то Бог, Абсолют, Логос, Истина и т. д. Это влечет за собой потерю смыслового центра, создающего пространство диалога автора с читателем, и наоборот. Такой текст допускает бесконечное множество интерпретаций, он становится многосмысленным. Отсутствие центра превращает авторов в субъектов бесконечной коммуникации. Источник информации, равно как и адресат, становится неопределённым.

Основополагающим при этом плюрализме смыслов, размытии границ знака, его элиминации и, как следствие, образовании пустого знака является процесс прономинализации. Он выявляет и определяет эстетику постмодернизма, и местоимения при этом играют немаловажную роль: они являются маркерами прономинализации. Если вспомнить основополагающий принцип эстетики постмодернизма (нет ничего, кроме текста), то мир, вся окружающая реальность должны восприниматься с точки зрения постмодернизма как один большой текст со множеством его интерпретаций. Исследователь постмодернизма И. Ильин пишет: «...постмодернистская мысль пришла к заключению, что все, принимаемое за действительность, на самом деле не что иное, как представление о ней, зависящее к тому же от точки зрения, которую выбирает наблюдатель и смена которой ведет к кардинальному изменению самого представления. Таким образом, восприятие человека объявляется обреченным на “мультиперспективизм”: на постоянно и калейдоскопически меняющийся ряд ракурсов действительности, в своем мелькании не дающих возможность познать ее сущность» [2, с. 128].

Таким образом, мир для постмодерна выступает как текст. Сам же постмодернистский текст в широком смысле выступает как одно большое местоимение, живет и существует по его законам, сиюминутно наполняясь смыслами и меняясь в зависимости от точки зрения читателя. Так же, как и местоимение, он может обозначать множество различных предметов,

¹ Выполнено при поддержке гранта РГНФ 14-04 -00528 «Словарь языка М.Е. Салтыкова-Щедрина»

хотя и имеет одну знаковую оболочку, приобретая в зависимости от точки зрения читателя, которую он может менять в процессе чтения, различные интерпретации. Поэтому мир и воспринимается как текст: одна и та же действительность, но для каждого она своя.

Центральной категорией эстетики постмодернизма является симулякр – знак, имеющий только план выражения, но не отсылающий к конкретному референту, т. е. это знак с пустой референцией. Актуализация его значения может быть осуществлена лишь в ходе коммуникации от адресанта к адресату (адресатам). Это означает, что симулякр может обрести свой смысл в том случае, если отдельные ассоциативные и коннотативные его аспекты, имплицитно заложенные в нем адресантом, будут актуализованы воедино в восприятии адресата. Фундаментальным свойством симулякра в связи с этим выступает его принципиальная несоотнесенность и несоотносимость с какой бы то ни было реальностью.

Таким образом, коммуникация, осуществляющаяся посредством симулякра, основана не на совмещении семантически постоянных понятийных полей участников коммуникации, но на кооперации неустойчивых и сиюминутных семантических ассоциаций коммуникативных партнеров. Такими симулякрами, т. е. знаками с пустой референцией, являются в текстах Д. Липскерова многие понятия, которые в ходе этой коммуникации-игры теряют свой смысл, ранее в культурной традиции не подвергавшийся сомнению: истина, пространство, время, смерть, боль, страх, язык и др. Часто эти симулякры раскрываются для восприятия читателя через их номинацию местоимениями. Более того, симулякры становятся прономинной (дейктической единицей) и соотносятся с местоимениями в тексте и в сознании читателя, при этом выполняя две функции: указательную (происходит отсылка к предшествующему контекстуальному детерминизму и реализму); анафорическую (отсылка к другим симулякрам). Происходит же это соотношение благодаря процессу прономинализации: границы слова (денотат и сигнификат) в сознании читателя начинают размываться. Таким образом, получается дейксис. При этом данная дейктическая единица в тексте начинает сиюминутно наполняться ассоциациями участников коммуникации. При соотношении же с предшествующими традициями дейксис становится симулякром.

Отсутствие референции как раз и является основополагающим при этом процессе. Понятия переходят одно в другое и живут именно в «моем» восприятии, в восприятии «Я-субъекта» и «Я-объекта», осмысливающего себя со стороны. Постмодернизм рассматривает человека как особую языковую личность, субъекта, «Я», которое можно реконструировать на основе анализа порожденных ею текстов.

Фигура «Другого», партнера по коммуникации, оказывается конституирующе значимой. В целом «Я» не есть онтологическая данность, но конституируется лишь в качестве отношения с «Ты». Именно «опыт Ты» как последовательное восхождение к открытости общения вплоть до признания «Другого» равным участником диалога и как основа «открытости и свободного перетекания Я в Ты» (Гадамер) [1, с. 444] является основополагающим для становления подлинного «Я». В постмодернизме же этим «Другим» становится «Я-объект» – расщепленное на субъект и объект «Я». Способ бытия есть, согласно Сартру, «быть увиденным Другим» [7, с. 291]. В свою очередь, эта несоотнесенность двойственна в силу двойственности особых основных слов, которые на самом деле представляют собой пары слов: одно основное слово – сочетание «Я–Ты», другое основное слово – сочетание «Я–Оно», причем на место «Оно» может встать «Он» и «Она».

Таким образом, происходит расщепление субъекта «Я» на «я» и «он». Постмодернистскому субъекту свойственно оценивать себя со стороны, т. е. сознание оценивает себя субъективно – извне и объективно – снаружи.

Местоимение *Я*, являющееся выразителем субъективности, как раз и стоит в центре всего ряда местоимений. Оно означает лицо, к которому так или иначе обращено все другое: *Я* – это лицо непосредственно воспринимающее, познающее, действующее, оценивающее и мысленно или реально концентрирующее вокруг себя все окружающее: *Я* ставит себя в центр и наглядно демонстрирует «человекоцентризм». *Я* – источник знания: знаю я, говорящий, сообщающий, а не ты и не он. Для этих местоимений характерна функция обобщения: в меньшей степени для *Я*, в большей – для *ТЫ*, *ОН*, а также для *САМ*, *СЕБЯ*.

Мир и все, что связано с ним и окружает человека, выступает как одна большая прономина со множеством ее интерпретаций, которые зависят от точки зрения читателя.

И процесс прономинализация выступает как раз как основной конструкт этой философии, как основа эстетической парадигмы этого литературного течения. Основным же признаком данного процесса является ослабление или даже полная утрата конкретного значения и приобретение словами других частей речи местоименного (дейктического) значения.

Пространство – грамматическая категория, значения которой характеризуют пространственную отнесенность ситуации (пространственную референцию), а время – временную отнесенность (временную референцию) ситуации, описываемой предложением.

Данные понятия (пространство и время) также подвергаются в текстах Д. Липскерова процессу прономинализации и являются симулякрами.

Этот процесс ярко прослеживается на примере «Пространства Готлиба». Данный роман написан в эпистолярном жанре: двое калек, познакомившиеся в санатории во время лечения, начинают вести переписку. Анна Веллер и Евгений Молокан – парализованные люди, которые познают мир в основном через окно, дверь, телевизор – подобие окна.

Уже сам эпистолярный жанр подразумевает сосредоточение личных местоимений, так как повествование в письме ведется от 1-го лица («Я-субъект», «Я-объект»). Однако на протяжении всего романа адресантом письма является ВЫ.

Внешне *ВЫ* – уважительная форма обращения, но *ВЫ* по отношению к Я выражает также «все», что «не я» («вас» много), то есть формируется оппозиция «моё» пространство и «ваше». Внешний же мир – мир за окном, дверью: «Прохожие под моими окнами ходят всё более праздные... Мне нравится, что у них веселые лица, что они с хорошим настроением... А ещё они кушают питу...» [3, с. 21] (выделено нами – И. Г., Е. У.). Граница (окно) отделяет «меня» от «них», «мой» мир от «их» мира.

В лингвистике существует термин социальный дейксис, иногда используемый в исследованиях категории вежливости в разных странах. В русском языке выбор между местоимениями 2-го лица ед. ч. ты и Вы обусловлен, в частности, относительным социальным статусом говорящего и адресата.

В начале произведения использование уважительной формы «Вы» маркировано именно социальным статусом (малое знакомство субъектов речи), в конце же произведения это обращение перестает быть обусловленным.

Таким образом, по отношению к каждому из двух адресантов вырисовывается «тройное» пространство (на уровне мест) причем *ВЫ*, 2 лицо, – нечто среднее между Я – 1 лицо и *ОНИ* – 3 лицо.

«Ваш» мир похож на «мой», но «чужой» мне. Поэтому используется и такое большое количество притяжательных местоимений: принадлежащее «мне», «вам», «им», т. е. «мой», «твой», «их». В знаковом же отношении *ВЫ* можно рассмотреть как границу между Я и *ОНИ*. В данном произведении «вы» является подобием окна в «их» (= «они», т. е. «чужой») мир, который соединяет «я» и «они».

Вспомним сюжет «Пространства Готлиба»: Анна Веллер и Евгений Молокан в прошлом не являлись калеками. В силу «мистических», в чем-то комических обстоятельств, обусловленных борьбой государства против иноземной «Метрической системы», они лишились возможности передвигаться, т. е. стали калеками. При этом стало парализованным не только их тело но, и вся их жизнь. Поэтому для каждого из них *ВЫ* является своего рода окном из «они» в «я», то есть своеобразной границей между Я и *ОНИ*.

Герои, общаясь друг с другом посредством писем, не только смотрят в это окно «вы», слушая и переживая снова свою историю, но и находятся в это время то вместе с «вы» (и живет его жизнью), то в своем прошлом (при этом являясь этим же «вы», но для другого участника коммуникации), то вообще становятся тем самым «они», когда в конце романа оказывается, что Евгений Молокан – настоящее имя Готлиб – это совершенно здоровый человек, к которому случайно попало письмо Анны.

Понятие пространства оказывается, таким образом, также неоднозначным, знаком с пустой референцией, ведь все, что рассказывал Анне Евгений – это ложь, все, что окружало ее – полнейшая мистификация. Да и было ли все это? Да и жила ли она сама? И становится непонятным, сон это или явь. И возникает ощущение: может, и вся жизнь – это сон...

Процесс прономинализации размывает границы данного понятия, элиминирует его, и пространство становится в тексте симулякр, местоимения же являются своего рода границей между разными мирами: «своим» и «чужим» пространством. Пространство в литературных произведениях неотъемлемо связано с понятием времени, которое, в свою очередь, также оказывается далеко неоднозначным, подвергнутым процессу прономинализации.

В произведении «Пространство Готлиба» показательным является также то, что и Евгений и Анна, читая историю друг друга и одновременно переживая ее, вновь переходят из прошлого состояния, когда были как «они», в настоящее («я») через границу «вы» (другие люди). Этот переход длится на протяжении всего текста, и невозможно уловить момент, когда он закончится. Вся жизнь героев размыта во времени: в каждом из моментов жизни прошлое и настоящее перемешиваются, время перестает быть линейным, оно становится симулякр, знаком с пустой референцией.

Возникает вопрос: что же станет с человечеством, ведь таких, как Анна и Евгений, много, они лишь часть огромной цивилизации, несущейся вперед, никем не управляемой, но и никем в целом не воспринимаемой. Между человеком и человечеством становится все меньше общего, так что смысла лишается сама корневая связь этих двух слов. Немаловажной в этом аспекте становится категория Смерти, переосмысленная и явившаяся в новом понимании. Точкой «вненаходимости», в которой обретаются автор, герои, читатель постмодернизма, – неизменно оказывалась смерть.

В романе «Последний сон разума» Д. Липскерова главным действующим лицом как раз и обозначена смерть. Большинство исследователей исходит из того, что родовым признаком человека является сознание, следовательно, смерть – это смерть сознания. Таким образом, смерть в постмодернизме выступает как тотальная аннигиляция совокупности составляющих: «Тараканье тело татарина распалось на атомы и превратилось в ничто. Ничто – это бесконечная малость» [2]. «Ведь если существуют штуки меньше атома, то существует что-то и меньше этих штук... Если взять секунду и разделить ее на тысячу, то получится одна тысячная секунды. А если разделить на миллиард, то одна миллиардная... Что же это получается? – подумал Шаллер, чувствуя, что подобрался к чему-то важному. – Следовательно, секунда времени может делиться без конца, как и преумножаться. Значит, последнее мгновение жизни человека длится бесконечно... Так что же получается – человек бессмертен в своем последнем мгновении? Значит, человек бессмертен в бесконечно малой величине! Но бессмертен!.. – Генрих зажмурился от своего открытия» [4].

Главным героем романа Д. Липскерова «Последний сон разума» изображен стареющий татарин, продавец рыбы Илья Ильясов. Жизнь, а точнее длящаяся смерть Ильясова, сюрреалистически переплетающаяся с жизнями и смертями двух десятков других персонажей и, главное, с троекратной смертью предмета своей любви, девушки Айзы, собственно, и составляет ткань повествования. Но, как мы уже заметили, центральная фигура текста – смерть. Но не просто смерть, а некое длящееся состояние между жизнью и смертью. Смерть же понимается Д. Липскеровым не как состояние «ничто», тотального небытия, а как радикальная метаморфоза до качественно иного состояния: возлюбленные Айза и Илья неоднократно переходят из одной формы жизни в другую. Илья превращался в рыбу, голубя, таракана; автор называет его по имени, по национальности (татарин), но неизменным и постоянно повторяющимся остается только местоимение ОН. Данное местоимение выступает в качестве знака со множеством означаемых, которые постоянно меняются, создавая при этом игру смыслов.

«Она же (Айза) была экзотической рыбой, птичкой (колибри), стрекозой» [2]. Местоимения в данном случае выполняют важную для постмодерна анафорическую функцию: они отсылают к предмету, который не может быть явлен здесь и сейчас. Антенцендентом анафорической связи здесь является местоимение ОНА (Айза). Тогда рыбка (гуппи), птичка (колибри), стрекоза будут являться в данном контексте кореферентными относительно данного референта. И только местоимение в тексте отсылает именно к этому субъекту. При этом существительное Айза будет являться в тексте данного произведения симулякр. Он в этом контексте определяется в качестве «точной копии, оригинал которой никогда не существовал» [5, с. 737].

В этом своем качестве симулякр служит особым средством общения, основанном на реконструировании в ходе коммуникации вербальных партнеров сугубо коннотативных смыслов высказывания. Поэтому любая идентичность в системе отсчета постмодерна невозможна, так как невозможна финальная идентификация, ведь понятия в принципе не соотносимы с реальностью. И, пожалуй, только местоимения выполняют в постмодернизме данную (анафорическую) функцию, т. к. большинство понятий являются в текстах данного направления размытыми. В конце произведения происходит игра с самими местоимениями: *ОН* и *ОНА* меняются местами, то есть и все, что происходит с Ильей и Айзой, тоже может поменяться местами. Следовательно, и означаемое местоимения *ОН* может меняться с означаемым местоимения *ОНА*.

Таким образом, мы воспринимаем означаемое, но означающее от нас удалено и сокрыто. При помощи местоимений происходит в сознании читателя отсылка к симулякрам.

Процесс проминализации, репрезентированный на поверхности текста частотным употреблением местоимений, помогает раскрытию одного из основных принципов постмодернизма: текст не отображает реальность, а творит новую реальность, вернее, даже много реальностей, часто вовсе не зависящих друг от друга.

Литература

1. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики [Текст] / Х.-Г. Гадамер. – М. : Прогресс, 1988. – 699 с.
2. Ильин, И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм [Текст] / И.П. Ильин. – М. : Интрада, 1996. – 256 с.
3. Липскеров, Д. Последний сон разума / Д. Липскеров [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : [//search.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&myco](http://search.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&myco). – Дата доступа : 07.08.2014.
4. Липскеров, Д. Пространство Готлиба / Д. Липскеров [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : http://royallib.ru/author/lipserov_dmitriy.html. – Дата доступа : 12.07.2014.
5. Липскеров, Д. Сорок лет Чанчжоз / Д. Липскеров [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : [//search.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&myco](http://search.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&myco). – Дата доступа : 22. 08. 2014.
6. Постмодернизм. Энциклопедия [Текст]; сост. Грицанов А.А., Можейко М.А. – Минск : ООО «Интерпрессервис» – УП «Книжный дом», 2001. – 1040 с.
7. Сартр, Ж.П. Бытие и ничто : Опыт феноменологической онтологии [Текст] / Ж.П. Сартр. – М. : Республика, 2000. – 638 с.

Квазиспонтанность фатического метадискурса: эмотиологический аспект

Я.В. ГНЕЗДИЛОВА

Рассматривается фатический метадискурс в эмотиологическом аспекте. Особое внимание уделено взаимосвязи метакоммуникации и спонтанности / подготовленности речи. Детально рассматриваются крайности фатического метадискурса в эмотивной и эмоциональной реализации.

Ключевые слова: фатическая метакоммуникация / метадискурс, эмоциональность, эмотивность, квазиспонтанность.

This research of the phatic metadiscourse in the emotional aspect is considered. Special attention is drawn to the interdependence of metacommunication and speech spontaneity / planning. Phatic metadiscourse extremes are thoroughly studied in its emotive and emotional realizations.

Keywords: phatic metacommunication / metadiscourse, emotionality, emotivity, quasi-spontaneity.

Фатика, у истоков которой, как известно, стояли Б. Малиновский и Р. Якобсон, уже не одно десятилетие привлекает внимание отечественных и зарубежных ученых. Если подытожить, то главным образом интерес исследователей был направлен на определение фатики, фатического общения, фатической функции, фасцинации, противопоставление фатической и не-фатической коммуникации, признание и разработку фатического жанра, построение типологии фатических жанров, выделение фатического дискурса и его типов [3]–[8]. Успешное развитие фатика получила в теории «фатической метакоммуникации», предложенной Г.Г. Почепцовым [7] и активно изучаемой в наше время [6], [8], доказательством чему и является данная статья. Соответственно, **актуальность** статьи обусловлена общей антропоцентрической и эмотиологической направленностью современных лингвистических дискурсивных исследований, ориентированных на изучение всего разнообразия деятельности человека, воплощенной в языково-речевых явлениях, в том числе в способах речевого поведения говорящих в эмоционально окрашенных ситуациях разной степени спланированности.

Целью исследования является описание эмотиологических свойств фатического метадискурса исходя из степени его подготовленности.

Из общей цели вытекают конкретные **задачи** статьи, а именно:

- описать характерные черты фатического метадискурса;
- рассмотреть взаимосвязь между непрямой речью и фатической коммуникацией;
- установить фатичность эмоционально-окрашенных спонтанного и спланированного дискурсов.

Объектом исследования является фатический метадискурс в эмоциональной и эмотивной реализациях.

Материалом исследования служили дискурсивные фрагменты на социально-бытовую тематику, изъятые из художественных произведений современных англоязычных писателей.

Вербальная коммуникация – осуществление обмена когнитивной информацией – предусматривает наличие метакоммуникации – использования языковых средств для регулирования этого обмена, в частности – фатическую метакоммуникацию, которая служит вербальным средством организации речевого взаимодействия и обеспечения эффективной передачи когнитивной информации в дискурсе [6], [8]. Она реализуется специализированными вербальными средствами – речевыми стереотипами, неспециализированными вербальными и невербальными средствами; характеризуется доминированием социально-регулятивной информации, конвенциональностью и ритуализированностью. Фатическая метакоммуникация воплощается в фатическом метадискурсе, с помощью которого осуществляется регулирование речевого взаимодействия за счет фатического метакоммуникатива как минимальной единицы фатического метадискурса, представляющий собой прагматизированный подкласс экспрессивов, предназначенный регулировать речевое взаимодействие в ситуациях установления, продолжения, размыкания речевого контакта [6]. То есть, речевой контакт становится стержневым понятием фатической метакоммуникации на всех фазах протекания коммуникативного акта [8, с. 16].

К базовым характеристикам фатической метакоммуникации относят и косвенность, поскольку фатическая метакоммуникация трактуется как разновидность косвенной коммуникации [3]–[4], соответственно разграничиваются: 1) собственно непрямая непланируемая коммуникация, долю которой призваны ограничивать речевые / коммуникативные жанры; 2) планируемая непрямая коммуникация, долю которой специально увеличивают косвенные речевые жанры [3, с. 206].

Из вышесказанного следует, что еще одним критерием анализа фатической метакоммуникации может быть степень ее подготовленности. Понятия «спонтанный» vs «подготовленный» характеризуют крайности планирования, как и деление «эмоциональный» vs «эмотивный» отражают крайность в плане того, что эмоциональный дискурс является наиболее спонтанным, если можно так сказать, а эмотивный – наиболее подготовленным, ибо, что может быть «более спонтанным» речи / речевого потока при сильном эмоциональном возбуждении, и что может быть более подготовленным, чем речь, целью которой есть создание в аудитории необходимого для говорящего эмоционального настроения [1], [2, с. 58–63]. Первый тип пересекается с первым видом не прямой коммуникации, второй тип полностью совпадает со вторым видом не прямой коммуникации. Эмоциональный и эмотивный дискурсы противопоставляются нами как разговорный и институциональный, спонтанный и подготовленный, диалогический и монологический и, главное, коммуникативный и метакоммуникативный. То есть, эмоциональный дискурс сообщает пропозиционально значимую информацию, эмотивная же речевая деятельность происходит на социативно-метакоммуникативном уровне [ibid]. Таким образом, фатичность и метадискурсивность эмоционального дискурса – сомнительны, а фатичность эмотивного дискурса, точнее метадискурса, эмоционально ориентированного преимущественно на массового адресата, вопроса не вызывает. Подготовленный фатический метадискурс (включая эмотивный) – этикетный, ритуализированный, посвящен определенным торжественным событиям, соответственно, он представлен вступительными словами, торжественными, праздничными, юбилейными поздравительными речами, выпускными, евхаристическими (благодарственными), прощальными речами, застольными тостами и т. п. Такой метадискурс по своему окрасу – позитивный, так как публичная коммуникация вообще имеет тенденцию к положительной характеристике событий, чем к отрицательной [11, с. 169]. Но вот может ли эмоциональный дискурс быть фатическим – это то, что необходимо выяснить.

Эмоциональный дискурс преимущественно негативный по своему окрасу и минорный по своей тональности. Последнее свидетельствует не о сотрудничестве (консенсусе), а о соперничестве или конфронтации (диссенсусе) между коммуникантами [2]. Если принять к сведению умозаключение В.В. Дементьева о том, что фатические речевые жанры, ухудшающие и улучшающие межличностные отношения в прямой форме, наименее косвенные по определению и при ближайшем рассмотрении оказываются не вполне фатическими [3, с. 206–223], то можно утверждать об: а) обратной пропорциональности между эмоциональностью и фатикой и б) прямой пропорциональности между эмотивностью и фатикой. Но здесь возникает вопрос: как же быть с теми речевыми эмоционально-детерминированными спонтанными ситуациями, в которых все же наблюдается установление дружеских интерактивных отношений согласно с принципами сотрудничества и максимами вежливости.

Наша **гипотеза** состоит в том, что все фатические метадискурсы квазиспонтанны. Рассмотрим этот момент более детально.

Деление на «спонтанный дискурс» и «подготовленный дискурс» является относительным, и дискурсы, которые встречаются в ежедневной коммуникации, даже эмоционально-окрашенные, целесообразнее противопоставлять как «относительно спонтанные» и «относительно подготовленные». Другими словами, дискурсы могут варьировать в том, насколько их можно спланировать: определенные моменты – отдельные фразы, реплики, вопросы или ответы – могут быть хорошо продуманными, но их согласование в дискурсе – непродуманным; или можно спланировать дискурс в целом, корректируя определенные речевые отрезки «на ходу». А если взять во внимание тот факт, что до того, как высказаться, говорящий, хоть

мимолетно, но обдумывает содержание дискурса, то есть, даже в якобы «чисто» спонтанном дискурсе – дискурсе, который только что был создан говорящим в процессе речи, обязательно есть какой-то элемент подготовки, то такой дискурс и есть частично спонтанный / спланированным, или квазиспонтанным [1].

Следовательно, не смотря на кажущуюся спонтанность той или иной эмоционально-детерминированной ситуации в условиях фатического общения, мы говорим о квазиспонтанном фатическом метадискурсе, поскольку тот строится по определенной жанром схеме с использованием определенных автоматизированных реплик-клише и шаблонов; имеет преимущественно развернутое композиционное строение, что создается за счет комплиментов, преувеличений, высказываний этикетно допустимой неправды, уверений в искренности и т. д. Это такой фасцинирующий тип речи, целью которого является вызвать позитивную эмоциональную реакцию и, соответственно, расположение адресата, поэтому волевые усилия говорящего направлены на минимизирование нанесения морального вреда партнеру по коммуникации, сохранение собственного положительного образа, улучшение взаимоотношений, сотрудничество. К нему мы относим такие виды, как признание в любви, заигрывания (флирт), разновидности этикетного дискурса (приветствия, поздравления, благодарения, приглашения), развлекательный дискурс (розыгрыш, игра, шутка). Эти виды создают положительные эмоции радости, счастья, которые могут сопровождаться взволнованностью, стыдливостью, смущением и т. п.

В заключение, рассмотрим этот тип фатического метадискурса на нескольких примерах:

(1) «[...] *I just want to you to – I'm just so grateful to you for –* »

«It don't matter.»

«No, I wanna say this. You've been good to us. You have. I don't know what I would've done without you all these months. You've been like, well, you've just plain been like a papa to Emmy. And to me you've been –» She took a breath and seemed to peer closer at me [...]» (9, с. 302–303).

На фатичность и метадискурсивность этого отрывка указывает тематика, так как это подвид этикетного дискурса, а именно слова благодарности. О квазиспонтанности свидетельствуют, с одной стороны, элементы подготовленного дискурса, а именно развернутость его построения из-за объяснений, поскольку для Лили важно не просто поблагодарить, а объяснить, почему она это делает; с другой стороны, присутствуют и черты спонтанной речи, что подтверждается эмоциональной взволнованностью девушки, которая проявляется через вербальные и невербальные средства: непоследовательность, незавершенность мысли, обрыв (*And I just want to you to – I'm just so grateful to you for –; And to me you've been –*), параллелизм (*You've been*) и т. п.

(2) *«I want you to know – I love you, Simon. I know everything you've said. I'm ... FOREWARNED, as you say, but please know it – remember it, no matter what – I love you even though ... I know you're crazy. You're the softest man I've ever met. TOO soft [...]»* [10, с. 56].

Одним из исконно фатических речевых жанров является признание в любви. Как известно, тяжело решиться на признание в любви, особенно для девушки, поэтому, признаваясь в своих чувствах, говорящий волнуется. О ее эмоциональном возбуждении свидетельствует повтор (*I love you, soft/softest*), уточнения (*as you say; know it – remember it, no matter what; TOO soft*); паузация и выделение ключевых моментов (авторское выделение шрифтом и троеточием), характерные спонтанной речи. Все же, признание в любви имеет определенную жанровую схему с использованием реплики-клише *I love you*; некоторую развернутость композиционного строения, которая создается за счет, например, комплиментов (*You're the softest man I've ever met. TOO soft*), уверений в искренности (*no matter what – I love you even though ...*); эмоциональный отклик слушателя, ибо, хотя Саймон ничего и не говорит, он тоже взволнован, поскольку признание в любви никого не оставляет безразличным. Поэтому этот фатический метадискурс является квазиспонтанным.

Таким образом, мы пришли к выводу, что фатическая метакоммуникация прямопропорциональна эмотивности, которая отображает наивысшую степень планирования дискурса, и обратнопропорциональна эмоциональности, отображающей самую низкую степень

планирования дискурса. Нельзя сказать, что фатического метадискурса в условиях спонтанной эмоционально-детерминированной ситуации не существует; просто уместнее говорить о квазиспонтанности такого дискурса.

Перспективы исследования обусловлены тем, что оно является вкладом в решение проблем теории речевой коммуникации, а именно: метакоммуникации и эмотиологии.

Литература

1. Гнезділова, Я.В. Квазі-емоційні та квазі-емотивні типи дискурсу / Я.В. Гнезділова // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – 2005. – Вип. 15. – С. 54–60.
2. Гнезділова, Я.В. Комунікативно-прагматична типологія англомовних емоційного й емотивного дискурсів / Я.В. Гнезділова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Мовознавство. – 2012. – № 11, Вип. 18. – С. 58–63.
3. Дементьев, В.В. Теория речевых жанров / В.В. Дементьев. – М. : Знак, 2010. – 600 с.
4. Дементьев, В.В. Фатические речевые жанры / В.В. Дементьев // Вопросы языкознания. – 1999. – № 1. – С. 37–55.
5. Костяева, А.В. Фатические речевые жанры в речи киногероев / А.В. Костяева [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.scienceforum.ru/2013/18/5473> – Дата доступа : 28.01.2014.
6. Матюхина, Ю.В. Развитие системы фатической метакоммуникации в английском дискурсе 16–20 вв : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Ю.В. Матюхина ; Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2004. – 20 с.
7. Почепцов, Г.Г. Фатическая коммуникация / Г.Г. Почепцов // Семантика и прагматика синтаксических единств. – Калинин: Калининск. гос. ун-т, 1981. – С. 52–59.
8. Чхетиани, Т.Д. Лингвистические аспекты фатической метакоммуникации (на материале английского языка) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Т.Д. Чхетиани. – К., 1987. – 203 с.
9. Bonner, C. Looking after Lily / C. Bonner. – N. Y. : Penguin Books, 1995. – 320 p.
10. Perlman, E. The Emotions are not Skilled Workers / E. Perlman // Granta. – 2000. – Vol. 71. – P. 7–58.
11. Sears, L. The Occasional Address / L. Sears. – L., N. Y. : The Knickerbocker Press, 1997. – 343 p.

Визуализация как новый творческий метод веб-журналистики Беларуси

А.А. Градюшко

Рассматриваются важнейшие тенденции развития интернет-журналистики. Анализируется влияние интернет-технологий на творческую деятельность журналиста. Раскрываются новые направления развития СМИ в связи с процессами цифровизации журналистики и появления журналистики данных. Анализируются процессы перехода к мультимедийным платформам, выводящие технологии визуализации медиатекста на новый уровень. Выявляется такой актуальный прием визуализации информации, как инфографика. Делается вывод о возрастании роли социальных медиа в современной медиасфере.

Ключевые слова: конвергенция, информационные и коммуникационные стратегии, интернет, средства массовой информации Беларуси, социальные медиа, визуальная журналистика, инфографика, медиатекст.

The main tendencies of Internet-journalism development are studied. The analysis of the influence of digital technologies on journalists' creativity is given. The new trends of the mass media development in the process of digitalization of journalism and the emergence of data journalism are examined. The processes of transition to multimedia platforms introducing creative technology of advertising media text visualization to a new level are examined. The actual device of information visualization – infographics is considered. It is concluded that the role of social media in contemporary media sphere gains an increasing position.

Keywords: convergence, information and communication strategies, internet, mass media of Belarus, social media, visual journalism, infographics, media text.

Качественные изменения современной медийной сферы, предопределенные ее технологическими преобразованиями, обогатили современную журналистику Беларуси новыми творческими методами и приемами. Ведущие интернет-издания сегодня представлены в сети в виде интегрированных веб-систем, сочетающих интерактивные и мультимедийные сервисы. В качестве одного из современных трендов развития информационных процессов мы можем отметить значительное увеличение доли визуального контента в предлагаемых читателям материалах. Различные медийные эпизоды теперь объединяются и создают инновационный журналистский продукт, который позволяет всесторонне отразить развитие событий.

В данной статье автор на основании анализа крупнейших белорусских информационных порталов Onliner.by и Tut.by, а также сайтов наиболее популярных печатных СМИ попытался раскрыть особенности визуализации как нового творческого метода веб-журналистики и выработать модель функционирования интернет-изданий в динамично изменяющейся информационной среде. Филологический аспект исследования представлен изучением жанровых и языковых особенностей интернет-медиа. В основу работы легли данные мониторинга и контент-анализа интернет-ресурсов, проведенного в период с 2012 по 2014 гг. Также были рассмотрены публичные страницы ведущих белорусских интернет-СМИ в социальных сетях.

Под *веб-журналистикой* в настоящем исследовании мы будем понимать особый субъект средств массовой информации, который характеризуется оперативностью, интерактивностью, мультимедийностью, мобильностью, персонализированностью, гипертекстуальностью, имеет свои специфические особенности и новые типологические черты [1, с. 6]. Первоосновой профессиональной деятельности журналиста являются *творческие методы*. В начале 2000-х гг. профессор Б.В. Стрельцов выделил метод констатации, метод публицистики, эссеистский метод и метод деловой аналитики [2]. Следует признать, что указанная теоретическая концепция не потеряла актуальности и сегодня. Однако в последнее время белорусская веб-журналистика обогатилась новыми творческими методами и приемами, к ведущему из которых можно отнести *визуализацию*.

Предложение разноформатного контента и диверсификация способов его доставки отражают новую ступень развития конвергентных процессов в медиасфере. На сайтах стали появляться различные типы контента. Речь идет как о фотопубликациях, так и о видеосюже-

тах, слайд-шоу, подкастах, потоковом видео, инфографике, информационных играх, мультимедийных статьях и др. [3, с. 63]. Доля визуальной информации в интернет-СМИ значительно увеличивается. Акцент при раскрытии тем переносится на зрительные образы. В интернете пользователь не читает, а смотрит. Результатом этих тенденций стала трансформация традиционного мономедийного формата в мультимедийный [4, с. 35].

Проведенное нами исследование показало, что наиболее распространенным способом визуализации в интернет-СМИ является использование *фотографий*. Если читатель рядом с заголовком видит привлекательную фотографию, он наверняка заинтересуется новостью. Кроме того, в самих заголовках часто используются слова «*фоторепортаж*», «*фотофакт*», «*+фото*», «*+видео*». Более того, в интернете никто не ограничивает количество фото. Часто можно встретить публикации, содержащие до 50–60 иллюстраций и даже больше. Например, в материале «*Фоторепортаж: как веселится народ на главном культурном празднике Беларуси – “Славянском базаре”*», размещенном на портале Onliner.by 13 июля 2013 г., было использовано 179 фото. Фотографии выставляются в интернет в достаточном разрешении. Они могут быть также оформлены в виде слайд-шоу.

Показателен также тот факт, что в интернет-СМИ небольшие части текста, состоящие из 2–3 абзацев, часто разбиваются фотографиями. Чередование текста и фото делается для того, чтобы, во-первых, заинтересовать читателя, во-вторых, переключая его внимание от текста к фото, снизить нагрузку на зрение. По такой схеме, в частности, строятся многие материалы не только на портале Onliner.by, но и на Tut.by. В качестве примера можно привести материал «*Как просыпается столица? Фоторепортаж из утреннего Минска*» (Tut.by, 17 января 2014 г.). В целом можно отметить, что среди двух порталов доля зрительной информации гораздо больше на Onliner.by. Этот веб-ресурс также имеет на главной странице крупные визуальные блоки, посвященные самым привлекательным с точки зрения читательского интереса новостям. Перспективными тенденциями нам представляется использование панорамного и 3D фото.

Преимуществом порталов Onliner.by и Tut.by можно назвать продуманный подход к созданию востребованного новостного продукта, в том числе *видеосюжетов*. В частности, Onliner.by имеет собственный канал на YouTube. В июне 2014 г. на него было подписано более 53 тыс. пользователей, а количество просмотров достигло 13 млн. Показатели аналогичного канала Tut.by гораздо скромнее (около 4 тыс. подписчиков, более 1,7 млн. просмотров). Свой канал на YouTube создала и газета «Советская Белоруссия». Время от времени туда добавляются материалы длительностью 2–3 минуты, снятые журналистами сайта sb.by. В частности, это сюжет «*Национальный аэропорт “Минск” после реконструкции*» (5 марта 2014 г.). Однако авторских сюжетов на канале немного, чаще всего редакция «Советской Белоруссии» выкладывает туда собственные дайджесты мировых новостей.

Другие республиканские печатные СМИ не проявляют значительного интереса к созданию видеосюжетов. Например, «Звязда» также имеет свой канал на YouTube, однако контент туда добавляется очень редко. Среди государственных СМИ лидером в этой сфере можно назвать Белорусское телеграфное агентство. За три последних года на YouTube было добавлено более 2500 видеосюжетов БелТА, общее количество просмотров которых превысило 6,5 млн, а число подписчиков канала достигло 2800. Популярный канал на YouTube создала также «Наша Ніва». Среди аудиовизуальных СМИ успешно работают на этой площадке интернет-телеканал Ont.By и «Столичное телевидение».

Достаточно экзотичным способом визуализации является, в частности, аудиослайдшоу в интернет-газете «Белорусские новости» naviny.by. С помощью сменяющихся картинок со звуком и закадровым голосом в аудиослайдах рассказывается о важнейших событиях недели. На портале Onliner.BY более двух лет выходил подкаст «*Шоу Блища и Стельмаха*». За все время было записано 57 выпусков звуковых передач, однако сегодня этот жанр утратил актуальность. Перспективным направлением работы белорусских медиа можно назвать использование технологий потокового видео (streaming video), позволяющих вести трансляцию мультимедийного контента через интернет в режиме реального времени.

В качестве одного из современных трендов развития конвергентной журналистики мы можем отметить использование *инфографики* как особого способа визуализации. Она предполагает передачу основной идеи журналистского материала посредством сочетания графиков, диаграмм, карт, схем, рисунков, фотографий. Преимущество инфографики перед текстовыми сообщениями состоит в том, что она позволяет структурировать и систематизировать большие объемы информации, донести до читателя сведения в наглядной, удобной для восприятия форме, превратив стандартную заметку в мультимедийную историю. Для ее создания используются такие веб-инструменты, как Piktograph.com, Infogr.am, Visual.ly, Easel.ly и др., а также графические редакторы. При этом установлено, что инфографика может существовать как самостоятельный жанр журналистики, так и быть иллюстративной частью текста [5, с. 219].

Проведенный анализ медийной сферы Беларуси позволил сделать вывод, что наиболее успешно возможности этого способа визуализации использует БелТА. Первая инфографика на сайте Belta.by была размещена 6 декабря 2007 г. За шесть лет в общей сложности выпущено более 900 инфографик. Например, в 2014 г. на сайте belta.by была размещена инфографика на темы: «*Топ-5 достопримечательностей Беларуси*», «*Минский метрополитен: сегодня и завтра*», «*Рейтинг цветочных предпочтений белорусов*», «*ДТП: алгоритм действий*». В целом эти материалы позволяют быстро, четко в пределах одного окна представить сложный, многоуровневый рассказ о событии, а иногда и воссоздать документальную, детальную картину происходящего [6, с. 123].

В последнее время значительный интерес к инфографике проявляет также Tut.by. Чаще всего встречаются статичные публикации (схемы, карты или диаграммы). Это, например, такие материалы, как «*Воздушный флот Беларуси: на чем “Белавиа” летает сегодня и что присматривает на завтра*» (1 мая 2014 г.), «*Как мы зависим от смартфонов?*» (10 февраля 2014 г.), «*Успехи и неудачи Азаренко в 2013 году в цифрах и суммах*» (6 ноября 2013 г.). Также на Tut.by размещается динамическая инфографика с использованием интерактивных и анимированных элементов. Примеры: «*Кто сколько платит? Сравниваем стоимость проезда в Минске и городах мира*» (4 января 2014 г.), «*Калькулятор курильщика. За 50 лет экономики на сигаретах можно купить дом*» (22 ноября 2013 г.).

Пытаются экспериментировать с инфографикой также «Народная газета», издательский дом «Проф-Пресс», а также некоторые районные (например, «Шлях Кастрычніка», г. Хотимск) и городские («Вечерний Брест») издания. Как правило, она служит для иллюстрации материалов, содержащих статистическую информацию. В то же время выявлено, что ее потенциал как комбинированного источника новостной информации используется не в полной мере. Динамические схемы, содержащие весь спектр мультимедийных данных, в том числе основанные на 3D-технологиях, а также такой способ визуализации, как компьютерная анимация, встречаются редко [7, с. 264].

В ходе исследования установлено, что в Беларуси в полной мере конвергентными можно считать информационные порталы Onliner.by и Tut.by, представляющие информацию в разных формах (фото, видео, аудио и традиционных текстах). Эксперименты с мультимедийными визуальными форматами чаще всего проводят коммерческие интернет-проекты, заинтересованные в росте аудитории и имеющие соответствующие кадровые и финансовые ресурсы. В то же время многие государственные СМИ часто игнорируют возможности такого нового творческого метода веб-журналистики, как визуализация. До сих пор сайт воспринимается ими как «зеркало» печатной версии газеты.

Последние годы продемонстрировали еще одну новейшую тенденцию – стремительный рост популярности социальных интернет-проектов (социальных сетей, блог-платформ и видеохостингов), получивших общее название «новые медиа». Актуализируется новостное потребление «в обход» традиционных средств массовой информации, что, на наш взгляд, может привести к структурным трансформациям медиасферы. Важнейшей стратегией многих интернет-изданий сегодня стало присутствие в социальных сетях «ВКонтакте», Twitter, Facebook и др., где также уделяется значительное внимание визуализации. Проиллюстрируем специфику присутствия в социальных сетях ведущих белорусских интернет-СМИ на

примере портала Onliner.by. В социальной сети «ВКонтакте» страница «Онлайнера» имеет 130.000 подписчиков. На Facebook у него около 7500 последователей. В Twitter у издания более 45.000 читателей. Кроме того, портал имеет канал на YouTube, на который подписано более 52.000 пользователей. Таким образом, «Онлайнер» имеет около 235.000 друзей по всему интернету (данные на май 2014 г.).

Потенциал визуализации как нового творческого метода веб-журналистики Беларуси наиболее полно раскрывается в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Портал Onliner.by ведет аккаунт «ВКонтакте» в неформальном стиле, тем самым стирая границы между частным разговором и публичным обсуждением, умело балансируя между массовой коммуникацией и межличностным общением [8, с. 36]. В группе <http://vk.com/onliner> ежедневно публикуется от пяти до десяти сообщений (постов). Там размещаются сообщения со ссылками на материалы портала, а также зрительные образы (интернет-мемы, коллажи, оригинальные фото). Все анонсы сопровождаются привлекающим текстом и изображением. Причем текст размещается также и на самом изображении. В текстах обнаруживаются также такие элементы, как хэштеги. Они усиливают эмоциональный эффект от публикации, а также выступают как специфическое средство коммуникации в интернете.

В этом плане уместно привести в пример *репортаж «От “Валеры” до “Валеры”: сколько времени понадобится иностранному туристу, чтобы добраться из центра города в “Минск-Арену”»* (15 апреля 2014 г.). Onliner.by решил выяснить, насколько легко иностранцам будет ориентироваться на минских улицах и как быстро абсолютно не знакомый со столицей человек сможет самостоятельно добраться до одной из главных площадок предстоящего хоккейного турнира. На публичной странице портала в «ВКонтакте» публикация была анонсирована текстом *«Елена – хардкорная немка, впервые в Минске, без знания местных языков. Задача – добраться до Минск-Арены от центра города. Статус выполнения задачи: <http://realt.onliner.by/2014/04/15/turist-4>»*. Под текстом была размещен коллаж с девушкой и зубром на фоне языков пламени с надписью *«Немка Елена, зубр Валера и Министерство спорта и туризма в остросюжетном триллере “Миссия невыполнима-2014”. Добраться до “Минск-Арены” любой ценой»*. Далее следовала музыкальная композиция «Orbital – Mission Impossible Theme».

Публикация про туристку Елену, которая полтора часа добиралась от минской ратуши до «Минск-Арены», собрала на сайте более 76 тыс. просмотров и свыше 400 комментариев, значительный резонанс она получила и в социальных сетях. Показателями эффективности распространения новостей в социальных медиа являются рейтинг обсуждения (количество и качество комментариев); рейтинг одобрения, в рамках которого учитывается количество позитивных проявлений по отношению к публикуемому материалу (так называемые лайки), а также рейтинг распространения, который формируется при учете результатов распространения информации (количество репостов). В частности, указанная публикация собрала 24 комментария, 57 лайков и 8 репостов.

Публичные страницы в социальных сетях выступают эффективными инструментами для продвижения контента, который адаптирован именно к этим платформам, а также повышения лояльности аудитории. Практика мировой журналистики предполагает активную работу с пользователями социальных сетей: здесь находятся и вербуются, как предполагается, самые преданные читатели сетевых версий [9, с. 12]. Первостепенное внимание там уделяется именно различным зрительным образам (демотиваторам, мемам, коллажам, оригинальным фото с подписями). В качестве приветствия в группах в «ВКонтакте», используются, например, такие выражения, как *«Привет, коты!»*, *«Доброе утро! Принесли вам интересного почитать-посмотреть»*, *«Хола, амигос!»*. При размещении в социальных сетях анонсов тех или иных материалов также распространен неформальный стиль общения. Примеры: *«а почитайте большой и крутящий текст о том, как...»*, *«а почитайте и посмотрите, как...»*, *«пристегнитесь покрепче прямо там, где сидите!»*, *«а еще есть довольно крутая фотогалерея»* и др. Указанные приемы позволяют завязать связи с людьми, «начать отношения». Можно утверждать, что журналисты вторгаются в частное пространство, становятся «друзьями» читателей в социальной сети.

В целом исследование показало, что в интернет-СМИ в настоящее время изображение все больше превалирует над текстом. Динамичное развитие современной медийной среды оказывает существенное влияние на трансформацию привычных творческих методов и приемов журналистики, одним из которых становится визуализация. Конвергенция информационно-коммуникативных практик способствует развитию новых форм творческой деятельности, расширяющих рамки традиционного поля журналистики в сторону ее большей открытости и диалогического общения.

Более того, одной из новейших тенденций в этом плане можно считать возникновение новых творческих методов работы журналиста в социальных сетях. Для интернет-изданий использование потенциала социальных медиа представляется инновационной стратегией, которая поможет сформировать влиятельное сообщество. На современном этапе интернет-СМИ находятся в поисках наиболее оптимальной модели присутствия в социальных медиа. В целом, технологизация коммуникации на базе интернета оказывает значительное влияние на филологическую составляющую современной веб-журналистики Беларуси.

Литература

1. Градюшко, А.А. Современная веб-журналистика Беларуси / А.А. Градюшко. – Минск : БГУ, 2013. – 179 с.
2. Стральцоў, Б.В. Асноўныя творчыя метады у журналістыцы / Б.В. Стральцоў. – Мн. : БДУ, 2000. – 71 с.
3. Потятиник, Б.В. Интернет-журналістыка : навч. посіб. / Б.В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.
4. Кравцов, В.В. Инновационная журналистика и власть в современном медийном пространстве : автореф. дис. ... д-ра. филол. наук : 10.01.10 / В.В. Кравцов ; Ин-т повыш. квалиф. работников телевид. и радиовещ. – М., 2012. – 55 с.
5. Рева, Е.К. Особенности инфографики в журналах «Русский репортёр» и «Эксперт» / Е.К. Рева // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. – 2011. – № 23. – С. 219–223.
6. Медiateкст как целевой элемент журналистского образования в условиях конвергенции СМИ : монография / под ред. Л.П. Шестеркиной. – Челябинск : РЕКПОЛ, 2013. – 198 с.
7. Чабаненко, М.В. Комп'ютерна анімація в інтернет-новинах / М.В. Чабаненко // Теле- та радіожурналістика : Зб. наук. пр. / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2013. – Вип. 12. – С. 259–264.
8. Битков, Л.А. Социальные сети: между массовой коммуникацией и межличностным общением / Л.А. Битков // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 28 (282). – С. 36–38.
9. Пустовалов, А.В. Оценка эффективности деятельности СМИ онлайн (на примере пермских СМИ) / А.В. Пустовалов // Университетские исследования. Пермь, ПГУ, 2013 [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : http://www.uresearch.psu.ru/files/articles/688_62274.doc. – Дата доступа : 03.06.2014.

УДК 811.161.1'23'373.23:811.161.3'23'373.23:811.111'23'373.23

Этноязыковая специфика эмоционально-оценочных единиц русских, белорусских и американских ассоциативных полей «человек»

Н.Л. ЖЕЛЕЗОВСКАЯ

Исследуется степень представленности и особенности выражения оценки в ассоциативно-вербальной сети индивида как представителя этноязыковой среды. Материалом исследования послужили ассоциативные поля, обозначающие человека, в русском, белорусском и американском ассоциативных словарях. Разработана методика выявления эмоционально-оценочных реакций и их классификация. Приведены особенности содержательного и количественного наполнения выделенных групп, обусловленные факторами этнической и языковой принадлежности информантов.

Ключевые слова: ассоциативные поля, эмоционально-оценочные реакции, общие и частные оценки, синкретизм, позитивные и негативные оценки.

The verbal-ethnic peculiarities of reactions with emotional assessment to stimuli, denoting person from Russian, Belarusian and American associative dictionaries are studied. Their qualitative and quantitative analyses from the perspective of linguistic and ethnic effects are analyzed. The classification of general and detailed assessments and the criteria of defining them are developed.

Keywords: associative fields, general and detailed assessments, syncretism, positive and negative assessments.

В данном исследовании мы придерживаемся интегрального подхода к значению слова, сторонники которого (А.И. Смирницкий, В.М. Богуславский, Д.П. Горский, А.А. Леонтьев, Г.В. Колшанский, Б.А. Серебrenников, А.А. Залевская, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, И.А. Стернин и др.) предлагают рассматривать образы, эмоции и оценки, которые ассоциируются в сознании индивида с той или иной лексемой, как «недифференциальные компоненты» семантической структуры данного слова. Эти составляющие «являются вполне реальными для языкового сознания носителей языка элементами языковой компетенции, часто актуализуются в речи, ложатся в основу семантического варьирования слова, в значительной степени обуславливают сочетаемость и семантические связи слова» [1, с. 14]. В нашем понимании язык не только отражает особенности реальной действительности, присущей конкретному этносу (территориальные, общественно-политические, исторические, культурные), но и содержит информацию о специфике видения мира, эмоционально-оценочной сферы, психического склада говорящих на нем людей.

Под эмоционально-оценочным компонентом значения слова понимается оценка какого-либо объекта и связанные с этой оценкой чувства субъекта, закрепленные в семантике данного языка в виде денотативного или коннотативного компонента лексического значения слова или имплицативно закрепленные в значении слова через ассоциативные связи с другими словами. Те или иные эмоционально-оценочные «ореолы», которые в языке существуют только потенциально в ассоциативно-вербальной сети представителя определенной этноязыковой среды, актуализируются в ассоциативных реакциях. Анализируя частотные реакции, представленные в ассоциативных словарях различных языков, можно проследить реализацию всех актуальных (в том числе оценочных) значений данного слова-стимула для представителей определенной этноязыковой среды.

На базе русского [2], белорусского [3] и американского [4] ассоциативных словарей (АС), составленных в конце 20 века, был проведен сравнительный анализ этноязыковой специфики эмоционально-оценочных единиц ассоциативных полей «человек», а именно, ассоциативных реакций на стимулы *человек* (*чалавек, man*), *дитя* (*дзіцяня, baby*), *ребенок* (*дзіця, child*), *мальчик* (*хлопец, boy*), *девочка* (*дзяўчына, girl*) *мужчина* (*мужчына, man*), *женщина* (*кабета, woman*). Основной методикой, использованной в работе, был семантико-когнитивный анализ ассоциативных пар «стимул-реакция» на предмет потенциальной оценочности и знака оценки с привлечением количественных характеристик ассоциативных

полей. Для выявления и регистрации ассоциативных связей оценочного характера методом сплошной выборки были проанализированы все, реакции (R) на данные слова-стимулы в количестве 15650 R (2872 в русском, 6171 в белорусском и 6607 в американском AC) за исключением одиночных R, так как они отражают лишь индивидуальный опыт респондентов, а не свойственный представителям конкретного социума.

В спорных случаях наличия в рамках отдельного бинорма оценочного значения у слова-реакции мы обращались к ассоциативному полю данного слова. По высокой частоте эмоционально-оценочных реакций (>25 %), мы делали вывод в пользу оценочности изначальной реакции, вызвавшей сомнения. Путем подсчета процентного преобладания позитивных или негативных реакций от оценочных решалась при необходимости и проблема определения знака оценки – положительного или отрицательного.

Так, чтобы определить является ли реакция *старый* на стимул *мужчина* эмоционально-оценочной, мы обратились к ассоциативному полю на стимул *старый*. Из 845 неодинокных ассоциаций обнаруживаем 248 явно оценочных R (29.3 %). Реакции с неявной оценкой, например *дом*, не учитываем. Далее подсчитываем соотношение положительных и отрицательных реакций, анализируя каждый бинорм. Поскольку оценочные реакции на слово *старый* составляют более 25 %, причем около 62 % из них – отрицательные, реакции *старый* на стимул *мужчина* присваивается отрицательный оценочный компонент значения.

Старый → *пень* 22, *дряхлый* 21, *хрыч* 16, *дуб* 15, *дурак* 14, *козел* 12, *осел* 12, *хрен* 11, *черт* 6, *башимак* 4, *больной* 4, *болван* 2, *враг* 2, *двор* 2, *изношенный* 2, *импотент* 2, *плохо* 2, *потрепанный* 2, *немогущий* 2 («–» 153 – количество отрицательных оценочных реакций).

Старый → *друг* 72, *мудрый* 10, *добрый* 4, *товарищ* 4, *знакомый* 3, *друг лучше новых двух* 2 («+» 95 – количество положительных оценочных реакций).

Выяснилось, что даже аксиологически нейтральные слова-стимулы, обозначающие человека, получают оценку в реакциях с различным семантическим значением. От всех проанализированных реакций нейтральные составляют лишь 43.7 % (6846 R). К таковым относятся: антонимы (*мужчина* → *женщина*), нейтральные синонимы (*дзяўчына* → *жанчына*), гиперонимы (*дзіця* → *істота*), национальность, место жительства (*дзяўчына* → *беларуска*, *гарадская*), повторы (*чалавек* → *чалавек*), имена собственные не из прецедентных текстов (*хлопец* → *Іван*; *girl* → *Joan, Mary*), указание на пол (*boy* → *male*), нейтральные действия (*чалавек* → *ідзе*), местоимения (*girl* → *she*).

Эмоционально-оценочные реакции составляют 56.3 % (8804 R). Выяснилось, что оценка является одной из ведущих стратегий ассоциативного реагирования. Перевес в пользу эмоционально-оценочных реакций также свидетельствует о значимости «человека» в рамках антропоцентричной картины мира представителей всех трех этносов. Самыми актуальными оказались *ребенок* (1797 R) и (1490 R). Этот перечень завершают *мужчина* (1045 R), *женщина* (1013 R) и *мальчик* (1000 R). В целом «человек» оценивается положительно (7742 «+» оценок (87.9 %) vs. 1062 «–» оценок (12.1 %)). По количеству «+» оценок по суммарным данным всех трех словарей лидируют *ребенок*, *девочка*, *дитя*, а *мужчина*, *мальчик*, *женщина* замыкают данный список. По количеству «–» оценок *дитя*, *женщина* и *человек* превосходят остальные. Наименьшее количество их мы наблюдаем у *девочки* и *мальчика*, которые, судя по процентному соотношению «+» и «–» оценок, вызывают самые не противоречивые оценки («–» оценки составляют 3–4 %), в отличие от *дитя* и *женщины* (20–22 %).

По реакциям на данные стимулы были выделены следующие этноязыковые отличия ассоциативных полей. Русские и белорусы в отличие от американцев больше склонны к эмоционально-оценочному суждению судя по отношению оценочных и нейтральных реакций в ассоциативных словарях соответственно (78.3 % vs. 21.7 %, 72.8 % vs. 27.2 %, 31.2 % vs. 68.8 %). 87 % оценочных реакций и в русском и в белорусском словарях – положительные, а в американском – 91 %. Это может свидетельствовать о более критичном отношении русских и белорусов как к человеку, так и к жизни вообще.

По количеству оценочных реакций у белорусов и американцев преобладает *ребенок*, а у русских – *человек*, в то время как *девочка* и *ребенок* у последних занимают второе место, хотя *чалавек* у белорусов тоже очень часто оценивается. А вот *дзіцяня* и *кабета* у белорусов

оцениваются реже остальных. У русских на последнем месте – *женщина* и *мужчина*, а у американцев – *boy* и *man*. Диаметрально противоположными по наибольшему количеству «+» оценок vs. наибольшему количеству «–» оценок оказались *девочка* vs. *человек* у русских, *дзяўчына* vs. *кабета* у белорусов, *baby* vs. *child* у американцев. Наиболее vs. наименее противоречивые оценки по знаку получили *человек* vs. *девочка* у русских, *кабета* vs. *дзяўчына* у белорусов, *baby/child* и *woman* у американцев. Отметим, что в американском словаре негативные оценки на стимулы *girl*, *man* вовсе не зарегистрированы.

Представляют интерес как реакции с общеоценочным значением (*хороший/плохой* и т. п.), так и частнооценочным, когда «аксиологический маркер прочно срастается с обозначениями многих частных свойств объекта» [5, с. 73] (*юный, глупый, любимый*, и пр.).

Общеоценочные реакции были классифицированы следующим образом:

1) Выражающие аксиологический итог **реакции-предикаты хороший/плохой и их синонимы** с разными стилистическими и экспрессивными оттенками (*женщина* → *хорошая, прекрасная*; *woman* → *nice*; *кабета* → *добрая, дрянная*; *человек* → *чудоуны, выдатны* и т. п.).

2) **Синонимы слов-стимулов** с эмоциональной и стилистической маркированностью, которая может быть выражена аффиксально (*хлопец* → *хлопчик*; *дзіця* → *немаўлятка*), и на которую в словаре указывают пометы *уменьш. ласк., груб., vulgar* и т. п. (*дзіця* → *малыш, малютка*; *child* → *tot* ‘малыш’, *brat* ‘выродок’; *кабета, дзяўчына* → *чувіха*). Здесь и **реакции-образные сравнения**, в которых выделить одно конкретное свойство-сходство со стимулом не возможно, но наличие в которых оценочного отношения несомненно (*кабета* → *кветка, сонца*; *человек* → *животное, машина, обезьяна*; *девочка* → *ромашка*). Согласимся с Е.Ю. Мягковой, что «через обобщённый образ, можно косвенно судить о характере эмоционального настроения, сопровождавшего восприятие стимула» [6, с. 114].

3) **Реакций с семантическим значением «свой/чужой»**: притяжательные местоимения *мой, не моё, наш, свой, твой* и т. п.; прилагательные *родное, знакомый, новый, чужой, со стороны*; личное местоимение *я*; реакции, обозначающие родственников, знакомых (*женщина* → *жена, мама, сестра*; *девочка* → *племянница, соседка, дочка*; *мужчина* → *бацька; дзіця* → *сын, брата; person* → *wife; child* → *niece* ‘племянница’).

Используя предложенный А.В. Клёновой «критерий неравномерности», было проведено исследование такого рода реакций в биноме со словом-стимулом на предмет потенциальной оценочности. Высокая частотность данных реакций во всех трех словарях свидетельствует об оценке обозначаемого словом-стимулом явления. «Количественные расхождения (неравномерность распределения реакций) указывают на то, что данные ассоциации являются лишь косвенным выражением оценки, которая по своей природе наиболее близка к прагматической» [7, с. 189–190]. Согласно И.Ю. Марковиной и Т.А. Васильченко, культурная константа «свой/чужой» является дифференцирующим и интегрирующим признаком этноса и несет выраженную аксеологическую нагрузку: «свое» – значит хорошее, правильное, естественное, необходимое, «чужое» – наоборот [8, с. 217].

4) **Цитатные слова-реакции**, которые в ходе употребления развили оценочные коннотации и для которых оценка вторична, производна от дескриптивного значения. Они представляют в биноме со словом-стимулом устойчивые выражения или отсылают к популярным в этноязыковой среде прецедентным текстам, названиям, фразам и т. п. Сюда относятся только те, в которых не возможно выделить одно ведущее свойство-сходство со стимулом (*чалавек* → *залаты, вялікага сэрца*; *дзіця* → *горкае*; *девочка* → *моя синеглазая* (песня Е. Белоусова), *на шаре* (советский фильм 1966 г. и картина П. Пикассо), *интердевочка* (экранизированная повесть В. Кунина); *человек* → *в футляре* (безвольный герой рассказа А.П. Чехова), *невидимка* (роман Г.Д. Уэллса), *звучит гордо* (выражение из пьесы М. Горького «На дне»), *whistle* (перифраза *wolf whistle* – звук одобрения от мужчины при виде привлекательной женщины), *dog* (*Dog Boy* – американский певец).

Форма объективации оценки в реакциях определяется не только идиостилем испытуемого, но и спецификой семантики исходной лексемы. Еще Дж. Миллер указывал, что в основе ассоциирования может лежать скрытое знание о совместной сочетаемости слов [9]. Слово-стимул вызывает в сознании слова, частотно управляемые им. Содержание подобных оценок

определяется «преломлённым в индивидуальном сознании коллективным опытом, овнешляемым в различных семиотических системах (в художественной культуре, мифологии, продукции СМИ и главным образом – в естественном языке) [10, с. 141]».

5) **Тематические реакции-образы**, которые возникают как тематически связанные со стимулом типичной ситуацией из повседневной жизни. Испытуемые описывают чувственные образы, чье содержание определяется, с одной стороны, спецификой представления как формы познания действительности и особенностью отражаемого в представлении предметного мира, с другой – индивидуальным опытом носителя языка и преломлённым в индивидуальном сознании коллективным опытом. Наличие эмоционально-оценочного содержания у подобных реакций не вызывает сомнения. Согласно Е.Ю. Мягковой, для носителя языка слово всегда связано с определенным конкретным опытом, структурируемым относительно его собственных органов чувств и ориентации в пространстве и времени. Оно вписывается в многообразные отношения, в которые вступает индивид [6, с. 152]. Ввиду отсутствия контекста, бывало трудно определить знак оценки, учитывая вероятность конкретных единиц опыта, стоящих за ассоциативными связями. В подобных случаях мы полагали, что чаще актуализируются типичные признаки предмета, объекта, явления в типичной для них ситуации, социуме и типичные чувства, связанные с социальными ценностями и стереотипами. На стимулы «человек» встечаются в основном тематические реакции с положительным эмоционально-оценочным ореолом (*дзіцяня* → *вочкі, малако, сям'я, маці, цацкі; дзяўчына* → *каса, бяроза, танцы; человек* *земля, жизнь, космос; girl* → *hair, date, bed, curls, dance, party; woman* → *hair, figure, dress*).

6) Нас интересуют не только ассоциации, ограниченные значением слова, но и **фонетические** (созвучные), связанные с его знаковой оболочкой. «Поиск слов в памяти ведется как по чисто формальным (звуковым и графическим), так и по грамматическим и семантическим признакам» [11, с. 159] (*дзіцяня* → *кацяня; мальчик* → *одуванчик*).

При выделении *частнооценочных* реакций, которые «дают оценку одному из аспектов объекта с определённой точки зрения» [5, с. 75], была разработана единая расширенная классификация, основанная на классификациях Н.Д. Арутюновой и Х. фон Вригта [12]. Такие реакции условно могут быть разделены на следующие группы:

1) **Сенсорно-вкусовые оценки** относятся к самому ощущению с позиции пассивного удовольствия для зрительного, тактильного, слухового, обонятельного восприятия, а также сексуального влечения (*дзіця* → *смах, галоднае; baby* → *cuddle* ‘объятия’, *rattle* ‘грохотать’; *дзяўчына* → *прывабная; кабета* → *прыемная; woman* → *sex* ‘секс, пол’ и др.). Сюда можно отнести метафорические ассоциации *горкае, sweet, soft, ціхая, дзябёлая, cold, светлая*, если рассматривать их в прямом значении с точки зрения их внутреннего образа. Однако с учётом значения устойчивых словосочетаний, которые они образуют вместе со словом-стимулом, *горкае дзіця* ‘неопытное’ возможно отнести и к утилитарным оценкам мастерства, *sweet child* ‘милый, любимый’ – к чувственным, *ціхая дзяўчына* ‘скромная, спокойная’, *светлая дзяўчына* ‘добрая, душевная’ – к этическим, *дзябёлая дзяўчына* ‘толстая’ – к техническим, *cold woman* ‘неласковая’ – к утилитарным оценкам. Когда переносное значение является зависимым от основного и чётко прослеживается мотивация метафорического переноса, реакции приписывалась оценочная помета по прямому значению (*дзіця* → *горкае* ‘горемычное, слишком маленькое’, *child* → *sweet* ‘приятный, любимый, хорошенький’ – сенсорные оценки). Когда вызывает затруднение мотивация ментальных образов, служащих соединительным звеном между стимулом и реакцией, тогда реакции приписывалась оценочная помета по переносному значению (*чалавек* → *пень, тупы* ‘глупый’ – психологическая оценка). *Крык, крыклівае*, мы отнесли к сенсорным, а *капрызнае, плаксівае* – к медицинским, *плакса, плача, плач, плакаць* *неспакойнае; ревет, смеется; crying, laugh* – к эмоциональным оценкам.

2) **Психологические оценки** подразделяются на:

а) **интеллектуальные оценки** (*чалавек* → *разумны, пень, тупы, творчы, веды, думка, цікавы; жэніцина* → *обаятельная, мудрая, загадочная* и др.);

б) **эмоциональные оценки**. Здесь можно проследить связь оценочности не только с характеристиками объекта (например, *дзіцяня* → *вясёлае, шчаслівае*), но и с индивидуальностью субъекта (*чалавек* → *прыемны, ураўнаважаны, любы*). Однако невозможно чётко установить эту границу, если реакции даны в форме существительных или на английском языке, когда существительное и глагол или склонения глагола не различаются (*child* → *love, happy*,

fun). Оценка *адзіны* является положительной эмоциональной, так как предполагает в данном контексте не столько ценность, уникальность (нормативная оценка), сколько трепетное отношение. Диспозитивные глаголы *люблю, не люблю, хочу* и т. п. – это психологические оценки, т. к. выражают отношение субъекта оценки, а не свойства объекта. Хотя по комплексности выраженных признаков и неспециализированности они близки к общеоценочным предикатам. В ряде случаев тип оценки зависел от стимула (*человек* → *живой* – эмоциональная оценка, а *ребенок* → *живой* – медицинская).

3) **Эстетические оценки** со значением красивый/некрасивый, вытекающие из синтеза сенсорно-вкусовых и психологических оценок (*woman* → *beauty*, *мужчина* → *прыгожы, сімпатычны*). Оценки *маладая, высокая, стройны* хотя в нашем обществе и считаются стандартом красоты, но должны быть отнесены к инструментальным.

4) **Этические оценки**, связанные с человеческой моралью (*child* → *innocence*; *хлопец* → *смелы, сціплы* ‘скромный’, *верны, ветлівы, чэсны*). *Сур’ёзны, адданы, грозны, грубы, rough* могут быть также расценены как эмоциональные; *непаслухмянае* – как нормативная оценка.

5) **Утилитарные оценки** благоприятствования, пригодности, пользы для определённой цели (*дзяўчына* → *ласкавая, прыветлівая*; *чалавек* → *дружны, працавіты, замкнуты, складаны, нікчэмны*; *человек* → *труда, трудный, упрямый*; *girl* → *friend*). Часть утилитарных оценочных реакций в определённом контексте могут быть отнесены и к другим типам оценки. Оценки *прыветлівая, дбалы* могут быть этическими, *працаўнік, нікчэмны* – мастерства и инструментальными, а *нікчэмны* – телеологическими. Согласно толковому словарю, друг – это человек, связанный дружбой, возлюбленный, сторонник, защитник. Поэтому *friend, друг, сябар* – и утилитарная, и эмоциональная и этическая оценки.

6) **Нормативные оценки**, характеризующие объект как член класса, вида, рода и основанные на функциональном принципе соответствия норме делятся на:

а) **инструментальные оценки**. Для изучаемых стимулов – это реакции, характеризующие вес, фигуру, рост, возраст, силу, черты характера, типичный вид деятельности (*baby* → *play, tiny, buggy*; *дзяўчына* → *маладая, стройная, дародная, высокая*; *кабета* → *магутная, моцная*; *мужчина* → *холостой, самец, стройный*);

б) **оценки мастерства** (*дзяўчына* → *модная, магутная, спрытная*; *мужчина* → *гаспадар, спрытны* ‘ловкий’, *хлопец* → *спартсмен, самастойны*; *чалавек* → *вопытны, человек* → *дела, хозяин* и др.). Как видим, оценки данного типа могут относиться не только к специализированным объектам и тогда они не подлежат верификации, т. к. субъективны;

в) **медицинские оценки**, характеризующие физические и психические способности (*чалавек* → *здоровы, п’яны, кульгавы*; *дзіця* → *рухавае, хворае, плаксівае, капрызнае*; *child* → *health*). *Капрызнае* может быть еще и этической оценкой, а *стомлены* – утилитарной.

7) **Телеологические оценки**, то есть целевые, определяющие эффективность, целесообразность, удачность (*хлопец* → *надзейны, сапраўдны*; *мужчина* → *солидный*; *ребенок* → *долгожданный*; *дзяўчына* → *прыйшла*). Сюда отнесём и *чалавек* → *бедны* ‘небогатый’, хотя в значении ‘несчастный’ реакция относится к эмоциональной оценке.

Возникшие затруднения при анализе оценочных реакций и определении их типов оказались связаны с синкретизмом, свойственным целому ряду частных оценок, с различным характером двух стимулов (*girl* ‘девочка, девушка’, *man* ‘человек, мужчина’), с полисемией слов-реакций. Трудности вызвали языковыми особенностями сочетаемости слов в английском и белорусском/русском языках (*дзяўчына* → *каханне, закаханая, кахаць, любіць, люблю*; *girl* → *love*; *дзіця* → *крыклівае, плакса, крычаць, крик*; *baby* → *сры* ‘плач, плакать, крик, кричать’, *crying*). Оценочные единицы в английском языке представлены не так разнообразно морфологически и экспрессивно, как в русском и белорусском.

От всех найденных реакций с оценочным значением частнооценочные составляют 62 %, остальные 38 % – общеоценочные. В обеих группах наблюдаем явное преобладание положительных оценок (85 % и 93 %). Однако соотношение обще- и частнооценочных реакций в трех языках отличается координально. Русские отдают не явное, но предпочтение частным оценкам (51.8% от всех оценок), у белоруссов они в значительном большинстве (78,0 %), а у американцев – в меньшинстве (38.3 %). Значит, в своих оценках американцы склонны обобщать, не

уточняя критериев, а белорусы – сосредотачиваются на частных свойствах объектов при их оценке. В языковой картине мира русских и белорусов оценка представлена не только в большей степени, но и разнообразнее, чем у американцев. У последних фонетические, интеллектуальные и телологические оценки вовсе не выявлены среди изучаемых ассоциаций, а нормативные оценки мастерства и медицинские составляют незначительное количество.

Русские и белорусы чаще всего отдают предпочтение в своих ассоциациях частным нормативным оценкам (25.7 % и 39.5 % оценочных реакций соответственно). Хотя на втором месте по популярности у первых – общие цитатные оценки (19.4 %), у вторых – частные эстетические (15.2 %). Среди американцев инструментальные оценки занимают лишь третье место (17.9 %) после общих тематических (29.2 %) и оценок-синонимов (21.6 %). Русским привычнее дать положительную оценку, используя нормативные и цитатные ассоциации, а отрицательную – при помощи психологических реакций, белорусам положительную – посредством нормативных и эстетических реакций, отрицательную – нормативных и психологических. Американцам положительную – посредством эмоционально-оценочных синонимов и нормативных оценок, а отрицательную – при помощи сенсорно-вкусовых.

Как следствие, различается популярность различных типов как общих, так и частных оценок в трех этнокультурах. Самые многочисленные группы из общих оценок у белорусов – хороший/плохой (8.4%) и тематические реакции (4.6%), а малочисленные – цитатные (2.0%) и фонетические (0.2%). У русских в большинстве – цитатные (19.4%), реакции свой/чужой (8.5%) и тематические (7.8%), а в меньшинстве – фонетические (1.8%). В американском ассоциативном словаре в большинстве среди общих реакций-оценок – тематические (29.2%) и оценки-синонимы (21.6%), а в меньшинстве – реакции свой/чужой (3.8%) и хороший/плохой (2.3%).

Самыми многочисленными группами частных оценок у белорусов оказались инструментальные (35.0 %), эстетические (15.2 %), эмоциональные (10.6 %); наименее – интеллектуальные (2.6 %), утилитарные (2.2 %), оценки мастерства (1.1 %) и телологические (0.1 %). У русских среди самых популярных – инструментальные (23.6 %), эмоциональные и интеллектуальные (12.4 %) частнооценочные реакции. А вот сенсорно-вкусовые (1.4 %), медицинские (1.2 %), телологические (1.2 %) и оценки мастерства (0.8 %) здесь в меньшинстве. У американцев популярны инструментальные (17.6 %) и сенсорно-вкусовые (11.1 %) оценки в отличие от утилитарных (1.8 %) и этических (0.4 %).

Таким образом, общая тенденция для представителей всех трех этносов такова, что при оценочном восприятии человека они больше руководствуются рационалистическими критериями оценки объекта, связанными с практической деятельностью: выполнением функции, соответствием стандарту, но не с мастерством и эффективностью объекта. В меньшинстве и автоматические языковые фонетические реакции-оценки. Удовлетворение чувства прекрасного актуальнее, чем духовных нравственных чувств.

Американцы склонны оценивать объекты в общем, ориентируясь на типичные ситуации, с которыми они чаще всего связаны, и стандартные в этих ситуациях собственные чувства. Они опираются на собственный физический опыт для ориентации и достижения сенсорно-вкусового комфорта в природной и социальной среде. Они не концентрируются на таких конкретных свойствах объекта, как интеллект, физическое состояние здоровья.

Белорусы и русские помимо ориентации на нормы в большой степени руководствуются или психическим чувственным опытом, или интеллектуальными критериями оценки объекта, а не физическим опытом. Однако и здесь имеются значимые этноязыковые отличия. В отличие от белорусов с важной для них эстетической составляющей оценки, русские регулярно приводят ассоциации под влиянием языка, цитируя устойчивые выражения, некие типичные для этноязыковой среды прецедентные тексты, названия и т. п. У русских слова-стимулы, обозначающие человека, довольно часто получают оценку в реакциях с семантическим значением «свой/чужой». Американцы и белорусы склонны больше реагировать по модели отождествления с собой, а русские – относя в свой круг знакомых или интересов. Популярность подобных реакций объяснима одной из ключевых идей русской ценностной картины: «для внутреннего комфорта человеку необходимо большое пространство снаружи, причем это пространство должно быть обжитым «своим» [13, с. 11].

Итак, оценка входит в качестве компонента значения в семантическую структуру любого, даже нейтрального слова. Высокая частотность эмоционально-оценочных реакций в ассоциативных словарях доказывает, что оценочная категория является актуальной для представителей любого этноса, а эмоционально-оценочные единицы ассоциативных полей различных языков на идентичные слова-стимулы наиболее ярко отражают их этноязыковую специфику. Здесь находит подтверждение предположение А.В. Кленовой о том, что «в сознании носителя языка обнаруживается неравномерное распределение внимания, и именно оценка является фактором, обеспечивающим сдвиг фокусировки» [14, с. 43]. В содержательном и количественном наполнении выделенных типов обще- и частнооценочных реакций, наблюдаются как схожие, так и специфические особенности, обусловленные факторами этнической и языковой принадлежности информантов.

Литература

1. Серебренников, Б.А. О материалистическом подходе к явлениям языка / Б.А. Серебренников. – М. : Наука, 1983. – 319 с.
2. Русский ассоциативный словарь : в 2 ч. / Ю.Н. Караулов [и др.]. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2002. – Т. 1: От стимула к реакции : ок. 7000 стимулов. – 784 с.
3. Цітова, А.І. Асацыятыўны слоўнік беларускай мовы / А.І. Цітова. – Мінск : Выд-ва БДУ, 1981. – 144 с.
4. Jenkins, J.J. The 1952 Minnesota word association norms / J.J. Jenkins // Norms of word association / L. Postman, G. Keppel. – Berkley, California : Academic press New York and London, 1970. – P. 1–38.
5. Арутюнова, Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт / Н.Д. Арутюнова. – М. : Наука, 1988. – 341 с.
6. Мягкова, Е.Ю. Эмоционально-чувственный компонент значения слова : вопросы теории : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / Е.Ю. Мягкова. – М., 2000. – 247 л.
7. Клёнова, А.В. Выражение оценки в ассоциативном словаре школьников / А.В. Клёнова // Язык. Сознание. Культура : сб. ст. / Под ред. Н.В. Уфимцевой, Т.Н. Ушаковой. – М. : ИП Кошелев «Эйдос», 2005. – С. 183–192.
8. Марковина, И.Ю. Культурная константа «свой-чужой» на аксиологической оси модели мира: механизмы защиты / И.Ю. Марковина, Т.А. Васильченко // Язык. Сознание. Культура : сб. ст. / Под ред. Н.В. Уфимцевой, Т.Н. Ушаковой. – М. : ИП Кошелев «Эйдос», 2005. – С. 217–230.
9. Миллер, Дж.А. Образы и модели, уподобления и метафоры / Дж.А. Миллер // Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – С. 236–283.
10. Стернин, И.А. Слово и образ : монография / И.А. Стернин, М.Я. Розенфельд ; под ред. И.А. Стернина. – Воронеж : «Истоки», 2008. – 243 с.
11. Залевская, А.А. Введение в психолингвистику : учебник / А.А. Залевская. – М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 1999. – 382 с.
12. Wright, G.H. von. The varieties of goodness / G.H. von Wright. – New York : Humanities Press, 1963. – 222 p.
13. Зализняк, Анна А. Ключевые идеи русской языковой картины мира : сб. ст. / Анна А. Зализняк, И.Б. Левонтина, А.Д. Шмелев. – М. : Языки славянской культуры, 2005. – 544 с.
14. Кленова, А.В. Оценочные смыслы в ассоциативном словаре (на материале Ассоциативного словаря школьников Саратова и Саратовской области) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / А.В. Кленова. – Саратов, 2007. – 222 л.

УДК: 821.161.23

Макроконцепт «творчество» в романах Дины Рубиной

И.Е. ИВАНОВА

Рассматривается концепт творчество как универсальный для романного творчества Д. Рубиной. Выявляются составляющие концептосферы данного макроконцепта, продуктивные для интерпретации смыслов произведения.

Ключевые слова: концептосфера, типология творческих характеров, художник, творчество, конфликт противоположных начал.

The concept «creation» is considered as universal for novels by Dina Rubina. The constituents of the conceptosphere of present macroconcept which are productive for understanding of senses of the book are elicited.

Keywords: conceptosphere, typology of creative characters, artist, creation, conflict of opposites.

«Творчество» в романах Д.И. Рубиной, несомненно, является макроконцептом, т. е. определяющим, центральным, принципиально значимым для понимания произведения. Концептополя указанного макроконцепта включают в себя такие понятия, как *созидание* и *разрушение*, *творец* и *ремесленник*, *творческая* и *бытовая реальность*.

Характер творческой личности, её мировоззрение, отношение к действительности, интуитивно осознанная связь с предшествующими культурными эпохами составляют один из интереснейших аспектов художественного творчества Д. Рубиной. Типология творческих характеров в их отношении к действительности и творчеству начинает формироваться ещё в «советский» период творчества писательницы и продолжается вплоть до настоящего времени.

В романной трилогии «Синдром Петрушки» (2010) выражены наиболее концентрированные представления автора о гипотетических возможностях развития творческого характера в ситуации, когда творец полностью подчиняет себя творческой реальности, как он её представляет. Именно в этой трилогии происходит окончательный разрыв между бытовой сферой жизни художника и собственно творческой. Вот как сама писательница характеризует своих героев: «...это странные “люди воздуха”, подчас в буквальном смысле: воздушная гимнастка Анна из “Почерка Леонардо” всю жизнь посвятила зеркалам, их глубинной сути; талантливый художник Захар Кордовин отдаёт свой немалый дар сотворению иллюзий, подделок; гениальный кукольник Петя из “Синдрома Петрушки” вообще занят созданием иной реальности – жизни кукол» [3].

Идея отстранённости художника от быта как типологическое качество личности творца впервые была заявлена в романе «На Верхней Масловке».

Верхняя Масловка – это уникальный по замыслу и реализации комплекс домов для художников, построенный в Москве в 1930–1950-х гг. Этот городок возводился с целью собрать вместе художническую элиту, предоставить ей комфортные условия для жизни и творчества, по возможности отгородив ее от бытовой неустроенности. На протяжении всей своей истории Верхняя Масловка заявляет о себе как об особой форме сплоченности представителей творческой интеллигенции, породив нетрадиционные для обывателя стиль жизни, формы общения, а также идею устойчивой оппозиционности не только по отношению к властям, но и к традиционному для советского человека бытовому укладу жизни. Для человека постороннего, впервые попавшего в обиталище художников, Верхняя Масловка представляла собой отнюдь не эстетическую картину: «Вход в мастерские скульпторов со двора. Ступени к высокому крыльцу; на дверях мелом написано “Мастерские № 5, 6”. Ступени щербатые, грязные, мшистые, перила рассохлись, краска на двери облезла давным-давно. Центр Москвы при всем при этом...

Все-таки они как-то упоенно придаются свинству, эти художники и скульпторы. Ну, мастерская, конечно, рабочий беспорядок, не лаковые паркет, разумеется, но входную дверь отчего не покрасить раз в двадцать лет? Ну да, оне художники, а не маляра...» [4, с. 116–117]. В

романе среда обитания многое объясняет в характерах и судьбах героев, предсказывает, провоцирует... В этой странно-непонятной среде господствует дух творчества, сформировавший определенные типы художников и объединивший их в единую творческую семью, со своими традициями и особым стилем жизнеустройства.

Так, главная героиня романа Анна Борисовна воплотила в своей личности специфические особенности отношения к жизни неординарного, признанного художника. Героиня сформировалась как творческая личность на рубеже двух эпох и, следовательно, ощущает себя, с одной стороны, наследницей традиций XIX в., с другой – заявляет о своей творческой «особости» в XX в. Безусловным примером для нее остается модель аристократического поведения, которая в современном мире воспринимается весьма неоднозначно. Окружающие часто не в состоянии адекватно оценить свойственные ей проявления рафинированной духовной жизни: блеск артистического самовластия воспринимается как старческий эгоизм, выплески радостного романтического мироощущения – как капризы признанного художника. Анна Борисовна далека от идеи «серьезного», практичного восприятия жизни: она убеждена, что артистическая энергия несовместима с бытовой стороной существования таланта. Всем своим поведением героиня настойчиво заявляет об особом статусе творческой личности, поддерживая тем самым сложившийся в общественном сознании стереотип «богемного» образа жизни, который понимался обывателем как вызов здравому смыслу.

Среднестатистический советский человек, нацеленный на выживание, как верно подмечено писательницей, не мог не воспользоваться наивно-аристократической непрактичностью обитателей Верхней Масловки. В романе есть прекрасный эпизод, в котором Петя разоблачает домработницу Розу, а заодно и саму Анну Борисовну с ее «житейским идиотизмом»: «Эта тварь нагрела нас сегодня рублей на пятнадцать!» – крикнул он так, что выстрелило в ухе и отдалось в затылок» [4, с. 39]. Интересно, что Анна Борисовна прекрасно понимает, что ее обманывают, но, в силу сложившегося стереотипа, в угоду образу высокодуховного интеллигента, «должна была сунуть Розе трешку» [4, с. 38]. Отказ героини вникать в суть каждодневного бытия отнюдь не отменял ее артистических «слабостей» к вкусной еде, как не отменял ее вкуса к жизни вообще: «Это что – картошка? – Она повела носом. – Очень своевременно и толково. Ты и масло положил?» [4, с. 41]; «Она невозмутимо потянулась за конфетой. Это была четвертая, старуха любила сладости» [4, с. 45]. Артистически-аристократическое восприятие жизни ярко выразилось в отношении героини к творчеству. Она руководствуется тезисом о служении искусству, но в этом служении идея подвижничества подавляется артистизмом.

В восприятии героини Дины Рубиной эстетика искусства не может перейти в эстетику бытия прежде всего потому, что «сознание неправды денег в русской душе невытравимо» [7, с. 7]. С другой стороны, героиня прожила довольно длительный период жизни, когда была материально независима: «Да, деньжата у меня водились, мне присылали родители...» [4, с. 27]; «с чего мне было быть зависимой, если каждый месяц мне присылали двести франков?» [4, с. 27]. Деньги для нее так и остались детской забавой, вокруг которой «не стоит поднимать много шума» [4, с. 27]. Бытийная сфера жизни оставляет ее равнодушной, вынужденное вхождение в эту игнорируемую область вызывает неожиданные конфликты. Установка на вседозволенность признанного гения оборачивается в быту поведенческой наивностью, «гибкостью швабры» [4, с. 49]. Когда Анна Борисовна решает облегчить или, как она выражается, «устроить» судьбу какого-нибудь своего ученика, это вызывает у чиновников от искусства прямо противоположную ожидаемой реакцию: «Вы и Матвеем много напакостили своей глупостью, – ровным голосом продолжал он, не слыша старуху. – Его никогда не примут в Союз художников, и не потому, что он “слишком левый”, а потому, что вы, именно вы звоните тем, от кого прием зависит, и с великодушным идиотским апломбом заявляете, что Матвей – гений, что все они просто обязаны принять его в Союз и записаться в порядке алфавита к нему в ученики» [4, с. 49].

Мифопоэтический образ главной героини романа складывается, таким образом, на грани столкновения между идеями артистизма и подвижнического служения искусству, в равной степени отрицающими идею жизненного бытоустройства, эстетизации бытия. Не случайно героиня внутренне отторгает свою дочь, потому что та отказалась развивать в себе

талант и посвятила себя бытийной стороне жизни: «Дочь во всем получилась другой: комфорт, уютная благопристойность, отреставрированные комоды и буфеты эпохи Александра Второго, неизменные обеды» [4, с. 69].

Эволюция статуса художника в общественном и индивидуальном сознании запечатлена в романе в образе Матвея – одаренного живописца и скульптора. Если Анна Борисовна застала тот период развития общества, когда конъюнктура художника была достаточно высока, то в образе Матвея отражен результат нараставшего разрыва в бытийном и творческом облике художнической среды. Этому образу уже чужды идеи поведенческого артистизма, легкости жизненного восприятия. Стержнем характера становится установка на подвижническое служение искусству. Взгляд на искусство как на служение чему-то высшему соседствует в сознании героя с отказом от бытового комфорта. Ему свойственно чувство самоуважения художника, осознание его особой роли в общественной жизни. Интересно, что подобная позиция была характерна для многих представителей русского искусства. Например, И.Н. Крамской в письме В.В. Стасову замечает: «Да, мы не избалованы, и слава Богу... Плохо тому народу, где искусство прососется во все закоулки и станет модой, базаром, биржей! Не дай Бог мне дожить до того времени, когда мною станут заниматься, как важной особой...» [1, с. 39].

Герой романа заявляет свою творческую индивидуальность в том числе через отказ от таких ценностей, как прибыль от искусства. Внешний облик героя, показанный в романе через восприятие незаурядной, талантливой, но не чуждой идеи материально-бытового благополучия женщины, весьма точно передает внутреннюю установку художника пожертвовать собой ради искусства: «Она смотрела, как надевает он старое, с вытертым каракулевым воротником пальто, какие никто уже лет двадцать не носит <...> Она смотрела, как долго, тщательно застегивает он пальто, аккуратно продевая в расхлябанные петли разномастные пуговицы...» [4, с. 95–96]. Матвей, далекий от пафосности, не проговаривает (в отличие от Анны Борисовны), что «служит только искусству», однако именно эта установка является главной в организации его личности. Так, он понимает, что жена ушла от него потому, что «безденежья не вынесла» [4, с. 91], но никогда не согласится на «выгодную халтуру» [4, с. 89].

Этому образу созвучны размышления искусствоведа О. Кривунца: «Искусство и приговор – понятия из таких разных областей в русском сознании – совмещались. Тяжелый, скорбный облик русской жизни сформировал и особый взгляд на природу таланта художника, который уже понимался не как счастливый, но скорее как трагический дар» [2]. В поведении Матвея, как и во всем его облике, прослеживается готовность страдать во имя искусства, в отличие от Анны Борисовны, он не умеет наслаждаться ни жизнью, ни самим творчеством: «У художника оказались блестящие, желудево-коричневые молящие глаза. Он согрелся, поел и, по всей видимости, не прочь был прикорнуть где-нибудь в этом раю, хоть на стульях, хоть на полу» [4, с. 90]. Если Анна Борисовна с присущим ей артистизмом восполняла неудобства бытового существования за счет эксплуатации своего окружения, то Матвей всем своим видом «обрекает чужую жизнь на свое творческое истязание» [4, с. 90]. Он искренне восхищается чужими успехами в деле приспособляемости к жизни: его почти потрясает умение Нины мастерить нужные вещи из самых неподходящих материалов; он готов помогать художнику Веревкину «делать носы и головы», но не догадывается попросить хотя бы малой платы за свой труд. Бескорыстные художнические идеалы Матвея восхищают Анну Борисовну («Он – гений»), а его самого обрекают на отказ от комфортного существования. В романе есть характерный эпизод, когда Веревкин приводит в мастерскую Матвея потенциальных покупателей – богатых «русских греков». Изначально Матвей собирается переступить через «свою пресловутую духовность» [4, с. 103], но герой так и не смог заставить себя соответствовать художественным «запросам» шумных греков: «Нет <...> натюрморт он продавать не станет – не может допустить, чтобы его имя появилось впервые за границей под слабой в живописном отношении работой» [4, с. 107].

Герой ощущает свою родственность с сословием творцов, которые утверждали «бескорыстные идеалы» и верили в возможность нравственного воздействия на жизнь. Одобрение со стороны мещанской толпы служит для него лишь подтверждением поверхностности и банальности его творчества. Художественное переживание героя возведено в абсолютизм и не может

быть растворено в обыденности. Не случайно даже совсем сторонний человек, способный, правда, наблюдать и делать выводы, видел в Матвее отрешенность от внешней жизни, энергию сосредоточения на своем таланте, которую непосвященные могли принять за эгоизм: «Не было в нем взбаламученности, суетливости этой, когда каждым словом что-то кому-то доказывают. Похоже, он истово верил в свое предназначение и нес в себе талант с осторожным достоинством, оберегая его от разрушений, которые часто наносит жизнь» [4, с. 19].

Несмотря на то что отношение Матвея к искусству как к «служению», вызывает в его возлюбленной отрицание, продиктованное бытийными потребностями, она тем не менее высказывает общее для российского менталитета уважение к его позиции: «...успокоилась, попросила прощения и сказала, что Матвей кругом прав и она в конечном счете понимает, что он – Художник...» [4, с. 108–109].

Очевидно, что характер этого художника, сложившийся в условиях господства едва ли не канонических требований к искусству как подвигу во имя духовного идеала, воплотил в себе тот тип творца, которому свойственно понимать свой дар как трагический, обреченный на прижизненное непонимание. Фигуре Матвея недостает артистического блеска, жизнелюбия, столь свойственных Анне Борисовне, чей творческий путь начинался в условиях аристократически-артистического служения искусству.

В центре романа находится история противоречивых взаимоотношений Анны Борисовны и Пети – невестребованного театрального критика, который был при «старухе» кем-то вроде «приблудного пса», как он сам обозначает свою роль. Петя – герой сложный, окружающие, как и он сам, впрочем, не до конца понимают, что связывает его с Анной Борисовной. Для Нины, например, это настоящая загадка. Не случайно в своих разговорах с Матвеем она постоянно возвращается к вопросу: «А какую, собственно, роль играет при старухе этот неюный мальчик?» [4, с. 109]. Петина рефлексирующая натура ищет ответа на этот и множество других вопросов, суть которых сводится к одному: понять свое предназначение. Глядя на себя как бы со стороны, он так оценивает свое жизненное кредо: «Ну да, сумасшедший Петька, пугало Петька, ничтожество Петька. Добавьте еще – нахлебник Петька, бессовестный тунеядец, сидящий на шее у старухи» [4, с. 16]. Рассуждая о своей жизни, герой приходит к выводу, что корень его жизненной и творческой неустроенности заключается в том, что он «маленький человек с ба-а-льшими претензиями» [4, с. 16].

В отличие от других обитателей Верхней Масловки, Петя упорно сражается с бытом: его беспокоит, во что он одет («Его вельветовые брюки имели все еще очень приличный вид. За брюки он был спокоен» [4, с. 5]); на что они со «старухой» будут жить («Вот уже два месяца нет Петиной скромной зарплаты, а на нее, бывало, кормились, когда старухина пенсия исчезала» [4, с. 15]). Петя, пожалуй, единственный жилец общежития художников, который стремится к порядку в быту: «...она с насмешливым презрением наблюдала со своего скрипучего ложа, как Петя дотошно выметает мусор из углов, заваленных холстами и подрамниками, как ему не лень переставлять с места на место скульптуры и вытирать с них пыль» [4, с. 63].

Главная причина раздвоенности героя заключается в невозможности реализовать свой талант, хорошие способности к творчеству. Упрекая «старуху» в непригодности к быту, сам Петя не умеет выстроить нужных отношений с нужными людьми: «Неужели все-таки придется вступить в эту унижительную, смехотворную игру: красиво сунуть секретарше коробку конфет, появляться, крутиться, мелькать, внедряться в “круги”, держа при этом в голове, кто в какую группировку входит...» [4, с. 7]. Ему, как и Матвею, претит подстраиваться под убогие представления о творчестве людей, от которых зависит судьба таланта. И в этом смысле Верхняя Масловка – его творческая родина, сформировавшая в герое стойкое неприятие приспособленчества. Он не сумел воплотить в жизнь заветы «битого жизнью» Мастера. Рецепты редакторов солидных журналов оказались несовместимыми с представлениями героя о сути творчества. «Наивная страсть и желание переделать жизнь вокруг себя» [4, с. 214] не дают Пете возможности выработать счастливой для многих способности избавляться «от чувства вины за покаленную, недосказанную мысль, за правду, которая в урезанном объеме почему-то перестает быть правдой» [4, с. 214]. В самые трагические и безыс-

ходные моменты своей жизни герой неизбежно вспоминает слова библиотекаря из своего детства: «Надо быть честным мальчиком, Петечка» [4, с. 215]. «Родимое пятно» честности заставляет героя признать, что он не готов раскрыть в себе талант не только в силу внешних причин, но и потому, что не верит в себя. Свое сегодняшнее место на Верхней Масловке он понимает как служение истинному таланту.

Жертвенность героя, его готовность отречься от себя направлены не на «могучую старуху» как таковую, а на ее творческий и жизненный талант. Он ненавидит фанатерию Анны Борисовны, но восхищается ее жизненной силой, породившей огромную творческую энергию. Герои почти помимо своей воли притягиваются друг к другу. Сила этого притяжения непонятна непосвященным в магию особого жизнотворческого союза таланта и его добровольной жертвы. Вот как рассуждает о странном союзе Нина: «Два достойных друг друга комедианта, думала она раздраженно. Страсти-мордасти. Оба жить не могут без ежедневных воплей и убийств. Привыкли. Климат такой, среда обитания... Однако как верно подобрала судьба этих людей, как притерла друг к другу, пригнала, словно столяр. Парочка на загляденье, даром что родились в разных столетиях» [4, с. 135].

Тип таланта, отдавшего себя в жертву таланту более значительному, – вот, пожалуй, объективная оценка сути образа Пети. Лишь после смерти «старухи» герой принимает решение открыть самого себя: «Пятнадцать лет назад я счастлив был выметать мусор из этой мастерской, лишь бы жить подле нее, слушать ее. Я был околдован. <...> Старая ведьма завлекла мальчика, опоила, околдовала, пятнадцать лет держала в услужении и ничего, ничего не дала взамен» [4, с. 260]. Однако в финале романа мы видим, что душевные силы героя растрачены, ибо идея жертвенности притупила в нем желание жить ради самого себя.

Тип художника нового времени, открытого для инокультурного влияния, способного существовать в различных коммуникационных пространствах, впервые заявляет о себе в романе Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы». Сюжетно-композиционная организация романа основана на истории жизни, со- и противопоставлении двух героинь, каждая из которых является самостоятельным типом творца. Однако героиня-писательница, выстраивающая повествование, не идентифицирует себя как талантливую личность в контексте сопоставления с героиней-художницей: на протяжении всей жизни над ней довлеет ощущение превосходства таланта над профессиональной состоятельностью.

Выстраивая картину общих жизненно-эмоциональных переживаний и впечатлений, связанных с ташкентским детством и юностью, она понимает, что истинный талант формируется не благодаря, а вопреки условиям жизни. Семейная, бытовая неустроенность воспринимается Верой как данность, которой необходимо противопоставить нечто высшее. Не случайно в финальной сцене романа Вера, отвечая на вопрос матери о том, «почему к ней зло не прилипало, почему она стала... другой», говорит: «Я ведь художник, мама...» [5, с. 586]. В свою очередь, героиня, ставшая писательницей, воспринимает относительно благополучное бытовое и материальное существование своей семьи как фактор жизненной «сытости», который закрывал для неё возможность видеть и понимать те стороны жизни, которые были очевидны для Веры. Она не смогла выработать в себе тот «отстранённый взгляд на мир», который делает личность талантливой: «... словно её картины были написаны пришельцем с другой планеты, поражённым и даже уязвлённым всем, на что падал его инаковидящий взгляд» [5, с. 507].

В романе Д. Рубиной «Синдром Петрушки» представлен образ кукловода и мастера-кукольника, по имени Пётр. С именем героя связано название романа. Сам герой позиционирует себя как Петрушку: «Синдром... Петрушки», ты сказал?... – и вдруг рассмеялся: – Так это мне и подходит. Я ж и сам – Петрушка!». Герой наделён талантом создания и одухотворения кукол. Страсть к кукловодчеству, игре начинает руководить героем уже в раннем возрасте, когда он совершает непонятные для окружающих поступки «Главным анекдотом его детства была кража маленькой Лизы, неосторожно оставленной возле магазина без присмотра – “на хвильчку!” – ее нянькой-русиной. Петька, восьмилетний пацан, утащил младенца прямо из коляски только из-за того, что своими томными глазницами и пунцовыми, как ягода-калина, кудряшками эта лялька была ужасно похожа на ожившую куклу!» [8, с. 19]

Любой жизненный выбор в судьбе героя подчиняется не логике, а идее служения долгу художника перед собственным талантом, высшим предназначением. Этим продиктованы все поступки Петра: выбор страны для жизни («Потому что Прага – самый грандиозный в мире кукольный театр. Здесь по три привидения на каждый дом. Один только серебряный нос Тихо Браге чего стоит...»), выбор жены.

Восхищаясь гением своего друга, повествователь обнаруживает в себе не только восхищение Даром художника, создающего «совсем живых кукол», но и отрицание разрушительной силы этого таланта для самого героя и его жены. Будучи врачом, он понимает, что Пётр живёт в двух измерениях: собственно творческом и обыденном. Причём в определённые моменты жизни её бытовая сторона вообще игнорируется героем, и он не замечает не только бытовых неудобств, но и переживаний близких ему людей. Создаётся впечатление, что куклы вытеснили из жизни Петра реальных людей.

Кульминационным моментом развития сюжета романа становится акт замещения человека куклой, когда вместо заболевшей жены герой использует в их совместном артистическом номере куклу, которую называет Эллис. Кажется, что это движение продиктовано практической необходимостью, однако окружающие понимают, что это действие человека, для которого куклы всегда были наивысшей жизненной ценностью. Эллис не только повторяет имя героини (Лиза), но копирует её внешность, манеру двигаться. Появление этой куклы заставляет реальную женщину ревновать и страдать от ощущения собственной малости: «Боря, тебе тоже нравится это чудесное раздвоение? Я замялся и горячо стал восхвалять мастерство, с которым кукла сделана. – Но ведь я – лучше, правда? – перебила она, чуть ли не умоляюще. – Я ведь живая. Что он в ней нашел?» [8, с. 139].

Отношение героев к кукле как к живому существу («Тут речь об искусстве, об оживлении неживого...») рождает уникальный любовный треугольник с характерным для этой конфликтной ситуации трагическим разрешением, когда героиня «убивает» куклу-соперницу: «этой картины не забуду. В похоронно поскрипывающей тишине мерно покачивался в кресле кошмарный Тяни-Толкай о двух головах, одна из которых, как и положено, сидела на плечах, а вторая, раскинув багряные власы, лежала у Лизы на коленях, безмятежно глядя на нас с тихой улыбкой. А расколотое, искореженное, распотрошённое тело уникальной куклы валялось на полу вместе с молотком, пилой, и еще какими-то Петькиными инструментами» [8, с. 439].

Так в романе продолжается заявленная ранее проблема биполярности творческой личности, способной в равной степени созидать и разрушать, т. е. макроконцепт «творчество» выстраивается в таких концептополях, смысловое значение которых репрезентует идею противоречивости личности художника, его отношения к людям и действительности.

Литература

1. Крамской, И.Н. Письма, статьи [Текст] / И.Н. Крамской. Сочинения : в 2 т. – М. : Искусство, 2006. – Т. 1. – 356 с.
2. Официальный сайт О.А. Кривцуна [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : [www http://o-krivtsun.narod.ru/ariele](http://o-krivtsun.narod.ru/ariele). – 1.htm. – Дата доступа : 1.04. 2014.
3. Официальный сайт Д.И. Рубиной. Раздел «Интервью» [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : [www http:// dinarubina.com./](http://dinarubina.com/). – Дата доступа : 1.04.2014.
4. Рубина, Д.И. На Верхней Масловке [Текст] / Д.И. Рубина. – М. : Эксмо, 2007. – 321 с.
5. Рубина, Д.И. На солнечной стороне улицы [Текст] / Д.И. Рубина. – М. : Эксмо, 2011. – 586 с.
6. Рубина, Д.И. Почерк Леонардо [Текст] / Д.И. Рубина. – М. : Эксмо, 2010. – 464 с.
7. Рубина, Д.И. Синдром Петрушки [Текст] / Д.И. Рубина. – М. : Эксмо, 2012. – 544 с.
8. Цветаева, М.И. Сочинения : в 2 т. [Текст] / М.И. Цветаева. – Минск : Классика, 1988. – Т. 2. – 366 с.

УДК 811.133.1'373.612'27:159.942.5

О механизме эмотивно-прагматического кода языка

А.А. КИРЮШКИНА

Изучаются окказиональные эмотивы, представленные номинациями ощущений. В связи с этим в центре внимания оказываются проблемы субъективной номинации как результата смещения или потери семантической референции. Эмотивный компонент анализируется с позиции речетворческой деятельности говорящего, поскольку последний – со специфическим видением мира и разнообразными эмоционально-оценочными проявлениями в нем – способен преобразовывать языковую систему в соответствии со своими коммуникативными целями и потребностями, реализуя прагматическую сущность языка.

Ключевые слова: эмоции, референция, вербализация, прагматический код языка.

The study of occasional emotives presented through the nominations of feelings is given. The speech behaviour of the speaker and his emotional-evaluative attitude to the real state of affairs as the subjective perception of the latter proper, and the emotive-evaluative component of the utterance as a result of the speech production of the speaker and his intention – the manifestation of the emotional state, attitude are examined. That is why the problems of subjective nomination as a result of a shift or a loss of semantic reference appear to be in the centre of attention.

Keywords: feelings, reference, subjective nomination, pragmatic language code.

Язык является не только средством познания окружающего мира: материализуя мысль и обслуживая сферы эмоциональной, мыслительной и коммуникативной деятельности, он непосредственно связан с формированием новых мыслей, выражением различных оценок и эмоций говорящего субъекта.

Человек, эмоции, язык – понятия разные, но взаимообусловленные. Поэтому не случайно в центре внимания лингвистической науки в последние годы оказались те свойства языка, которые актуализируются в речи говорящего как активного действующего лица со своими эмоциями, настроением и индивидуальной установкой. Уже не оспаривается тот факт, что «эмоции являются мотивационной основой сознания и языкового поведения» [1, с. 3], так как люди в своем общении друг с другом не могут обойтись без эмоций. Будучи неотъемлемой частью речевой деятельности и человека в целом, эмоции являются в то же время и одной из важнейших характеристик последнего, ибо через языковое выражение эмоций познается и сам человек как языковая личность.

С антропоцентрической точки зрения человек, использующий систему языка, сводится к понятию «говорящий субъект»: акцентируется его роль «как главного действующего лица мира, о котором он говорит». Именно активное проявление человеческого фактора порождает «противоречие между «конечностью языка» (системы) и бесконечностью речевых актов и эмоций его носителя» [2, с. 34].

Эмоции как субъективные переживания относятся к наиболее очевидным проявлениям внутренней жизни человека, что остается предметом дискуссий в психологии. Следует отметить наличие разногласий в определении эмоций. Причины последних заключаются в различии концептуальных подходов авторов к данной проблеме. Отправным пунктом становятся вопросы о том, каков круг тех психических процессов, которые можно причислить к эмоциям; каковы условия и причины их возникновения; какие функции им свойственны и т. д. При анализе механизмов языкового выражения эмоций наиболее логичной является следующая точка зрения: человек «переживает то, что с ним происходит или совершается». Именно переживание отношения человека к окружающему составляет сферу чувств или эмоций. Другими словами: «чувство человека – это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и делает, в форме непосредственного переживания» [3, с. 160]. В данном определении существенны два момента:

1) указание на релятивный характер эмоций (эмоция – это всегда отношение субъекта к кому-либо, чему-либо);

2) акцентирование непосредственности эмоционального переживания.

На наш взгляд, эти две константы составляют сущность «типичной» эмоции, получающей номинацию в естественном языке.

Исследованию эмоций и их отображения в языке посвящено большое количество трудов: работы В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, Анны А. Зализняк, Л.Н. Иорданской, И.Б. Левониной, В.И. Шаховского и др.

Лингвисты, как и психологи, не обходят вниманием определения эмоционального состояния человека: эмоции, относясь к сфере психической жизни человека, представляют собой «переживание человеком отношения к тому, что он познает» (Д.С. Писарев), эмоция – «реакция на те раздражения, которые человек получает от окружающей среды чувством, переживаемым им душевным волнением» (Е.М. Галкина-Федорук); эмоции – «субъективные реакции человека, его переживания, возникающие под влиянием внешних факторов» (В.Г. Гак). По мнению В.И. Шаховского, эмоции отражают «не объективные качества предметов мира, а их значение для деятельности говорящего, и что еще уже – их значение для говорящего в данный момент». Ч. Стивенсон понимает термин эмоция как обозначение аффективного состояния, «особое психофизическое свойство, для которого характерны стимулы и реакции так или иначе ориентированные». Можно сказать, что эмоции – это аффективное состояние, переживание отношения как реакция на реальную действительность.

К этому необходимо добавить, что продуктом «развития эмоций человека» и обобщением «конкретных ситуативных эмоций» становятся чувства, которые «выражают отношение человека к общественным явлениям, другим людям, самому себе» [3, с. 169]. Однако, если эмоции это непосредственные переживания в момент речи, то «чувства представляют собой постоянное, устоявшееся эмоциональное отношение» [4, с. 77]. Отметим тот факт, что так же, как эмоциям, чувствам свойственна исключительная субъективность: «человеческим чувствам нельзя найти никаких аналогов в объективной действительности, ... они имеются в мире постольку, поскольку есть чувствующий индивид» [4, с. 26].

Таким образом, эмоции проявляются как экспликация внутреннего состояния человека, переживаемых им чувств. Вместе с тем, поскольку «мыслительная деятельность не может быть полностью свободной от чувств и эмоций» [5, с. 109], эмоции тесно связаны с мышлением. Человек не существует в отрыве от когнитивных процессов – он постоянно «мыслит» окружающий мир в своем сознании: «*tous les phénomènes mentaux conscients ou inconscients, visuels ou auditifs – douleurs, excitations, démangeaisons, pensées, bref, toute notre vie mentale – sont causés par des processus qui se produisent à l'intérieur du cerveau*» [6, p. 22].

По утверждению психологов, философов и психолингвистов эмоции неотделимы от когнитивной деятельности человека, в силу того, что «любая реальность познается во взаимосвязи логических форм мышления и эмоциональных переживаний человека» [7, с. 19–20]. Т. е. эмоции не сводимы к голой эмоциональности: «Эмоциональность, или аффективность – это всегда лишь одна, специфическая, сторона процессов, которые в действительности являются вместе с тем познавательными процессами, отражающими – пусть специфическим образом – действительность» [3, с. 552].

Сопоставляя когницию и эмоции, Фр. Данеш отмечает, что «когниция вызывает эмоции, так как она эмоциогенна, а эмоции влияют на когницию, так как они вмешиваются во все уровни когнитивных процессов», что при всем их различии они являются двумя главными параметрами способности человеческого ума, опыта с личностными и социальными аспектами. Они тесно взаимосвязаны в структуре личности: когнитивные процессы сопровождаются эмоциями, эмоции когнитивно осмысливаются [8, с. 280].

Иными словами, эмоции представляют собой «единство эмоционального и интеллектуального, так же как познавательные процессы обычно образуют единство интеллектуального и эмоционального» [3, с. 552]. И одни и другие являются, в конечном счете, необходимыми составляющими компонентами конкретной жизни индивида, в которой все стороны психики

задействованы в единстве и взаимопроникновении. На важность когнитивной основы эмоций указывает и Н.Д. Арутюнова: «эмоции базируются на знаниях и предположениях; когнитивный момент в них первичен относительно эмотивного» [7, с. 112]. Вместе с тем, эмоции имеют «двунаправленный характер: они могут не только возникать под воздействием определенных мыслей, но и способны оказывать воздействие на наше мышление» [9, с. 63].

В любом мыслительном процессе, независимо от пропорций, преобладает одна из двух его основ: объективность (рациональность) или субъективность (эмоциональность). Отсюда вывод о двойственной референтной отнесенности знаков с эмотивным значением. Эта двойственность проявляется в том, что эмоционально окрашенная речь одновременно репрезентирует обе стороны когнитивной деятельности человека: логическое мышление (рациональное) и эмоции, которые при их языковом воплощении требуют особого плана выражения. Иными словами, логический и эмоциональный аспекты речи говорящего не являются изолированными друг от друга, поскольку эмоции не исключают мысль.

Однако в отличие от ментальных состояний, которые достаточно легко вербализуются самим субъектом, слову, обозначающему эмоцию, почти невозможно дать прямое лексикографическое толкование: эмоции очень непросто перевести в слова. Эта онтологическая трудность порождает трудность лингвистическую: говорящему субъекту нередко крайне затруднительно «рассказать» о своих чувствах, выразить переживания в речи. В.Г. Гак приводит высказывание Дидро о том, что «слов почти никогда не хватает для того, чтобы точно передать то, что чувствуешь» [10, с. 89]. Используемые слова оказываются недостаточно яркими или неверно отражающими переживаемые эмоциональные состояния и их оттенки.

Как правило, в тех случаях, когда прямое объяснение какого-либо явления по той или иной причине невозможно, говорящий обращается к знаниям, которые по его предположению, уже имеются в опыте адресата. Наиболее употребительными, а может быть, и единственно возможными становятся такие приемы объяснения: говорящий указывает адресату на уже известную ситуацию, в которой данное явление обычно возникает или «он сравнивает это явление с похожим на него другим явлением, знакомым адресату» [11, с. 28].

Поскольку язык – это «специфически» организованная система с «двукратным, двойным означиванием ее единиц» [2, с. 18], то основное онтологическое свойство лингвистического знака раскрывается в двуплановом модусе его существования – в языке как системе виртуальных знаков и в речи как реальном функционировании этой системы.

Для передачи эмоционального состояния и отношения в системе языка существует особый пласт эмотивной лексики: ее использование является нормой. Постоянное и активное использование системы языка в различных речевых ситуациях неизбежно переносит центр тяжести на речетворчество говорящего субъекта, его коммуникативную установку. Нередко потребность говорящего высказать свои чувства в конкретном общении наталкивается на отсутствие лингвистических возможностей лексико-семантической системы. В этом случае семантическая детерминированность организации лексики языка, становится «препятствием» для речевого выражения. Данный факт раскрывается в том, что лексические единицы, непосредственно обозначающие чувства и эмоции, с субъективной точки зрения говорящего часто оказываются семантически и экспрессивно «недостаточными» для того, чтобы в момент речи передать «накал» его эмоционального состояния.

Стремление говорящего «победить язык» проявляется в том, что «интеллектуальность» как порядок языка подчиняется эмоциональности речевой ситуации» [12, с. 5]. Вместе с тем, говорящий субъект не изобретает новые слова, а использует фонетический облик уже существующих единиц в функции имени нового означаемого. Первичный языковой материал используется таким образом, чтобы он соответствовал принципу «прагматической достаточности» [5]. Создаваемая говорящим эмотивная семантика должна отвечать его эмоциональным потребностям.

На первый план выдвигается эмотивная функция высказывания, тогда как референтивная отодвигается на второй план. Цель субъекта – высказать свое отношение к третьему (отсутствующему) лицу или к реалиям, существующим в мире.

В процессе общения эмоции проявляются как экспликация переживаемых говорящим чувств и ощущений.

Например, сравним ощущение холода самим говорящим:

... ma lampe d'étude et toute la ferveur de ma foi écartait mal, hélas, la nuit et le froid de mon cœur [13, с. 85];

ощущение резкости тона третьего лица:

Il sentit, à l'âpreté simple du ton de Vinca, que son propre accent venait de manquer tout ensemble de naturel et de contrition [14, с. 78].

С одной стороны, любое ощущение всегда окрашено «в определенный, чаще всего специфический тон» [15, с. 210] (здесь – *froid, âpreté*), а с другой, «С особенностями переживаемых нами эмоциональных состояний связаны, вероятно, не столько сопровождающие их органические изменения, сколько возникающие при этом ощущения» [16, с. 439]. Иными словами, как эмоции сопровождаются определенными ощущениями, так и ощущения имеют определенную эмоциональную окраску. Испытывая потребность выразить отношение к сообщаемой информации, показать подлинность или имитацию эмоций, говорящий употребляет лексические единицы, которые в языке называют такие ощущения.

Говорящий – со специфическим видением мира и своими эмоционально-оценочными проявлениями в нем – способен преобразовывать языковую систему в соответствии с коммуникативными целями и потребностями. Иными словами, способен реализовать прагматическую сущность языка.

В целях достижения наиболее эффективного выражения субъективного «Я», говорящий использует не лексику чувств в ее прямом значении, а те лексемы, которые в момент речи и переживаний ему представляются наиболее эффективными для демонстрации собственной нормы («индивидуального стандарта») оценок. К таким лексемам относятся анализируемые нами номинации ощущений в переносном значении, но закреплённом словарем. Например:

Il ... remontait la rue de Londres quand il vit trotter devant lui une petite femme qui avait la tournure de Mme de Marelle. Il sentit une chaleur lui monter au visage, et son cœur se mit à battre [17, с. 197].

Иногда говорящий сам создает переносное значение:

Il acquiesça de la tête, referma la fenêtre et les vitres tendues de tulle le refoulèrent vers l'abîme nocturne où le remous d'un souvenir s'étirait, noir, onctueux, prélassé [14, с. 78].

Переносное значение является языковым манифестантом психологического состояния говорящего, отражая намерение последнего передать не сообщение, как таковое, а выразить свое эмоциональное состояние, отношение, желание оказать воздействие на собеседника, что переводит высказывание в нереферентную область – область эмоционального отношения говорящего.

Эмоциональное состояние субъекта приводит в действие две взаимосвязанные потребности – высказать эмоциональность своего «Я» в момент речи, и выразить ее нестандартно: вместо *il sentit une émotion* – *il sentit une chaleur lui monter au visage*.

Выбор лексем с переносным значением зависит от говорящего субъекта – от его сугубо индивидуального восприятия окружающей действительности, эмоциональных состояний, ассоциативного мышления, языковых данных и т. д.

«Нестандартное» использование языковых единиц связано с реализацией коммуникативной установки говорящего. Окаzionaliальные эмотивы как речевая номинация состояния субъекта формируют эмотивно-оценочный компонент высказывания, который приводит к смещению событийной референции последнего в непредметную область – сферу чувств и эмоций.

Предпосылкой создания окаzionaliальных эмотивов является тот факт, что говорящий субъект, находясь в эмоциональном возбуждении, в момент речи ассоциативно избирает те лексемы, которые позволят ему наиболее эффективно высказать свое эмоциональное состояние. Раскрывая, таким образом, свое психологическое состояние и воздействуя на собеседника, говорящий субъект использует в речи прагматический (эмотивный) код языка.

Литература

1. Шаховский, В.И. Лингвистика эмоций / В.И. Шаховский // Филологические науки. – 2007. – № 5. – С. 3–13.
2. Уфимцева, А.А. Семантика слова / А.А. Уфимцева // Аспекты семантических исследований / Н.Д. Арутюнова [и др.] ; под ред. Н.Д. Арутюновой и А.А. Уфимцевой. – М. : Наука, 1980. – С. 5–80.

3. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2003. – 713 с.
4. Бороздина, Г.В. Основы психологии и педагогики : учеб. пособие / Г.В. Бороздина. – Мн. : БГЭУ, 2004. – 384 с.
5. Степанова, А.Н. Очерки-размышления и цитации о прагматическом синтаксисе французского языка: имя и его детерминативы. / А.Н. Степанова. – Мн. : МГЛУ, 2000. – 279 с.
6. Searle, J. Les phénomènes mentaux / J. Searle // *Du cerveau au savoir : Conférence*. – Reims, 1985. – P. 19–25.
7. Арутюнова, Н.Д. Типы языковых значений : Оценка. Событие. Факт. / Н.Д. Арутюнова ; под ред. Г.В. Степанова. – М. : Наука, 1988. – 341 с.
8. Danes Fr. Cognition and Emotion in the Discourse Interaction: A Preliminary Survey of the Field // *Preprints of the Plenary Session Papers. – XIV International Congress of Linguists Organized under Auspices of CIPL, Berlin 10–15 August, 1987. – Berlin, 1997. – P. 272–291.*
9. Процко, М.А. Эмоции говорящего и эмотивный компонент высказывания / М.А. Процко // *Прагматический и социокультурный аспекты единиц французского языка : сб. научн. ст. / МГЛУ ; под ред. А.Н. Степановой. – Минск, 2004. – С. 60–65.*
10. Гак, В.Г. Эмоции и оценка в структуре высказывания и текста / В.Г. Гак // *Вестник Московского университета. Сер. 9, Филология. – 1997. – № 3. – С. 80–93.*
11. Апресян, В.Ю. Метафора в семантическом представлении эмоции / В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян // *Вопросы языкознания. – 1993. – № 3. – С. 27–35.*
12. Богушевич, Д.Г. Принцип прагматической достаточности и структурные характеристики языка / Д.Г. Богушевич // *Материалы юбилейной научн. конф., Минск, 21–22 мая 1998 г. : в 3 ч. / МГЛУ. – Минск, 1998. – Ч. 2. – С. 5–7.*
13. Gide, A. La porte étroite / A. Gide. – P. : Hachette, 1959. – 177 p.
14. Colette. Le blé en herbe / Colette. – P. : Flammarion, 1989. – 188 p.
15. Мягков, И.Ф. Медицинская психология : учебник для вузов / И.Ф. Мягков, С.Н. Боков, С.И. Чаева ; под ред. И.Ф. Мягкова. – М. : Логос, 2003. – 320 с.
16. Немов, Р.С. Общие основы психологии. / Р.С. Немов. – М. : Владос, 2003. – 687 с.
17. Maupassant, G. Bel ami / G. Maupassant. – P. : Hachette, 1993. – 347 с.

УДК [821.161.1+821.161.3]–31.09

«Пастух и пастушка» В. Астафьева, «Альпийская балада» В. Быкова: специфика художественной системы

Е.В. КРИКЛИВЕЦ

Раскрываются особенности художественной системы повестей В. Астафьева «Пастух и пастушка» и В. Быкова «Альпийская балада». Синтез с сентиментализмом и романтизмом помогает писателям преодолеть каноны нормативной эстетики, заострить гуманистическую проблематику произведений, раскрыть сущность экзистенциальной трагедии человека на войне.

Ключевые слова: повесть, художественная система, нормативная эстетика, сентиментализм, романтизм.

The features of the art system stories of V. Astafiev «Shepherd and Shepherdess» and V. Bykov «Alpine Ballad» are described. Synthesis with sentimentalism and romanticism helps writers overcome canons of normative aesthetics underline humanistic problems of their works, reveal the essence of existential tragedy of man in war.

Keywords: story, art system, normative aesthetics, sentimentalism, romanticism.

Писатели-фронтовики В. Астафьев и В. Быков вошли в литературу во второй половине 1950-х гг. со своим видением военных событий. Предметом художественного исследования в их произведениях становится внутренний мир героя, движения его души, обусловленные реалиями военного времени. Подобный объект изображения требовал от писателей преодоления схематизма, выхода за рамки соцреалистического метода, расширения нравственно-этической проблематики. Цель работы – определить специфику художественной системы повестей В. Астафьева «Пастух и пастушка» и В. Быкова «Альпийская балада».

Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий отличительной чертой художественной системы В. Астафьева называют «диалогическую оппозицию жестокого натурализма и открытой сентиментальности» [1, с. 133]. Отметим, что в повести «Пастух и пастушка», рассказывающей о любви на войне, эстетических признаков сентиментализма и романтизма, пожалуй, больше, чем в других произведениях писателя. «Современная пастораль» – так В. Астафьев определяет жанровое своеобразие повести, апеллируя к формальным и тематическим признакам жанра, получившего распространение у сентименталистов и их предшественников. Жанровая специфика повести В. Быкова подчеркнута в названии. Повествование о романтическом чувстве, объединившем двух молодых людей в тяжелые дни войны, белорусский писатель облекает в форму баллады – излюбленного жанра западноевропейских романтиков. Примечательно, что в XVII–XVIII вв. и пастораль, и баллада композиционно и содержательно находились в оппозиции к тематике и формам классицизма, вызывая со стороны его представителей резкий отпор (что особенно отчетливо проявилось в западноевропейской литературе). Можно предположить, что специфика избранных жанровых форм помогает писателям выйти за границы нормативной эстетики и в литературе второй половины XX в.

К работе над повестью «Пастух и пастушка» В. Астафьев обращался на протяжении всего творческого пути (последняя редакция относится к 1994 г.). Следовательно, мировоззренческая эволюция писателя в полной мере нашла отражение в произведении. П.А. Гончаров прослеживает путь нравственных исканий В. Астафьева от богоборческих мотивов к пантеизму и деизму [2]. На наш взгляд, комплекс идей, поэтапно воплощенный в прозе В. Астафьева, перекликается с идеями русского религиозно-философского космизма (в частности, с тем относительно самостоятельным течением в русском космизме, которое связано с философией всеединства В.С. Соловьева [3]). Ее характерная особенность – идея внутреннего единства человека, природы как основных элементов гармоничного космоса и божественного начала, порождающего и поддерживающего этот органический строй бытия. Однако технический прогресс, приводящий общество к самоистреблению, нарушает это

единство. Не случайно даже в произведении на военную тематику наблюдается противопоставление «естественной жизни» и технократической цивилизации с ее войнами и социальными катастрофами. Жанр пасторали, ставящий в оппозицию беспечный быт пастухов на лоне природы и жизнь горожан, наполненную нуждой, горем и всяческими бедствиями, как нельзя лучше раскрывает данную проблематику.

Безусловно, пастораль в творческой практике В. Астафьева получает свое (соответствующее теме и времени создания произведения) осмысление. Название «Пастух и пастушка» в самой повести интерпретируется не однажды, всякий раз приобретая новую семантику. Впервые словосочетание «пастух и пастушка», отсылающее к пасторали, возникает в повести при описании стариков, пасших до войны колхозный табун и убитых во время артобстрела. Отметим, что сентиментальный план повествования постоянно сталкивается с суровой действительностью войны. В сцене похорон старика и старушки высокая патетика прерывается упоминанием о том, что «могила весной просядет – земля-то мерзлая, со снегом» [4, с. 395].

Неуместными, «из другой жизни» кажутся воспоминания Бориса Костяева о довоенном детстве, о московском театре, где «танцевали двое – он и она, пастух и пастушка» [4, с. 451]. Попытка примирить пастораль с действительностью рождает горькую иронию: «И не было возле скотины пастухов, а все пастушки школьного и престарелого возраста» [4, с. 476]. Противопоставление идеализма и жестокой реальности в повести В. Астафьева выявляется и на композиционном уровне. Названия глав повести «Свидание», «Прощание», «Успение» носят подчеркнуто невоенный характер. Эта иллюзия поддерживается эпиграфами из лирических произведений. Однако первая глава «Бой» и эпиграф к ней, представляющий собой опровержение пушкинской строки, настраивает не на лирическое, а на трагическое звучание повести.

В литературоведении XX в. балладу часто характеризуют как «фабулярное стихотворение» [5]. Отметим, что для понимания идейно-художественной концепции повести В. Быкова «Альпийская балада» важно учитывать и тематические признаки жанра. Так, жанр баллады в английской и шотландской литературах XV в. отличался преобладанием трагических сюжетов, связанных с несчастной любовью. В балладе фиксировались только высшие моменты развития действия, осуществлялась предельная драматизация повествования. По всей вероятности, перечисленные особенности баллады обусловили возрождение жанра в литературе середины и второй половины XX в. путем обновления его тематики. В поэзии военных лет к этому жанру часто апеллирует А. Твардовский. Тематическая специфика баллады находит воплощение и в анализируемой повести В. Быкова. В произведении опущены или упомянуты вскользь логические звенья судьбы героев (их довоенные и первые военные годы, их формирование в разных социальных и культурных условиях). Можно сказать, что читатель становится свидетелем кульминации событий – трех дней побега, объединивших Ивана и Джулию не только общей целью, общей опасностью, но и взаимным чувством. Трагизм романтических взаимоотношений мужчины и женщины предопределен историческими событиями, на фоне которых зарождается и крепнет любовь героев. Действие (что свойственно литературе романтизма) разворачивается в австрийских Альпах. Антураж трудно назвать типичным для советской военной прозы.

Роль пейзажа в «Пастухе и пастушке» В. Астафьева и «Альпийской баладзе» В. Быкова невозможно переоценить. Природа так же, как в предромантической и романтической литературе, становится самостоятельным объектом изображения. Уже в прологе повести «Пастух и пастушка» гармония природы явлена как непреложный закон жизни, основа духовного возрождения, мудрость, которую человеку еще только предстоит познать: «Рядом с ее лицом качалась, шелестела сухая, немощная травинка. Все бури мира, все буйство земли вобрала она в себя, утишила их собою, боязно храня в бледной луковке корешка, стиснутого землею, надежды на пробуждение свое и наше» [4, с. 372]. Пастораль в творческой интерпретации В. Астафьева сохраняет один из главных сентименталистских конфликтов: столкновение естественной человеческой жизни и цивилизации. Мать-природа должна давать жизнь. Человек ничтожен перед этой глобальной задачей: «Она на сносях, готовится рожать и, как всякая роженица, вслушивается только в себя, в жизнь, шевелящуюся в недре, и до него, выдохшегося человечихи, нет ей никакого дела

— она вечна, а он мимолетный гость на ней» [4, с. 492]. Попытка Бориса подорвать немецкий танк приобретает в повести В. Астафьева масштабы поединка человека и машины, человека и технократической цивилизации, которая теперь готовится уничтожить своего создателя: «...за этим и до этого ничего не было — ни жизни, ни смерти, ни боя, ни мира, ни людей, остались только он и машина, и миг для схватки с нею» [4, с. 379]. Этот поединок завершится гибелью обоих. В финале повести вновь появляются образы морально опустошенного человека и машины, которые движутся к общей остановке [4, с. 498–499].

В «Альпійській баладзі» В. Быкова столкновение природы и цивилизации не имеет подобной остроты. Антигуманность войны становится очевидной, благодаря подчеркнuto лирическим, не имеющим ничего общего с военными действиями альпийским пейзажам. Красота природы, так соответствующая зарождению самого светлого человеческого чувства, очевидно контрастирует с жестокой правдой войны. Романтический герой был бы вполне органичен на фоне экзотических пейзажей, а героям В. Быкова постоянно приходится «вырывать» себя из очарования природы, так как правда жизни постоянно напоминает о себе: «Нешта святочнае, замілавана-сардэчнае лунала над гэтымі гарамі і лугам, не верылася нават у небяспеку, у палон і магчымую пагоню... Але іх размаляваная палосамі і кругамі вопратка штохвілінна напамінала аб тым, што было і ад чаго яны канчаткова яшчэ не адкараскаліся» [6, с. 272–273].

Оба писателя сходятся в мысли о том, что война духовно опустошает человека, ведет его по пути нравственной деградации, ожесточает. Ярким примером растления человека на войне в повести В. Астафьева «Пастух и пастушка» является образ старшины Мохнакова. Герой, имеющий семью, двоих детей, смелый и удачливый воин, постепенно теряет человеческий облик: пытается надругаться над хозяйкой дома, в котором расположился взвод, мародерствует, обирая убитых. Подчеркнем, что мотив деградации личности на войне в поздних редакциях повести усиливается: в изначальном варианте отсутствует эпизод, где Мохнаков демонстрирует Костяеву кисет, набитый золотыми коронками. Трагедия героя заключается в том, что он сам осознает происходящие с ним перемены, ощущает внутреннюю пустоту и ожесточение: «Я весь истратился на войну. Весь! Сердце истратил... Не жаль мне никого» [4, с. 438]. Гибель старшины Мохнакова, бросившегося с гранатой под танк, в таком ракурсе представляется не подвигом, а сознательным актом самоубийства — ухода из мира, превращающего его в чудовище. Показательна в этом плане и смерть главного героя повести, Бориса Костяева. Уход героя из жизни объясняется не ранением, а отсутствием желания жить. С точки зрения Н.В. Ковтун, фабулярная логика повести «неумолимо свидетельствует об отступничестве, усталости человека “нести свою душу” в самоистребляющемся материальном мире» [7, с. 404].

Война ожесточает и главного героя повести В. Быкова «Альпійская балада» Ивана Терешку. Состояние Ивана в первые минуты побега сравнивается с состоянием немецкого пса, готового в любой момент броситься на человека: «Ён таксама некалькі секунд, паклаўшы на траву дрыготкія рукі, стаяў на каленях і амаль не па-чалавечы, здзічэла глядзеў на сабаку» [6, с. 180]. Иван, заботящийся о сохранении собственной жизни, грубо обращается с девушкой, оказавшейся рядом: «І тады Іван, не справіўшыся з напэтымі нервамі і ўзарваны спазнелаю злосцю, ляснуў яе па шчацэ» [6, с. 183]. Безвыходность их с Джулией положения заставляет Ивана ограбить австрийского лесника, встреченного беглецами в Альпах. Однако герои В. Быкова, в отличие от героев В. Астафьева, сталкиваясь с бесчеловечными реалиями военного времени, испытывают не усталость, а злость и желание борьбы с теми людьми и обстоятельствами, которые толкают их на безнравственные поступки: «У гэтыя некалькі кароценькіх і напружаных хвілін хлопец страшным унутраным праклёнам памянуў тых, праз каго ён мусіў рабіць такое» [6, с. 217].

В литературе романтизма герои, утратив веру в социум и технократическую цивилизацию, стремятся отыскать другой путь, путь к идеалу, к вечному, к абсолюту. В повестях русского и белорусского писателей выстоять в годы войны помогают традиционные нравственные ценности (в том случае, если герою удастся их сохранить или осознать необходимость обретения духовной опоры). Завершающим этапом мировоззренческой эволюции В. Астафьева становится обращение к христианским традициям. В нескольких редакциях повести «Пастух и пастушка» тема спасения души путем обращения к вере только нащупывается писателем, усили-

вая свое звучание в редакции 1994 г. В произведении прослеживается мысль о том, что к молитве на войне прибегают люди зрелого возраста. Именно поколение отцов выступает хранителем христианской духовности, религиозное мировоззрение помогает им сохранить себя в самых трагических ситуациях войны: «Пожилой долговязый боец Ланцов прочел над могилой складную, тихую молитву, и никто не осудил его за это: покойники-то старики» [4, с. 395]. Здесь В. Астафьев поднимает еще одну проблему: осуждение религиозности, насаждение атеистических взглядов лишает молодых людей нравственных ориентиров, отнимает у них точку опоры, оставляет духовно незащищенными перед лицом трагедии: «Раньше бы хоть помолились, – сказала Люся, теребя отвороты его шинели. – Но мы же не верующие. Атеисты мы...» [4, с. 474]. Эта же проблема затрагивается В. Быковым в «Альпийской балладе». Итальянке Джулии ее коммунистические убеждения не помешали сохранить христианское мировосприятие. В самые тяжелые моменты, не грани гибели она находит спасение в молитве [6, с. 313].

Следует отметить, что во многих военных (и не только) произведениях В. Астафьева наиболее «жизнеспособными» оказываются герои-крестьяне, воспитанные в патриархальных устоях, умеющие притерпеться к трудностям и по-христиански к ним относиться, высшей ценностью почитающие работу на земле и жизнь в гармонии с природой. Повесть «Пастух и пастушка» не исключение. В. Астафьеву удалось создать яркие образы мужиков-алтайцев, Карышева и Малышева, чей быт на войне был основан на крестьянской взаимовыручке, народной мудрости и смекалке. Показательна и сцена в санитарном поезде, где сосед Бориса, безымянный мужик, считавшийся у медперсонала безнадежным, буквально на глазах оживает и идет на поправку, увидев в окне распахнутую борозду, землю, ждущую руки хозяина. В ней он находит спасение физическое и духовное, на нее как на опору указывает Борис: «Ты, парень, не скидай! Имайся за травку-то, имайся за вешнюю! Она вытащит. В ей знаешь, какая сила! Камень колет!» [4, с. 497]. Вера, духовность, созидательный труд на земле – вот нравственные ориентиры, к которым, по В. Астафьеву, необходимо стремиться. Эпизоды повести, в которых утверждаются эти человеческие ценности, решены в особой стилистической манере, что, вероятно, и позволило исследователям говорить об особом, сентиментальном строе прозы В. Астафьева [1].

Думается, что художественные особенности повести В. Быкова «Альпийская баллада» свидетельствуют о более последовательной реализации в произведении белорусского автора эстетических принципов предромантизма и романтизма. Так, на примере главной героини повести Джулии раскрыт один из ключевых романтических конфликтов – конфликт героя-бунтаря со средой. Девушка одержима мечтой о социальной справедливости, она усваивает коммунистические взгляды, идеализирует советскую государственность, порывает отношения с отцом-фашистом, убегает из привычной для себя обеспеченной среды на фронт.

Тематическая общность исследуемых повестей В. Астафьева и В. Быкова указывает на то, что оба писателя задаются вопросом: может ли любовь на войне стать опорой человеческого духа, уберечь душу от растрепки? Ответ не однозначен. В повестях «Пастух и пастушка» и «Альпийская баллада» случайная встреча в тревожные дни войны объединяет двух людей с разным военным, личным и социальным опытом, с разными представлениями о мире. В иных (не военных) условиях им вряд ли суждено было бы встретиться. Зарождение чувства во многом обусловлено молодостью героев и естественным порывом молодости – любить. Так, ничего, кроме одновременного побега из немецкого лагеря, не связывало Ивана, жителя белорусской деревни Терешки и итальянку Джулию. Более того, откровенно враждебно отнесся Иван к нежелательной попутнице. И только тоска по человеческому теплу, усталость от одиночества заставляют Ивана взглянуть на девушку другими глазами: «І асабліва нясцерпна хацелася міру, дабра і роднае, блізкае душы побач» [6, с. 242]. За три дня побега молодые люди пытаются узнать и понять друг друга. Незнакомый мир познается не сразу, иногда это происходит через боль и взаимное недоверие. Нелегко принять Джулии правду о коллективизации в стране, которую она идеализирует, нелегко Ивану поверить в искренность намерений девушки, выросшей в семье итальянского коммерсанта. Однако герои В. Быкова стараются постичь друг друга, любовь помогает им преодолеть непонимание:

«Хацелася пазіраць так, бясконца, уважліва пазнаваць пачуццём зманліваю таямніцу чалавечай душы» [6, с. 296]. Чувство, внезапно связавшее Ивана и Джулию, вернуло героев в мир истинных человеческих ценностей, «растопило» их огрубевшие на войне души, обогатило и возвысило влюбленных над бессмысленной жестокостью войны.

Казалось бы, у героев В. Астафьева гораздо меньше причин для непонимания. Бориса и Люсю могли бы объединить общие воспоминания о довоенном прошлом, когда Люся училась музыке, а Борис ездил с мамой в театр. Тем не менее, правда В. Астафьева о войне не позволяет утверждать, что любовь к музыке и чтению, понимание искусства, чувство прекрасного – и есть те качества, которые способны «отогреть» истраченную на войне душу. Два дня, проведенные вместе дарят героям мечту о мирной жизни. Но «романтика», почерпнутая из книг, не помогает Борису понять Люсю, облегчить страдания, выпавшие на долю молодой женщины в захваченной немцами деревне. Герои отдаляются друг от друга еще до разлуки: «Поели, и сделалось нечем заняться, не о чем вроде бы и говорить. Молча смотрели они перед собой в пустоту идущей на убыль ночи» [4, с. 452]. Замкнувшись каждый в своем горе, Борис и Люся не находят пути друг к другу. Идиллия, заявленная в названии, остается для героев повести «Пастух и пастушка» несбыточной мечтой, которая не спасает Бориса Костяева от опустошающей усталости, духовной, а затем и физической гибели.

В пасторали В. Астафьева и балладе В. Быкова указания на жесткую оппозиционность мечты и действительности присутствуют постоянно. Вспомним, что одним из важных элементов повествования в литературе сентиментализма является авторская рефлексия по поводу описываемого, поскольку сентименталисты отвергали отстранение автора от предмета изображения. В. Астафьев использует авторскую рефлексию как способ дифференциации мечты и действительности. Так, идиллические представления о встрече после войны, возникающие в воображении Бориса и Люси, прерываются голосом автора, возвращающим к реальности: «Но ничего этого не было и быть не могло» [4, с. 479]. Являя себя в тексте, автор предлагает несколько вариантов развития одного и того же события. Так происходит, например, в рассказе о возможной судьбе солдата на войне. Завершив повествование гибелью безымянного героя, автор тут же предлагает иной вариант: «Ну, а если по-другому? По-счастливому если?» [4, с. 423]. Подобная вариативность как бы подчеркивает неопределенность судьбы человека на фронте, неизвестность исхода в каждом конкретном случае, когда финал повествования «дописывает» суровая правда боевых действий. Дифференцируя иллюзию и действительность, В. Астафьев позволяет себе даже скрытую иронию в адрес эстетики соцреализма: «в фильме развеселый парень Антоша Рыбкин, напевая песенки, запросто дурачил затурканных, суетливых врагов. Зрители чистосердечно радовались удачам киношного вояки. Сами они находились на совсем другой войне» [4, с. 440]. Можно даже предположить, что мифотворчество соцреализма заложило предпосылки синтеза прозы последней трети XX в. с сентиментальным и романтическим стилями. Только если соцреализм преподносил читателю (зрителю) социальный миф как реальность, писатели-реалисты, использующие в своем творчестве элементы неклассической эстетики, четко разграничивают иллюзию и реальный мир.

В «Альпійской баладзе» В. Быкова противопоставление мечты и действительности прослеживается на уровне образной системы. Романтизм и идеализм Джулии уравнивается собранностью и расчетливостью Ивана. Даже постоянная угроза жизни не мешает Джулии по-детски восторгаться красотой альпийских пейзажей, верить в благополучный исход их побега (и зачастую вести себя неосмотрительно), надеяться на совместное будущее с Иваном после войны. Иван, переживший тяжелые годы раскулачивания и голода в деревне, осуществивший несколько неудачных попыток побега из немецкого плена, оценивает ситуацию гораздо более реалистично: «Варта хоць трошкі разважыць, як стане зразумела, колькі яшчэ пакут наперадзе...» [6, с. 301]. Иван горячо любит свою родину, мысли о ней помогают герою бороться, но идеализировать ее, в отличие от Джулии он не склонен. Скупое и с неохотой Иван рассказывает девушке правду о коллективизации и репрессиях; герой осведомлен и о незавидной участи бывших военнопленных в своей стране. Отметим, что сам факт наличия в произведении советской литературы героя, оценивающего не только военное настоящее, но и

непростое прошлое своей страны, свидетельствует о выходе писателя за рамки соцреализма и расширении идейно-тематических границ повести. Трагическое несовпадение мечты и реальности уходит своими корнями в поздний немецкий романтизм (творчество Клейста, Гофмана). В военных повестях В. Астафьева и В. Быкова данная оппозиция подчеркивает антигуманную сущность войны, не оставляющую места естественным человеческим чувствам.

Главным критерием оценки героев в анализируемых произведениях становится их способность или неспособность противостоять разрушающей действительности. В повести «Пастух и пастушка» В. Астафьев утверждает, что избежать духовного опустошения и деградации на войне удавалось только людям, имеющим прочные нравственные основы. О том, какие категории могли служить моральными ориентирами, говорилось выше. Так, христианский смысл названия последней главы повести – «Успение» плохо коррелирует со сценой погребения главного героя Бориса Костяева. Сопоставление двух редакций повести 1974 и 1994 гг. позволяет сделать вывод, что данный эпизод подвергся серьезной трансформации. Однако в обоих случаях похороны героя представляют собой логическое завершение его душевного растрепывания. В более ранней версии говорится о том, что «покойник оказался несуразным: остался в таком месте, где нет кладбища... Начальник полустанка сказал, что земля в России всюду своя, сделал домовину из досок, снятых с крыши сарая, пирамидку заострил из старого сигнального столбика...» [4, с. 503]. В редакции 1994 г. писатель заменяет пирамидку образом наспех сколоченного креста, который сторож «спяну, спутав ноги с головой, вбил топором в глиняные комки в головах покойного» (как бы лишив его тем самым возможности посмертной молитвы), а затем «постоял над могилой, попробовал перекреститься, да забыл, откуда начинать класть крест, высморкался, вздохнул и поковылял в стрелочную будку» [8, с. 93]. Безусловно, такая интерпретация христианских традиций погребения исключает всякую возможность успения для героя, чья душа умерла еще до физической гибели.

Примечательно, что в главе «Успение» есть сцена похорон еще одного героя – крестьянина Карышева. Сюжетно она предваряет смерть Бориса и стилистически оформлена иначе. Карышев уходит, как и жил, обстоятельно, в последние минуты заботясь об осиротевшей семье. Малышев о смерти земляка и друга сообщает не иначе, как «Преставился» [4, с. 485]. Погребение Карышева – это обретение последнего приюта, а не возня на случайном полустанке с «несуразным покойником»: «Ночью без шума, без лишней возни, под звездами схоронили Карышева, сделали крест из жердей, и последний приют алтайского крестьянина впопору пришелся на одичалом хуторском погосте» [4, с. 485–486]. Будучи свидетелем успения Карышева, Борис понимает: «Вот так умеют умирать русские люди! Вот так!» [4, с. 485]. Однако главный герой повести «Пастух и пастушка» не находит в себе сил ни для дальнейшей жизни, ни для достойной кончины.

В. Быков наделяет Ивана Терешку, несмотря на его реалистическое мировосприятие, некоторыми чертами романтического персонажа. Об этом свидетельствует его отчаянная борьба за свободу, которая важнее жизни, его желание наперекор всему быть счастливым рядом с любимой женщиной. Герой сражается до последнего патрона (даже осознавая безысходность борьбы) и погибает, спасая возлюбленную. Разность подходов к изображению героев на войне и обстоятельств их гибели позволяет выявить различные способы художественной завершенности в повестях русского и белорусского писателей. Для «Пастуха и пастушки» В. Астафьева характерен трагический модус художественности, для «Альпийской баллады» В. Быкова – героический.

Пафос эпилогов также различен. С одной стороны, воспоминания женщины на заброшенной могиле, обрамляющие основное повествование «Пастуха и пастушки», как бы отсылают читателя к сентиментальному стилю, элементы которого использованы в произведении, с другой – передают трагедию исковерканных войной судеб, свидетельствуют о невозможности обретения счастья в этом мире, об одиночестве человека – прижизненном и посмертном: «А он, или то, что было им когда-то, остался в безмолвной земле, опутанный корнями трав и цветов, утихших до весны. Остался один – посреди России» [4, с. 504]. Иную, жизнеутверждающую тональность имеет эпилог «Альпийской баллады». Светлое, наполненное теплом

письмо Джулии, адресованное жителям деревни Терешки, повествует о неожиданном продолжении романтической истории белорусского крестьянина и итальянки. Сын Джиованни, изучающий русский язык, является символом победы жизни и любви над смертью и разрушением. В этом смысле художественная концепция повести В. Быкова оказывается ближе миропониманию романтизма, нежели апокалиптические взгляды В. Астафьева.

Таким образом, в повестях «Пастух и пастушка» и «Альпийская балада» В. Астафьев и В. Быков, раскрывая тему любви на войне, используют элементы эстетики сентиментализма и романтизма. Синтез с этими стилями помогает писателям преодолеть каноны нормативной эстетики, заострить гуманистическую проблематику произведений, раскрыть сущность экзистенциальной трагедии человека на войне. Обращение к сентиментализму и романтизму обусловило жанровые особенности анализируемых произведений, нашло отражение на уровне композиции и образной системы, оказало влияние на стилистику повестей. Сравнительно-типологическое изучение произведений В. Астафьева и В. Быкова дало возможность определить генетическую связь русского и белорусского писателей, сделать вывод о том, что уже в последней трети XX в. авторам удалось выйти за рамки «жесткого» реализма и обогатить художественную систему новыми эстетическими приемами.

Литература

1. Лейдерман, Н.Л. Современная русская литература : 1950–1990-е годы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. / Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – Т.2. – С. 132–135.
2. Гончаров, П.А. Творчество В.П. Астафьева в контексте русской прозы второй половины XX века : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.01 / П.А. Гончаров. – Тамбов, 2004. – 234 л.
3. Соловьев, В.С. Избранное / В.С. Соловьев. – М. : Советская Россия, 1990. – 496 с.
4. Астафьев, В.П. Повести и рассказы / В.П. Астафьев. – М. : Советский писатель, 1984. – 688 с.
5. Томашевский, Б.В. Теория литературы. Поэтика : Учеб. пособие для вузов по направлению «Филология», специальностям «Филология» и «Литературоведение» / [Вступ. ст. Н.Д. Тамарченко] / Б.В. Томашевский. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 334 с.
6. Быкаў, В.У. Альпійская балада : апавесці / В.У. Быкаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. – 640 с.
7. Ковтун, Н.В. Деревенская проза в зеркале утопии / Н.В. Ковтун // Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию. Сибирский федеральный университет. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2009. – 494 с.
8. Астафьев, В.П. Собрание сочинений : в 15 т. / В.П. Астафьев. – Красноярск : Офсет, 1997. – Т. 3. – С. 93–94.

Мянушкі як від народнага іменаслоўя

Д.Д. ПАЎЛАВЕЦ

Разглядаюцца антрапонімы-мянушкі, высвятляецца іх паходжанне, семантычныя асаблівасці, вылучаюцца антрапаасновы, падкрэсліваецца іх роля як дадатковых ідэнтыфікацыйных сродкаў і выдзялення чалавека ў соцыуме, як складнікаў бачання чалавекам свету, часткай моўнай і канцэптуальнай карціны навакольнага асяроддзя.

Ключавыя словы: мянушка, антрапонімы, моўная карціна свету, ідэнтыфікатар асобы, соцыум.

Anthroponyms-nicknames are considered, their origin is revealed, semantic features are highlighted anthroporoots are distinguished, their role as additional means of identification and isolation of a human in society, as a component of human vision of the world, part of the linguistic and conceptual picture of the environment is emphasized.

Keywords: nickname anthroponym, linguistic picture of the world, identification of the person, society.

У сувязі з узмоцненай зацікаўленасцю да вывучэння моўнай асобы і моўнай карціны свету павялічваецца роля даследавання асабовых імёнаў, у прыватнасці антрапонімаў, якія з'яўляюцца адным з найгалоўнейшых кампанентаў-складнікаў бачання чалавекам свету, часткай моўнай і канцэптуальнай карціны навакольнага асяроддзя. Сярод антрапанімічных катэгорый, якія складаюць сукупнасць ідэнтыфікацыйных сродкаў для выдзялення асобы ў соцыуме, прыцягваюць увагу неафіцыйныя, вулічныя прозвішчы-мянушкі. Яны займаюць значнае месца ў абыдзеным жыцці індывідуума, выкарыстоўваюцца для найбольш дакладнай асобаснай ацэначнай характарыстыкі называнага і выдзяляюць яго ў калектыве. «Іменна гэта група лексікі найбольш цесна звязана з жыццём і дзейнасцю чалавека. У ёй адлюстроўваюцца адносіны чалавека да грамадства і прыроднага асяроддзя, разнастайныя бакі яго штодзённага жыцця. Значыць, даследаванне гэтых назваў мае пэўную культурна-гістарычную цікавасць, з'яўляецца адной з крыніц вывучэння этнічнай гісторыі і этнаграфіі народа» [1, с. 4–5]. Аднак якраз дадзеная лексіка-семантычная група найменш даследавана сярод беларускіх антрапонімаў. У той жа час гэта катэгорыя назоўнікаў цікавая і перспектыўная для вывучэння сваёй моўнай і сацыяльнай прыроды, устойлівасцю сістэмы камунікатыўных ідэнтыфікацыйных сродкаў, функцыянальнымі параметрамі паміж іншых уласных імёнаў, спосабамі ўтварэння і паходжання. Аднак дагэтуль пытанні паходжання мянушак, іх камунікатыўны статус, структурна-семантычныя мадэлі хоць і прывабліваюць вучоных, але дэталёва не распрацаваны і не абагулены ў такім аб'ёме, каб можна было гаварыць пра мянушкі як спецыяльную антрапанімічную катэгорыю, улічваючы іх функцыянальна-семантычны, сацыяльны і культуралагічны бок. У айчынным мовазнаўстве дадзеная праблема пад тым або іншым ракурсам закранаецца ў манаграфічнай літаратуры (працы М. Бірылы, У. Юрэвіча) ды паасобных артыкулах ў перыядычных навуковых спецыялізаваных выданнях. Збор мянушак у нас практычна не пачынаўся. Зразумела, гэта няпростая праца, аднак яна неабходная для наступнага развіцця антрапанімічных даследаванняў. Без збору неафіцыйных антрапанімічных фактаў з жывой народнай мовы немагчыма паспяхова вывучыць асаблівасці ўжывання ўласных імёнаў у літаратурных творах. Без падрабязнага і глыбокага апісання народна-дыялектнай антрапаніміі нельга стварыць агульнанацыянальную карціну гэтага лексіка-тэматычнага аб'яднання. Збор мянушак у жывой народнай мове не церпіць адвалокі: зафіксаванае сёння, заўтра ўжо можа быць згублена незваротна. Гэтага вымагаюць і акалічнасці цяперашняга стану народна-дыялектнай мовы. Таму нельга не пагадзіцца з вядомым пісьменнікам У. Юрэвічам, які заўважыў: «Антрапанімічныя знакі, якімі з'яўляюцца імёны і прозвішчы, мянушкі – не толькі моўныя катэгорыі, але і сацыяльныя адмеціны жыцця грамадства. Узаемадзеючы, яны ствараюць жывое сведчанне часу, таго, што мінуў, што ідзе сёння. Мы мала ведаем пра імёны тых тых, хто побач з намі. А ведаць трэба як мага больш, ведаць усё, вартае нашага народа і яго цудоўнай мовы.

Як пабагацелі б мы, каб больш даследавалі паходжанне беларускіх імён і прозвішчаў, традыцыйных мянушак, усяго народнага іменаслоўя, каб мелі, нарэшце, поўны збор антрапонімаў, носьбіты якіх жывуць на Беларусі і з'яўляюцца жывым помнікам» [2, с. 133].

Мянушкі – важны дадатковы ідэнтыфікатар асобы ў неафіцыйных зносінах, побытавай камунікацыі, які індывідуальна характарызуе чалавека ў грамадстве. Яны валодаюць вялікай ступенню сацыяльнай актыўнасці, маюць свае карані ў гісторыі мовы, гісторыі народнай культуры. Іх неабходна разглядаць як асаблівы від народнага красамоўства, вынік калектыўнай творчасці. Неафіцыйныя, вулічныя найменні – своеасаблівыя культурныя ўніверсаліі, якія адлюстроўваюць побыт, звычаі, традыцыі, народныя ўяўленні, нарэшце, густ народа. Нярэдка мянушкі – гэта гаваркія словы, сакаўныя, ўдала падабраныя, выразныя і празрыстыя характарыстыкі, запамінальныя вобразы. Гэта багатая нематэрыяльная духоўная культура народа, якая фармавалася цягам стагоддзяў, перадавалася з пакалення ў пакаленне: вобразы, эмоцыі, ацэнкі, якія асацыіруюцца ў свядомасці людзей з тым або іншым паняццем, з'явай, прадметам.

На жаль, прырода айчынных мянушак-прозвішчаў вывучана не так дэтальна і глыбока, хача іх даследаванне не абмяжоўваецца выключна лінгвістычнай цікавасцю. Арэальныя мянушкі з'яўляюцца вельмі важнымі і таму, што аднолькавыя рысы побыту, умовы пражывання абумовілі і агульныя рысы з агульнаславянскай анамастыкай і адначасова адрозненні, выкліканыя лакальным бытаваннем разгляданых онімаў. Якраз у сельскай мясцовасці мянушкі жывуць найбольш актыўна па аб'ектыўных прычынах: своеасаблівы кантынгент вясковых насельнікаў, умовы побытавай камунікацыі, невялікія калектывы, дзе людзі ведаюць адзін аднаго, фальклорныя традыцыі і г. д. – усё гэта вызначала ўкладзены ў мянушку сэнс.

Аб'ектам даследавання у нашым артыкуле з'яўляецца корпус індывідуальных мянушак-прозвішчаў з в. Парэ Пінскага раёна. Невялікая вёска Парэ знаходзіцца на самым поўдні Пінскага раёна Брэсцкай вобласці. Паводле гістарычных крыніц, яна ўзнікла на пачатку XVI ст. Яна, як многія іншыя вялікія і маленькія вёсачкі, пацярпела ад выбуху на Чарнобыльскай атамнай станцыі, засыпана радыяцыйным попелам. Раз'ехалася па белым свеце моладзь, не стала школы, клуба, засталіся толькі сталыя людзі, якія спрадвеку гадавалі дзяцей, ладзілі гаспадарку, радаваліся і сумавалі, марылі і кахалі, а цяпер ціха дажываюць свой век. Мінаюць гады, але памяць час ад часу вяртае ў той бласлаўлены кутчак маёй Радзімы, адкуль бацькі адпраўлялі нас у вялікі свет, куды мы прывозілі на летнія канікулы сваіх дзяцей.

Жыццё ў вёсцы навідавоку: людзі ведаюць адзін пра аднаго, здаецца, усё. Кожны чалавек, які жыве ў вёсцы, арыентаваўся на звычайнае права, імкнуўся жыць так, каб не дапусціць ніякай крыўды, каб годна і гожа выглядаць у вачах сваіх аднавяскоўцаў. Нормай было і тое, што амаль усе вяскоўцы, акрамя афіцыйнага прозвішча, мелі неафіцыйныя найменні, або вулічныя мянушкі. Ніхто не крыўдзіўся за іх, бо ў большасці сваёй яны не неслі ніякай зласлівасці альбо абразы, а выкарыстоўваліся як дадатковы сродак ідэнтыфікацыі вяскоўцаў, бо ў многіх супадалі не толькі прозвішчы, але і імёны і імёны па бацьку. Усе мянушкі, занатаваныя ў вёсцы, аб'ядноўваюцца ў наступныя тэматычныя групы:

I. Мянушкі, матываваныя асаблівасцямі знешняга выгляду чалавека:

Біланькі (белы) – чалавек меў белыя валасы і быў светлатвары.

Картошка – так звалі майго дзядзька, бо, калі ён вярнуўся ў канцы 40-х гг. з Данбаса, замест звычайнага бульбы, ужываў картошка, якая прыляпілася да яго на ўсё жыццё.

Кошлаты – гэтак звалі мужчыну, які меў густыя скудлачаныя валасы.

Куцык – чалавек невялікага росту, малы, куртаты. Мянушка паходзіць ад дыялектнага апелятыва *куц* 'бяххвосты, куртаты'.

Мачына – жанчына атрымала мянушку за невысокі рост, дробненькі целасклад. Назоўнік *мачына* ў гаворцы мае значэнне невялікая, малая частка чаго-небудзь.

Чапчурка – жанчыну назвалі так за тое, што вельмі любіла прыхарошвацца, *чапурыцца*.

II. Мянушкі, утвораныя на аснове метафарызацыі назваў жывёльнага і расліннага свету:

Гарбузык – так прызвалі поўнага хлопчыка невысокага росту.

Гудод – атрымаў мянушку праз свой чуб і загнуты уніз востры нос, падобны на ўдодаў.

Гэляр – мужчына мянушку атрымаў ад гукапераймальнага выклічніка *гэля-гэля*, якім падзівалі гусей. Ён быў падобны да гусака, заўсёды хадзіў важна, з выпнутымі грудзямі, перавальваючыся з боку на бок.

Жучык – так назвалі мужчыну невялікага росту, дробнага целаскладу, але вельмі пранырлівага.

Зайчык – атрымаў мянушку за невялікі рост і своеасаблівую манеру хадзіць на дыбачках і падскокваючы, нібы заяц. Да ўсяго ж, адбываецца метафарызацыя значэння лексемы зайчык: захоўваючы аднесенасць да класу зайцаў, слова характарызуе індывідуума, ахопліваючы такі комплекс адценняў, як зухвальства, трусасць.

Корсак – некаторыя даследчыкі суадносяць гэтую мянушку-прозвішча з назвай стэпавай лісіцы. Як падаецца, яна ўзыходзіць да старыжытнарускага *кърсь* ‘курыца’, бо адкуль ў Пінскіх балотах было ўзяцца стэпавай лісіцы.

Півань (певень) – мужчына атрымаў мянушку ад таго, што быў вельмі задавасты, ганакрысты, хадзіў, выпячыўшы грудзі і задраўшы галаву, падобна пеўню.

Парац (перац) – атрымаў такое прозвішча за свой востры язык.

Сорока – жанчына атрымала сваю мянушку ад апелятыва сарока з-за манеры безупынна гаварыць, стракатаць, быццам сарока, разносіць навіны.

Свэнка (свінка) – гэтая мянушка мужчыны падкрэслівала падабенства з свіннёй і ахоплівала комплекс такіх прыкмет, як неахайнасць, абыякавасць да чысціні, якія стваралі вобраз індывіда. У той жа час суфікс *-к-* падкрэслівае, што якасці свінні праяўляліся не напоўніцу.

Чапка – так назвалі цыбытую жанчыну з вострым носам і доўгай шыяй, падобную да чаплі, якая ў гаворцы завецца *чапка*.

Чэрка (*Чырэца*) – так назвалі жанчыну невялікага росту, якая мела шмат дзяцей, параўноўваючы яе з невялікай вадаплаўнай птушкай сямейства качыных.

Шулячок – так звалі невысокага, хударлявага, вастраносага хваткага мужчыну, параўноўваючы з птушкай атрада сокалападобных драпежных птушак – *шуляком*.

Наразь – мянушка мужчыны з вельмі скрытным характарам, негаваркім. *Наразем* у нас называюць сініцу рэмез, якая кубліцца ў недаступных, патаемных месцах.

III. Мянушкі, якія характарызуюць паводзіны чалавека, яго звычкі, фізічныя недахопы, разумовыя якасці:

Байла – жанчына атрымала сваю мянушку з-за сваёй звычкі гаварыць бесперастанку, *баяць*, апавядаць разнастайныя байкі, небыліцы.

Балабуха – калі быў яшчэ немаўлём, маці называла яго *балабушкай* праз пульхнасць, паўнату і падабенства з булачкай-балабухай, а калі падрос, стаў балабухам.

Блёбля – гаварыў вельмі хутка і не заўсёды зразумела, балбатаў, гаварыў нешта на кшталт блё-блё.

Бука – так называлі нелюдзімага мужчыну, акрамя таго букай палохалі малых дзяцей.

Варанька – чалавек невысокага росту, нагадваў кошык, або, па вясковаму, варанька, у якім пастухі насілі вараную ежу, беручы з сабою на папас.

Вульштык – мужчына гаварыў заікаючыся, вымаўляючы даволі часта пад час размовы вуль-вуль.

Горбаты – меў горб.

Дікар – мянушка сведчыць пра характар паводзінаў чалавека, яго нелюдзімасць, дзікаватасць.

Дэчка – так назвалі жанчыну праз яе калючы, дзікаваты характар. У гэтай мянушцы падкрэсліваецца яе падабенства да грушы-дзічкі і да нелюдзімага чалавека.

Качан – празваны так праз свае невялікія разумовыя здольнасці.

Кілунчык – атрымаў мянушку таму, што яго бацька хварэў на грыжу, якая па-народнаму называецца кіла, адсюль кілунчык – сын кілуна.

Косовокая – жанчыну так называлі таму, што яе зрэнкі былі накіраваны ў розныя бакі.

Кусюн – у дзяцінстве меў звычку кусацца, а калі падрос, дык сварыцца (грызціся) са сваімі сямейнікамі, суседзямі.

Маруда – празваны так таму, што ўсё рабіў павольна, нетаропка, марудзіў.

Тулё – з выгляду гэты мужчыны меў прыгорбленую спіну, прыўзнятыя плечы, быў сутулым, заўсёды імкнуўся быць непрыкметным, туляўся, трымаўся ўбаку.

Франтік – любіў модна апранацца, фарсіць. Наколькі памятаю, заўсёды хадзіў у галіфэ і начышчаных да бляску хромавых ботах, *франціў*.

Чуха – атрымаў сваю мянушку таму, што рабіў усё павольна, не спяшаючыся, *чухаючыся*.

Шурпа – так называлі жанчыну праз яе неахайнасць, мурзатасць.

Пампуха – поўная невысокага росту жанчына, падобная на гумаваы надуўны мяч.

Райчук – вялікі аматар усім *райць*, даваць парады.

Рэпін – не мае ніякіх адносін да мастака І.Рэпіна, празваны так за тое, што на гармоніку не іграў, а рэпаў абы-як.

Сёрка – выконвала усялякую працу абы з рук, хадзіла ў задрыпаным адзенні.

Срач – празваны так праз вялікую заднюю частку цела, таз.

Сінсік – гаварыў прыглушана, хрыплым голасам, з прысвістаннем і невялікім сіпеннем.

Сцыкун – дзядзьку празвалі так, бо ў дзяцінстве ён часта пісяўся (сцаў) ў штаны.

Хохлік – магчыма, што гэтая мянушка суадносіцца з аналагічным апелятывам, якім ў народнай мове называлі ‘балотны дух, чорт’, бо *хохлікам* яшчэ і дзяцей палохалі.

Хрумка – так назвалі жанчыну, якая пры размове хрумкала.

Цурка – жанчына невысокага росту, падобная да невялікага кавалка бярвяна, *цурбалкі*.

Цёпаўка – атрымаў сваю мянушку праз кльшаногую манеру хадзіць, ці, як казалі ў вёсцы, *цёпаць*.

IV. Мянушкі, матываваныя няправільным вымаўленнем імён, слоў:

Кадзіба – мянушка пайшла ад імя Аркадзь, цяжка вымоўнае для хлопчыка, які называў сябе ў Кадзь, а, вырашы, стаў – Кадзіба.

Паўдуша – хлопчыкам ён называў сябе Паўдуша, ад памяншальнага Паўлуша, ды так і застаўся ім на ўсё жыццё. З імем Павел суадносіцца і мянушка Цпавлік.

Гіяшка – мянушка паходзіць ад скажонга вымаўлення імені Яшка.

Гангей – мянушка пайшла ад імені Андрэй, як называў сябе хлопчык у дзяцінстве, не вымаўляючы спалучэнне [др].

Дзваны атрымаў мянушку ад няправільнага вымаўлення імя Іван, Ваня. Ад гэтай жа асновы ўтворана мянушка Іванусто.

З імем *Міця* (па-мясцоваму Метро) суадносяцца некалькі мянушак: Мітюхан, Мітрохін, Метко.

Місёнька, Місык – мянушкі пайшлі ад таго, што ў дзяцінстве гэтыя людзі не маглі вымаўляць гук [ш], называючы сябе адраведна Місёнька і Місык, а не Мішанька і Мішык.

Лэмар – атрымаў сваю мянушку з-за таго, што не мог вымавіць сваё імя на мясцовы манер Ладэмар (Уладзімір), а толькі гаварыў яго частку.

Талімон – мянушка, ўтвораная ад афіцыйнага бацькавага імені Філімон, сведчыць пра неўласцівы для нашай мовы гук [ф].

Холёсяя – так празвалі жанчыну, бо ў дзяцінстве не магла вымавіць гукі [р] і [ш] у прыметніку харошая.

V. Мянушкі, матываваныя прафесійнымі заняткамі:

Рэбак (рыбак) – асноўным заняткам гэтага чалавека была лоўля рыбы.

Капітёша – быў празваны так, бо калісьці яго бацька быў капітанам на параходзе.

Кухар – працаваў кухарам у пана.

Кушнероў – паходзіў з роду кушнера, майстра па апрацоўцы шкур.

Музэка – быў ці ні адзіным на вёску музыкантам, меў скрыпку і пастаянна іграў на ёй.

Сакратар – калісьці працаваў сакратаром сельсавета.

Чалік – мянушка суадносіцца з дзеясловам *чаліць* ‘вязаць платы’. Чалавека, які займаўся гэтым рамяством назвалі Чалік.

Швачка – жанчына займалася шыццём адзення.

Як бачна дадзеная група не такая шматлікая, бо асноўным заняткам жыхароў вёскі былі земляробства, паляванне.

VI. Мянушкі, у аснове матывацыі якіх – населеныя пункты, адкуль людзі прыехалі ў вёску або калісьці недзе жылі.

Амерыканац—стары чалавек, які за польскім часам ездзіў на заробкі ў Амерыку (ЗША); *Дворчэнка* – жанчына пераехала з в. *Вялікія Дворцы*; *Зоўкенка* – жанчына пераехала з в. Зоўкенэ (афіцыйная назва Жоўкіна); *Нанькіўка, Наньковац* – жанчына і мужчына, якія прыехалі з в. Наньковечэ (афіцыйная назва Ненькавічы); *Старокінка* – жанчына пераехала з

в. Старыконі, *Іванчанка* – жанчына, якая прыехала з в. Іванчыцы; *Мутвічэнка* – жанчына, якая прыехала з в. Мутвіца; *Погошчук* – мужчына з мястэчка Пагост (цяпер Зарэчнае Ровенскай вобласці); *Сарнычанац*, *Сарнычанка* – мужчына і жанчына, якія былі выхадцамі з вёскі Сарнэкі (афіцыйная назва в. Сернікі); *Хвоянэц*, *Хвоенка* – так называлі мужчыну і жанчыну, якія прыехалі з в. Хвіно (афіцыйная назва Хойна).

Вышэйпададзеныя мянушкі сведчаць і пра роднасныя ўзаемасувязі з суседнімі населенымі пунктамі, пра карані роднасці асобных людзей: жанчын, якія выходзілі замуж у нашу вёску, і мужчын, якія прыходзілі сюды ў прымы. У гэтай групе пераважаюць жаночыя мянушкі, бо парскія хлопцы рэдка адпраўляліся ў прымы. Цікава, што ў гэтым пераліку не сустракаюцца цяпер блізкія і тэрытарыяльна, і адміністрацыйна вв. Ладараж, Ласіцк, Востраў, затое пераважаюць населеныя пункты, якія цяпер адносяцца да Ровенскай вобласці Украіны.

VII. Мянушкі, матываваныя метафарычным падабенствам з вядомымі людзьмі:

Ленін – знешне мужчына быў вылітым двайніком правадыра пралетарыату.

Маякоўскі – мянушка савецкай эпохі. Так празвалі чалавека, які вонкава быў вельмі падобны ростам, тварам і постацю да вядомага савецкага паэта.

Пілсуцкі – атрымаў мянушку паводле падабенства з кіраўніком Польшчы Пілсудскім.

Таранулька – гэты мужчына незвычайна высокі і худы, жартаўлівы нагадваў вядомага савецкага ўкраінскага актора-гумарыста, майстра жарту Ю. Цімашэнку.

На жаль, нам не ўдалося расшыфраваць паходжанне і значэнне шэрагу мянушак з ацэнчаным значэннем, праз іхнюю невытлумачальную унутраную форму такіх, як Гаўрам, Гінаджорка, Груль, Ёё, Ёідлю, Малюс, Махро, Молька, Шокорык, Тульдк, Тальто, Шмай, Чыкун і інш.

У складзе мянушак, якія адлюстроўваюць унутрысямейныя адносіны, адрозніваюць патронімы – найменні нашчадкаў, утвораныя ад імёнаў, прозвішчаў або мянушак бацькоў ці больш далёкіх продкаў па мужчынскай лініі. Сярод іх у вёсцы пашыраны сямейныя мянушкі-патронімы, якія па форме часта супадаюць з множналікавымі назоўнікамі, радзей з прыналежнымі прыметнікамі, і ўтвараюцца ад імені заснавальніка рода: *Хомінюке* (ад імя Хома), *Костюке* (ад імя Костюк), *Горошке* (ад родавага прозвішча Гарошка), *Балуке* (ад родавага прозвішча Балук), *Свенчыны*, *Хімуліковы*, *Цпаўліковы*, *Цёпаўчыны* (ад родавых мянушак Свенка, Хімулік, Цпаўлік, Цёпаўка адпаведна) і інш. Сямейныя мянушкі-матронімы – найменні нашчадкаў, утвораныя ад імён, прозвішчаў або мянушак маці ці продкаў па жаночай лініі. Яны з’яўляліся там, дзе ў сям’і не было мужчыны, і былі вельмі рэдкімі (*Мараччыны* паходзяць ад мянушкі Марачка).

Заўважана, што прозвішчы-мянушкі ўзнікаюць у асноўным па дзвюх прычынах: па-першае, найчасцей для абазначэння асоб з аднолькавымі прозвішчамі; па-другое, радзей для выдзялення па якой-небудзь рысе пэўнай асобы ад усіх астатніх жыхароў вёскі. У такіх выпадках ацэнка ўваходзіць у якасці кампанента значэння ў семантычную структуру любога, нават нейтральнага слова. Такім чынам, мянушкі з’яўляюцца яркімі моўнымі адзінкамі. Іх унутраная форма прадвызначае выразны эмацыйны план. На нашу думку, генетычна амаль кожная мянушка, валодаючы дадатковай канатацыяй, ўказвае на тую ці іншую эмоцыю. Калі мянушка выступае матываванай, то і яе эмацыйны пачатак з’яўляецца адчувальным. Ужываючыся ў якасці агульнавядомай на тэрыторыі аднаго населенага пункта, мянушка з цягам часу становіцца ўсё менш эмацыйнай, яе выразны пачуццёвы пачатак са стратай матывацыі губляецца. Як бачна, большасць мянушак мае празрыстую ўнутраную форму, асобныя патрабуюць адпаведных тлумачэнняў, каментарыяў, удакладненняў. Яны найчасцей нагадваюць вядомыя словы, у якіх пэўным чынам заменена або відазменена натуральнае для такіх найменняў значэнне, што абумоўлена спосабам мыслення пра навакольны свет. З прааналізаванага матэрыялу вынікае, што часта мянушкі – семантычныя неалагізмы, у якіх чалавек ажыўляе забытае ці пашырае старое значэнне, укладваючы новае ў агульнавядомыя лексемы, якія выконваюць ідэнтыфікуюча-характарыстычную ролю і становяцца найбольш значнымі словамі-дамінантамі пры абмалёўцы і апісанні той ці іншай асобы. Несумненна, часцей за ўсё мянушкі ўзнікаюць у выніку метафарызацыі вядомага слова, якое пачынае выконваць характарыстычную ідэнтыфікацыйную функцыю, замацоўваючыся за індывідам у якасці яго прозвішча. Падсумоўваючы, зазначым, што найчасцей метафарызуюцца канкрэтныя назоўнікі, радзей прыметнікі. Такая метафарызацыя абумоўлена індывідуалізацыяй аб’екта называння. Калі ка-

жуць зайчык, сарока, шулячок то згаданыя назоўнікі, захоўваючы аднесенасць да класу звяроў, птушак, характарызуюць індывіда, які ўключаецца у іншы рода-відавы шэраг. Падабенства з зайцам, сарокай, шуляком ахоплівае цэлы комплекс прыкмет: невысокі, баязлівы, асцярожны, зухвальскі, ці балбатлівы усёвед, разносчык плётак, ці драпежны, хіжы, вастраносы адпаведна і г. д. Такім чынам, характэрныя для дадзенага класа аб'ектаў прыметы выкарыстоўваюцца з ацэначным значэннем і як сродак атаясамлівання асобы. Той, хто гаворыць, пры гэтым не вынаходзіць новыя словы, а найчасцей выкарыстоўвае «аблічча» ўжо існых адзінак у функцыі імені новага азначанага, такім чынам выкарыстоўваецца першасны моўны матэрыял. Лексіка-сэмантычны састаў неафіцыйных, вулічных найменняў (мянушак) в. Парэ быў дастаткова разнастайны. Наша даследаванне пацвярджае выснову М. В. Бірылы пра тое, што «імяны-мянушкі ў час іх узнікнення маюць пад сабой які-небудзь рэальны факт» [1, с. 182]. Да ўсяго, разгледжаныя антрапонімы сведчаць пра адметнасці вясковага побыту, культуры, заняткаў, узаемасувязяў з суседзямі, выступаюць яскравым відам народнага іменаслоўя.

Літаратура

1. Бірыла, М.В. Беларуская антрапанімія. Уласныя імёны, імёны-мянушкі, імёны па бацьку, прозвішчы / М.В. Бірыла. – Мінск : Навука і тэхніка, 1966. – 328 с.
2. Юрэвіч, У. Слова жывое, роднае, гаваркое. / У. Юрэвіч. – Мінск : Юнацтва, 1992. – 271 с.

Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины

Поступила в редакцию 14.01.2015

УДК 821.161.1'06-31*А.Проханов:159.922

Образы измененных состояний сознания в романе А. Проханова «Чеченский блюз»

О.Л. СЕВЕРИНОВА

Рассматривается проблема бытования образов измененных состояний сознания в современной «военной» прозе: определяются основные функции образов измененных состояний сознания и роль этих образов в формировании специфической картины мира художественной литературы, реализующей тему локальных войн. Исследование проводится на материале романа А. Проханова «Чеченский блюз».

Ключевые слова: образы измененных состояний сознания, картина мира, образ героя, современная «военная» проза, сюжет.

The problem of existence of the images of altered states of consciousness in the modern «military» prose is considered. It identifies the main features of images of altered states of consciousness and the role of these images in formation of a particular picture of the world of fiction, realizing the theme of local wars. This research is based on the novel by A. Prokhanov «Chechen blues».

Keywords: images of altered states of consciousness, picture of the world, image of the hero, modern «military» prose, story.

Тема локальных войн в творчестве А. Проханова имеет достаточно широкую историческую и географическую отнесенность. Однако в нашем исследовании мы обратимся к тому произведению писателя, которое отражает чеченский (шире – кавказский) локус в разработке темы войны в современной прозе, – к его роману «Чеченский блюз» (1998). Отметим сразу, что общая ориентация А. Проханова на традицию миметического изображения действительности в совокупности с переоценкой гуманистических идеалов, характерных для литературной баталистики предшествующих этапов, в контексте проблемы современных локальных войн в результате формируют образ пошатнувшегося, утратившего былую устойчивость мира.

Роман «Чеченский блюз» создан как своеобразное оперативное художественное сообщение о событиях Чеченской войны. Сюжет романа «Чеченский блюз» основан на фактах реальности. Он восходит к событию, имевшему место на территории Чечни в новогоднюю ночь 1995 г.: штурму города Грозного, который закончился окружением и уничтожением федеральных сил чеченскими боевиками. Это авторский вариант мироздания, заполненного насилием и агрессией, художественное преломление реальности времен вооруженного конфликта 1994–1996 гг.

В качестве методологии исследования особенностей представленной в романе картины мира мы прибегаем к сформировавшемуся в пространстве трансперсональной психологии понятию картографии человеческого сознания, включающего в себя биографический, около-родовой и надличностный уровни. Это позволяет, с одной стороны, охарактеризовать частную карту сознания романа, а с другой, – подтвердить функциональную значимость образов измененных состояний сознания (далее ИСС) и масштаб этой значимости для модели современной «военной» прозы в целом.

В романе «Чеченский блюз» условно можно выделить два аналитических центра. М. Ремизова в статье «Война внутри и снаружи» [1] в творчестве современных прозаиков выделяет интро- и экстраверсивный подходы к переработке военного опыта, которые тождественны позициям наблюдателя-аналитика: интроверсивный подход выстраивается с опорой на сознание героев-воинов, экстраверсивный – с опорой на откровенную дидактическую позицию писателя, комплекс его философских, политических, социальных приоритетов. Психологическая научная терминология, которую в своей статье использует М. Ремизова, облегчает нам задачу по апелляции к изначально нелитературоведческой области знания, задает общегуманитарные ориентиры, демонстрируя проблемный потенциал интроверсивного подхода, в том числе образов необычных состояний сознания в современной литературе о войне.

Интроверсия в произведении, обращенность его персонажей «в себя» – это основа, которая задает параметры литературной карты сознания, возникающей в романе. Экстраверсивный подход, вектор которого указывает вовне, в область многочисленных социальных отношений, создает внеположенную сознанию героев реальность: ее может достроить только повествователь. В романе А. Проханова названные подходы фактически равны двум сюжетным линиям произведения. Военные действия в Чечне, в Грозном, порождающие рефлексию, изменяющие состояние сознания героев, локализованы на уровне сознания отдельного человека. Мирное, праздничное, хотя и не праздное, существование банкира Якова Бернера, министра обороны и генерала представляют собой образную основу того закулисья театра боевых действий, которые разворачиваются в столице Чечни в новогоднюю ночь. То есть именно батальная составляющая романа отсылает нас к анализу образов ИСС как отражению интроверсивного поворота современной прозы о локальных войнах.

Заметим, что оба подхода (углубляющий и расширяющий) к освоению мира агрессии являются своеобразными эквивалентами тех видов насилия, о которых С. Жижек [2] говорит как о системном насилии капитализма (по отношению к экстраверсивной составляющей романа) и прямом физическом насилии (убийство как отдельный акт, основание для интроверсии). Причем первый тип насилия порождает второй. Эту связь, следовательно, можно перенести на отношения между названными подходами, реализованными в романе: экономическая и политическая надстройки детерминируют изменения в индивидуальном сознании, то есть расширение внешних границ вынуждает сознание задействовать свои глубинные уровни: «Было необъяснимо появление пожилого депутата среди кровоточащей площади Грозного с дымными остатками бригады, среди чеченцев, которые радостно и свирепо торжествовали свою победу. <...> Кудрявцев стиснул в кулак тающие остатки сил, чтобы выдержать удар победителей, а этот старикашка с развернутым российским флагом пришел под защитой чеченских стволов, дует и блеет в чеченский мегафон. Это походило на мираж, возникший в переутомленном сознании» [3]. Пример иллюстрирует одну из функций художественного образа ИСС в романе – фиксацию масштаба энтропии локальных войн, когда реальность (город, площадь, событие, действие) не просто уничтожается огнем, но теряют свою безусловную материальную природу, потому что она уже не может быть осмыслена, помещена в привычные границы «нормального» сознания.

Нарастающий хаос в масштабах лопающегося по аксиологическим базисным швам и разваливающегося мира – поле испытания для индивидуального сознания героя. Такой персонаж уже не мыслит себя не только в пределах привычного для классического реализма детерминированного мира, но и даже в пределах своего собственного тела. В романе «Чеченский блюз» одним из наиболее ярких примеров функционирования образов ИСС является образ ясновидения, расширения сознания, его выход за границы возможностей тела: «Особым, открывшимся в нем ясновидением Кудрявцев наблюдал за солдатом. Вот прижался к окисленной корме “бээмпэ”, глядя на расстрелянную пулеметную ленту. Короткой перебежкой, сматывая с головы мешавший платок, обогнул грузовик с лужей разлитого топлива» [3]. Это единственный и в то же время невозможный в нормальном мире-космосе тип отношений, который приемлем для расколотого мира, где потерялись все логические связи и трезвый разум беспомощен и бесполезен: только осколочному сознанию понятна природа другого такого же сознания/миропорядка. Трансперсональный характер такого переживания, как ясновидение, переживания вне тела, С. Гроф сводит к целому ряду причин, наиболее значимой из которых для нас в данном контексте является экстремальная, связанная с риском для жизни ситуация.

И если движение сюжета вообще – это череда постоянных преодолений и пересечений границ, то у А. Проханова эти границы расположены между сознанием и погибающей, дробящейся реальностью – так происходит смещение с одного уровня сознания на другой, более или менее удаленный от центра, от состояния сознания бодрствующего человека. Батальное действие, его кровавая натуралистичность, повторяющая на телесном уровне вскрытость процессов сознания, создает картину мира, где и смерть тела, и изменения в сознании чувственно наглядны, а не абстрактны и умозрительны. Это связано и с тем, что в состоянии измененного сознания логическое мышление, рационалистическая привычка к категоризации

уступают место наглядно-образному мышлению: «Он закрыл глаза, и под набрякшими веками стали беззвучно взрываться наливники, выплескивая фонтаны огня. Отрывалась и летела в небо черная башня танка. Бежали, обнявшись, два огненных танкиста, падали, охваченные липким пламенем. Искрилось черно-красное в стакане вино. Блестели выпуклые глаза Исмаила. Нож с костяной рукояткой погружался лейтенанту в горло. Черная птица сидела на крышке люка, открывала свой алый зев. И все крутилось, летело, как беззвучная карусель, и он, мальчик, гнался за перламутровой бабочкой, скакал на золоченом коне, и все пропадало в метели» [3]. В ситуации экстремальной/постэкстремальной событийности образы ИСС значительно повышают свой ценностный уровень, обеспечивают герою если не былую целостность, то относительное равновесие, проводя его вслед за искаженной реальностью, смягчая воздействие негативных аффектов.

Собственно в масштабе романа А. Проханова образы ИСС – это не только сиюминутный продукт, результат расширения границ образа героя, но и прием, позволяющий автору достроить ту картину обезумевшего мира, с которой человек вынужден искать и находить общий язык, чтобы не лишиться опоры, не утратить связь со своей памятью, прошлым, семьей, ценностями. Путь к такой стабильности он прокладывает, жертвуя нормальностью состояния своего обыденного сознания, спасаясь в динамике его процессов. Благодаря образам ИСС в романе «Чеченский блюз» возникают образы, внеположенные пространству войны: отец Ноздратенкова, церковь, платок матери Кудрявцева и «другой Новый год» в его воспоминаниях. То есть проблема войны разрабатывается А. Прохановым через образы ИСС, порождаемые не только экстремальной ситуацией, но и через образы ИСС иного происхождения. Сосредоточенность персонажа на себе часто приводит его к воспоминаниям о прошлом, о мирном времени детства, где идеологическая имперская монолитность совпадает с частной целостностью и стабильностью и даже определяет ее: «Он пронырнул сквозь этот крохотный вихрь обратно, в исчезнувшее время, в другой “Новый год”».

Их школа, построенная из сухого теплого бруса. Малый залец с портретами писателей и ученых. Горячая кафельная печь. Доставая до смуглого деревянного потолка сверкающей стеклянной вершиной, упираясь в нее хрупким золотым острием, — елка, свежая, маслянистая, оттаявшая, в струйках серебряных нитей. <...> Очнулся – боевая машина пехоты, сосновая ветка в фольге, на ладони – латунный патрон» [3]. Так нарушается линейность и однонаправленность времени в романе: оно не просто дискретно и обратимо как художественное явление. Эта обратимость времени в новой картине мира является продуктом функционирования сознания героя, постоянного смещения его границ. Образы необычных состояний сознания – это мощный пласт, целая образная сеть, покрывающая батальную сюжетную линию романа. То есть сюжетобразующее динамическое значение образов ИСС для современной прозы о войне нельзя свести кразрозненным или единичным фактам относительно статичной образности.

Смерть во имя обретения материальных благ становится свидетельством разложения мира, куда из детства, прошлого без войны как абсолюта добра брошены герои-воины (капитан Кудрявцев, рядовой Филимонов/Филя, старший сержант Ноздратенков/Ноздря, сержант Тараканов/Таракан, рядовой Чижов/Чиж). Примерно эту же схему описывает Николай Бердяев, характеризуя природу войны вообще: «Природа войны, как материального насилия, чисто рефлексивная, знаковая, симптоматическая, не самостоятельная. Война не есть источник зла, а лишь рефлекс на зло, знак существования внутреннего зла и болезни» [4, с. 287].

У А. Проханова перманентное преодоление зла Кудрявцевым и его небольшой бригадой одновременно является и свидетельством их экзистенциального выбора, и знаком подвига, служения в обстоятельствах, которые в масштабе такой картины мира его просто игнорируют. Духовная связь героев друг с другом, с домом в этом локусе абсолюта разрушения также возникает благодаря уже упомянутому ранее трансперсональному состоянию. Например, священник, отец Дмитрий Ноздратенков в момент молитвы вдруг видит своего сына: «И оттуда своим всевидящим оком он узрел сына. Живой сидит на полу разбитого и задымленного дома. Рядом с ним какой-то военный, в бинтах, обнимает его рукой, а над ними женщина в порванном платье, с дивным, как на иконе, лицом, заслоняет их от дымного ветра» [3].

Кроме духовных и душевных потрясений образы ИСС в «Чеченском блюзе» позволяют обнажить физические страдания на войне, создать натуралистичную картину насильственной смерти. Это и боль ранения, замутняющая рассудок, и околосмертное и послеобморочное состояния: «Он опять потерял сознание и очнулся в квартире, сидя на куче тряпья, привалившись к стене. Анна набросила ему сзади пальтушку, застегнула у горла пуговицу. Он сидел, перевязанный, в пальто на голом теле и медленно, усилием воли собирал воедино разорванную на ломти личность» [3].

Образ сознания, затуманенного вином (алкогольного опьянения), как один из образов ИСС в романе А. Проханова возникает в связи с образом лжепраздника, который устраивают для русских гостей в чеченском доме. Такое вино, полученное из рук врага, – это своеобразные дары данайцев, предвестие гибели, ловушка для разума воина. Сознание Кудрявцева, отвлеченное от военных обязанностей опьяняющим туманом, становится отправным, начальным моментом батального действия: «Он опьянел, но не тяжело, а сладко и мягко, так что огни вдалеке окутались легчайшим туманом» [3]. Так образы особых состояний сознания человека на войне нанизываются друг за другом на сюжетную линию. А если учесть, что сознание человека непрерывно, текуче, то названные образы, фиксирующие динамику каждого последующего внешнего и внутреннего изменения, обеспечивают движение сюжета в целом.

Кстати, именно враги-чеченцы являются носителями того состояния сознания, чья метафорическая номинация тождественна провоцируемому их же усилиями алкогольному туману Кудрявцева, – это опьянение победой, эйфория, охватывающая массу: «Боевики, словно пьяные, все водили свой победный хоровод, стреляли из автоматов, и несколько гранатометчиков выпустили заряды, разбивая вдребезги уже подбитую и умерщвленную технику» [3]. Образ ИСС, зарождающегося в толпе, под воздействием масс также возникает и у русского воина, командира взвода, юного неопытного лейтенанта: «Было видно, что он ликует, ощущая свою малую отдельную жизнь встроеной в могучее движение армады, где каждый, кто к ней общался, становился непобедимым, всесильным» [3]. Таким образом, можно предположить, что изменения в сознании – это феномен не только углубления, но также и расширения границ картины мира современной «военной» прозы: и русский, и чеченец равны в своих правах мыслить, познавать создаваемый ими же конец света.

Ряд упомянутых нами образов ИСС описывают так называемый биографический уровень сознания героев. Среди подобных состояний можно также называть сон и состояние сознания раненого. И если сознание раненого героя, русского или чеченца, не предполагает обязательного метасодержательного уровня, транслирующего дополнительные смыслы, то отсутствие сновидений во время сна и, следовательно, отсутствие их описаний представляется уже значимым отсутствием, очевидно контрастирующим с более ранними вариантами традиций «военной» литературы, активно обращавшейся к онирической образности: «Он заснул, спал ровно секунду, за эту секунду облетел Землю и очнулся» [3].

Советское державное прошлое, его присутствие, материализованное, распознаваемое культурным зрением, вызывает у героя романа «Чеченский блюз» Кравцова переживание надличностного характера, где время не знает пределов привычной объективной реальности рационалистического взгляда, где оно непривычно двунаправлено: «В этом луче виднелся выложенный кирпичом закопченный лозунг: “Мы строим коммунизм!”», а под ним были изображены мужчина и женщина, держащие в поднятых руках искусственный спутник, похожий на ежа. Их вид вызвал у Кудрявцева странное переживание, будто колонна их заблудилась, по неверным картам попала в другое, израсходованное и сгоревшее время, и копать этого времени лежит на лозунге, на броне машин, на лице взводного, и он, Кудрявцев, в легкой окалине сгоревшего времени» [3]. Это состояние типологически можно отнести к трансперсональным состояниям, в которых происходит временная, историческая регрессия. И только преодолев границу (войдя с колонной в город), капитан Кудрявцев избавляется от этого переживания, так как граница, переход снимают ощущение бесконечности происходящего, нелинейности времени, возвращают героя в состояние нормального бодрствования. Приведем еще несколько наиболее показательных примеров того, как образы ИСС заполняют карту сознания романа.

Так, смерть Фили – одна из самых наглядных проекций на околородовую область опыта человека. У А. Проханова этот эпизод помещен в сферу танатоса не случайно: в такой космологии современности смерть представлена единственной на войне возможностью обменять воспоминания о рае на сам рай, сбежать от чудовища-войны: «Направлялся к своему далекому дому, к матери, чувствуя ее сквозь огромное пространство заснеженной дикой земли, привязанный к ней неисчезнувшей пуповиной. Мать беззвучно звала его через снега, побоища, дымные боевые колонны. <...> Фили упал, свернулся в калачик, как эмбрион. Принял ту позу, которую занимал в материнской утробе. Соединился с ней в смерти» [3]. Такой околосмертный опыт и сама гибель описывают стремление пережить ощущения БПМ-1 (базовой перинатальной матрицы по С. Грофу), которая описывается через состояние эмбрионального безопасного существования, единения с матерью – образ рая.

Еще один конфликт между миром и представлением героя о нем, его сознанием, заканчивается уже не возвращением в рай через смерть, а возвращением в ад жизни, вторым опытом рождения, не уступающим по силе ужаса первому. Кравцов, бессознательно спасаясь от огня и гибели, устремляясь прочь от горящей и стреляющей площади, случайно оказывается в пустом доме: «Он сидел, спрятав голову, парализованный, желая исчезнуть, пропасть, стать невидимкой, уменьшиться до размеров сверчка, сжаться в одну-единственную клетку и в таком состоянии пережить, перетерпеть катастрофу. <...> Опасность исходила отовсюду. От площади, наполненной врагами, ищущими для своих гранат и пулеметов все новых и новых целей. От темных, окружающих дом строений, где притаилась засада, наблюдали зоркие злые глаза. От дома, где он находился и чьи полузакрытые двери и неосвещенные окна могли внезапно раскрыться и загореться, и из них выскочат разъяренные люди, схватят его, поведут на площадь» [3]. Этот страх, боязнь внешней угрозы жизни, ведущих к ней окон и дверей, восходит к БПМ-3, одному из травматических этапов рождения, а желание уменьшиться до размеров клетки, исчезнуть сродни желанию единения с матерью бегущего навстречу смерти Фили.

Таким образом, художественная целостность романа А. Проханова «Чеченский блюз» и динамика его сюжетного действия сформированы и поддерживаются тем мощным пластом художественной образности, которая обращена к особым состояниям сознания человека на войне. Это делает образы ИСС неотъемлемой частью модели современной «военной» прозы.

Литература

1. Ремизова, М. Война внутри и снаружи / М. Ремизова [Электронный ресурс]. – 2002. – Режим доступа : <http://magazines.russ.ru/october/2002/7/remiz.html>. – Дата доступа : 09.12.2014.
2. Жижек, С. О насилии / С. Жижек. – М. : Европа, 2010. – 184 с.
3. Проханов, А. Чеченский блюз / А. Проханов [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : <http://knigosite.org/library/read/12617>. – Дата доступа : 05.12.2014.
4. Русские философы о войне : Ф.М. Достоевский, Вл. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Е.Н. Трубецкой, С.Л. Франк, В.Ф. Эрн. – Жуковский ; М. : Кучково поле, 2005. – 496 с.

УДК 811.163. '373.2:392.51 (476.2)

Канец – справе вянец: назвы паслявясельнага этапу шлюбнай абраднасці ў гаворках Гомельшчыны

А.А. СТАНКЕВІЧ

Апісваюцца назвы паслявясельнай часткі шлюбнай абраднасці на Гомельшчыне, вызначаюцца тыпы іх структурна-семантычнай матываванасці. Праведзена этналінгвістычная характарыстыка абрадавых назваў, вызначаны тыпы іх структурна-семантычнай матывацыі і дэрывацыі. У складзе прааналізаваных назваў выдзелены аднаслоўныя намінацыі, свабодныя і ўстойлівыя спалучэнні. Апісаны варыянтныя і сінанімічныя адносіны паміж назвамі заключнага этапу вясельнай абраднасці Гомельшчыны.

Ключавыя словы: вясельная абраднасць, вясельная лексіка, паслявясельны этап, рытуальныя акты, сімволіка абраду.

The description of the names of the stage after the wedding of the marriage rite in the Gomel region is given, the types of their structural-semantic motivation are determined. The article deals with the ethno-linguistic characteristics of the ritual of the names and types of their structural and semantic motivation and derivation. Among the analyzed names were selected one-word names, free and idiomatic expressions. Described variant and synonymic relations between the names of the final stage of the wedding rituals of the Gomel region.

Keywords: wedding rituals, wedding vocabulary, stage after the wedding, ritual acts, symbolism of the rite.

Традыцыйная беларуская нацыянальная культура, якая фарміравалася на працягу многіх стагоддзяў, адлюстравала ў сабе народную мудрасць і вопыт, нашу нацыянальную свядомасць і менталітэт. Тэрыторыя Усходняга Палесся – гэта своеасаблівы рэгіён з адметнай гісторыяй, этнічнымі, культурнымі і моўнымі асаблівасцямі, у якім найбольш поўна захаваліся ў розных праявах архаічныя элементы традыцыйнай народнай матэрыяльнай і духоўнай культуры. Каштоўнасць форм праяўлення аўтэнтычнай культуры гэтага рэгіёна вызначаецца тым, што гэта сведчанне жывых традыцый сацыяльнага ўкладу палешукоў-беларусаў. Большасць архаічных элементаў традыцыйнай народнай спадчыны існуюць у адзначанай культурнай прасторы як звыклая, важнейшая форма зносін іх носьбітаў паміж сабою, сродак выражэння іх этнічнай самасвядомасці, праяўлення гарманічнай сувязі з акаляючым светам. Многія спосабы праяўлення традыцыйнай духоўнай палескай культуры з'яўляюцца ў нашы дні яшчэ жыццяздольнымі, але могуць знікнуць у бліжэйшы час [1, с. 5].

Народная мова з'яўляецца важным састаўным кампанентам духоўнай культуры. Нагадаем вядомае выказванне В. фон Гумбальта: «Мова – душа народа, і душа народа – яго мова». Адной з самых цікавых і пакуль што недастаткова даследаваных у беларускім мовазнаўстве тэматычных груп народна-дыялектнай мовы з'яўляецца сямейна-абрадавая лексіка, якая называе самыя значныя падзеі ў жыцці чалавека, з'яўляецца вербальным кодам разнастайных рытуальных актаў і дзеянняў.

Народны абрад як факт традыцыйнай культуры, які спалучае матэрыяльны і духоўны пачатак, валодае максімальнай ступенню сімвалізацыі і ўяўляе асаблівую цікавасць для даследчыка. З усіх сямейных абрадаў найбольш поўна ў фальклорна-этнаграфічным плане апісаны самы працяглы па часе вясельны абрад, які ўключае шматлікія рытуальныя дзеянні, акты і цырымоніі, звязаныя з рознымі этапамі вясельля: дашлюбным, шлюбным і пасляшлюбным. Кодавая сістэма абраду, як адзначаюць даследчыкі, змяшчае ўстойлівыя слоўныя, дзейсныя і прадметныя коды. Састаўнымі элементамі абраду з'яўляюцца, такім чынам, абрадавыя акты, выканаўцы рытуальных дзеянняў і інвентар рэалій [2], [3], [4].

Лексіка розных этапаў вясельнай абраднасці Гомельшчыны, у тым ліку назвы трэцяга дня вясельля, апісвалася ў асобных работах¹, але не была прадметам усебаковага аналізу. Прадмет нашага даследавання – сістэма назваў паслявясельнага этапу шлюбнай абраднасці, што выкарыстоўваюцца на тэрыторыі Гомельскай вобласці. Мэтай даследавання з'яўляецца

¹ Хазанова, К.Л. Трэці дзень вясельля ў лексіцы гаворак Гомельшчыны / К.Л. Хазанова // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. – 2012. – № 1 (70). – С. 184–188

структурна-семантычная і этналінгвістычная характарыстыка намінацый заключнага этапу вяселля і яго паслявясельнай часткі. Крыніцай фактычнага матэрыялу паслужыў дыялекталагічны архіў кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны, складзены па выніках вучэбных практык у розных раёнах Гомельскай вобласці, а таксама выданні фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў гэтага рэгіёна, прысвечаныя вясельнай абраднасці.

Заключнаму этапу вясельнай абраднасці надавалася вялікае значэнне, аб чым сведчаць разнастайныя акты і дзеянні, якія ў гэты час адбываліся. Гэтыя дзеянні мелі, як правіла, гумарыстычны, забаўляльны характар, яны здымалі напружанне пасля асноўнай часткі вяселля, уносілі асаблівы, гульнёвы кампанент.

Для намінацыі пасляшлюбнай часткі вяселля на Гомельшчыне выкарыстоўваліся не толькі аднаслоўныя найменні, але і словазлучэнні, як свабодныя, так і устойлівыя.

Да заключнай часткі вясельнай абраднасці на Гомельшчыне адносіцца ў большасці населеных пунктаў трэці дзень вяселля: *Трэці дзень вяселля – апошні дзень вяселля, звычайна аўторак* (в. Крупейкі, Лоеўск. – Лоеўшч., с. 247). У некаторых вёсках гулянне працягвалася і на чацвёрты, пяты дзень: *Цяпер свадзьбы у растаране гуляюць і ў нядзелю. А раней – о, былі свадзьбы. Па недзелі гулялі!* (в. Старое Сяло); *А на трэці дзень ужэ, на чацвёрты, на пяты з мае стараны (напрымер, я – нявеста) ўжэ сабіраюцца* (в. Старое Сяло).

Трэці дзень вяселля меў розныя назвы. Абавязковым элементам заключнай часткі вясельнага абраду было прыгатаванне і ўжыванне курыцы або пеўня, таму часта гэты этап называўся *курэй* (кур) *драць* (лавіць, збіраць, сбіраць, круціць); *гуляць пяхі*; *карэнне драць* «абскубваць курыцу», *папалішча дуць*: *Трэці дзень называўся «драць куру»*. У гэты дзень збіраліся *радня маладога і маладой і паасобку хадзілі да сваёй радні з хаты ў хаты. Бралі курыцу і няслі яе ў край сяла, з песнямі. Там гэту курыцу скублі, смалілі* (в. Івакі, Добр.); *На трэці дзень дралі курэй. Перапраналіся хто ў што і шлі на вёсцы. Чыю курыцу забяць, забівалі. Шлі дамоў і варылі яе* (в. Гарошкаў); *Старых надзяюць маладой. І ідуць ужэ, пяхуць, курэй круцяць, што толькі не выдумляюць* (в. Гарошкаў); *На трэці дзень вяселля ў маладога збіраецца свая радня, а ў маладой – свая радня і гуляюць «пяхі»* (в. Чырвоны бераг, Жлоб. – ВнГ, с. 193); *А на трэці дзень гуляюць пяхуць – запрагаюць у цялегу моладзь. Граюць у гармошку і едуць уздоўж вуліц. Едзяць к тым, хто былі на свадзьбе. Заязжалі ва двор і бралі пяху, курыцу і прывязвалі да воза на вяровачку* (в. Гарошкаў); *Канчаецца свадзьба – карэнне драць. Надзяю штаны, надзяю лапці, дзелаю сабе горб на плячах, бараду прышчаплю, шапку выварочваю і пайшла курэй лавіць* (В., с. 234); *Казалі: «Папалішча пойдзем дуць .. Свадзьба ж то ўчора была, а сёння пойдзем папалішча дуць, курэй збіраць, смаліць»* (в. Васільеўка, Добр. – ЗЧД, с. 207).

Выкарыстоўваліся для назвы трэцяга дня вяселля таксама метанімізаваныя лексемы *куры*, *пяхі*, *пеўні*, *папалішча*, *разгрэбіны*, *галоўні*: *Трэці дзень – «куры»*: ««Куры» таму, што звычайна падстаўныя маладыя пераапрацоўваюцца, бяруць з сабой «цыган», ходзяць па дварах – крадуць курэй. Увечары з гэтых курэй вараць суп (г.п. Камарын, Браг. – НДКБ, с. 122); *Збіраліся на трэці дзень вяселля – пяхі* (в. Карані, Светл. – ВнГ, с. 421); *У нас называлось это «пеўні», ужэ на трэці дзень свадзьбы* (в. Судкова, Хойн. – ХСД, с. 153); «Напрымер, пяхуюць пеўня, а не, так і два. У нявесты адно есці і ў жаніха. Яшчэ й гарэлкай палі етага пяху. Красны бант сюды на ікшыцы завязуць. Убяруюць ужэ пяху тога. І за аборачку ўжо зачэпіш (В., с. 242); *Разгрэбіны гуляюць на пяты дзень. Кладуць вогнішча на дарозе, каля двара. Бяруць з седала курыцу і смаляць яе на вогнішчы* (в. Рудня Марымонава, Гом. – ВнГ, с. 162); *Трэці дзень. «Галоўні». Збіраюць курэй у тых людзей, хто ўчастваваў у вяселлі»* (в. Каўпень, Лоеўск. – Лоеўшч., с. 243).

Курыца, як адзначаецца ў літаратуры, у вясельным абрадзе выконвала значную рытуальную нагрузку. Курыца-наседка была сімвалам замужняй жанчыны, замяшчала нявесту ў вясельным поезде. Яе знішчэнне і паяданне сімвалізавала ахвярапрынашэнне і пераход нявесты ў іншы сямейны статус [4, с. 124–125]. З пеўнем была звязана сімволіка адраджэння жыцця. На вяселлі ён сімвалізаваў мужчынскую сілу, сексуальную патэнцыю, пладавітасць і будучы дабрабыт маладых [5]. Як адзначаюць некаторыя інфарматыры, «куру дралі», калі нявеста была цнатлівая: *На пярэзвы смаляць курэй іносяць іх на палках, што нявеста чэсная* (в. Рудзянец, Б.-Каш. – ЖПР, с. 247).

Паколькі рытуал «куру драць» меў шумны, жартаўлівы характар, ён часта абазначаўся метанімізаванай назвай «цыганы»: *Цыганамі заканчваецца трэці дзень вяселля. «Цыганы» – гэта цэлае прадстаўленне.. «Цыганой» чутно здалёк па крыку, смеху* (в. Елянец, Б.-Каш. – ЖПР, с. 67) або словазлучэннем *хадзіць у цыганы, гуляць у цыганей: На трэці дзень «хадзілі ў цыганы». Жэнічыны паадзяюцца ў мужское, а мужчыны – у жэнскае, паўмазваюцца, паўкрасваюцца. І вот, ідуць па дзярэўне. Ідуць, дзе бяжыць курыца, яны тую курыцу «хлоп!», да ўб'юць яе, да ў торбу. Прыташчылі етае к маладому ці к маладой. І гэтае зноў гатавалі* (в. Дуброўнае, Браг. – НДКБ, с. 121); *Пасля свадзьбы ўжо ў панядзельнік гулялі ў цыганей. Свадзьбу маглі гуляць .. дажа цэлую нядзелю* (в. Лексічы, Хойн. – ХСД, с. 151).

Пераапрапанне, якое мела месца ў вясельным рытуале, таксама не было выпадковым. Калі малады прыязджаў па маладую, яму выводзілі «падманную» нявесту, а калі ён адмаўляўся ад яе, патрабавалі выкуп. Такі звычай хаваць нявесту, выстаўляць падманых, несапраўдных нявест быў вядомы ўсім усходнеславянскім народам. Як мяркуюць даследчыкі, пераапрапанне ў «нявесту» паходзіць ад старажытнага абраду ахоўвання нявесты ад злых духаў, імкнення падмануць іх, увесці ў зман [6]. У паслявясельнай частцы, на заключным этапе вяселля, калі гулялі ў «цыганой», мужчыны пераапрапаналіся ў жанчын, а жанчыны ў мужчын. Гэта пераапрапанне гасцей мела на мэце павесяліць прысутных, хаця вытокі такога звычайу – у імкненні адцягнуць ад маладых увагу злых духаў [7]. «Цыганы» паводзілі сябе вельмі шумна: крычалі, смяяліся, спявалі, хадзілі па хатах, кралі посуд і г. д. Сажа, якою «цыганы» мазалі твар, замяняла маску. Паводле меркавання Я.Г. Кагарава, абмазванне пераапрапанутых сажай, якую бралі з печы ў хаце, сімвалізавала далучэнне да дамашняга ачага і мела, акрамя таго, карпаганічнае значэнне [6]. Пераапрапанне, якое называюць травесцізмам, як адзначаюць даследчыкі, было характэрна для многіх абрадаў і мела сімволіка-міфалагічны характар, выконвала апатрапеічную і карпаганічную функцыі. У вясельнай абраднасці пераапрапанне мужчын у жанчын, а жанчын у мужчын было накіравана на стварэнне камічнага эфекту [8].

Для абазначэння заключнага этапу вясельнай абраднасці на Гомельшчыне актыўна выкарыстоўваліся таксама лексемы *банкет*: *Адзін сват маладых к сабе прыглашае і гуляюць. А другі сват бярэ к сабе старых. Гэта называецца банкет* (в. Ворнаўка, Карм. – ВнГ, с. 278); *банкеты*: *Пасля свадзьбы былі «банкеты»* (в. Хальч); *словазлучэнні вадзіць (дзелаць, сабіраць, збіраць) банкеты, браць абеды, вадзіць бяседы: Жаніховы раство банкеты водзяць, і нявесціны банкеты. От адні атводзяць нядзелю, а тады тыя нядзелю* (в. Старое Село); *Сколькі ў каго была родзічаў, яны дзелалі банкеты, так называліся, пасля свадзьбы* (в. Хальч); *Родственнікі ў канцы свадзьбы дагаворваюцца, калі банкеты сабіраць .. У гэта васкрасенне мы вас пасадзілі за стол, у наступнае васкрасенне – вы нас* (Казацкія Балсуны, Ветк. – ВнГ, с. 134); *На трэці дзень збіраюць банкеты, родзічы водзяць, сразу нівесціны, потым жаніховы* (в. Старое Сяло); *Должэн кожны старшы сват і стары сват браць «абеды».. Гэта называецца банкет* (в. Ворнаўка, Карм. – ВнГ, с. 278); *Калі два дні пагулялі, то пасля цэлую нядзелю вадзілі бяседы .. Кожны дзень у рознай хаце гулялі* (в. Калініна, Гом. – НДС, с. 198). У в. Багданавічы Кармянскага раёна гэта мерапрыемства называлі экспрэсіўна афарбаванай лексмай *разгуліны*: *На трэці дзень гулялі «разгуліны». Гэта значыць, госці маладой прыходзілі да яе дому, а госці маладога да яго* (ВнГ, с. 281).

У большасці мясцовасцей рытуалы *правядзення банкета, драць куру і гуляць у цыганы* сумяшчаліся ў адзін, трэці дзень, у іншых – расцягваліся на некалькі дзен: *На другі дзень у кросных банкеты, трэці – куру драць, чацвёрты – цыганы* (Баршчоўка, Добр. – ЗЧД, с. 251).

Сустрэкаюцца на Гомельшчыне і метафарычныя назвы трэцяга дня вяселля: *пята*: *На трэці дзень была пята. Малады і маладая даюць петуха. На вуліцы скубуць яго і вараць суп* (в. Стаўбун, Ветк. – ВнГ, с. 118); *хвост*: *У понедзельнік наступнае хвост. Прыходзяць усе людзі. Молодого людзі сядзяць у молодого, а маладой – у маладой* (в. Валаўск, Ельск. – ВнГ, с. 189); *Хвост* звычайна рабілі ў панядзелак. *На ім прысутнічалі самыя блізкія і родныя* (в. Ляскавічы, Петр. – ВнГ, с. 363); *крошкі*: *На трэці дзень у хаце маладой спраўлялі крошкі. Лічылася, што гэта ўжо маладая хазяйка частуе гасцей* (г. Жлобін. – ВнГ, с. 194); *Трэці дзень называюць «на крошкі». Гатовілі, гулялі, даядалі, што засталася* (в. Клівы, Хойн. – ХСД, с. 150). Такія метафарызаваныя назвы падкрэслівалі фінальны, завяршальны характар гэтага этапу.

На заключным этапе вясельнага рытуалу маглі «гуляць зайца»: *У панядзелак вечарам «гуляюць зайца» ў хаце маладога. Госці без дружак. Адзяюцца некалькі чалавек ва ўсё рванае. Гэта цыгане. Бегаюць у розныя хаты, хватаюць хто што .. Адзін чалавек перадзяваецца ў кажух – гэта заяц. Заяц уцякае, хто-небудзь страляе ў зайца, ён падае. Зайца кладуць на стол. Абліваюць гарэлкай, мо жывы? Потым луцяць, скідаюць кажух, шапку (аблупліваюць). Заяц ускоквае і танцуе на століку. Госці ідуць у хату «есці зайчаціну». «Зайца» гуляюць і ў хаце маладой (в. Алексічы, Хойн. – ХСД, с. 129). Вобраз зайца таксама невыпадковы на вяселлі. Заяц у народных уяўленнях надзяляўся мужчынскай эратычнай сімволікай: «Як жывёла, вядомая сваёй пладавітасцю, заяц увасабляе пладаносную сілу» [9]. Калі вясельны поезд перапынялі з мэтай атрымаць выкуп (пачастунак), гэта называлася «лавіць зайца». У славянскай вясельнай абраднасці заяц з'яўляецца сімвалам жаніха [10].*

Асобным рытуалам паслявясельнай часткі, які праводзіўся ў некаторых мясцовасцях, быў *перэпой*: *А шчэ ж перэпой буў .. Молодому ў ее хаці перэпівалі боярые.. Хто рубля, хто копейкі. Квасом перэпівалі, компотом ці з груш, ці з яблук. Молоды седзіць. Екі мужчына поўз столы ідзе з чаркою. Становіцца. Кажэ: «Перэпівае сусед». А той кажэ: «Пераніваю ішчасце, долю і век доўгі». Перэпьюць да ўжэ кончаюць (г.п. Тураў. – ВнГ, с. 253).*

Абавязковым эпізодам паслявясельнай абраднасці было наведванне маладой яе бацькамі ў хаце маладога, якое звычайна адбывалася праз тыдзень пасля вяселля. Візіт бацькоў да дачкі называўся *пярэзавы, пярэзвы, перазоў, пярэвіны, госці, пірагі*: *Даждаўшы наступнай суботы пасля вяселля, бацькі маладой звалі дачку з зяцем і са сватамі к сабе ў госці .. А яшчэ цераз нядзелю, таксама ў суботу, ужо бацькі маладога рабілі пярэзавы. І на гэтым ужо вяселле заканчваецца (в. Міхнаўка, Браг. – ВнГ, с. 43); Праз тыдзень, у нядзелю, большасць удзельнікаў вяселля збіраецца зноў на пярэзвы, галоўная мэта іх – праведаць маладых (в. Гажын, Нараўл. – ВнГ, с. 353). Вяселле лічыцца незакончаным, пакуль родзічы жаніха і нявесты не сходзяць адны да другіх у госці. Гэты абрад называецца «Госці» або «Пірагі» (в. Елянец, Буда-Каш. – ВнГ, с. 67); Пірагі або госці – ўзаемнае наведванне бацькоў маладых, робіцца гэта праз тыдзень пасля вяселля – (в. Любавічы, Жытк. – ВнГ, с. 236); Праз тыдзень пасля вяселля назначаліся «госці», дзе збіраліся самыя родныя з стараны жаніха і нявесты (в. Сямурадцы, Жытк. – ВнГ, с. 220).*

Такім чынам, паслявясельная частка мела розныя назвы. Некаторыя з іх – аднаслоўныя найменні, як адзіночналікавыя *перэпой, пята, хвост*, так і, у большасці сваёй, множналікавыя *пярэзвы, банкеты, разгрэбіны, разгуліны, пірагі, пяхухі, куры, крошкі, госці*. У складзе прааналізаваных назваў нярэдка сустракаюцца словазлучэнні, як свабодныя, так і ўстойлівыя: *провады свадзьбы, на бліны зваць, куру драць, карэнне драць, у цыганы хадзіць, банкеты вадзіць, вадзіць бяседы, гуляць зайца*. Асобныя назвы маюць празрыстую ўнутраную форму, з'яўляюцца аддзяслёўнымі дэрыватамі, матываванымі выконваемым дзеяннем: *пярэзвы* (утворана ад *перазываць* – «запрашаць і хадзіць адзін да аднаго ў госці»), *разгрэбіны* (*разгрэбіці* – «расчысціць, раскідаць што-небудзь», перан. – «завяршыць»), *разгуліны* (*разгуляцца* – «даць сабе волю, разысціся»), *перэпой* (*пераніваць* – «піць па чарзе»), *адводзіны* (*адвесці* – «закончыць»). Некаторыя лексемы ўзніклі ў выніку метафарызацыі агульнаўжывальных слоў – *пята, хвост, крошкі*, у семантычнай структуры якіх актуалізуецца сема «апошняя, канцавая частка чаго-небудзь». Як вынік метанімічнага пераносу часткі на цэлае ўтварыліся назвы *куры, петухі, пірагі, галоўні, цыганы, госці*. У адных словах семантычная дэрывацыя адбылася на аснове пераносу аб'екта, на які накіравана дзеянне (*куры, петухі, пірагі*) або суб'екта, які яго ўтварае (*госці, цыганы*) на само дзеянне – паслявясельнае гуляння. У другіх – перанос адбыўся на аснове лагічнай сумежнасці, ускоснай сувязі працэсу дзеяння з яго вынікам: *папалішча, галоўні* – тое, што застаецца ад вогнішча, на якім смаляць курыцу.

У складзе разгледжаных назваў паслявясельнай часткі сустракаюцца разнастайныя варыянты рознага тыпу: фанетычныя: *пярэзавы, пярэзвы*; фанетыка-словаўтваральныя: *пярэзвы, пярэвіны; петухі, пеўні; кура, курыца*; фанетыка-марфалагічныя: *пярэзвы, перазоў*. Варыянтнымі з'яўляюцца многія словазлучэнні тыпу: *драць куру, круціць курэй; дзелаць банкеты, вадзіць банкеты*. У сінанімічныя адносіны ўступаюць такія лексемы, як *пята, хвост, крошкі, куры, петухі, цыганы, пірагі* інш., якія называюць паслявясельны этап.

Большасць разгледжаных назваў з'яўляюцца стылістычна нейтральнымі, іх асноўная функцыя – намінаць, для некаторых з іх характэрна дадатковая эмацыянальна-ацэначная канатацыя, якая змяшчае іранічна-жартаўлівае адценне: *разгуліны, разгрэбіны, перэпой*. Усе назвы, за выключэннем лексемы *банкет*, запазычаныя з французскай мовы, з'яўляюцца сваямоўнымі.

Умоўныя скарачэнні

В – Вечнае: Фальклорна-этнаграфічная спадчына Веткаўскага раёна / аўт. уклад. : І.Ф. Штэйнер, В.С. Новак. – Гомель : УА «ГДУ імя Ф. Скарыны», 2003. – 362 с.

ВнГ – Вяселле на Гомельшчыне: фальклорна-этнаграфічны зборнік / уклад. І.Ф. Штэйнер, В.С. Новак. – Мінск : ЛМФ «Нёман», 2003. – 472 с.

ЖПР – Жаўруковая песня радзімы: Народныя духоўныя скарбы Буда-Кашалёўскага краю : манаграфія / ГДУ імя Ф. Скарыны ; пад агульнай рэдакцыяй В.С. Новак. – Гомель : Сож, 2008. – 424 с.

ЗЧД – Зямля чароўная дабра: Добрушскі край: гісторыя і сучаснасць / Пад агул. рэд. А.А. Станкевіч. – Гомель : ААТ «Полеспечать», 2008. – 280 с.

Лоеўшч. – Лоеўшчына... Бэзавы рай, песенны край. Сучасны стан традыцыйнай культуры Лоеўшчыны / Укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца В.С. Новак. – Гомель : Сож, 2007. – 472 с. : іл.

НДКБ – Народная духоўная культура Брагіншчыны : фальклорна-этнагр. зб. / склад. В.С. Новак, У.І. Коваль. – Гомель : Белдрук, 2007. – 240 с.

НДС – Народная духоўная спадчына Гомельскага раёна / Укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца і рэдагаванне В.С. Новак. – Гомель : ААТ «Полеспечать», 2007. – 456 с. : іл.

ХСД – Хойнікшчыны спеўная душа: народная духоўная культура Хойніцкага краю : фальклорна-этнаграфічны зборнік / пад агул. рэд. В.С. Новак. – Мінск : Выд. Цэнтр БДУ, 2010. – 303 с. : іл.

Літаратура

1. Традиции материальной и духовной культуры Восточного Полесья : проблемы изучения, сохранения и развития в постчернобыльское время : монография / Науч. ред. Д.Г. Лин. – Гомель : УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2003. – 167 с.

2. Никольский, Н.М. Происхождение и история белорусской свадебной обрядности / Н.М. Никольский. – Минск : Изд.-во АН БССР, 1956. – 273 с.

3. Варфоломеева, Т.Б. Северобелорусская свадьба: обряд, песенно-мелодические типы / Т.Б. Варфоломеева ; ред. З.Я. Можейко. – Минск : «Наука и техника», 1988. – 156 с.

4. Зорин, Н.В. Русский свадебный ритуал / Н.В. Зорин. – Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – М. : Наука, 2004. – 248 с.

5. Животные в мифологии [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : <http://mar4586.narod.ru/animals/birds/hen.html>. – Дата доступа : 29.10.2014.

6. Народная одежда в обрядах и обычаях восточных славян [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : <http://judis.ru>. – Дата доступа : 29.10.2014.

7. Виноградова, Л.Н. Ритуалы типа «вождения ряженого» // Philologia Slavica : К 70-летию академика Н.И. Толстого. – М., 1993. – С. 24–30.

8. Глухова, Г.А. Символика ряженья в традиционной культуре удмуртов : автореф. дисс. ... канд. фил. наук : 10.01.09 / Г.А. Глухова. – Ижевск, 2002. – 21 с.

9. Гура, А.В. Символика животных в славянской народной традиции / А.В. Гура. – М. : Изд.-во «Индрик», 1997. – С. 177–199.

10. Жарникова, С.В. Нить времени : Обряды и праздники / С.В. Жарникова [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : <http://www.cultandart.ru/society/84779>. – Дата доступа : 29.10.2014.

УДК 821.161.1'06 – 31 – 9 “20”

Нон-фикшн и собственно документальная проза в литературном процессе России 2000-х – первой половины 2010-х годов

Н.В. СУСЛОВА

Рассматривается проблема взаимоотношений между понятиями «нон-фикшн» и «документальная литература», сложившихся на современном этапе бытования русской литературы. Автор доказывает, что для обозначения видовой принадлежности произведений, предлагающих модель реальности, находящуюся за пределами «сферы вымысла», в настоящий момент корректнее использовать термин «нон-фикшн», в каждом конкретном случае уточняя особенности их жанровой специфики, которая обычно являет сложную гибридную природу.

Ключевые слова: нон-фикшн, документальная литература, постдокументалистика, справочно-энциклопедическая литература, публицистика, небеллетристическая проза, «промежуточная» литература.

The research of relations between the concepts of «non-fiction» and «documentary literature», established at the present stage of development of Russian literature are considered. For designating specific belonging of the compositions, offering a model of reality that is outside of the «sphere of fiction», in the moment, it is more correct to use the term «non-fiction», in each case specifying the characteristics of their genre, which, in most cases, is a complex hybrid nature.

Keywords: non-fiction, documentary literature, postdocumentary, encyclopedic reference literature, journalism, non-belletristic prose, «intermediate» literature.

Проблема терминологической полифонии, неоднократно дискутировавшаяся в связи с современным этапом бытования литературоведения, в строгом смысле проблемой не является: фактически каждая из сложившихся научных школ либо направлений выстраивает свой понятийный ряд, материализуя его в адекватных терминах. Гораздо более серьезную проблему порождает традиция использования целого ряда общепринятых терминологических обозначений, которые не только не являются точным отражением понятия, но и порой искажают представления о его содержании. Наиболее ярким примером подобной ситуации, на мой взгляд, является употребление характеристики «реалистический» для явлений и понятий не имеющих отношения к собственно реалистическому искусству. Такие активно использующиеся обозначения, как античный реализм, реалистические тенденции в литературе Ренессанса, черты реализма в творчестве классицистов (ряд можно продолжить) красноречиво свидетельствуют о том, что термин реализм выступает здесь исключительно в качестве маркера присутствия тенденции к жизнеподобию, причем явно не апеллирующей к позитивистским мировоззренческим установкам и не воплощающей идею исторического, социального и психологического детерминизма. Вероятно, более корректным в данном случае было бы обращение к определению «миметический», не привязанному к какому-либо конкретному философско-эстетическому комплексу, художественной системе.

Очевидно, что в случаях, подобных вышеописанному, имеет место факт формирования ложной синонимичности. Иногда ложная синонимичность являет себя в довольно безобидном (в силу его очевидности) варианте, как, например, употребление в рамках одной научной работы терминов «текст» и «произведение» в качестве абсолютных синонимов, что, в свете представлений структуралистов и особенно постструктуралистов, противопоставляющих эти понятия друг другу, абсолютно недопустимо. Чаше ситуация формирования ложной синонимичности требует тщательного изучения и расстановки четких акцентов в контексте тех процессов, которые представляют современный культурный процесс. Это, в частности, непосредственно касается терминов «нон-фикшн (non-fiction)» и «документальная литература», некоторые аспекты взаимоотношений между которыми будут рассмотрены в предлагаемой статье.

На первый взгляд, никакого «конфликта интересов» в процессе разграничения «сфер влияния» указанных терминов возникнуть было не должно: документальная литература, реализующая себя в жанрах мемуаров, дневника, письма, автобиографии, является составной

частью нон-фикшн наряду с литературой справочно-энциклопедического, научно-популярного характера, а также небеллетристической прозой в широком смысле слова. Однако, буквально сразу же после введения термина «нон-фикшн» в научный обиход восточнославянского литературоведения, подобный подход был подвергнут сомнению. Влиятельные российские литературные критики (Н. Иванова, М. Айзенберг) склонны рассматривать нон-фикшн как своего рода философию, преломляющую дух времени, демонстрирующую интеллектуальный артистизм ее создателей, отказывающихся от привязанности к фабульности и очевидному вымыслу. Безусловно, это весьма тонкие наблюдения над тенденциями, характерными для реализации нон-фикшн в составе современного литературного процесса России, но ясности в вопрос о взаимоотношениях нон-фикшн и документальной литературы они не вносят.

С моей точки зрения, приведенный тип структурных отношений между понятиями «нон-фикшн» и «документальная литература» характерен для универсальной модели, которая, будучи реализована в реальных пространственно-временных координатах, способна выступать в целом ряде вариантов. При выборе адекватного термина для определения рассматриваемого литературного факта следует принимать во внимание специфику конкретного варианта. Так, обратившись к новейшему периоду бытования русской литературы (2000–2010-е гг.), можно прийти к выводу, что употребление термина «нон-фикшн» является гораздо более предпочтительным для маркирования практически всех литературных произведений небеллетристического типа, созданных в это время.

Начнем с того, что на сегодняшний день именно нон-фикшн является наиболее значимой составляющей литературного процесса России, как с точки зрения востребованности читательской аудиторией, так и с точки зрения активности (и, нужно отметить, продуктивности) в области формально-содержательных поисков авторов, работающих в этом ключе. К важнейшим причинам складывания подобной ситуации можно отнести, во-первых, завершение (или приближение к завершению) эпохи постмодерн: представление о множественности истины не только не является доминантной характеристикой мироощущения современного человечества, но и вызывает у весьма значительной его части активное неприятие. По этой причине литература *fiction*, которая моделирует образ реальности, воспринимаемый как очередное проявление симулятивности бытия, оказывается менее предпочтительным, чем литература *non-fiction*, тексту которой приписываются качества четкой определенности в плане установления связей между означающим и означаемым.

Во-вторых, подчеркнутый интерес к нон-фикшн связан с характерным для социума ощущением одновременной избыточности и недостаточности истории: начиная с эпохи либерально-демократических реформ в СССР в сознании обитателя советского, затем постсоветского пространства запечатлелось такое количество порой взаимоисключающих трактовок событий прошлого и настоящего, что выбора в пользу какой-либо одной версии он зачастую осуществить не в состоянии. Это влечет за собой размывание картины мира и вызывает чувство дискомфорта, способом преодоления которого (большой частью представителей современного российского социума избираемым неосознанно) является опосредованное литературоцентричным статусом русской культуры (сохранение коего в современной ситуации также подвергается сомнению) делегирование права выбора «генеральной линии» не просто писателю, которому дано видеть нечто «поверх барьеров», а скриптору-очевидцу событий, непосредственно лицезревшему, а то и пересекавшему эти «барьеры».

Еще одной причиной небывалой активизации нон-фикшн, является очередной виток кризиса романной формы, что неизбежно влечет за собой расцвет документалистики. Весьма демонстративным показателем кризиса современного романа является фактически полное разрушение представлений о жаровом каноне даже в характерном для романа весьма широком и предполагающем вариативность воплощения варианте. Сегодня практически всё выходящее из-под пера прозаика автоматически получает романский статус, что, несомненно, девальвирует ценность концепции произведения как такового в представлениях читателя, хотя ранее именно пространство романа (особенно показательным в этом отношении является русский классический роман 19 века) воспринималось как зона максимально возможного приближения к ответам на вопросы о тех законах, которые определяют отношения в системе «мир – человек».

Литература нон-фикшн современного периода культурного развития, который я рассматриваю как промежуточный между эпохой постмодерн и той эпохой, которая идет ей на смену, представляет собой сложное образование, опосредованное, с одной стороны, стремлением к преодолению постмодернистского мироощущения, а, с другой, воспроизводящего в этом стремлении опыт культуры постмодерна. В своих попытках восстановить «расшатавшийся мир» нон-фикшн размывает практически все собственные внутренние границы. Итак, обратимся к основным структурным разделам нон-фикшн в их настоящем статусе в пространстве литературного процесса России 2000-х – первой половины 2010-х годов.

Собственно документальная литература в ее традиционных жанрах в этот период являет себя в основном под грифом журнальных рубрик и книжных серий, которые можно условно обозначить «Из архивов» или «Листая прошлого страницы» и, как правило, привлекает пристальное внимание весьма незначительной части читательской аудитории, движимой зачастую профессиональным интересом. Одна из наиболее серьезных публикаций такого типа – дневник Ф.Ф. Фидлера, изданный в 2008 г. под названием «Из мира литераторов» в серии «Россия в мемуарах», помимо уникального материала, связанного с фигурами русских писателей рубежа 19–20 вв., демонстрирует тот факт, о котором весьма точно высказался анонсировавший выход этой книги И. Шевелев: «Жизнь писателей при самом пристальном наблюдении производит сильное впечатление. Думаю, что и нынешние им бы не уступили. Но где взять другого Фидлера?» [1] Современный Фидлер обитает в информационном пространстве, организованном по иным законам: режим жизни он-лайн, окончательно закрепленный в своем статусе функционированием глобальной сети, не предполагает формирования особого типа само- и мироощущения летописца, способного описывать, «не мудрствуя лукаво, все то, чему свидетель в жизни будешь».

Обретшие более высокий уровень популярности у массового читателя книги воспоминаний, авторами которых выступают медийные персоны (Вениамин Смехов «Театр моей памяти» (2001), Ирина Хакамада «Особенности национального политика» (2001), Георгий Данелия «Тостуемый пьет до дна» (2006), «Безбилетный пассажир» (2006), Андрей Кончаловский «Низкие истины. Семь лет спустя» (2006), Алла Демидова «Заполняя паузу» (2007), Ольга Аросьева «Без грима на бис» (2008) и др.), к классическим мемуарам отнести сложно: это, скорее, некие синтетические образования, совмещающие элементы разных документальных (обычно мемуаров и автобиографии) и газетно-публицистических жанров (чаще очерка, записок и хроники), а также нередко проявляющие склонность к эссеистской стилистике.

Интересно, что сегодня традиционный документальный канон легче симитировать, чем воспроизвести. Так, «Дневник Луизы Ложкиной» Кати Метелицы, изданный в 2007 г. отдельной книгой, несколькими годами ранее публиковался в популярном московском еженедельнике «Большой город» фрагментами из номера в номер без указания авторства и воспринимался подавляющим большинством читателей как он-лайн повествование абсолютно реального человека о его личном опыте жизни-выживания в мегаполисе.

Таким образом, мы можем констатировать, что в современной литературной ситуации, сложившейся в России, доминирующей тенденцией в пространстве документальной литературы является разрушение традиционных для нее жанровых канонов вследствие чрезвычайно интенсивного использования приемов и средств художественной литературы, а также обращения к опыту публицистики. Ситуация осложняется и фактом вторжения в сферу документальной литературы специфических сетевых жанров, в первую очередь, блога. Блог лишь номинально является дневником: открытый для прочтения электронный дневник утрачивает такую важнейшую характеристику одноименного жанра документальной литературы как интимность (со всеми вытекающими последствиями) и приобретает выраженные литературно-художественные либо публицистические черты, в первом случае приближаясь к лирической прозе, во втором – примеривая на себя статус СМИ. Так, например, выпущенная в 2010 г. одним из крупнейших российских издательств АСТ книга популярного блогера Славы Сэ (Вячеслава Солдатенко) «Сантехник, его кот, жена и другие подробности», составленная из записей в его электронном дневнике, в таком формате совершенно определенно демонстрирует свою принадлежность скорее к fiction, нежели к non-fiction: реальный факт здесь явно выступает всего лишь как повод для создания лирической миниатюры эссеистского формата.

Следующий сегмент нон-фикшн представлен литературой справочно-энциклопедического характера, различными руководствами пользователей, широким спектром научно-популярных изданий. Тенденция к жаровым трансформациям здесь не так сильна, но в последнее время начинает проявляться все более ощутимо. Одним из популярнейших жанров сегмента является так называемая «кулинарная книга». Особое место (судя по бьющим все мыслимые рекорды тиражам) среди подобных изданий, осуществленных российскими издательствами в последнее десятилетие, занимает «Кулинарная книга лентяйки» Дарьи Донцовой. Использованный автором нехитрый композиционный прием, заключающийся в выстраивании сюжетной коллизии, в которую вовлечены персонажи, ассоциирующиеся у читателей с героями ее детективов, счастливо разрешается посредством воплощения в жизнь конкретного кулинарного рецепта, к которому в качестве бонуса (или десерта) прилагается своего рода комментарий в виде максимально облегченной культурно-исторической справки о приготовленном блюде, действует безотказно, о чем свидетельствуют последовавшие за «Кулинарной книгой лентяйки» «Кулинарная книга лентяйки-2. Вкусное путешествие», «Кулинарная книга лентяйки. Вкусно и быстро!», «Готовим в мультиварке. Кулинарная книга лентяйки» и иже с ними. Читатель получает все тридцать три удовольствия сразу: сборник рецептов, дамский роман, собрание исторических анекдотов, консультацию семейного психолога и прочее, прочее, прочее. Хотя продукты «три в одном» пока редко бывают по-настоящему качественными, но нет пределов совершенству – вероятно, именно за ними будущее.

Подобная тенденция характерна и для других жанров сегмента. Публицистическая книга Ильи Стогоффа «Революция сейчас!» (2000) обычно квалифицируемая как журналистское расследование, результатом которого стал отличающийся исключительной композиционной стройностью и смысловой целостностью цикл очерков о современных российских экстремистских движениях и организациях ультралевых и ультраправых толков, оценивается как наиболее популярный в силу его информативности (и, опять-таки, увлекательности подачи материала) справочник по проблеме радикализма. Сам же И. Стогофф позиционирует книгу как попытку фундаментального исследования истории терроризма в России.

Тенденция, которую в последнее время обозначают с помощью термина «эдюкеймент (educatment)», значение которого фактически эквивалентно смыслу известной формулы «развлекая – поучай», все более явственно влияет на определения направления в развитии литературы данного сегмента нон-фикшн. Очевидно, что функцию развлекающей составляющей наиболее успешно обеспечивают отработанные приемы из области беллетристики и определенного рода публицистики.

Небеллетристическая проза – наименее четко очерченный сегмент литературы нон-фикшн – в современной традиции все чаще связывается с таким значительным явлением как постдокументалистика, которая обретается на грани пересечения вымысла и реальности, органично сочетает поэтику официального документа и плода изощренной фантазии автора, демонстративную объективность и подчеркнутую субъективность, широко практикует имитацию фактов реальности, в результате представляющих не менее (а то и более) достоверными, чем подлинные события. К сфере постдокументалистики, безусловно, относится набирающий популярность в России жанр нон-фикшн романа, в котором работает журналист и писатель Ярослава Танькова, чьи романы «Замуж за араба и другие восточные сказки» (2008), «Служанка миллионеров и королевство немых зеркал» (2009), «Яся ищет мужа» (2012) написаны на основе материалов, полученных с помощью метода гонзо-журналистики.

Наиболее показательными примерами реализации установок постдокументалистики в новейшей литературе являются книги цикла «Голоса Утопии» Светланы Алексиевич, а также ряд произведений Ильи Стогоффа («Апокалипсис вчера. Дневник кругосветного путешествия» (2001), «mASIAfucker» (2002), «2010 A.D.» (2010) и др.)

Литературоведение еще не выработало серьезного научного описания постдокументалистики. Однако теоретическая основа для исследований в этой области, на мой взгляд, заложена в предложенной Лидией Яковлевной Гинзбург концепции «промежуточной» литературы, которая представляет собой результат «художественного исследования невымышленного» [2, с. 12]: «Текст, чтобы стать художественным, не обязательно должен быть литературой,

т.е. находиться в сфере вымысла. Он может быть вполне прямым высказыванием автора о реальных вещах, ситуациях или прямой их фиксации. А так как эти ситуации вечны и повторяемы, то это единственный род литературы, который не устареет никогда. Недаром в годы кризисов литературы на передний план мгновенно выходит т.н. документальная проза (название неправильное)» [3].

Весьма показательной в этом отношении представляется удостоенная в 2011 г. премии «Русский Букер» как лучший роман десятилетия книга Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени...» (2000), которую, вероятно, следует признать одним из наиболее значительных событий последнего времени в области русской литературы. После публикации на страницах журнала «Знамя» книга претерпела целый ряд переизданий. Представители издательства «Время» сообщают, что тираж очередного издания в 5000 экземпляров, поступивший в московские книжные магазины в феврале 2012 г., был распродан за три дня. На первый взгляд, книга А. Чудакова является если не классической автобиографией, то великолепно выверенным сплавом лучших образцов документального повествования (помимо воспоминаний о детстве в издании 2012 г. включены фрагменты дневниковых записей и писем автора). Но при этом «Ложится мгла на старые ступени...», заявленная самим А. Чудаковым как «роман-идиллия», открыто демонстрирует черты различных классических литературно-художественных жанров и жанровых разновидностей (робинзонада, роман воспитания), блестяще совмещает лирический и эпический компоненты, дает великолепные образцы стилизации и, наконец, фокусирует повествование на фигуре главного героя – пусть и прочитываемого как alter ego автора, но по всем канонам укладывающегося в соответствующую традицию fiction.

Таким образом, можно с уверенностью констатировать тот факт, что классический вариант документальной прозы в литературном процессе России 2000-х – первой половины 2010-х годов редуцирован и в чистом виде фактически не реализуется. По этой причине для обозначения видовой принадлежности произведений, предлагающих модель реальности, находящуюся за пределами «сферы вымысла», гораздо корректнее использовать уже ставший привычным термин «нон-фикшн», в каждом конкретном случае уточняя особенности их жанровой специфики, которая, как правило, являет сложную гибридную природу.

Литература

1. Шевелев, И. Опыт наблюдения за писателями. Один немец очень любил русскую литературу / И. Шевелев // Русский журнал [Электронный ресурс] – 2008. – Режим доступа : <http://www.russ.ru/layout/set/print/Kniga-nedeli/Opyt-nablyudeniya-za-pisatelyami> – Дата доступа : 05.01.2015.
2. Гинзбург, Л. «Былое и думы» Герцена / Л. Гинзбург. – Л. : ГИХЛ, 1957. – 376 с.
3. Чудаков, А. Разговариваю с Гинзбург / А. Чудаков // Новое литературное обозрение [Электронный ресурс]. – 2001. – № 49. – Режим доступа : <http://magazines.russ.ru/nlo/2001/49/chud.html>. – Дата доступа : 05.01.2015.

Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины

Поступила в редакцию 15.01.2015

УДК 811.161.1'373.422:811.16'373.422

Об одном источнике энантиосемии в русском и других славянских языках

Е.И. Тимошенко

В качестве одного из источников энантиосемии в русском и других славянских языках рассматривается характер базового лексического значения корня, в частности модальное значение желательности. Указанный тип семантики выступает как основа формирования положительных и отрицательных оценочных значений в рефlekсах соответствующих корней.

Ключевые слова: межъязыковая энантиосемия, внутриязыковая энантиосмия, модальность желательности, положительная оценка, отрицательная оценка.

The nature of the basic lexical meaning of the root, in particular the modal value of desirability is studied as one of the sources of enantiosemy in Russian and other Slavic languages. The specified type of semantics serves as the basis for the formation of positive and negative estimates in the reflexes corresponding roots.

Keywords: cross-language enantiosemy, intralingual enantiosemyl, modality desirable, positive evaluation, negative evaluation.

Явление энантиосемии, в силу своей определенной парадоксальности, давно уже привлекает пристальное внимание лингвистов. Направления исследования этого явления очень разнообразны: изучается энантиосемия полная и частичная, лексическая и фразеологическая, корневая и морфемная, энантиосемия синхронная и диахроническая. Однако, как признают языковеды, одним из наиболее сложных представляется вопрос о происхождении энантиосемии [1, с. 10].

Среди причин, порождающих данное явление, называют изначальный синкретизм древнего корня, влияние табу, ошибочное употребление слов, стремление к экспрессивности высказывания, порождающее энантиосемию слов с оценочным компонентом в лексическом значении, а также функционирование слов в различных языковых сферах [1], [2, с. 92–93]. Среди перечня возможных причин обращает на себя внимание указание на специфику лексического значения слова, в частности на то обстоятельство, что энантиосемия регулярно развивается в словах с оценочным значением. Стремление к экспрессивному, в данном случае ироническому, способу выражения мысли отражает эмотивную, по классификации В.В. Левицкого [3], мотивацию семантических изменений. Как показывают наблюдения над языковым материалом, специфика лексического значения слов, регулярно обнаруживающих полярные значения в своей семантической структуре, может быть связана не только с выражением оценки, – в качестве базы формирования энантиосемии могут выступать также слова с близким к оценочному типу лексического значения, также выражающим отношение человека к реалиям действительности, – значением модальным. И в том и в другом случае формирование энантиосемии неразрывно связано с действием человеческого (психологического) фактора, а в словах, корни которых исходно имеют модальное значение, в частности значение желания, – с объективной противоречивостью человеческой природы, обусловленной дисгармонией материальных и духовных устремлений человека. Во всяком случае, такое предположение не кажется надуманным на фоне приводимого в статье языкового материала, отражающего факты межъязыковой и внутриязыковой славянской энантиосемии в рефlekсах этимологических корней с исходным модальным значением желания. Уместно также заметить, что в языкознании достаточно широко распространена точка зрения, в соответствии с которой выражение эмоций считается центральной функцией языка (Ш. Балли, ванн Гиннекен, М. Бреаль). Весьма современно, по мнению В.И. Шаховского, «звучит мысль М. Бреаля о том, что речь была создана не для описания, повествования и непредвзятых рассуждений, а для того чтобы выражать желание, делать предписания» [4, с. 15].

Круг глагольных корней с модальной семантикой желания в русском языке весьма ограничен. В «Словаре синонимов» (ред. А.П. Евгеньева), например, в синонимический ряд с доминантой *хотеть*, кроме самого глагола *хотеть*, включены глаголы *желать*, *жаждать*, *вожделеть*, *алкать* [5, с. 626]. Модальность желательности, однако, как в русском, так и в других славянских языках может выражаться и другими корнями, в ряде случаев обнаружива-

вающими синкретизм, то есть совмещающими сему желательности с другими семантическими компонентами. Н.Е. Ананьева указывает, что лексико-семантическое поле 'желание' в славянских языках представлено продолжениями таких корней, как **xot-* (**xot'-*), **žel'-*, **žit'-*, **žed(j)-*, **jbsk-*, **olk-*, **prag-*, **t'eg-*, **vol(j)-*, и некоторых других [6, с. 12]. Наблюдения над языковым материалом показывают, что продолжения целого ряда некоторых из названных, а также других праславянских корней в разных славянских языках обнаруживают антонимичные значения, подпадая тем самым под определение энантиосемии.

Модальное значение желания в некоторых случаях этимологически выступает не в чистом виде, а оказывается синкретично связанным со значением физического действия захвата, присвоения. Так, указанная сема обнаруживается в качестве одной из исходных в этимологическом гнезде **xytati*, **xytiti* / **xvatati* / **xotěti*. Антонимичные значения в разных славянских языках свойственны продолжениям праславянского прилагательного **xytrь(jь)*, восходящего к глаголам **xytati(se)*, **xytiti(se)*, которые связаны корневым чередованием с **xvatati* (ЭССЯ, 8, с. 160–164). Различная степень интенсивности действия (как физического, так и интеллектуально-психического), обозначаемого указанными глаголами, вероятнее всего, и послужила основанием для формирования межъязыковой энантиосемии в соотносительных лексемах разных славянских языков, а в ряде случаев – внутриязыковой энантиосемии. Сравним, с одной стороны, лексику, положительно характеризующую интеллектуальные, нравственные и физические качества человека, с другой – слова с отрицательным оценочным значением: 1) ст.-сл. *хытръ* 'ловкий, искусный', болг. диал. *úmar* 'умный, сообразительный', макед. *итер*, *итар* 'сообразительный, сметливый', 'проворный, ловкий', сербохорв. *хитар* 'быстрый, скорый', в.-луж. *khitry*, *kxětry* 'проворный, быстрый, изрядный, отличный', н.-луж. стар. *chytry* 'ловкий', 'добрый', *chyšy* 'способный, правдивый, честный', 'красивый, хороший, добрый, живой, проворный', словин. *xitri* 'умный', др.-русс.к., русск.-цслав. *хытрыи*, *хитрыи* 'искусный', 'искусно сделанный', 'знающий, сведущий', русск. *хитрый* 'изобретательный, искусный', укр. *хитрий* 'скорый, быстрый', 'умный' – 2) болг. *хитър* 'хитрый, сообразительный', макед. *итер*, *итар* 'хитрый, изворотливый', н.-луж. стар. *chytry* 'хитрый, коварный', 'алчный, скупой', словин. *xitri* 'хитрый', русск. *хитрый* 'изворотливый', диал. *хитрый* 'хитрый', 'мудреный, странный', *хитрой* 'необычный, смешной, странный' (курск.), укр. *хитрий* 'хитрый, замысловатый', 'хитрый, лживый', бел. *хитры* 'хитрый' (ЭССЯ, 8, с. 162–164).

Рефлексы производных глагола **xotěti* также обнаруживают межъязыковую и внутриязыковую энантиосемию, сходную с той, которая наблюдается для продолжений праславянского **xytrь(jь)*. Так, славянские рефлексы праславянского **xotьnъ(jь)*, имеющие положительную оценочность, относятся в основном к характеристике нравственных и внешних качеств человека, сравн.: ст.-чеш. *chutný* 'приятный, милостивый', чеш. *chutný* 'вкусный', словц. диал. *xutni* 'милый, миловидный, хорошенький', ст.-польск. *chętny* 'приятный', польск. *chętny* 'охотный, доброжелательный' (ЭССЯ, 8, с. 86), русск. *хотный* 'охотный, доброхотный, желатель' (Даль, IV, с. 563). Сравн. также бел. *хоць* 'расположение' (Носович, с. 683). Производные с отрицательной оценочностью характеризуют в основном лишь внутренние свойства человека: словен. *hóten* 'жадный, похотливый', н.-луж. *chótny*, диал. *chutny* 'жадный, алчный', полаб. *chüötnéica* 'потаскуха, блудница' (ЭССЯ, 8, с. 86), бел. *хоці́мья* 'завистница' (Насович, с. 683) (сравн. также рус. *похоть* 'грубо-чувственное половое влечение', *похотливый* 'проникнутый похотью, сладострастный').

Синкретичная этимологическая семантика обнаруживается в историческом корне праславянского **koristьnъ(jь)*, рефлексы которого в различных славянских языках обнаруживают антонимичные или близкие к антонимичным значения: цслав. *користьnъ* *utilis*, макед. *корисен* 'полезный', сербохорв. *кòpистан*, *кòристан* 'полезный, выгодный', словен. *korísten* 'полезный, благоприятный', польск. *korzystny* 'полезный, выгодный, благоприятный', др.-русс.к. *корыстный*, *карысный* 'торговый, относящийся к торговле, к торговой прибыли', 'полезный', русск. диал. *корыстный* 'хороший' (перм.), 'полезный' (волог., свердл.), 'уважаемый' (курган., иркут.), 'большой, обильный', 'хороший' (урал., иркут.), *корисный* 'хороший' (краснояр.), укр. *користный* 'полезный, выгодный', бел. *карысны* 'полезный, выгодный' – чеш. *kořistný* 'падкий на добычу', ст.-польск. *korzystny*, *korzysny* 'алчный, корыстолюбивый', русск. *корыстный* 'основанный на корысти, корыстолюбивый', диал. *корыстный* 'завистливый' (пск., твер.), *корысный* 'маленький, небольшой', 'худой, тщедушный, захудалый' (новосиб.) (ЭССЯ, вып. 11, с. 73–74).

Прилагательное **koristъnъ(jь)* производно от существительного **koristъ* и в большинстве своих значений отражает семантику производящего, сравн., например, ст.-слав. *користь* ‘добыча, трофей’, ‘корысть’, ст.-польск. *korzyść* ‘добыча (военная, краденая)’, ‘имущество, добро’, ‘польза, выгода’, русск. *корысть* ‘страсть к приобретению, к поживе’, ‘выгода, польза’, ‘нажива, пожива’, диал. (пск., твер.) ‘зависть’, бел. *карысьць* ‘польза’, ‘выгода, корысть’ и т. п. (ЭССЯ, вып. 11, с. 71–73). Имя же **koristъ* авторами «Этимологического словаря славянских языков» квалифицируется как производное от глагола **koristiti/*koristati*, являющегося сложением экспрессивной приставки **ko-* и глагола **ristati* с этимологическим значением ‘гнаться’. Таким образом, для глагола **koristiti/*koristati* реконструируется первичное значение захвата, обладания (ЭССЯ, вып. 11, с. 73), что подтверждается также наличием в славянских языках производных со значением ‘рукоятка’ (т. е. ‘орудие захвата’): польск. *korzyść* ‘рукоятка’, русск. диал. (олон.) *корыстка* ‘деревянная ложка или лопаточка для помешивания пива при варке’ (там же). Очевидно, что и в значении ‘гнаться’, и в значении ‘захватывать, обладать’ имплицитно присутствует модальная сема желательности, сравн. русск. *корыститься* ‘гнаться, жадно кидаться для добычи; // завидовать, завистливо смотреть’ (Даль, II, с. 171). Указанная сема трансформируется в полноценное модальное лексическое значение в производных словах, например, в русском *корысть* ‘страсть к приобретению, к поживе; жадность к деньгам, к богатству, любостяжание, падкость на барыш’ (там же).

Представляется правомерным предположить, что явление межъязыковой энантиосемии обусловлено диффузностью, семантической сложностью структуры лексического значения исходного слова рассматриваемого словообразовательно-этимологического гнезда. С одной стороны, модальная сема желательности, проявляясь, реализуется в собственно модальных значениях ‘жадность’, ‘страсть к приобретению’, ‘алчный, корыстолюбивый’, закрепляя за собой отрицательную оценочность, обусловленную, вероятнее всего, высокой интенсивностью проявления исходного действия. С другой стороны, производное метонимическое значение ‘то, что получено, добыто (в результате захвата)’, т. е. ‘выгода, польза’ естественно приобретает положительную оценочность. Значение прилагательного *корыстный* (например в русских диалектах, белорусском литературном языке) ‘выгодный, полезный’, вероятно, оказывается основанием для формирования более общих значений, выражающих положительную оценку: ‘благоприятный’, ‘обильный, большой’, ‘уважаемый’.

Подобного рода энантиосемия обнаруживается в рамках этимологического гнезда **laska*, **laskati* и родственных **lasъjь*, *lasiti*. Исходное этимологическое значение корня отражает модальность желательности, о чем свидетельствуют лексические соответствия в древних языках: др.-инд. *lasati* ‘жаждать’, *lālasa-* ‘жадный, яростный’, греч. *λῑλαίωμα* ‘желать, стремиться’ (ЭССЯ, вып. 14, с. 37). Часть производных, являющихся продолжениями данного корня в различных славянских языках, сохраняет модальное значение желательности и обнаруживает отрицательные оценочные коннотации: словин. *lasi* ‘жадный, падкий’, ст.-польск. *lasy* ‘жадный, алчный’ (ЭССЯ, вып. 14, с. 46), словен. *lasek* ‘сладострастный’, (сравн. лат. *lastivus* ‘распущенный, похотливый’, русск.-цслав. *ласкосърдыи* ‘невоздержанный, жадный’, словен. *laskav* ‘лстивый’, ‘лакомый, привередливый’, русск.-цслав. *ласкати* ‘соблазнять, обольщать’, ‘обманывать’ (ЭССЯ, вып. 14, с. 38–42), русск. *ласковец*, стар. *ласкавец*, *ласкатель*, *ласкательница* ‘подлипала, лстец, прихвостень; кто заискивает униженною угодливостью, лстит, ласкает самолюбию того, в ком ищет’ (Даль, II, с. 239), сравн. также в «Словаре Академии Российской»: *ласкатель* – ‘лстец; подлец, который коварно из корысти или выгоды какой вкрадывается в любовь другого, похвалами и угождениями ослепляет; самые гнусные поступки и страсти одобряет и в угодность его не стыдится противу истины говорить и поступать’ (САР, ч. III, ст. 1142). Другая – бо́льшая – часть производных выражает положительную оценочную семантику, которая также зиждется на модальном значении желательности, обозначает положительно оцениваемые отношения, состояния и т. п.: цслав. *ласкавъ*, *-ьи* ‘приятный, ласковый, любезный’, болг. *ласкав* ‘любезный’, чеш. *laskavý* ‘ласковый, любезный, милостивый’, польск. *laskowy* ‘милостивый, любезный, ласковый, доброжелательный, милосердный’, др.-русс., русск.-цслав. *ласкавыи* ‘милостивый, снисходительный’, русск. *ласковый* ‘ласковый, доброжелательный, приветливый’, русск. диал. (влад., ирк.) *ласковый* ‘нежный, внимательный’, укр. *ласкавий* ‘милостивый, благосклонный, снисходительный; кроткий, смирный, добрый, ласковый, приветливый, любезный’, бел. *ласкавы* ‘ласковый, любезный, приветливый’ (ЭССЯ, вып. 14, с. 39–40).

Внутриязыковая энантиосемия наблюдается в русских и белорусских рефлексах этимологического корня **žed(j)-*, которому исходно свойственно модальное значение интенсивного желания, о чем свидетельствуют, например, параллели из балтийских языков: лит. *pasigendù, -gèsti* ‘ощутить недостаток’, *gedáuju, gedáuti* ‘желать, тосковать, стремиться к чему-л.’, *gõdas* ‘жадность, алчность’ и др. (Фасмер, II, с. 33). Так, в семантической структуре русского *жадный* имеют место лексико-семантические варианты с позитивной и негативной оценочностью. Сравним, с одной стороны – ‘с увлечением отдающийся занятию, делу’ (о положительной оценке, выражаемой данным ЛСВ, свидетельствует также сочетаемость: *Жадный к знаниям; Жадный на работу; Чем разнообразнее потребности человека, чем более жаден он к радостям жизни, хотя бы и маленьким, – тем быстрее развивается культура тела и духа*. Горький); с другой – ‘стремящийся взять себе, получить, иметь у себя как можно больше чего-л.’ (*Жадный к деньгам*); ‘скупой, корыстолюбивый’ (СРЯ, I, с. 469). Белорусское *пажаданы* имеет значение ‘желательный; угодный’, а *пажадлівасць* – ‘плотоядность, чувственность, похотливость, вожделение’ (БРС, 2, с. 70).

Таким образом, степень интенсивности такого эмоционально-интеллектуального состояния человека, как желание, может предопределять характер оценки или оценочных коннотаций, выражаемых соответствующим словом или отдельным его значением. При этом отмечается закономерность соответствия высокой степени интенсивности желания отрицательным оценочным коннотациям в семантике слова и умеренной степени проявления данного внутреннего состояния – положительным. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что источником формирования энантиосемии в данном случае выступает собственно семантическая специфика корня, связанная с проявлением внутреннего «я» человека, которое в языковом отражении выступает как весьма противоречивое и неоднозначное.

Принятые сокращения

- БРС – Беларуска-рускі слоўнік: у 2-х т. – Т. 2 (П-Я) / рэд. акадэмік АН БССР К.К. Атраховіч (Кандрат Крапіва). – Мн. : БелСЭ, 1989.
 Даль – Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / В.И. Даль. – М., 1981–1982.
 Насовіч – Насовіч І.І. Слоўнік беларускай мовы / І.І. Насовіч. – Мн. : БелСЭ, 1983. – 792 с.
 САР – Словарь Академии Российской. Часть III. от З до М. – СПб : Императорская Академия Наук, 1792 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://it-claim.ru/Projects/ESAR/SAR/PDFSAR/Framesetpdf.htm>.
 СРЯ – Словарь русского языка: в 4 т. / гл. ред. А.П. Евгеньева. – М. : Русский язык, 1981–1984.
 Фасмер – Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / М. Фасмер; пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева ; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. – 2-е изд., стереотипное. – М. : Прогресс, 1986–1987.
 ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / под ред. О.Н. Трубачева. – Вып. 1–30. – М. : Наука, 1974–2003.

Литература

1. Махмутова, Л.Р. Основные типы энантиосемии в современном русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Л.Р. Махмутова ; Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 2009. – 24 с.
2. Крысин, Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография / Л.П. Крысин. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с.
3. Левицкий, В.В. О причинах семантических изменений / В.В. Левицкий // Семантические процессы в системе языка : межвузовский сборник научн. тр. – Воронеж : Изд-во Ворон. ун-та, 1984. С. 3–9.
4. Шаховский, В.И. Эмоции: Долингвистика, лингвистика, лингвокультурология / В.И. Шаховский. – Изд. 2-е. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 128 с.
5. Словарь синонимов / ред. А.П. Евгеньева. – Л. : Наука, 1975. – 648 с.
6. Ананьева, Н.Е. О некоторых компонентах лексико-семантического поля ‘желание’ в русском и польском языках (русс. *жажда* – польск. *żądza, pragnienie*) / Н.Е. Ананьева // Слова. Концепты. Мифы / отв. ред. Г.К. Венедиктов. – М. : «Индрик», 2011. – С. 11–26.

УДК 821.161.1 – 2* А. С. Грибоедов: 008

Анатомия культурного мифа об А.С. Грибоедове

Т.Н. УСОЛЬЦЕВА

Анализируются элементы культурного мифа об А.С. Грибоедове, который многие десятилетия определяет восприятие личности драматурга. Обозначаются основные составляющие культурного мифа, указываются источники, которые способствовали его формированию и функционированию.

Ключевые слова: культурный миф, биография, мировоззрение, университет, образование, карьера, декабрист, дипломат.

Elements of cultural myth about A.S. Griboyedov, which have been determining dramatist's personality perception, are analyzed in the article. The main components of a cultural myth and possible sources that contributed to its formation and operation are indicated.

Keywords: cultural myth, biography, outlook, university, education, career, Decembrist, diplomat.

В силу разных причин биография каждого писателя обрастает мифологией, часть из которой «прирастает» к образу, становится неотъемлемым от него, часть же мифов «не приживается», но о них вспоминают через какое-то время, иногда пытаясь выдать за новые, доселе неизвестные сведения о жизни литератора. Источниками подобных культурных мифов, как правило, служат письма, воспоминания современников, которые, с одной стороны, проливают свет на личность в конкретной бытовой ситуации, но, с другой – не в состоянии объяснить связь между внешней жизнью писателя и его внутренним миром.

Миф о Грибоедове, складывавшийся десятилетиями, оказался на редкость удачен. Он стал штампом, изрядно отливающим глянец, сколь прекрасным, столь и неживым, упорно загораживающим от нас подлинного Александра Сергеевича Грибоедова – человека трагической судьбы, жизнь которого, с одной стороны, типична для дворянина начала 19 столетия, а с другой – полна неординарных событий, свидетельствующих о разносторонних дарованиях этого человека.

Миф об А.С. Грибоедове распадается на несколько составляющих, среди которых можно назвать дату рождения, до настоящего времени точно не установленную, что порождает историю о чудо-ребенке, поражающую воображение своим стремлением к учебе, знанием множества иностранных языков (от 5 до более 10 по разным источникам), поступлением в университет в 11 лет и тем, что он окончил все факультеты Московского университета кроме медицинского (нравственных и политических наук, физико-математических наук, словесных наук) за 6 лет.

В культурной мифологии все писатели первого ряда обязательно являются сторонниками прогрессивных взглядов, поэтому проблема «Грибоедов и декабристы» постоянно находится в центре внимания литературоведов. Еще один элемент мифа – осмысление дипломатической карьеры Грибоедова, описанной крайне противоречиво: по одной версии, он – прекрасный дипломат, благодаря таланту которого был заключен мир с Персией, по другой – драматург не владел элементарными сведениями, необходимыми для служащего дипломатической миссии, вел себя надменно, практически вызывая, не выказывая должного уважения традициям того народа, среди которого находился.

Образ Грибоедова, благородного и тонко чувствующего человека, удачно дополняет история о его возвышенной любви к юной княжне Нине Чавчавадзе, которая после гибели мужа попросила начертать на надгробном памятнике знаменитую фразу: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?»

В рамках одной статьи невозможно проанализировать все составляющие элементы мифа о Грибоедове, поэтому более подробно будут рассмотрены наиболее устойчивые представления о великом русском драматурге, которые сформировались только потому, что события, произошедшие в начале 19 столетия, оценивались с точки зрения человека, живущего в 20 или 21 веке.

Мы знаем о Грибоедове удивительно мало. Да и те сведения, которые дошли до нас, крайне отрывочны и противоречивы. Даже год его рождения точно не известен: 1790 или 1795, некоторые исследователи указывают как вероятные 1794 или 1793, при этом дата рождения – 15 января (4 января по старому стилю) – никогда не подвергалась сомнению.

1795 как год рождения указан на надгробном памятнике, эту дату вдова поэта обозначила после переписки с матерью и сестрой А.С. Грибоедова. С.Н. Бегичев, ближайший друг А.С. Грибоедова, также был уверен в том, что тот родился в 1795 г. У Александра Сергеевича были сестра и брат, записи о рождении которых нашли в церковных метрических книгах: в списке за 1792 г. московского храма Спаса Преображения на Песках указано, что 4 июля крещена дочь Сергея Ивановича Грибоедова Мария, а в книге церкви Успения на Остоженке за 1795 год записано, что 13 января родился, а 18 января крещен сын секунд-майора Сергея Ивановича Грибоедова Павел. Следовательно, в записи метрической книги за 1795 г. фигурируют и другая дата, и другое имя. Павел умер в детстве, поэтому мать А.С. Грибоедова, а тем более его сестра вполне могли перепутать годы рождения братьев, особенно если те были погодками.

Любители «жареных» фактов в последнее время все чаще пытаются доказать, что А.С. Грибоедов родился в 1790 г. Еще бы! Ведь в таком случае оказывается, что Настасья Федоровна, его мать, женщина своенравная, обладавшая твердым характером, родила сына еще в девичестве. Это позволяет предполагать, что рождение будущего драматурга связано со скандалом, а его отцом был, возможно, некто из низших слоев общества. Мать же драматурга вышла замуж за своего однофамильца, который был менее родовит, только потому, что «прикрывала грех». В последние годы жизни А.С. Грибоедова в документах коллегии иностранных дел, где он служил, как год его рождения указывают 1790. Признанием этого факта своей биографии (год рождения всегда записывали со слов) драматург якобы открыто демонстрировал неприятие современных порядков. Но это, скорее, лишь домыслы, основанные на слухах о наличии каких-то тайн в семействе Грибоедовых, тайн, о которых никто из тех, кто был в них посвящен, нигде и никогда не проговорился. Одним из веских доказательств того, что А. С. Грибоедов родился в 1790 г., называют его письмо к С.Н. Бегичеву, написанное 4 января 1825 г.: «Нынче день моего рождения, что же я? На полпути моей жизни, скоро буду стар и глуп, как все мои благородные современники» [1]. И если А. С. Грибоедов, как всякий образованный человек своего времени, полагал, что половина жизненного пути – это 35 лет, то он родился именно в 1790. В настоящее время существует ряд исследований, в которых убедительно доказывается, что серединой жизни многие современники писателя считали другую границу – 30 лет.

Наиболее вероятным годом рождения Грибоедова все же принято считать 1794, о чем свидетельствуют записи в послужных списках Иркутского полка, в котором он служил в 1814–1815 гг. В паспорте, выданном Грибоедову по окончании им военной службы в июле 1816 г., указывается, что ему «отроду 22 года», а это опять-таки позволяет назвать 1794 г. годом рождения драматурга.

А.С. Грибоедов получил прекрасное домашнее образование, учился в Московском благородном пансионе при университете, а в 1806 г. поступил в Московский университет. Воображение современного человека буквально потрясает тот факт, что Грибоедов так рано становится студентом. К 1812 г. – с 12 до 16 лет – он окончил 3 факультета: словесный, юридический, физико-математический. Но прежде, чем говорить о выдающихся способностях будущего драматурга, стоит вспомнить, что русские дворяне в 18 в. записывали детей в полк еще до их рождения, а в начале 19 столетия зачастую в 11–13 лет отдавали учиться в университет, чтобы к 16–18 годам, ко времени вступления на службу, они не находились в конце карьерной лестницы [2]. Поступление в университет в таком раннем возрасте – не исключительное явление, оно даже получило свое определение, таких студентов называли «студенты-мальчики». То, что А.С. Грибоедов не был чудо-ребенком, а его судьба достаточно типична для молодого дворянина, подтверждают и воспоминания В.И. Лыкошина, который описывает, как его с братом принимали в университет. Дворянским детям не обязательно было являться в университет на экзамен, профессор Маттеи, у которого они жили пансионерами, пригласил к себе в гости

несколько коллег: «За десертом и распивая кофе профессора были так любезны, что предложили Моберу сделать нам несколько вопросов, помню, что я довольно удачно отвечал, кто был Александр Македонский и как именуется столица Франции и т.п. Но брат Александр при первом сделанном ему вопросе заплакал. Этим кончился экзамен. По которому приняты мы были студентами, с правом носить шпагу; мне было 13, а брату 11 лет» [3]. Только в 1820 г. были сделаны возрастные ограничения лет при поступлении в университет, туда стали брать с 17 лет, но еще некоторое время встречались 15-летние студенты [4].

В начале 19 ст. в университете учились три года, при этом на первом курсе изучались общие предметы, чтобы «подтянуть» студентов до определенного уровня. Окончание университета в звании кандидата предписывало выпускника к 12 классу, поэтому многие студенты свое обучение сводили к тому, что после поступления в учебное заведение почти сразу начинали готовиться к экзамену на звание кандидата. Тот же В.И. Лыкошин, который был родственником А.С. Грибоедова, вспоминал: «... я с любовью предался учению и полтора года по вступлении в университет стал готовиться выдержать экзамен на степень кандидата, которая давала право носить мундирный воротник, шитый золотом, и чин губернского секретаря. Между тем я приготавливал к публичному акту диссертацию на заданную тему о великом переселении народов. <...> Экзамен на степень кандидата выдержал я хорошо; тогда не было таких строгих научных требований, о публичных диспутах и помину не было. Анастасия Федоровна Грибоедова непременно хотела, чтоб и сын ее вместе со мной экзаменовался, и как он ни отговаривался, она настояла на своем. Нас обоих в конференц-зале экзаменовал тогдашний ректор Гейм в присутствии наших гувернеров – Мобера и Петрозиулиса; без хвастовства скажу, что я гораздо лучше Грибоедова отвечал, и вместе с ним провозглашены мы были кандидатами» [3]. Но при этом следует обратить внимание на тот факт, что Лыкошин поступил в университет в 1805 г., а Грибоедов в 1806, следовательно, первый оканчивал университет, поэтому экзамен на степень кандидата – логическое завершение обучения, а второй проучился только два года. Очевидно, что родные Грибоедова всячески настаивали на досрочной сдаче экзамена, так как мечтали о блестящей карьере своего чада. Скорее всего, по этой же причине, получив звание кандидата словесных наук, он перешел на факультет нравственных и политических наук, а затем и на физико-математический, чтобы иметь возможность подготовиться к экзамену на степень доктора, что позволяло молодому человеку автоматически получить более высокий чин при поступлении на службу.

В 1812 г. Грибоедов готовился к экзамену на степень доктора, но началась война с Наполеоном, и юноша записался добровольцем в московский гусарский полк. Правда, принять участие в военных действиях он не успел: то полк долго формировался, то сам Грибоедов заболел. Но патриотические настроения в обществе этого периода во многом определили судьбу будущего поэта: он не вернулся к научным занятиям, а остался служить в иркутском гусарском полку в глуши, на задворках Российской империи – в Бресте-Литовском. Молодой человек, оказавшийся без опеки семьи, не хотел ни в чем отставать от своих однополчан: «Грибоедов старался превзойти товарищей в подчас не совсем благовидных проказах и шалостях, которыми отличались гусары того времени. Так, однажды он въехал верхом во второй этаж дома на бал. В другой раз в Бресте он взобрался на хоры католического костела перед самым началом службы. Ноты перед органом были раскрыты. Собрались монахи, началась служба. Когда потребовалась по ходу службы музыка, Грибоедов заиграл и играл долго и отлично. Вдруг священные звуки смолкли и с хоров раздался, к ужасу и смущению всех молящихся, "камаринский"» [5]. Но жизнь молодого повесы в это время полна и других занятий: А.С. Грибоедов много читает, пробует писать и даже публиковать свои первые произведения.

С 1817 г. Грибоедов поступает на службу в Коллегию иностранных дел, а по настоянию матери, которую во многом не устраивал рассеянный светский образ жизни молодого человека, он покидает Петербург и с 1819 г. становится секретарем посольства в Персии. Чем больше Грибоедов увлекается творчеством, тем меньше ему хочется служить. Однако жизненные обстоятельства заставляют его заниматься совсем не тем, к чему лежит душа. Над своей знаменитой комедией «Горе от ума» наиболее активно он работает с 1822 по 1825 гг.

После восстания 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади Грибоедова арестовали по делу декабристов, доставили в Петербурге, где он был посажен на гауптвахту как подозреваемый в причастности к деятельности бунтовщиков. А.С. Грибоедов был знаком со многими декабристами: с кем-то учился одновременно в университете, с кем-то вместе служил, но о том, что он якобы был членом тайного общества, свидетельствовали только несколько человек. При этом их показания были противоречивы: одни утверждали, что он является членом Северного общества, другие – Южного. Например, князь С.П. Трубецкой заявил: «Слышал от *Рылеева*, что он принял *Грибоедова* в члены Тайного общества» [6], а князь Е.П. Оболенский в письме императору писал, «что *Грибоедов* был принят в члены Общества к месяца два или три пред 14-м декабря, а вскоре потом уехал; почему действий его в Обществе совершенно не было» [6]. Однако К. Ф. Рылеев не подтвердил участия А.С. Грибоедова в обществе, сам драматург всячески отвергал принадлежность к заговорщикам. Отвечая на вопросные пункты Следственного Комитета, он писал: «Кн. Трубецкой и другие его единомышленники напрасно полагали меня разделявшим их образ мыслей. Если соглашался я с ними в суждениях о нравах, новостях, литературе, это еще не доказательство, что и в политических моих мнениях я с ними был согласен. Смело могу сказать, что по ныне открывшимся важным обстоятельствам заговора, мои правила с правилами кн. Трубецкого ничего не имеют общего. Притом же я его почти не знал» [6].

На гауптвахту изначально определяли тех подсудимых, вина которых не была доказана. Так, И.Л. Липранди вспоминал: «Содержались мы на свой счет, обед брали из ресторации; позволено было выходить вечером с унтер-офицером для прогулки. Немногие, однако же, желали пользоваться сим; книг, набранных Грибоедовым от Булгарина, было много...» [7]

Из этой неприятной истории драматургу помогает выпутаться любимец императора Николая I князь И.Ф. Паскевич, который был женат на двоюродной сестре А.С. Грибоедова. После освобождения драматурга с «очистительным аттестатом» близкий родственник и покровитель определил и дальнейшую судьбу Грибоедова: его вновь отправили служить на Кавказ под начало самого Паскевича: в частности, Грибоедов отвечал за дипломатические отношения с Персией и Турцией. Карьера Грибоедова складывалась в этот период жизни достаточно удачно, именно ему поручили привести императору Туркманчайский мирный договор, заключенный с Персией. Грибоедов принимал активное участие в выработке условий этого договора, по которому не только прекращались военные действия между Российской империей и Персией, но и земли Восточной Армении отходили России, да и контрибуцию персы должны были заплатить немаленькую – 20 миллионов рублей серебром. Вполне понятно, почему Николай I милостиво встретил посланника, наградил его орденом св. Анны 2-й степени с бриллиантами, денежной премией в 4000 червонцев. Кроме того, А.С. Грибоедов получил чин статского советника и был назначен полномочным министром в Персию.

Один из самых романтических мифов о Грибоедове – это миф о его сватовстве и женитьбе на Нине Чавчавадзе. Истинная история этих отношений несколько ретушируется уже хотя бы потому, что невесте было 15 лет, а жених был старше ее более чем в два раза. Однако не следует забывать, что в Российской империи еще в конце 18 – начале 19 ст. девушек выдавали замуж в 14 лет, в Грузии – в 12–13 лет. Князь А.Г. Чавчавадзе, один из самых просвещенных людей своего времени, был близким другом А.С. Грибоедова, поэтому драматург знал Нину еще совсем ребенком, учил ее играть на фортепиано, но влюбился, увидев ее повзрослевшей, в тот же день сделал предложение и получил согласие. В Письме к своему приятелю Ф.В. Булгарину А.С. Грибоедов так описывал эту ситуацию: «В этот день я обедал у старой моей приятельницы Ахвердовой, за столом сидел против Нины Чавчавадзе, второй том Леночки, все на нее глядел, задумался, сердце забилося, не знаю, беспокойства ли другого рода, по службе, теперь необыкновенно важной, или что другое придало мне решительность необычайную <...> мы туда уклонились, взошли в комнату, щеки у меня разгорелись, дыханье занялось, я не помню, что я начал ей бормотать, и все живее и живее, она заплакала, засмеялась, я поцеловал ее, потом к матушке ее, к бабушке, к ее второй матери Прасковье Николаевне Ахвердовой, нас благословили, я повис у нее на губах во всю ночь и весь день, от-

правил курьера к ее отцу в Эривань с письмами от нас обоих и от родных. Между тем выюки мои и чемоданы изготовились, все вновь уложено на военную ногу, на вторую ночь я без памяти от всего, что со мною случилось, пустился опять в отряд, не оглядываясь назад» [1]. Что заставило Грибоедова так молниеносно сделать предложение: воспоминание о бывшем увлечении какой-то Леночкой, о чем, несомненно, знал Булгарин, или соперничество с сыном генерала Ермолова?

Свадьба была сыграна как-то слишком срочно, с нарушением субординации – чиновники министерства иностранных дел обязаны были испрашивать разрешение на брак у министра. А.С. Грибоедов же, понимая, что это займет слишком много времени, обратился за разрешением к князю И.Ф. Паскевичу, который позднее вынужден был вступить по этому поводу с в переписку с министром иностранных дел К.В. Нессельроде.

Бытует миф о том, что за смерть А.С. Грибоедова Персия «заплатила» российскому правительству, передав в дар императору Николаю I знаменитый алмаз «Шах», который вместе с другими ценными подношениями привез в Петербург сын персидского шаха Аббас-Мирза. На самом деле, персы добились того, чего хотели: им уменьшили сумму контрибуции и увеличили сроки ее выплаты.

Все это нисколько не уменьшает заслуг Александра Сергеевича Грибоедова перед своим Отечеством и не делает его комедию «Горе от ума» менее великой, чем она есть на самом деле. Грибоедов навсегда останется для нас литератором, который стоял у истоков национальной русской драматургии и который во многом определил путь ее развития.

Литература

1. Письма Грибоедова А.С. [Электронный ресурс]. – 2015. Режим доступа : <http://www.griboedov.net/pisma/059.shtml>. – Дата доступа : 04.01.2015.
2. Андреев, А.Ю. Московский университет в общественной и культурной жизни России начала 19 века / А.Ю. Андреев [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа : <http://libatriam.net/read/129506/>. – Дата доступа : 04.01.2015.
3. Лыкошин, В.И. Из «записок» / В.И. Лыкошин [Электронный ресурс]. Режим доступа : <http://www.griboedov.net/remember/002.shtml>. – Дата доступа : 06.01.2015.
4. Феофанов, А.М. Студенчество Московского университета второй половины XVIII – первой четверти XIX в. : автореф. дис. ... канд. ист. наук. : 07.00.00 / А.М. Феофанов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://cheloveknauka.com/studenchestvo-moskovskogo-universiteta-vtoroy-poloviny-xviii-pervoy-chetverti-xix-v>. – Дата доступа : 05.01.2015.
5. Скабичевский, А.М. Александр Грибоедов. Его жизнь и литературная деятельность / А. М. Скабичевский [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks175327. – Дата доступа : 04.01.2015.
6. Щеголев, П.Е. А.С. Грибоедов и декабристы (По архивным материалам) / П.Е. Щеголев [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://az.lib.ru/s/shegolew_p_e/text_0140.shtml. – Дата доступа : 04.01.2015.
7. Липранди, И.Л. Из «Дневных записок» / И.Л. Липранди [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.griboedov.net/remember/013.shtml>. – Дата доступа : 06.01.2015.

УДК 821.162.1 (092 З. Налковская)

Взрослые и дети в нацистских лагерях смерти (по одноименному рассказу «Взрослые и дети в Освенциме» из сборника рассказов З. Налковской «Медальоны»)

Ю.С. ФИРАГО

Рассматриваются условия существования взрослых и детей в нацистских лагерях смерти. Делается акцент на механизме фашизма в действии, а также на уничтожении личности, духовном и физическом. На фоне концлагерей показан героизм жертв фашистов, проявляющийся в сохранении человеческого достоинства. На примере детей-узников изображена проблема искаленного детства и влияние фашистской идеологии на психику ребенка.

Ключевые слова: Фашизм, дети, взрослые, узники, Вторая мировая война, концлагерь.

Living conditions of adults and children in nazi death camps are considered in the article. The emphasis is made on the fascism mechanism in operation, and also on spiritual and physical destruction of a person. Against the background of the concentration camps the heroism of victims of the fascists, appeared in maintenance of human dignity is shown. On the example of children-prisoners the problem of the crippled childhood and influence of fascist ideology on mentality of a child is represented.

Keywords: Fascism, children, adults, prisoners, the Second World War, concentration camp.

Введение. Сборник рассказов «Медальоны» З. Налковской является предметом исследования отечественных литературоведов (С. Мусиенко), а также зарубежных ученых (В. Хорев, А. Кирхнер, Б. Рогатко, Т. Лошакова и др.). Произведение до сих пор продолжает вызывать интерес широкой аудитории, о чем свидетельствует его перевод на многие языки мира, в том числе и эсперанто. В вопросах изучения жанровых, стилевых и художественных особенностей сделано немало. Тем не менее, проблема существования взрослых и детей в концлагерях, которая нашла свое отражение в заключительном рассказе – «Взрослые и дети в Освенциме» требует более детального рассмотрения.

Цель статьи – анализ «трагических будней» взрослых и детей в концлагере Освенцим.

Сборник рассказов «Медальоны» З. Налковской был написан в 1946 г. и создавался на основе трагического опыта, который писательница приобрела, живя в оккупированной Польше, а позднее – во время службы в Комиссии по расследованию фашистских преступлений. Обследуя бывшие концлагеря, беседуя с их недавними узниками, З. Налковская сталкивалась с чудовищными фактами концлагерной жизни. Впечатления от пережитой людьми трагедии легли в основу принципиально нового типа произведений: «документа, написанного в манере репортажа» [1, с. 115].

Писательница принесла в литературу собственный трагический опыт военных событий (об этом свидетельствует ее «Дневник периода войны»), однако в «Медальонах» «мастер утонченного психологического рисунка» отказывается от анализа окружающей действительности, взяв за основу повествования свидетельства узников концлагерей. «Медальоны» отличается сдержанный объективный тон повествования, как бы основанный на древнем эпическом принципе – «без гнева и пристрастия» [2, с. 96]. Автор с протокольной точностью фиксирует факты преступлений, практически не давая оценок происходящему. Тем не менее, З. Налковская является не столько активным слушателем, сколько наблюдателем и комментатором событий, который подверг серьезному анализу душевное состояние людей, попавших в «нечеловеческие условия». «Медальоны» отличает строгая фактографичность и скрупулезность в освещении событий и судеб. Вместе с этим в произведении присутствуют яркие признаки эстетической организации материала, который полностью «взят из жизни».

«Медальоны» состоят из восьми небольших новелл – «Профессор Шпаннер», «На кладбище», «Дно», «У железнодорожной насыпи», «Двойра Зеленая», «Виза», «У человек сил много», «Взрослые и дети в Освенциме». Все новеллы абсолютно разные, как по содержа-

нию, так и по и поставленным проблемам. Тем не менее, во всех восьми рассказах писательница воплотила единый идейный замысел – показала сохранение человеком высоких моральных качеств в нечеловеческих условиях войны.

Авторская концепция отношения к человеку в условиях фашизма раскрывается в эпиграфе «Люди людям уготовили эту судьбу», которым открывается сборник «Медальоны» З. Налковской. Вот, что об этом говорит С. Мусиенко: «Эпиграф к «Медальонам» «Люди людям уготовили эту судьбу» позволил классифицировать общество по этическому принципу: жертвы и палачи, люди и нелюди... Безграничности страданий, которые с достоинством переносят жертвы, противопоставляется бездушный прагматизм фашистов» [3, с. 136]. Концептуальное значение эпиграфа раскрывается в соотнесенности с содержанием каждого рассказа, однако дословно он воспроизводится в последнем – «Взрослые и дети в Освенциме». Здесь, как в предыдущих новеллах, З. Налковская утверждает мысль об ответственности каждого человека за неутешительные последствия Второй мировой войны. По-новому в рассказе звучит проблема разобщенности людей, которая, по мнению писательницы, кроется в их сознании. Она не скрывает ненависти к тем, «кто своими руками осуществлял этот искусный план грабежа и убийств». [4, с. 456]. Мысль о вине всего человечества за совершенные преступления в рассказе «Взрослые и дети в Освенциме» реализуется с максимальным эффектом. З. Налковская приходит к неутешительному выводу: в ситуации нравственного выбора между любовью и искренностью человеческих чувств, с одной стороны, и жестокостью, предательством, с другой, не все смогли остаться людьми. Как отмечает Т. Лошакова, «своим произведением писатель утверждает, что жертвой жесточайшего социального эксперимента стали не только узники, но и те, кто был вынужден сосуществовать, приспосабливаться к действительности, в которой «смерть обыкновенная, единичная по сравнению с этой всеобщей кажется чем-то неуместным» [5, с. 127].

Рассказ «Взрослые и дети в Освенциме» отличается от остальных новелл не только показом суровой действительности концлагерей, но и демонстрацией самого страшного явления в цивилизованной стране – уничтожением детей. Уже в названии заключается общая для всего цикла проблема – жизнь взрослых и детей в условиях концентрационных лагерей смерти. Механизм фашизма в действии и уничтожение личности являются ядром концепта и определяют идейно-тематическое наполнение произведения.

Основная тема рассказа – человек вне человеческого, жизнь, превращенная в кошмар. З. Налковская не выносит приговоров ни одному из своих персонажей, но показывает бесчеловечность «деятельности» фашистов, которым на земле не должно быть места, потому что на ней живут люди. Она намеренно не подвергает оценке представленное, используя прием отстранения, открытый финал. Позиция писательницы по отношению к описываемым событиям бесстрастна и объективна. Тем не менее, за бесстрастностью скрывается великая боль за человека, который принял «как неизбежное противоестественные вещи: издевательства, состояние отчужденности, одиночества, страха, насильственную смерть» [6]. В произведении З. Налковская выступает не как писатель, а как потрясенный участник «Комиссии по расследованию фашистских преступлений». Писательница говорит от имени жертв и непосредственных свидетелей трагедии, а также осуждает фашизм как активный общественный деятель, целью которого было рассказать миру, какой на самом деле была жизнь за колючей проволокой.

«Взрослые и дети в Освенциме» – единственный рассказ, в котором, представляя образ людей-«живодеров из Освенцима», писательница использует слово, имеющее негативную экспрессивную оценку. На фоне нравственной деградации исполнителей фашистской идеологии писательница показывает жизнь человека-узника. В рассказе крайняя жестокость соседствует с эпизодами, свидетельствующими о стойкости духа тех, «кто, вопреки всему, выжил в мире, обрекавшем на нечеловеческие мучения и смерть» [7, с. 135].

Если речь идет об узниках, то в произведении нет деления героев на главных и эпизодичных (второстепенных). Внимание автора в рассказе сконцентрировано на двух категориях персонажей: на жертвах обстоятельств, «поднявшихся до уровня героев своими страданиями, и ученых, деятелях культуры, которыми вправе гордиться любая нация» [4, с. 176] и на мигрантах, эволюционирующих от человечности к безразличию, а затем к бесчеловечности. Рассказ является

единственным из всего цикла, в котором писательница поднимает проблему масштабного использования труда и жизни детей для нужд немецкого фронта и науки. С первых страниц рассказа З. Налковская обнажает факты относительно принципов действия лагерного механизма и его влияния на сознание узников. Бесстрастно, скупое и без эмоций она подводит итог страшной экспериментальной системы лагерей смерти – духовное и физическое уничтожение личности.

«За несколько лет сожгли и удушили газом бесчисленное количество людей, и все это было проделано «на научной основе», четко, методично, планомерно. Впрочем, методы уничтожения, в зависимости от вкусов и склонностей того или иного убийцы, могли быть любыми» [8, с. 477].

Несмотря на то, что в название рассказа писательница вынесла только один лагерь – Освенцим, она, безусловно, знала и о других подобных местах, где целенаправленно уничтожались люди. «Кроме Майданека, Освенцима, Бжезинок, Треблинки, мы понемногу открываем и новые названия, пока что менее известные. Нередко лагеря были расположены в лесу или среди зеленых холмов, в стороне от железной дороги. Тут, видно, все совершалось еще проще, методы убийства становились еще рациональнее и дешевле. Так совсем недавно в Тушинке и Венчине под Лодзью обнаружили настоящие залежи мертвецов» [8, с. 478]. Концлагеря выполняли определенные функции, главные из которых З. Налковская определила следующим образом: уничтожение (истребление «ненужных людей»); вселение страха в души миллионов людей; предоставление людей в качестве рабов в немецкие семьи, а также на гитлеровские фабрики и заводы. Человек для фашистов утратил ценность как личность, представляя собой «живую» вещь; расправы над заключенными сопровождалась пытками и носили особо мучительный, садистский характер; в мир «ненужных вещей» ушло целое поколение людей.

Изобретением пыток занимались не безграмотные «повара и парикмахеры», а высокообразованные чиновники, многие из которых прекрасно разбирались в литературе, живописи, музыке.

Из показаний депутата Майера вырисовываются чудовищные издевательства представителей фашистской идеологии над людьми:

«... намечал себе жертвы заранее. Всего несколькими искусными ударами он отбивал людям почки так, что даже следов от побоев не было заметно, но через два-три дня наступала смерть.

Другой убийца предпочитал иной способ – он наступал сапогом человеку на горло с такой силой, что под тяжестью сапога хрустела гортань.

Третий окунал заключенного в чан с водой, и несчастный умирал, захлебнувшись.

... Тех, у кого была не в порядке одежда или обувь, он убивал несколькими ударами резиновой дубинки со свинцовым наконечником. Он строго следил за тем, чтобы на его счету ежедневно было не менее пятнадцати убитых.

... Ежедневно перед завтраком душил нескольких заключенных. Жертвы он облюбовывал заблаговременно, во время утренней прогулки». [8, с. 476].

Издевательства и пытки над людьми дополнились так называемыми «медицинскими» опытами. С этой целью были созданы специальные курсы, на которых предусматривалось обучение «практическим приемам садистской жестокости». Представители гитлеровской партии с каждым днем совершенствовали свои знания в области человекоубийства.

«Пепел от костей шел на удобрение, жир – на мыло, кожа – на изготовление кожаных изделий, человеческие волосы – на матрацы, но все это было лишь побочным продуктом огромного государственного предприятия, в течение многих лет приносившего неисчислимую прибыль» [8, с. 475]. Кроме практической и теоретической сторон издевательства над людьми, которые З. Налковская выделила в лагерной системе, целесообразно отметить еще одну – нравственную, подразумевающую деформацию человеческой личности. Лагеря были идеологическими учреждениями. Помимо травматизации (пыток, побоев, издевательства), примерами которой изобразила в рассказе писательница, можно говорить о том, что представители нацистской идеологии прикладывали все усилия для того чтобы подавить в узниках индивидуальность и разрушить их способность верить в будущее. «Зверью в мундирах» писательница отказывала в праве называться людьми.

З. Налковскую восхищали «жертвы» концлагерей – люди, которые в нечеловеческих условиях сумели сохранить достоинство, смелость, сопротивляемость злу и готовность, рискуя собственной жизнью, помогать друг другу. В рассказе писательница доказала, что люди, несмотря на ежедневную травлю, нашли в себе силы противостоять системе, а потому имеют

право называться героями. В данном случае трудно не согласиться со словами С. Мусиенко о том, что «героизмом было в нечеловеческих условиях остаться человеком, сохранить достоинство и высокие нравственные качества, но эти люди не считали себя героями, даже упрекали себя в том, что чего-то не запомнили или не сделали» [4, с. 177].

Первым в галерее положительных персонажей предстает профессор Будапештского университета доктор Мансфельд. После его слов З. Налковская делает вывод о том, что людям помогло выжить человеческое братство, а не отчаяние, а также готовность помогать друг другу в трудные минуты.

«Эти люди ставили перед собой задачу помогать другим, хотя сами каждый день глядели в глаза смерти и наравне с остальными заключенными прошли через все виды мучений. Очень много для спасения своих собратьев сделали врачи из заключенных, знания которых оказались нужными и в лагере» [8, с. 486]. Узники всячески оказывали сопротивление системе. Пускай без автомата в руках, а своими благородными поступками и жизненными убеждениями, желание жить были сильнее всякого рода оружия.

На примере образов докторов Мансфельда, Фишера, Грабчиньского и депутата Майера писательница показала, что любое противодействие целям нацистов: стремление вести нормальный образ жизни, сохранять в себе человеческие качества и человеческое поведение по отношению к другим людям, было героическим сопротивлением злу и насилию.

Тем временем великолепно отлаженная гитлеровская машина уничтожения людей продолжала перемалывать всех с одинаковой аккуратностью и беспощадностью: стариков, женщин, малышей. Не обошла мучительная участь испытать все виды мучений фашистскими «экспериментаторами» и детей. В рассказе «Взрослые и дети в Освенциме» они представляют самую незащищенную и драматическую категорию персонажей. З. Налковская умышленно не называет имена своих маленьких героев, дабы показать массовость фашистских злодеяний – сотни тысяч малышей оказались в концентрационных лагерях и в гетто, где ежеминутно подвергались зверским издевательствам.

Писательница рассказ о детях начала со следующих слов: «Дети в Освенциме знали, что должны умереть» [8, с. 486]. Слово «должны» в данном контексте, кроме ужаса, вызывает, пожалуй, только удивление. Автор показывает противоестественность ситуации: дети, которые только начинают жить, принимают смерть как неизбежное явление. Они наравне с взрослыми хлебнули горя полной чашей, слишком большой для маленького человека, ведь начало войны совпало для них с взрослением. Изобразив гибель как привычное для маленьких узников состояние (на их глазах осуществлялся целый ряд «карательных операций»), З. Налковская показывает их превращение в жертв системы.

Даже расправы над маленькими заключенными сопровождалась жестокими пытками и носили особо мучительный, садистский характер. Для выявления и уничтожения ослабевших узников проводилась регулярная «филтрация». З. Налковская представила чудовищные примеры того, как ребятишек прогоняли через «линеечки, планки, которые устанавливались на определенной высоте. Дети, чтобы уберечься от смерти, вставали на носочки, дотягиваясь до планки жизни. Один метр двадцать сантиметров был жизненным минимумом. Всех, кто был меньше его, сжигали в крематориях.

«В газовые камеры посылали самых маленьких, еще не пригодных для работы. Во время селекции дети по очереди становились под металлическую линейку, укрепленную на высоте одного метра двадцати сантиметров от земли. Понимая важность минуты, малыши, приближаясь к линейке, выпрямлялись, поднимались на цыпочки, чтобы коснуться головой линейки и тем самым спасти себе жизнь» [8, с. 487].

Детишки быстро привыкали ко всему. Они играли в игры их жизни. В забавах маленьких узников было то, что они видели в окружавшем их страшном мире взрослых. Это был мир, в котором из людей делали мыло, из девичьих кос матрацы, мир, который ни с чем нельзя было сравнить. Для большинства малышей, попавших в концлагерь, селекция для газовых камер и смерть были обыденными явлениями, поскольку нормальной жизни им так и не довелось увидеть. В своих играх дети полностью копируют мир взрослых, который разделен для них на «своих» и «врагов», и обе стороны друг к другу беспощадны. Преступная идеология нашла свое отражение в детском сознании. З. Налковская подчеркивает, что такое понятие, как антисемитизм для ребенка было привычным явлением.

Сильнейшее чувство потрясения возникает от эпизода детской игры, которым З. Налковская заканчивает свой рассказ. Малыши, которые сидели в песке и передвигали какие-то щепки, на вопрос профессора Эпштейна «Во что вы играете, дети» спокойно ответили: «Мы сжигаем евреев» [8, с. 486]. В данном случае З. Налковская показала ужасы порабощения одного народа другим через призму детской психологии, представила бессмысленность поступков, совершаемых членами фашистской идеологии ради неизбежной системы и слепого патриотизма. Автор сделала акцент на заостренности фашистских умов, угнетающих евреев, и на том, как искусно подменяется детская невинная жизнь внушаемыми странной ценностями, превращающими ребенка в безжалостное существо. Беспочвенная ненависть и презрение, внушенные детям, мешают увидеть в евреях человека, а не раба. Идеология расовой ненависти становится причиной воцарения в мире тоталитарного режима. С раннего детства ребенок находился во власти национальных, религиозных и классовых предрассудков, что повлекло за собой ненависть к себе подобным.

На примере детских жизней автор показала последнюю черту жестокости фашистов – изуродованное и искалеченное детство. Становится непонятно, как страна, давшая миру Гете и Бетховена, не только развязала Вторую мировую войну, но и стала использовать средневековые издевательства над людьми, а также посягнула на самое святое – детские жизни.

Заключение. Представляя бесчеловечную реальность концлагерей, З. Налковская показывает героизм жертв фашистов, заключающийся в том, что в нечеловеческих условиях они сохранили свое достоинство. Рассказ «Взрослые и дети в Освенциме» является единственным из всего цикла сборника «Медальоны», где представлены «трагические будни» пребывания детей в концлагере Освенцим. Пропуском ребенка «в жизнь» был рост выше ста двадцати сантиметров, в противном случае его отправляли в крематорий. На примере детских образов автор изобразила проблему искалеченного детства и влияние фашистской идеологии на психику ребенка.

Литература

1. Bobryk, A. Charakter narodowy w obliczu okrucieństw wojny na przykładzie «Medalonów» Zofii Nałkowskiej / A. Bobryk // Творчасць Зоф'і Налкоўскай і славянскія культуры : матэрыялы міжнар. навук. канф., Гродна, 17–18 мая, 2004. / Гродненскі дзярж. ўн-т ; пад рэд. С.П. Мусіенкі. – Гродна, 2005. – 403 с.
2. Хорев, В.А. История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны / В.А. Хорев. – Москва : «Индрик», 1995. – Т. 1. – 694 с.
3. Мусіенка, С.П. Тэма Другой сусветнай вайны ў польскай і беларускай мемуарнай літаратуры (на прыкладзе зборнікаў З. Налкоўскай «Медальёны» і С. Алексеевіч «У вайны не жаночы твар») / С.П. Мусіенка // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы IX Міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю філалагічнага факультэта БДУ, Мінск, 15–17 кастрычніка, 2009 г. / Беларускі дзярж. ун-т ; пад рэд. В.П. Рагойшы. Мінск, 2010. – Ч. 1. – 293 с.
4. Мусіенка, С. Творчасць Зоф'і Налковскай / С. Мусіенка ; под ред. В. Хорева. – Минск : «Наука и техника», 1989. – 203 с.
5. Лошакова, Т. Экзистенциальная проблематика «Медальонов» З. Налковской / Т. Лошакова // Творчасць Зоф'і Налкоўскай і славянскія культуры : матэрыялы міжнар. навук. канф., Гродна, 17–18 мая, 2004. / Гродненскі дзярж. ўн-т ; пад рэд. С.П. Мусіенкі. – Гродна, 2005. – 403 с.
6. Лошакова, Т. К вопросу о рецепции экзистенциализма в польской литературе 1940–1960-х гг. / Т. Лошакова [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : http://scjournal.ru/articles/issn_1997-2911_2013_8-1_26.pdf. – Дата доступа : 09.05.2014
7. Гарданова, Л. «Медальоны» Зоф'і Налковской и «Каменный мир» Тадеуша Боровского (сравнительно-сопоставительный аспект) / Л. Гарданова // Творчасць Зоф'і Налкоўскай і славянскія культуры : матэрыялы міжнар. навук. канф., Гродна, 17–18 мая, 2004. / Гродненскі дзярж. ўн-т ; пад рэд. С.П. Мусіенкі. – Гродна, 2005. – 403 с.
8. Налковская, З. Избранное / З. Налковская. – М : «Художественная литература», 1979. – 487 с.

УДК 821.161.3*Я.Семяжон:811.161.3'255.2:821.111*У.Шэкспір

Язэп Семяжон перакладчык Шэкспіра

I.A. ХОРСУН

Разглядаюцца пераклады санетаў Уільяма Шэкспіра Язэпам Семяжонам. Раскрываецца творчая індывідуальнасць выдатнага паэта-перакладчыка праз аналіз перакладаў паасобных санетаў аднаго з самых таямнічых і самых геніяльных асоб сусветнай літаратуры і гісторыі, якім быў Уільям Шэкспір.

Ключавыя словы: мастацкі пераклад, літаральны праявічны пераклад, няроднасныя мовы, паэтычныя асаблівасці, рыфма, мастацкі сродак.

The translations of Shakespeare's sonnets by Yazep Semyazhon are considered. The individuality of the great poet and translator (Ya. Semyazhon) is revealed through his translations of several sonnets created by William Shakespeare, one of the most enigmatic and genial people in the world literature and history.

Keywords: literary translation, literal prose translation, unrelated languages, poetic peculiarities, rhyme, linguistic means.

Язэп Семяжон – адзін з найбольш адметных прадстаўнікоў беларускага мастацкага перакладу ХХ ст. – прафесійны перакладчык, паэт, літаратура- і перакладазнаўца. Ён узнаўляў лепшыя творы літаратур. Многія з іх сталі прыкметнай з'явай не толькі ў айчыннай, але і ў славянскай і нават сусветнай перакладной літаратуры («Пан Тадэвуш» Адама Міцкевіча, «Песня пра зубра» Міколы Гусоўскага, «Кароль Лір» і «Утаймаванне наравістай» Уільяма Шэкспіра і інш.).

Толькі высокаадукаваны, разумны і чулы чалавек, якім быў Язэп Семяжон, можа прапанаваць чытачу такія дасканалыя пераклады. І дзякуючы нястомнай працы выдатнага паэта-перакладчыка, сёння на нашай роднай мове гучаць многія ўзоры класічнай і сучаснай паэзіі з усіх кантынентаў планеты, прычым гучаць добра, натуральна па-беларуску і праўдзіва ў дачыненні да арыгіналаў, бо Язэп Семяжон сапраўды пазбягаў у сваіх паэтычных перакладах сэнсава-вобразнай «мань», імкнучыся заўсёды захоўваць вернасць духу арыгінала [1].

Амаль усё, да чаго дакранаўся Язэп Семяжон, пазначана высокай паэтычнасцю. Кожны перакладзены ім твор захоўвае ўсе асноўныя рысы арыгінала. А калі дадаць да гэтага імкненне да гарманічнай дасканаласці, глыбокае разуменне тэксту і віртуознае валоданне мовай – перад намі сапраўды выдатны майстар [2, с. 60]. Раскрываючы сакрэты сваёй творчасці, ён зазначаў: «Правільнай лічу такую ўстаноўку – перакладаць не слова ў слова, а паэзію – паэзіяй, вобраз – вобразам» [1].

Немагчыма ахапіць усю шматграннасць яго перакладчыцкай дзейнасці, таму ў гэтым артыкуле разгледзім пераклады Язэпа Семяжона з Уільяма Шэкспіра, аднаго з самых таямнічых і самых геніяльных асоб сусветнай літаратуры і гісторыі. Язэп Семяжон быў першым, хто здзейсніў паэтычны пераклад на беларускую мову твораў вялікага англійскага паэта.

Язэп Семяжон здолеў данесці да чытача ў жывой форме шчыра і ярка сілу і характар паасобных санетаў Шэкспіра (Q 23, 65, 91, 130), якія перш за ўсё аб'ядноўвае тэма кахання (поўны тэкст санетаў у арыгінале падаецца ў канцы артыкула).

*O! learn to read what **silent love** hath writ
That in blank ink **my love may still shine bright**
Thy love is better than high birth to me
And yet by heaven, I think **my love as rare** [3]*

У. Шэкспір узяў каханне на недасягальную вышыню. Ягонае любоўнае лірыка сталася сапраўдным узорам сусветнай.

Вось як гучаць гэтыя строкі ў перакладзе Язэпа Семяжона:

*Ці зможа толькі зрок пачуць літанне
І крык майго **бязмоўнага кахання?** [Q 23]
Надзей няма. І ўсё ж **твой вобраз мілы,**
Быць можа зберагуць няро, чарніла [Q 65].*

Мне даражэй, чым скарб, тваё каханне... [Q 91].

І сто разоў расхваленных лілей

Яна адна мне ў сто разоў мілей [Q 130].

Паэты вылучаюцца сярод звычайных людзей ступенню перажывання кахання і пачуццяў, якія яму спадарожнічаюць. І кожны з іх спрабуе знайсці адпаведныя вобразна-выяўленчыя сродкі, каб перадаць непаўторнасць гэтага пачуцця.

Адметнасцю творчай індывідуальнасці Язэпа Семяжона з'яўляецца тое, што яго пераклады можна лічыць самастойнымі творамі, мастацкая якасць яго перакладаў вельмі высокая, непарушаная ва ўсіх кампанентах. Ён імкнецца перадаць і фармальныя асаблівасці, і драбнейшыя дэталі вобразаў, філасофскую скіраванасць і каларыт эпохі, і паэтычную форму, праз якую перадаецца змест, і паэтычны водар арыгіналу, яго непасрэднасць і свежасць.

Так, у санеце Q 23, паэт павінен растлумачыць, чаму час ад часу ён самотны поруч свайго кахання. Гэта абумоўлена, паводле яго слоў, велічыняй ягонага кахання, магчыма настолькі велізарнага, што яно занадта вялікае, каб насіць з сабою. Ён падобны да акцёра, які не можа ўспомніць свае словы (*As an imperfect actor on the stage // Who with his fear is put beside his part*), або да дзікага звера, што ў лютасці кідаецца на ўсіх, бо не можа нічога дамагчыся (*Or some fierce thing replete with too much rage, // Whose strength's abundance weakens his own heart*). Навучыцца чытаць тое, што напісала маўклівае каханне. І гэта гучыць, як просьба, як маленне аўтара (*O! learn to read what silent love hath writ*): ўменне чуць вачыма – частка тонкага розуму кахання.

Адзначым тое, што толькі ў арыгінале санета заключныя радкі напісаны ў загадным ладзе, і ўсе выбраныя перакладчыкі (Я. Семяжон, У. Дубоўка, С. Маршак) выкарыстоўвалі пыталыныя сказы, тым самым ўскосна падкрэсліваючы сваю ролю ў перастварэнні твора. Яны нібы трансфармуюць словы аўтара ва ўскосную мову, тым самым пытаючыся ў чытача:

Ці зможа толькі зрок пачуць літанне

І крык майго бязмоўнага кахання? (Я. Семяжон) [4],

або

Пачуем пра любоў з нямых радкоў? (У. Дубоўка) [5]

і

Прочтешь ли ты слова любви немой?

Услышишь ли глазами голос мой? (С. Маршак) [6].

У санеце Q 65 тэма гібелі прыгажосці атрымлівае далейшае развіццё ў супастаўленні з сімваламі абсалютнага зямнога даўгалецця і непарушанасці, згаданых ў папярэдніх санетах – латуневыя і каменныя вежы, сама зямля. Іх стабільнасць па сутнасці з'яўляецца проста падманам, а іх сіла – ілюзіяй. Як жа ва ўсіх гэтых руінах можа выжыць такая далікатная рэч, як прыгажосць? – задае сабе пытанне паэт. Здаецца сапраўды немагчымым. Тым не менш, ёсць адна надзея, адзіны шанец: неўміручасць верша правядзе праз непазбежнае разбурэнне часу і калі-небудзь юная прыгажосць будзе захавана нейкім цудам хоць у смяротных словах: *That in blank ink my love may still shine bright*.

Надзей няма. І ўсё ж твой вобраз мілы,

Быць можа, зберагуць пяро, чарніла [4].

У нейкай ступені гэтая тэма паўтараецца ў папярэдніх санетах, напрыклад, у санеце Q 18, дзе пачуццё пагрозы асабістай страты непераможнасці і непазбежнасці знішчэння надыходзячым часам саступае аўтарскай упэўненасці:

So long as men can breathe or eyes can see, // So long lives this and this gives life to thee (Пакуль людзі могуць дыхаць або вочы могуць бачыць, // Да таго часу гэта будзе жыць і даваць жыццё табе).

Гэтая праблема надзвычай хвалюе і беларускага паэта:

Як бег імклівы часу ўняць рукою

І часу твор ад часу ўратаваць? [Там жа].

Магчыма, чарніла *black ink* не будзе досыць моцным, каб вытрымаць падле часу, але яго чарната будзе сімвалізаваць надыходзячую цемру. У любым выпадку яны засталіся з пачуццём смутку і асуджанасці за моладзь і ўсё чалавецтва.

Санет Q91 вяртае паэта да больш паслабленага настрою, хвальбы багаццем і захаплення яго станам ў валоданні каханнем як пачуццём. Гэты стан шчаслівейшы, чым ва ўсіх тых, хто пагружаны ў самыя модныя заняткі. Кожнаму даспадобы свая радасць:

*Some glory in their **birth**, some in their **skill**,
Some in their **wealth**, some in their **body's force**,
Some in their **garments** though new-fangled ill;
Some in their **hawks and hounds**, some in their **horse**; [3]*

Паляванне, рыцарства, цудоўнае адзенне і ўсе іншыя складнікі багацця – ўсё пераўздызнена валоданнем гэтай рэчай.

*А мне судзіла доля ўведаць **шчасце**,
Якое аб'яднала ўцехі ўсе.
Мне даражэй, чым скарб, **тваё каханне**... [4]*

Але, на жаль, гэты здабытак нясе ў сабе і пагрозу. Гэта менш бяспечна, чым іншыя заняткі, бо той, хто дае яго [каханне], можа імгненна пазбавіць здабытага шчасця.

*Пакінеш альбо здрадзіш мне тайком,
І я адразу стану жабраком [Там жа].*

Таму ў думках ён няшчасны, або баіцца такім стаць, бо валодае такім багаццем, якое немагчыма купіць. Каханне – значна большая каштоўнасць, чым самыя лепшыя з дарагіх адзенняў, бо яно прыносіць большае задавальненне, чым сокалы і коні.

*Мне даражэй, чым **скарб**, тваё каханне,
Чым **рыцарскі сярэбраны шалом**,
Чым **хараства заморскага убрання**
І ўцеха **палявання з сакалом** [Там жа].*

У санеце Q 130 У. Шэкспір высмейвае традыцыю паэтычнага параўнання сваёй каханай з усімі рэчамі прыгожымі пад сонцам і з рэчамі чароўнымі і несмяротнымі. Ён не баіцца паказаць сваю адзіную звычайна зямной істотай:

*My mistress' **eyes** are nothing like the **sun**;
Coral is far more red than her **lips** red...
If **hairs** be wires, **black** wires grow on her head... [3].*

*На **зоркі** не падобны любай **вочы**
І **вусны** – не **каралі**, рот – як **рот**...
І **завіткі** на скронях быццам **дрот**...
Яе аблічча **без класічных ліній** [4].*

Перакладчык у больш эмацыянальнай форме перадаў сутнасць такіх параўнанняў простымі зваротамі, простымі сказамі. Але галоўным застаецца пачуццё: яго каханая не саступіць прыгажосцю любой жанчыне, якую абагаўляюць і ўзносяць фальшывымі параўнаннямі:

*І сто разоў расхваленых лілей
Яна адна мне ў **сто разоў мілей** [Там жа].*

Дадзены санет напісаны ў такі час, калі выкарыстоўваліся высокія параўнанні для хвалы каханай, параўнанні з бажаннямі. Адзін з такіх прыкладаў узыходзіць каранямі да Пётраркі і яго санетаў да Лауры (напрыклад, санет 90). Варта толькі ўбачыць яе хаду, каб прызнаць у ёй багіню. *Et vera incessu patuit dea*. Спачатку паэт усхваляе хаду сваёй любай, лічыць яе чароўнай, надаючы ёй анёльскія формы, але адразу ж «прызямляе» гэты вобраз цалкам зямным голасам, якім яна валодае, тым самым узмацняючы кантраст антанімічнай парай *godly–living* (боскі, значыць несмяротны – *жывы*, значыць смяротны):

*The way she walked was **not the way of mortals**
but of **angelic forms**, and when she spoke
more than an earthly voice it was that sang:*

*a **godly spirit** and a **living sun**
was what I saw, and if she is not now,
my wound still bleeds, although the bow's unbent [3]*

Тэксты Семяжона бездакорныя амаль ва ўсіх адносінах. Складваецца ўражанне, што гэта іменна Шэкспір, бо перакладчык тут амаль адсутнічае, не падмяняе аўтара.

Важна, каб пераклады былі на высокім узроўні культуры, каб не было таннага саматужніцтва і гандлярскага падыходу да справы. Добры мастацкі пераклад мае права на такое ж прызнанне, як і добры арыгінальны твор. На жаль, да гэтага часу быццё думка, што займацца перакладамі можа кожны, хто ведае мовы, і асабліва калі ён сам піша вершы. Забываюць, што работа перакладчыка вельмі спецыфічная і перш за ўсё патрабуе майстэрства. Даць на іншай мове мастацкі эквівалент арыгінала – гэта значыць не толькі добра разумець і адчуваць арыгінал, але і валодаць усім комплексам патрэбных мастацкіх сродкаў.

Пераклад па падрадкаўніках (літаральныя праявіны пераклады), асабліва пры перакладах паэзіі, не можа параўнацца з перакладам непасрэдна з арыгінала, таму што ні адзін падрадкаўнік не можа даць поўнага ўяўлення аб арыгінале [2, с. 60]. Язэп Семяжон цудоўна валодаў замежнымі мовамі, быў старшым выкладчыкам замежных моў, выступаў з артыкуламі па пытаннях мастацкага перакладу, вельмі адказна падыходзіў да перакладаў, асабліва паэтычных.

Шматколернасць фарбаў, выкарыстаных Шэкспірам пры стварэнні санетаў, ставіць перад аўтарамі перакладаў няпростыя мастацкія задачы і аб'ектыўна выклікае багацце розных варыянтаў перакладу.

У перакладчыка ёсць свае, характэрныя для яго прыёмы, яго прыхільнасці ў выбары слоў, зваротаў мовы, сінтаксічных канструкцый, тэрміналогіі і г. д.; гэты аналіз можа шмат значыць для ацэнкі якасці яго працы, але наўрад ці будзе мець прыныповае, агульнае значэнне. Бо адна і тая ж думка можа быць выказана на кожнай мове па-рознаму [7].

Сваімі арыгінальнымі перакладамі, сваімі вобразамі Язэп Семяжон дапамог лепшым ўзорам сусветнай паэзіі заняць сваё пачэснае месца і ў беларускай літаратуры. [2, с. 61–62].

William SHAKESPEARE

23

As an unperfect actor on the stage.
Who with his fear is put beside his part.
Or some fierce thing replete with too much rage,
Whose strength's abundance weakens his own heart;
So I, for fear of trust, forget to say
The perfect ceremony of love's rite.
And in mine own love's strength seem to decay.
O'ercharged with burthen of mine own love's might.
O! let my looks be then the eloquence
And dumb presagers of my speaking breast.
Who plead for love, and look for recompense.
More than that tongue that more hath more express'd.
O! learn to read what silent love hath writ:
To hear with eyes belongs to love's fine wit.

65

Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea,
But sad mortality o'ersways their power,
How with this rage shall beauty hold a plea,
Whose action is no stronger than a flower?
O! how shall summer's honey breath hold out,
Against the wreckful siege of battering days,
When rocks impregnable are not so stout,
Nor gates of steel so strong but Time decays?

O fearful meditation! where, alack,
 Shall Time's best jewel from Time's chest lie hid?
 Or what strong hand can hold his swift foot back?
 Or who his spoil of beauty can forbid?
 O! none, unless this miracle have might,
 That in black ink my love may still shine bright.

91

Some glory in their birth, some in their skill,
 Some in their wealth, some in their body's force,
 Some in their garments though new-fangled ill;
 Some in their hawks and hounds, some in their horse;
 And every humour hath his adjunct pleasure,
 Wherein it finds a joy above the rest:
 But these particulars are not my measure,
 All these I better in one general best.
 Thy love is better than high birth to me,
 Richer than wealth, prouder than garments' cost,
 Of more delight than hawks and horses be;
 And having thee, of all men's pride I boast:
 Wretched in this alone, that thou mayst take
 All this away, and me most wretched make.

130

My mistress' eyes are nothing like the sun;
 Coral is far more red, than her lips red:
 If snow be white, why then her breasts are dun;
 If hairs be wires, black wires grow on her head.
 I have seen roses damasked, red and white,
 But no such roses see I in her cheeks;
 And in some perfumes is there more delight
 Than in the breath that from my mistress reeks.
 I love to hear her speak, yet well I know
 That music hath a far more pleasing sound:
 I grant I never saw a goddess go,
 My mistress, when she walks, treads on the ground:
 And yet by heaven, I think my love as rare,
 As any she belied with false compare.

Літаратура

1. Лукашонак, Н.У. Язэп Семяжон – паэт і перакладчык / Н.У. Лукашонак. [Электронный ресурс]. – 2014.– Режим доступа : <http://kraism.by/kylytra/5144-yazep-semyazhon-paet-perakladchyk.html>. – Дата доступа : 19.02.2014.
2. Караткевіч, У. Майстэрства перакладу / У. Караткевіч // Далягляды. – Мн. : Мастацкая літаратура, 1971. – С. 60.
3. Shakespeare, W. The Sonnets: Poems of Love / William Shakespeare. – NY : St. Martin's Press, 1980. – 160 p.
4. Семяжон, Язэп. Беларускія пісьменнікі: бібліяграфічны слоўнік : у 6 т. / пад рэд. А. І. Мальдзіса. – Мн. : БелЭн, 1992–1995. – Т. 5. – С. 288–290.
5. Шэкспір, У. Санеты ; пер. У. Дубоўка / У. Шэкспір. – Мн. : Беларусь, 1964. – 163 с.
6. Шекспир, В. Сонеты ; пер. С. Маршака / В. Шекспир. – М. : Советский писатель, 1984. – 172 с.
7. Топер, П. Перевод и литература: творческая личность переводчика / П. Топер. [Электронный ресурс]. – 2014.– Режим доступа : <http://magazines.russ.ru/voplit/1998/6/toper.html>. – Дата доступа : 10.01.2014.

Лексико-derivационный аналитизм в представлении локативной семантики

С.А. ЯНКОВСКАЯ

Наличие в русском языке формальной и семантической соотнесенности между префиксами и предлогами пространственного значения позволяет рассмотреть в определенном единстве предложно-падежные формы со значением локативности, а также словосочетания, представляющие значение места аналитически. Обращается внимание на факты соотносимости/несоотносимости различных предложно-падежных форм имен существительных соответствующим производным префиксальным локативным субстантивам. Рассматриваются производные субстантивы с локативной семантикой в русских народных говорах, представляющие значения, не представленные в литературном языке одним словом. Отмечаются факты «расширения» фрагментов деривационных гнезд локативности посредством предложно-падежных форм имен существительных с локативной семантикой в тех случаях, когда в словообразовательной системе отсутствует соответствующее слово.

Ключевые слова: лексико-derivационный аналитизм, локативные субстантивы, предложно-падежная форма существительного, производная единица, русские народные говоры, деривационное гнездо.

Formal and semantic correlation between prefixes and pretexts of spatial value is studied. The presence of such a correlation allows considering prepositional and case forms with locative value, and the phrases representing value of a place analytically in a certain unity. The attention to the facts of a compliance/discrepancy of various prepositional and case forms of nouns to the corresponding derivatives prefixal locative nouns is paid. Derivatives nouns with locative semantics in the Russian national dialects, representing values which haven't been presented in the literary language in a word are considered. The facts of «expansion» of fragments of derivational nests with locative value of prepositional and case forms of nouns with locative semantics also are noted when in word-formation system there is no corresponding word.

Keywords: lexical-derivational analytism, locative nouns, prepositional and case form of the noun, derivative unit, Russian national dialects, derivational nest.

Одной из важнейших черт русского языка на современном этапе его развития большинством исследователей называется тенденция к аналитизму, проявляющаяся как в раздельности выражения языковых значений, так и в появлении новых типологических свойств языковых единиц.

На особенности аналитического представления различных типов значений было обращено внимание уже давно. Из двух известных точек зрения на явление аналитизма одна восходит еще к Ф.Ф. Фортунатову, который проводил резкую границу между областями грамматики и лексики, морфологии и синтаксиса. Сторонники более гибкого подхода учитывают динамику языковых явлений и принимают во внимание данные сравнительного анализа ряда языковых систем.

Первоначально вопросы создания аналитических структур в лингвистике рассматривались преимущественно применительно к морфологии. Выражению различных грамматических категорий с помощью аналитических конструкций посвящены работы В.В. Виноградова «Описательные, аналитические формы степеней сравнения», «Виды аналитического выражения категории лица», «Описательная («аналитическая») форма будущего несовершенного вида», «Мысли об аналитических и синтетических формах русских наклонений в русских грамматиках второй половины XIX в.», «Совмещение элементов аналитического, синтетического и агглютинативного строя в русской глагольной системе», «Развитие аналитического строя и изменение функции предлогов»), а также работы М.И. Стеблин-Каменского [1], В.П. Сухотина [2] и др.

Естественно, что одним из основных источников аналитического выражения является синтаксис. Большую известность получило описание аналитических структур синтаксиса в статье В.Г. Гака «Десемантизация языкового знака в аналитических структурах синтаксиса».

Кроме традиционно признанных случаев аналитизма в грамматике и лексике, в лингвистике также говорят о деривационном аналитизме – аналитизме, связывающем деривационно родственные единицы, находящиеся на границе лексики и грамматики.

Теория деривационного аналитизма была разработана В.М. Никитевичем [3] и дополнена в ряде работ А.В. Никитевича.

Объектом внимания В.М. Никитевича являлся аналитизм в области деривации именных частей речи, прежде всего имени существительного. Ученый разработал теорию номинативной

derivации, в которой, наряду с аффиксацией, рассматриваются и несловообразовательные способы (derivационное сочетание, транспозиция) как совокупность синтетических и аналитических способов представления семантики личного субстантива. В частности, одним из наиболее ярких проявлений derivационного аналитизма, по его мнению, являются такие сочетания слов, в которых «составляющие их слова соотносительны с морфемами производного слова и могут выступать как его синонимы или являются единственной возможностью именовать требуемый «фрагмент мира», передать значение отсутствующего производного слова» [3, с. 54–55].

Продолжение идей В.М. Никитевича отразилось в работах А.В. Никитевича, который описал весь комплекс derivационных и лексико-derivационных сочетаний, коррелятивных различным словообразовательным значениям в области глагольного слова. Существенно, что при этом были рассмотрены различные *переходные случаи лексико-грамматического аналитизма*, аналитизма, тяготеющего не только к грамматике, но и к лексике; аналитизма, способного представить не только грамматические и словообразовательные значения, но и ряд лексических созначений префиксальных морфем или результатов их взаимодействия с производящими основами [4, с. 222].

Изучением аналитизма в системе языка на различных его уровнях занимались также М.Я. Гловинская [5], Ю.В. Рощина [6], Г.Н. Акимова [7], Е.В. Виданов [8] и др.

В последнее время изучению derivационного аналитизма в сопоставительно-типологическом плане посвящены также работы молодых белорусских исследователей Г.В. Пальяновой [9], Т.И. Скоробогатой [10] и др.

Исследователи прошлых лет, а также исследователи настоящего периода времени активно обращаются к изучению различных значений сочетаний слов, представляющих свое значение аналитическим способом. Это объясняется тем, что аналитическое представление различного рода значений является единственно возможным из-за отсутствия в системе языка однословных эквивалентов-коррелятов. Как пишет А.В. Никитевич, «хорошо известно о существовании формальных и семантических корреляций между предлогами и приставками в русском языке, в частности, о семантической соотнесенности префиксов и предлогов пространственного значения. Эта особенность отмечается и в академических грамматиках русского языка. Сравните: «Большинство префиксально-суффиксальных существительных, мотивированных существительными, мотивируются одновременно предложно-падежными формами соответствующих существительных. Сравните: *без дороги* → *бездорожье* и т. п.» [11, с. 156]. В связи с этим заслуживает внимания исследование взаимных корреляций предлогов с пространственным значением и производных локативов не только в литературном языке, но и в русских народных говорах. При этом не следует исключать того обстоятельства, что в говорах предлоги по семантике могут также отличаться от соответствующих единиц литературного языка. И с этим может быть связано «расширение» круга производящих исходных словосочетаний с пространственной семантикой» [12, с. 151].

Локативная семантика в литературном языке, как известно, может быть представлена не только однословными единицами (**ивняк, клубничник, надкус, отрез, горчицница, игольница, свинарник, гусятник** и др.), но и предложно-падежными формами существительных, сочетаниями, способными выразить семантику аналитически.

Значение места может выражаться в контекстах с помощью существительных с предлогами **за (за речкой, за окном и др.); над (над столом, над хутором и др.); на (на площади, на плечах и др.); под (под амбар, под усами и др.); из-под (из-под носа, из-под стола и др.); между (между ног, между деревьями и др.); в (в районе, в кухню и др.); возле (возле школы, возле кровати и др.); у (у моря, у ворот и др.); около (около стены, около хутора и др.); рядом (рядом с дверью; рядом со щекой и др.); из (из окна, из района и др.); по (по полу, по углам и др.); к (к небу, к конюшне и др.); перед (перед образом, перед носом и др.); до (до дому, до квартиры и др.); от (от щеки, от пола и др.); с (с востока, со стола и др.)** и др.

Некоторым предложно-падежным формам можно привести однословные соответствия в качестве префиксального локативного субстантива: **за озером – заозерье, между бровями – межбровье, за морем – заморье** и др. Однако порой все же форма существительного с

предлогом превалирует в употреблении над возможным ему однословным эквивалентом. Сравните: *Давыдов вдруг вспомнил, что ведь сегодня же он видел **над бровью** жены Нагульнова ... лимонно-зеленоватый застарелый синяк...* [13]; ... ***под опухшими глазами** ее (Лушки) — печальная озерная синь...* [13].

Единицы **бровь**, **глаз** являются производящими единицами при образовании префиксально-суффиксальных *potina loci*: бровь – **надбровье** (I) [14, с. 121]; глаз – **подглазье** (II) [14, с. 221–222].

Сравните лексическое значение данных производных префиксально-суффиксальных локативных субстантивов в толковых словарях СРЛЯ: **надбровье** ‘Часть лба **над бровями**’ [15]; **подглазье** ‘Впадина на лице **под глазом**’ [15].

При сопоставительном анализе подобных фактов заслуживает внимания детальный анализ различий в семантике производной единицы (например, **подглазье** ‘Впадина на лице **под глазом**’) и семантики возможных предложно-падежных сочетаний (и не только: синь... **под опухшими глазами**), комбинированных контекстов, что может частично объяснять причины, по которым подобные сочетания преобладают над общим количеством соответствующих производных.

Можно указать и на более конкретные причины доминирования предложно-падежных сочетаний **над бровью**, **под глазами** над вышеуказанными однословными префиксально-суффиксальными эквивалентами. В частности, такое доминирование может объясняться противопоставлением предложно-падежной формы со значением места и односложного локатива по грамматической категории числа: **над бровями** (мн. ч. в словаре) и **над бровью** (ед. ч. в контексте); **под глазом** (ед. ч. в словаре) и **под глазами** (мн. ч. в контексте).

Порой употребление предложно-падежной формы со значением места в контексте объясняется отсутствием в современном русском литературном языке соответствующего префиксально-суффиксального односложного локатива. Сравните, например: ...*а иногда льдина ... относилась в сады и плыла **между деревьями** ...* [13]; – *А вот за **тополем** его курень, крытый черепицей, видите?* [13]; *Тонкий многоцветный аромат устойчиво держится **над садами** до голубых потемок* [13]; *То она, курица то есть, вскочит на огород и рассаду выключет, то, глядишь, а она ... яйцо где-нибудь **под амбаром** потеряет...* [13]; *С хлебом трудности оттого, что кулак его гноит **в земле**, у него с боем хлеб приходится брать!* [13]; ***Около дверей** в конюшню, под навесом, стояло человек восемь казаков* [13]; ... *и тогда видневшийся **из окна** изгиб Дона, лес за ним ... обретали волнующую мягкость рисунка* [13] и др.

Предложно-падежные формы **между деревьями**, **за тополем**, **над садами**, **под амбаром**, **в земле**, **около дверей**, **из окна** существуют исключительно как аналитический способ представления данной локативной семантики.

Словообразовательный словарь А.Н. Тихонова не отмечает соответствующих производных *potina loci* от единиц **дерево** [14, т. 1, с. 289–290]; **тополь** [14, т. 2, с. 244]; **сад** [14, т. 2, с. 63]; **амбар** [14, т. 1, с. 67]; **земля** [14, т. 1, с. 368]; **дверь** [14, т. 1, с. 276]; **окно** [14, т. 1, с. 695], в которых префикс был идентичен предлогу падежной формы.

Однако порой словообразовательную недостаточность литературного языка компенсируют русский народные говоры посредством образования производных локативов, эквивалентов данных предложно-падежных форм, отсутствующих в литературном языке. Сравните в качестве односложного эквивалента предложно-падежной форме **под амбаром** диалектные локативные субстантивы **подамбарник** и **поданбарник**; **подамбарье** и **поданбарье**:

подамбарник и **поданбарник** ‘Место под амбаром’. **Подамбарник**. Омск., 1968. Кемер. **Поданбарник**. Том., 1964. Омск. // **Поданбарник**. ‘Подвал, погреб под амбаром’. Бурят. АССР, 1968 [16, т. 27, с. 329];

подамбарье и **поданбарье** ‘Место под амбаром’. **Подамбарье**. Кемер., 1965. Свердл., Краснояр. **Поданбарье**. Зырян., Туган. Том., 1965 (1-ое значение) [16, т. 27, с. 329].

Отмечаются примеры, когда в русских народных говорах компенсируется словообразовательная недостаточность литературного языка благодаря специфическим производным, которые только по внешней форме являются эквивалентами падежным формам с предлогами. При детальном изучении же семантики таких диалектных производных отмечается внутреннее несоответствие между диалектной единицей и предложно-падежной формой литературного языка. Сравните, например, в качестве возможных эквивалентов литературным падежным формам

над садами и **около дверей** диалектные единицы *надсадок*; *придверина* и *придверник*. На первый взгляд кажется, что такие производные единицы русских народных говоров являются эквивалентами литературным падежным формам с предлогами. Однако в результате более детального изучения семантики таких производных наблюдаем отсутствие корреляции. Сравните:

надсадок ‘Конец грядки, засеянный другим растением’. Осташк. Твер., Пск., 1855. Твер. [16, т. 19, с. 251];

придверина ‘Дверной косяк, притолка’. Олон. [16, т. 31, с. 188];

придверник 1. ‘Сторож у дверей’. Слов. Акад. 1822. Олон., Арх. Поморье. Волог., Север., Перм. Слов. Акад. 1961 [устар.]. 2. ‘В свадебном обряде - человек, открывающий двери перед молодыми и участниками свадьбы’. Енис., 1860 Перм., Вят., Костром., Волог., Твер., Новг., Пск., Арх., Поморье [16, т. 31, с. 188].

В данном случае *надсадок* – это не ‘место над садом’; *придверина* и *придверник* – не ‘место около (возле, у) двери’.

Доминирование падежных форм существительных с предлогами порой объясняется их исключительностью в выражении значения места, так как производные словообразования выражают иные значения. Сравните, например, падежную форму существительного *ухо* с предлогом **за**: *Он (Половцев) со злостью и отвращением давит пальцами ей за ушами* [13]. В рамках словообразовательного гнезда производящей единицы *ухо* в литературном языке отдельное место занимают префиксально-суффиксальные производные *заушина* и *заушница* [14, т. 2, с. 297], префикс которых идентичен предлогу падежных форм. Однако такие производные не выражают значение локативности: *заушина* ‘Удар’ [15]; *заушница* устар. ‘Острое вирусное заболевание, при котором поражаются слюнные (обычно околоушные) железы; свинка’ [15].

Возможность представить значение предложно-падежной формы **за ушами** однословной производной единицей со значением места реализуется не в литературном языке, а в русских народных говорах. Сравните диалектный локатив *1.заушница*: *1.заушница* ‘Место за ухом’. Том., 1964 (1-ое значение) [16, т. 11, с. 138].

Порой предложно-падежная форма со значением места превалирует в употреблении над однословным эквивалентом в связи изменением производным локативом принадлежности к разряду имен существительных. В таких случаях однословные эквиваленты переходят из нарицательных имен существительных в собственные. Сравните, например, контекст: *Морозный день. Конец декабря. Гремячий Лог. Курени, сараи, плетни, деревья в белой опуши инея. За дальним бугром бой* [13]. Эквивалент предложно-падежной формы **за бугром** – **забугорье** – не отмечен А.Н. Тихоновым в качестве производной единицы от номинации *бугор* [14, т. 1, с. 126]. Однако совершенно очевидно, что данный префиксально-суффиксальный локатив вместе с другими производными единицами образует фрагмент словообразовательного гнезда единицы *бугор*. Кроме того, однословный эквивалент-локативный субстантив *забугорье* в СРЛЯ относится к классу топонимов. Сравните: *Забугорье* ‘Село в Верхнехавском районе Воронежской области’.

Отмечаются случаи корреляции предложно-падежной формы со значением места, употребляющейся в контексте, и соответствующим префиксально-суффиксальным однословным эквивалентом современного белорусского языка. Сравните: *Но около Совета увидел он (Кондрат), свернув за угол, огромную, как на ярмарке, толпу быков, лошадей, овец* [13]. В качестве префиксально-суффиксальных производных от единицы *угол* А.Н. Тихонов отмечает единственно возможную номинацию *наугольник* [14, т. 2, с. 281–282], префикс которой не совпадает с предлогом контекста: *наугольник* 1. ‘Накладка, обычно металлическая, скрепляющая или украшающая угол (рамы, ящика, переплета и т. п.)’. 2. ‘Линейка в форме треугольника для вычерчивания прямых углов и проведения перпендикуляров’. 3. ‘Небольшая треугольная полка, помещаемая в углу’ [17].

Современный белорусский язык заполняет пустующую нишу, возникающую в СРЛЯ в структуре словообразовательного гнезда единицы *угол*, производным локативным субстантивом *завуголле*: *завуголле* ‘Збор, задворки’; *задворки* ‘Место за дворами, позади изб’ [15]. В данном случае префикс локатива белорусского языка *завуголле* коррелирует с предложно-падежной формой русского литературного языка **за углом**.

В словообразовании СРЛЯ имеет место наличие словообразовательных гнезд, в составе которых можно отметить не только субстантивы, но и адъективы с локативной семантикой. Порой в рамках фрагментов словообразовательных гнезд отсутствуют префиксально-суффиксальные субстантивы, являющиеся однословными коррелятами падежным формам с предлогами и выражающие значение места. Обратим внимание на случаи, когда семантика локативности выражается именем прилагательным. Сравните: ... *уговаривал Нагульнов, а мускул щеки уже заходил у него ходуном **под покрасневшей кожей*** [13]; *Дородная Щукариха стояла у печи, а **около кровати** суежилась проворная, черная, как мышь, лекарка* ... [13]; – *Принеси топор. Он там... **возле кровати**. И воды* [13]; ***Возле школы** — изгибе воды* [13].

Предложно-падежным формам **под кожей, около кровати, возле кровати, возле школы** в качестве эквивалента в Словообразовательном словаре А.Н. Тихонова приводятся не субстантивы, а имена прилагательные **подкожный** [14, т. 1, с. 448], **прикроватный** [14, т. 1, с. 497], **пришкольный** [14, т. 2, с. 399–400]. В данном случае реализация значения места возможна только посредством адъективов.

Важно отметить, что «поморфемным» соответствием среди указанных единиц является лишь слово **подкожный**. В двух других случаях предлоги в сочетаниях отличаются от префиксов в составе производных локативов. Последовательности **около кровати** и **возле школы** не способны конденсироваться в производные слова. Хотя, сравним: *вывести на **околоземную орбиту**, **пришкольный** участок*. С одной стороны, очевидна избирательность префикса (префиксоида) **около** в создании производных с локативной семантикой (**околоземный, околошейный, околоушный, околозвёздный** и т. п.), с другой – возможность сочетания **при школе** в рамках определенного контекста с локативной семантикой (*При школе имелся небольшой участок земли*).

Одним из процессов словообразования в современном русском литературном языке является возникновение префиксально-суффиксальных производных единиц, относящихся к числу *окаzionaliальных слов*.

Сравните, например, предложно-падежную форму **за окном** в контексте: *За окном, в телефонных проводах, свистал ветер, на спине лошади, привязанной недоуздом к палисаднику, по самой кобаржине кособоко прогуливалась – и что-то клевала – сорока* [13]. Для предложно-падежной формы **за окном** в нормированном СРЛЯ отсутствует соответствующий эквивалент ***заоконье**, в котором префикс был бы идентичен предлогу. В Словообразовательном словаре А.Н. Тихонова отмечаются следующие префиксально-суффиксальные производные от производящей единицы **окно**: **окно – наоконник, подоконник, подоконница, подоконье** (I ст. сл.) [14, т. 1, с. 695]. Некоторые из производных единиц от номинации **окно** частично выражают локативную семантику, например: **наоконник** 2. ‘Стеганая или суконная покрывка **на подоконнике**, применяемая обычно зимой для защиты от холода’ [15].

В структуре словообразовательного гнезда единицы **окно** не отмечен локатив ***заоконье**. Однако носители языка «рождают» подобный локатив, сравните: *Повседневность моя – **Заоконье**, / неуютное на межсезонье. / Поддаётся зима на уступки: / моросит или сеется крупкой...* [18].

Образование *окаzionaliального* слова, являющегося локативом, характерно и от других производящих единиц. Сравните, например, предложно-падежную форму **под амбар** и **под амбаром** в значении места в контекстах: *Минут через пять Любишкин, вооружившись слезой, принудил кобеля к отступлению, загнал **под амбар**...* [13]; *То она, курица то есть, вскопчит на огород и рассаду выклюет, то, глядишь, а она ... яйцо где-нибудь **под амбаром** потеряет...* [13]. А.Н. Тихонов в Словообразовательном словаре фиксирует только один префиксально-суффиксальный локатив с корневой морфемой **амбар-**, но с префиксом, не совпадающим с предлогом в контекстах: **амбар – предамбарье** [14, т. 1, с. 67]. В нормированном СРЛЯ в качестве производного локативного субстантива отсутствует локатив **подамбарник**, являющийся эквивалентом формам **под амбар** и **под амбаром**, употребляющихся в контекстах. В связи с пустующей нишей в нормированном СРЛЯ возникает локатив подобного рода в контекстах: *Отцу выделили амбар для жилья, **подамбарник** — под сенцы и закуту для коровы и двух овец, которых он получил по разделу* [19].

Предложно-падежные формы с локативной семантикой, обнаруженные в контекстах, являются одним из способов «расширения» фрагментов деривационных гнезд. К примеру, для производящей единицы **дверь** в Словообразовательном словаре А.Н. Тихонова отмечены следующие префиксально-суффиксальные производные:

Дверь

над-двер-н-ый

при-двер-ник [14, т. 1, с. 276].

Однако для выражения значения места в рамках данного словообразовательного гнезда служит только одна единица (**наддверный**), являющаяся адъективом.

Падежные формы субстантива **дверь** с различными предлогами, выражающие локативную семантику в контекстах, «расширяют» пространство СГ и позволяют говорить о такой части функционально-семантического поля локативности, в котором можно выделить морфемно обусловленную деривационную часть, своеобразное деривационное гнездо, в котором семантические возможности производных аффиксации дополнены семантическим потенциалом коррелятивных предложно-падежных форм имен существительных. Сравните: *За дверью*: – Я вам так скажу, дорогой наш руководитель колхоза: негоже нам хозяйствовать по-старому! [13]; Демид Молчун мирно спал под лавкой в задних рядах, по-звериному лежа головой на ветер, тянувший **из-под дверей**... [13]; Половцев в одних шерстяных чулках стоял **возле двери** в горницу [13]; **Около дверей** в конюшню, под навесом, стояло человек восемь казаков [13]; **Рядом с дверью**, стояла кадушка с мочеными яблоками [13]; **Из** конюшенных **дверей** теплыми клубами валил навозный пар [13]; – Да ты нас не агитируй! Мы с потрохами в колхоз пойдем, – перебил его красный партизан Павел Любишкин, сидевший ближе всех **к двери** [13]; Давыдов вспотел, пока добрался **до** классных **дверей** [13]; (Тимофей) ... *тотчас же услышал, как яростно скребут, рвут застёжки полушубка пальцы чужого человека в белой папахе, ставшего справа от двери [13] и др.*

Таким образом, если словообразовательное гнездо предоставляет для выражения значения места только одну префиксально-суффиксальную единицу **наддверный**, то предложно-падежные формы контекстов **за дверью, из-под дверей, возле двери, около дверей, рядом с дверью, из дверей, к двери, до дверей, от двери**, образующие деривационное гнездо, восполняют отсутствующие производные в структуре фрагмента СГ.

Деривация как процесс создания новых единиц ориентирована не только на слова. Как отмечает А.В. Никитевич, «словообразование как фундамент деривационной системы есть прежде всего «компрессия», «сжатие», представление содержания максимально экономным способом» [12, с. 52]. Однако этот путь конденсации приводит к многозначности и нереализации всего потенциала производящей единицы. В таких случаях особенно ценными являются случаи аналитического представления того или иного деривационного значения, в том числе и значения локативности, когда компенсируется «семантическая недостаточность» производной единицы либо компенсируется в целом отсутствие соответствующего однословного коррелята.

Литература

1. Стеблин-Каменский, М.И. История скандинавских языков / М.И. Стеблин-Каменский. – М., 1953. – 340 с.
2. Сухотин, В.П. Синтаксическая роль инфинитива в современном русском языке / В.П. Сухотин // Уч. зап. Кабардино-Балкарского гос. пед. ин-та. – Нальчик, 1940. – С. 85–97.
3. Никитевич, В.М. Основы номинативной деривации / В.М. Никитевич. – Минск : Выш. шк., 1985. – 158 с.
4. Никитевич, А.В. Русский глагол в составе номинативных рядов : монография // А.В. Никитевич. – Гродно : ГрГУ, 2004. – 347 с.
5. Гловинская, М.Я. Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX–XXI веков / М.Я. Гловинская, Е.И. Галанова. – Изд-во : Языки славян. культур, 2008. – 712 с.
6. Рощина, Ю.В. Проявления тенденции к аналитизму в современной русской морфологии: на материалах предметных и признаковых слов : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Ю.В. Рощина ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – 24 с.

7. Акимова, Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка / Г.Н. Акимова. – М., 1990. – 166 с.
8. Виданов, Е.Ю. Аналитизм в именном словообразовании современного русского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Е.Ю. Виданов ; Омск. гос. пед. ун-т. – Омск, 2011. – 24 с.
9. Пальянова, Г.В. Словообразовательные типы деривационных сочетаний в современном польском языке / Г.В. Пальянова // Весці БДПУ. Сер. Філалогія. – 2007. – № 2 (52). – С. 80–85.
10. Скоробогатая, Т.И. Деривационный аналитизм в русском и немецком языках (на примере глаголов физического воздействия) / Т.И. Скоробогатая // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2011. – № 1 (108). – С. 103–107.
11. Грамматика современного русского литературного языка. – М. : Наука, 1970. – 767 с.
12. Никитевич, А.В. Деривация и смысл: монография / А.В. Никитевич. – Гродно : ГрГУ, 2014. – 223 с.
13. Шолохов, М.А. Поднятая целина: Роман: в 2-х кн. / М.А. Шолохов. – М. : Худож. лит., 1987. – 655 с.
14. Тихонов, А.Н. Словообразовательный словарь : в 2 т. / А.Н. Тихонов. – М. : Русский язык, 1985. – Т. 1–2.
15. Словарь русского языка : в 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз. ; под ред. А.П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Рус. яз., 1981–1984.
16. Словарь русских народных говоров: 1965–2007 ; под ред. Ф.П. Филина. – СПб. : Из-во Академии Наук СССР, Институт линг. исследований РАН. – Вып. 1–41.
17. Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный / Т.Ф. Ефремова. – М. : Русский язык, 2000. – 1233 с.
18. Сапир, А. Законы / А. Сапир // Поэзия.ру. Литературно-поэтический журнал [Электронный ресурс]. – 2009. – Режим доступа : <http://www.poezia.ru/article.php?sid=75666> – Дата доступа : 25.07.2014.
19. Антонов, Н. Из воспоминаний / Н. Антонов // Воля : Журн. узников тоталит. систем. – 1993. – № 1. – С. 45–53.

Гродненский государственный
университет им. Я. Купалы

Поступила в редакцию 01.09.2014

ФИЛОСОФИЯ

УДК 130.2 : 101.9 (092)

Научное познание как фактор мировоззренческой трансформации в опыте о. Павла Флоренского

В.Н. ДАРЕНСКАЯ

Анализируются экзистенциальные аспекты процесса трансформации мировоззрения П. Флоренского от сциентизма к религиозной вере. Автор рассматривает возможности реконструкции религиозного мировоззрения в рамках современного дискурса. Авторская интерпретация названной трансформации опирается на переосмысление общечеловеческого опыта, который всегда с необходимостью связан с архетипами культуры. Феномен такой мировоззренческой трансформации анализируется в качестве источника экзистенциального опыта для современного человека.

Ключевые слова: П. Флоренский, мировоззрение, наука, сциентизм, религия.

The analysis of transformation process of Pavel Florenskiy's worldview from scientism to religious faith is presented. The author considers the possibilities of the reconstruction of religious worldview within contemporary discourse. Author's interpretation of this transformation is based on rethinking of universal human experience, which is necessarily linked with archetypes of culture. The phenomenon of this worldview transformation is analysed here as a source of existential experience for contemporary man.

Keywords: P. Florenskiy, science, religious, worldview, scientism.

Наука и религия в наше время обычно воспринимаются в качестве абстрактно разделяемых сфер культуры. Однако в реальном опыте людей они часто выступают в качестве тесно взаимодействующих *экзистенциальных факторов*, определяющих внутреннее органическое единство личностного бытия. В опыте о. Павла Флоренского проявилось не просто органическое единство научных и религиозных поисков и открытий как двуединой доминанты творческого мышления, но и обусловленность самого прихода к православной вере рано проявившимся духом научного мышления.

Обращение к личности о. Павла Флоренского для исследования этого феномена особо ценно еще и тем, что этот мыслитель сам произвел самоанализ именно в рамках названной проблемы, изложенный в его записях «Детям моим. Воспоминания прошлых дней». До настоящего времени этот текст, как и сама проблема преемственности научного и богословского творчества о. Павла, почти не становились предметом специального исследования; можно указать лишь на статью А.Н. Павленко «Место и роль науки в мирозерцании отца Павла Флоренского» [1]. Отметим, что сама тема прихода к христианскому мировоззрению в результате развития / преодоления естественно-научного образа мышления (в частности, физического) в наше время становится предметом философской рефлексии [2], а тем самым, прецедент автобиографического опыта о. Павла приобретает особый интерес. Целью настоящей статьи является анализ содержания тех феноменов внутренней жизни мыслителя, которые четко свидетельствуют о возникновении причин становления его религиозного мировоззрения в процессе кризиса мировоззрения, формируемого наукой. В рамках этой общей цели мы кратко рассмотрим: 1) путь мировоззренческого развития, выраженный в различных направлениях творчества о. Павла Флоренского; 2) конкретные экзистенциально-психологические «механизмы», обусловившие «рождение религиозности из духа науки» в личности о. Павла.

Первоначальное образование о. Павел Флоренский получил на физико-математическом факультете Московского университета. Он рано оказывается захваченным философской проблематикой, пытаясь синтезировать математику и философию на основе канторовской «теории множеств». Отсюда созрел переход к поиску основ «общечеловеческого религиозного

миросозерцания». Поэтому этап «второго студенчества», учеба в Московской Духовной Академии, был закономерным. О. Павел Флоренский совершил радикальный разрыв со стереотипами тогдашнего образованного общества и научной среды, сознательно порывая с секуляризмом и возвращаясь на стезю предков (по отцовской линии последние принадлежали к православному духовенству). Но и священник о. Павел осуществлял синтез церковности и светской культуры не только на практике, но и в своем научном поиске.

Именно тема вхождения в Церковь – центральная во всем творчестве Флоренского. Этой теме посвящен его главный труд – «Столп и утверждение Истины» (1914), для которого характерен тон интимности и своеобразного сентиментализма. В дальнейшем Флоренский отказывается от такого «психологизма», предпочтя более сциентистский тип исследования в работах из цикла «У водоразделов мысли» и других произведениях. В «Автореферате» для словаря «Гранат» отец Павел следующим образом характеризовал задачи и метод своей работы: «Свою жизненную задачу Ф[лоренский] понимает как проложение путей к будущему цельному мировоззрению. В этом смысле он может быть назван философом. Но в противоположность установившимся в новое время приемам и задачам философского мышления, он отталкивается от отвлеченных построений и от исчерпывающей, по схемам, полноты проблем. В этом смысле его следует скорее считать исследователем. Широкие перспективы у него всегда связаны с конкретными и вплотную поставленными обследованиями отдельных, иногда весьма специальных, вопросов» [3, с. 38].

Собственное философствование он строил в сознательном отталкивании от традиции новоевропейского рационализма. Наибольшее неприятие о. Павла вызывала немецкая классическая философия – вершинное достижение данной традиции. Ее родоначальника, И. Канта, можно считать его своеобразным «личным врагом». В этом контексте следует рассматривать и весьма критическое отношение о. Павла к соловьевской «метафизике всеединства». Оно объясняется тем, что у Вл. Соловьева мы также имеем дело со спекулятивной философской системой, родственной немецкой классике. Принципиальной установкой о. Павла становится признание «логической обрывочности», «фрагментарности» тварного бытия в силу его несовершенства, и поэтому противоречивость провозглашается неизбежным следствием самого процесса познания. Поэтому же любое познание всегда оказывается неотделимым от конкретного материала, а развиваемое им мировоззрение в силу этого онтологического факта не поддается систематическому изложению. Причем часто это весьма конкретный анализ – например, иконописи или специальной терминологии.

По учению о. Павла, на низших уровнях знание опирается на модели и схемы, на высших – на символы. Каждое явление («феномен») содержит в себе самом, в своей чувственной форме бытие умопостигаемое («ноуменальное»). Всякий предмет духовного познания всегда выражен в чувственном, дан зримо и пластично. Как отмечают исследователи, «полная представленность мира как целого в единичном, индивидуальном и как бы частном (в символе) – так может быть определена конкретность метафизики по П. Флоренскому» [4, с. 211]. Основным законом мира он считал второй принцип термодинамики – закон энтропии, как закон Хаоса во всех областях мироздания. Хаосу противостоит Логос – начало *эктропии*. Культура в своей онтологической основе есть сознательная борьба с этим «мировым уравниванием» в хаос. «Всякая культура, – писал о. Павел, – представляет целевую и крепко связанную систему средств к осуществлению и раскрытию некоторой ценности, принимаемой за основную и безусловную, т.е. служит некоторому предмету веры... Культура, как свидетельствуется и этимологией, есть производное от культа, т.е. упорядочение всего мира по категориям культа. Вера определяет культ, а культ – миропонимание, из которого далее следует культура» [3, с. 39].

О. Павел, опираясь на достижения науки XX в. (теория относительности, неевклидова геометрия и т. д.), стремился «реабилитировать» космологические представления Птолемея и Данте. Этой теме посвящена его брошюра «Мнимости в геометрии», вышедшая к 600-й годовщине смерти Данте (ср. схожие установки книги А.Ф. Лосева «Античный космос и современная наука»). Будучи антиподом И. Канта, П. Флоренский относил себя к «мыслителям средневекового типа», а свое мировоззрение считал соответствующим по складу стилю XIV–XV вв. русского средневековья. Однако стоит обратить внимание и на замечания А. Михайлова: «Ум и душа о. Павла лежали не к Средневековью с его суммами знания, а к

завершающему и средние века, и целую громадную традицию знания (расходящегося в своем самоуразумении с новоевропейским научным) периоду барокко: если в средние века создаются суммы истинного внутри себя знания, то XVII в. начинает раскрываться в историко-культурную ширь, собирать, ставить рядом, синтезировать, энциклопедически оформлять самое разное знание, он продолжает знать и помнить также и свою истину, однако обставляет ее горами чужого, чужеродного, любопытного, стремится к полноте всего лишь курьезного, всего этого разнобоя» [5, с. 464]. Тем самым, вполне обоснованным является соотношение о. Павла с типом универсальных мыслителей XVII в.

Критически осмысливая характер записей «Детям моим. Воспоминания прошлых дней», о. Павел отмечает, что «излюбленная тема критиков – устанавливать вымышленность автобиографий» [6, с. 291]. Признавая, что воспоминания по самой своей природе всегда вносят нечто новое в то, о чем они повествуют, – что-то, чего не было в изображаемых событиях и переживаниях, – о. Павел считает, что это внесение является не только искажающим, но по сути своей позитивным, поскольку позволяет видеть их последствия, а значит их подлинную, но лишь позднее проявившуюся сущность. Поэтому следует вполне доверять позднейшим воспоминаниям, понимая, что они носят синтетический характер воспоминания-исследования и воспоминания-вывода.

Исходной точкой мировоззренческого развития о. Павла Флоренского было очень раннее увлечение естествознанием. Как пишет о себе о. Павел, его «научное мировоззрение сложилось и окрепло в непоколебимую систему к пятнадцати-шестнадцати годам» [6, с. 263]. Характерно также, что современное ему научное знание о. Павел постигал не в адаптированном изложении учебников – а по первоисточникам, то есть трудам самих классиков науки. «Небольшое сравнительное число книг первоклассных деятелей физики было мною не только усвоено, но и почти заучено наизусть. Как-то по-своему, но я был тогда на вершине физической мысли... После того физикой я не занимался, а университетский курс не дал мне ничего и в счет идти не может... Когда же, двадцать шесть лет спустя после того времени, мне пришлось в силу необходимости вновь заняться этого рода вопросами и восстановить усилием памяти забытую физику, основой этой позднейшей деятельности было именно сформировавшаяся в пятнадцать-шестнадцать лет» [6, с. 265]. Тем самым, вместе с научным знанием как таковым им усваивались и сами методы, и стиль продуктивного научного мышления, особый «творческий дух», который затем мог быть им перенесен и в иные сферы опыта, в том числе, религиозного.

Кроме того, в юности о. Павел проявлял своеобразный научный фанатизм: наука фактически стала для него квазирелигией и предметом подвижнических усилий: «Каждая минута была на учете, и все существование было непрерывным праздником науки, который я старался распространить и на невыносимую мне потерю времени в гимназии, обдумывая что-нибудь среди уроков, когда это допускали обстоятельства» [6, с. 279]. Однако, с другой стороны, с самого начала усвоенный от классиков науки творческий дух обусловил особый модус восприятия научных знаний, исключавший какую-либо их фетишизацию. Благодаря этому, как отмечает сам о. Павел, он «не умел и не хотел отдаваться общему потоку научной мысли и дать ему нести меня, без труда и критики с моей стороны» [6, с. 267]. По этому поводу о. Павел делает следующее замечание обобщающего характера: «Орудия научной мысли большинством даже образованных людей берутся или, скорее, получаются готовыми из-за границы и потому порабащают мысль, которая не способна работать без них и весьма неясно представляет себе, как именно они выработаны и какова их настоящая прочность. Отсюда – склонность к научному фетишизму и тяжеловесная неповоротливость, когда поднимается вопрос о критике их предпосылок» [6, с. 269]. Исходным мотивом его поисков стала необходимость преодоления этого объективно существующего «научного фетишизма». «Самая же суть этого моего отношения к научному миропониманию, в ее общечеловеческом значении, – отмечал о. Павел, – то есть независимость, некоторая пренебрежительность к понятиям, вызывающим обычно священный трепет, оценка их только как рабочих орудий мысли, – это было важно в моем жизненном пути, и, рассуждая духовно, оно и было оправданием и смыслом моих занятий науками» [6, с. 270].

Современный исследователь психолог А.М. Матюшкин, анализируя особенности мышления о. Павла Флоренского в раннем возрасте, отмечал особый творческий, в некотором смысле *опережающий* характер усвоения им содержания научного знания, при котором «мысль рождается как своя, не требующая каких-либо дополнительных усилий по ее пониманию и воспроизведению» [7, с. 139]. Именно этой особенностью и объясняется возможность того свободно-творческого, чисто инструментального отношения к отдельным научным понятиям и концепциям, о котором сказано выше. В свою очередь, тот особый способ усвоения научного знания, который у о. Павла отмечает исследователь, обусловлен тем, что наука приобрела для него именно особый квазирелигиозный характер – он буквально *жил* наукой как основным содержанием своего личностного бытия, а не усваивал ее как некий внешний, чуждый себе «материал». Именно такое отношение к науке как некому мировоззренческому и жизненному «абсолюту» затем и приведет к кризису, поскольку такие функции наука выполнять и не призвана, и не может.

Квазирелигиозный характер восприятия научного знания, как сам свидетельствует о. Павел, по сути, с самого начала нес в себе элемент противоречия и кризиса: «Физика, отчасти геология и астрономия, а также математика были тем делом, над которым я сидел с настойчивостью и страстью, друг друга укреплявшими... На самом же деле меня волновали отнюдь не законы природы, а исключения из них. Законы были только фоном, выгодно оттенявшим исключения. Мне хотелось знать железные уставы естества. Я запомнил все те постоянства и единообразия, которые естествознание представляло мне как законы... И чем железнее мне представлялся тот или иной закон, тем с большею почтительною боязнью я ходил около него, с тайным чувством, что этот рациональный с виду закон есть лишь обнаружение иных сил... С внутренней тревогой искались мною исключения, к которым данный закон оказывался бы неприменимым, и, когда находились исключения, ему не подчинявшиеся, мое сердце почти останавливалось от волнения: я прикоснулся к тайне» [6, с. 261–262]. Однако при этом, само это влечение, как отмечает далее о. Павел, «не имеет ничего общего с желанием опровергнуть закон как таковой, поставить вместо него некоторый новый, расширенный, вообще это было совсем не из области рационального познания природы. Напротив, существующими законами как таковыми я был доволен и заботился об укреплении их... но тем не менее природа опрокидывает любой закон, как бы ни был он надежен: есть иррациональное. Закон – это подлинная ограда природы; но стена, самая толстая, имеет тончайшие щели, сквозь которые сочится тайна» [6, с. 262–263].

Таким образом, очевидно, что столь раннее научное мировоззрение было своего рода «псевдоморфозой» (О. Шпенглер), то есть попыткой наполнения религиозной жажды души иным, неадекватным ей содержанием, что было обусловлено условиями социальной среды, в которой он формировался. «Говоря современным языком психоанализа, – свидетельствует о себе о. Павел, – во мне был задержанный аффект религиозного чувства: я был отрезан от религии столь надежно, что силою внутреннего влечения сам надстраивал воздвигнутую между мною и религией стену. Чем большей была религиозная потребность, тем далее я, поставленный на известный путь, добровольно и стремительно бежал от возможности удовлетворения» [6, с. 147]. Исходя из этого, отмечает он далее, «тогда можно было бы понять мое исконное чувство мистичности многих явлений, мою последующую работу над исключением из правил, – как смутный мне зов Вечности, пробивавшийся, однако, всюду и искавший себе щелей и проходов в здании научного рационализма» [6, с. 272].

О. Павел свидетельствует, что в нем изначально таился особый, самый глубинный опыт мировосприятия, которое не могло найти адекватной формы выражения в науке: «Факты и фикции науки были для меня гораздо менее естественны, нежели мистическая фауна сказок... Глубоко затаилось в душе восприятие мира как живого и духовного... Этому не было места в области мысли, научное приличие требовало, чтобы об этом не говорилось, с этим не считались и относились как к несуществующему. Но оно не переставало существовать и ушло в подполье. В душевной жизни моей образовалась трещина, начало возникать раздвоение, трещина стала шириться и впоследствии привела к большому кризису» [6, с. 223–224]. Этот кризис будет рассмотрен нами далее, но прежде следует отметить, что о. Павел не отрицает

именно *научной* значимости своего первичного опыта мировосприятия, отмечая, что он как раз оказался более близким образу неклассической науки XX ст., чем те научные знания, которые он жадно усваивал в юности. О. Павел писал об этом так: «В своем сказочном миропонимании находил я совсем иные представления о пространстве и времени и совсем иные предпосылки о строении мира. Конечно, словесно я владел нехитрой механикой возрожденской механики и мог рассуждать пред другими с безукоризненной механической ортодоксальностью... Под защитным покровом приятных научных понятий во мне жили, не вполне выраженные и до сих пор, иные понятия. Но я был настолько одинок в них, что не решился бы высказаться, да и, вероятно, не нашел бы соответственных слов. Когда в первом году XX в. появились первые сведения об опытах, если не ошибаюсь, Кауфмана, установившего в катодных лучах существование добавочной электромагнитной массы, зависящей от скорости, они блеснули мне чем-то давно знакомым, именно их ожидал я. Дальнейшее развитие этого рода понятий повело к принципу относительности, который был принят мною вовсе не по долгому обсуждению, и даже без изучения, а просто потому, что было слабою попыткой облечь в понятие иное понимание мира. Общий принцип относительности есть в некоторой степени обрубленная и упрощенная моя сказка о мире. Но брешь в механике пробита, и теперь открыты выходы и к моим заветным стремлениям» [6, с. 268]. Данное свидетельство весьма важно не только как свидетельство личного опыта, но и для понимания социокультурных предпосылок трансформации научного знания. Оно указывает на тот факт, что уже на уровне первичного нерасчлененного, неразвернутого, так называемого «детского» опыта мировосприятия, действительно, наличествуют потенциальные возможности формирования самых различных «картин мира», которые затем могут быть актуализированы и использованы в рамках тех или иных научных парадигм.

Однако, главное значение «сказочного миропонимания» было именно в его роли в духовном становлении личности – этот первичный, «детский» опыт не позволял творческому сознанию замкнуться в искусственных рациональных построениях классической науки. С одной стороны, он подталкивал к поиску расширенной, неклассической рациональности, но с другой – к пересмотру оснований мировоззрения вообще. Однако переход к религиозному мировоззрению был очень непростым и даже мучительным – он протекал в форме экзистенциального кризиса. Кризис, о котором пишет о. Павел, выразился, прежде всего, в изменении отношения к природе, что было следствием особой *экзистенциальной неудовлетворенности* от того научного понимания природы, о котором было сказано ранее: «Прежде природа приводила меня в экстаз, и сердце готово было разорваться от восторга; теперь я продолжал любить природу, но, оставаясь наедине с ней, я стал испытывать особенно острые приступы необъяснимой и беспредметной тоски... Уже редко посещало умиление при виде цветка или камня... Я усилил свое чтение по философии, бывшее, впрочем, и ранее, но оно оставляло меня холодным и скользило, не задевая души... я возобновил свое чтение трудов по спиритизму и другим родственным явлениям, но и к ним отношение мое было внешнее... Итак, никакие благодетельные толчки извне не облегчали моего выхода из духовных» [6, с. 289–290]. Характерно, что в состоянии кризиса не помогали никакие рациональные построения – не только научные, но и философские, и даже оккультные. Дело в том, что выход из экзистенциального кризиса возможен только на основе целостного конкретно-жизненного опыта, а не на почве смены используемых понятий. Помогает ему также и знакомство с живыми свидетельствами чужого опыта выхода из подобных кризисов. В частности, о. Павел пишет о том, как «столкнулся с рукописной “Исповедью” Толстого и даже переписал ее, а через Толстого – с “Экклезиастом”... Эти книги углубляли и расширяли мой внутренний провал и дали возможность ускорить оформление того, что происходило со мною. До них я чувствовал себя одиноким в своем отношении к научному мировоззрению» [6, с. 348].

Принципиальное открытие, положившее начало выходу из кризиса, состояло у о. Павла в открытии онтологической реальности Слова. На опыте внутренней рефлексии он обнаружил, что полнота познаваемого смысла всего существующего раскрывается не в «законах» взаимной детерминации явлений, а в человеческом слове, схватывающем их целостную сущность, не сводимую ни к каким детерминациям. В этом экзистенциальном открытии можно видеть жизненный исток позднейшей философии о. Павла. «Обыкновенно, – писал он, – в какой бы

области я ни размышлял, мысль шла сама собой и почти без моего ведома, тогда как сознание бывало занято совсем другим, нередко обратным тому, что готовилось на большой глубине. Это была совсем не логическая мысль, а, скорее, присматривание к некоторой новой области, ощупывание ее и внутреннее к ней приспособление. Когда оно достигалось, само собой возникало и **слово** его» [6, с. 299]. Естественно, открытие особой реальности Слова, содержащей полноту смысла, превосходящую любое научное объяснение, не отрицает содержания и ценности научного знания. Они пребывают в отношении иерархической взаимодополнительности. Как отмечал в связи с этим сам о. Павел, «то, о чем говорю я, скорее, должно быть определено как сопребывание двух различных смыслов, принадлежавших к разным планам действительности в одном и том же восприятии, причем один смысл не уничтожает другой, но оба сознаются одновременно, хотя и с различным коэффициентом ценности» [6, с. 300]. В последнем аспекте раннего опыта, как в «зерне», очевидно, заключена вся последующая философия символа, глубоко разработанная о. Павлом. В этой философии, в частности, произошло на новом духовном уровне и возвращение к тому восторженному созерцанию природы, которое вдохновляло его в юности. В статье «Небесные знамения (Размышление о символике цветов)» (1919) в контексте своего учения о Св. Софии – Премудрости Божией о. Павел рассмотрит природу как *живую проявленность света творения* [8], увидит в ее основе то «сияние Вечности», которое он прозревал ранее лишь в «тончайших щелях» между «железными» научными законами естества, «сквозь которые сочтется тайна».

В проведенном позднее самоанализе о. Павел сам признает, что эта открытость новым реальностям, доверие новому опыту были ни чем иным, как следствием научного воспитания. Последнее проявилось здесь парадоксальным образом: «мое естественно-научное воспитание послужило здесь... службу **против** научной мысли, которую она должна была обслуживать: она заставляла считаться с непосредственно воспринимаемыми фактами более, нежели с отвлеченными понятиями» [6, с. 328].

В самый глубокий момент кризиса все «здание» научного мировоззрения у о. Павла подвергается радикальной деструкции, по сути напоминающей ту, которую сознательно и методически применил Р. Декарт для установления первичных достоверностей: «В какую-нибудь минуту пышное здание научного мышления рассыпалось в труху, как от подземного удара, и вдруг обнаружилось, что материал его – не ценные камни, а щепки, картон и штукатурка... В момент происшедшего обвала, когда мне казалось, что треснул и рушится небесный свод, я не узнал ничего нового для себя. Но коренным образом перевернулось направление воли... Произошел глубинный сдвиг воли, и с этого момента смысл умственной деятельности изменил знак. Началось разоблачение здания, сперва только научного, затем и вообще... Отрицание знания в самых корнях его доставляло мне радость, в которой удовольствие было от наибольшей степени внутреннего страдания» [6, с. 345–346]. Последний психологический парадокс является характерным признаком интенсивной трансформации мировоззренческих оснований. Но вполне позитивную направленность эта трансформация приобрела в последующих рефлексиях о природе истины, которые, в конце концов, привели к осознанию ее религиозной природы: «Я задыхался от неимения истины, – свидетельствовал о. Павел, – Во всем человеческом познании не находилось ни одной надежной точки... мне стало делаться ясным, что истина, если она есть, не может быть внешнею по отношению ко мне и что она есть источник жизни. Самая жизнь есть истина в своей глубине, и глубина эта уже не я и не во мне, хотя я могу к ней прикасаться. Сначала смутно, как сквозь толстую стену, затем все более внятно стал ощущать я какое-то веяние из этой глубины... Это было томительное висенье между знанием, которое есть, но не нужно, и знанием нужным, которого нет: ведь несказанные прикосновения к источнику истины не могли оцениваться как знание... Но самочувствие мое уже выправлялось на бодрое... и томление по мысли было деятельным и боевым» [6, с. 349–350].

После прохождения глубинной точки кризиса и формирования первичных установок религиозного сознания П. Флоренский свидетельствует о появлении открытости для веры. В этом состоянии случайные, на первый взгляд, события, начинают «прочитываться» как обращенность Слова к человеческой душе. Для П. Флоренского в юности первым таким событием стал внезапно услышанный оклик: «Павел! Павел!» Несмотря на то, что голос этот принадлежал какому-то реальному человеку и был обращен к кому-то другому, но *именно в*

самой «случайности» совпадения эмпирического и духовного события о. Павел усматривает высшую достоверность: «первое и бесспорное в этом случае – духовная реальность голоса горнего, который и направил все внешние обстоятельства так, чтобы наиболее доступным мне образом пробить кору моего сознания» [6, с. 304]. Здесь «сработал», с одной стороны, тот уже приобретенный опыт символизма как самого глубокого смыслового раскрытия бытия, о котором было сказано ранее, – но с другой, и тот особый навык видеть закон в эмпирических явлениях, которому его научила наука.

Подводя итог анализа поставленной проблемы, можно сделать обобщающие выводы: 1) религиозное миропонимание может зарождаться в рамках научного в результате внутреннего кризиса последнего; 2) экзистенциально-психологическим «механизмом», обусловившим «рождение религиозности из духа науки» в личности о. Павла было несоответствие рациональной схемы мироздания, создаваемой наукой, первичному бытийному опыту и поиск нового образа истины, отвечающего высшим требованиям человеческого духа (личностность и абсолютность); 3) навыки научного мышления стали затем факторами становления религиозного сознания, что указывает на их универсальный характер.

Литература

1. Павленко, А.Н. Место и роль науки в мирозерцании отца Павла Флоренского / А.Н. Павленко // Историко-философский ежегодник. – 1994. – С. 170–175.
2. Кулаков, Ю.И. Наука и религия: Почему я христианин? / Ю.И. Кулаков // Наука и богословие : антропологическая перспектива. – М. : Изд. ББИ св. апостола Андрея, 2004. – С. 17–37.
3. Флоренский, П.А. Священник : сочинения в 4-х т. / П.А. Флоренский – М. : Мысль, 1994. – Т. 1 – С. 37–44.
4. Асоян, Ю., Малафеев, А. Открытие идеи культуры (Опыт русской культурологии середины XIX – начала XX вв.) / Ю. Асоян, А. Малафеев. – М. : Изд. ОГИ, 2000. – 342 с.
5. Михайлов, А.В. О.Павел Флоренский как философ границы / А.В. Михайлов // Обратный перевод. – М. : Языки русской культуры, 2000. – С. 459–471.
6. Флоренский, П. Детям моим. Воспоминания прошлых дней / П. Флоренский – М. : АСТ, 2004. – 374 с.
7. Матюшкин, А.М. Психологические предпосылки творческого мышления (По автобиографическим материалам П.А. Флоренского) / А.М. Матюшкин // Мир психологии. – 2001. – №. 1. – С. 132–140.
8. Флоренский, П.А. Священник. Небесные знамения (Размышление о символике цветов) : сочинения в 4-х т / П.А. Флоренский. – М. : Мысль, 1996. – Т. 2 – С. 114–118.

Барочная метафизика «земного» и «небесного»
(на примере сравнительного анализа философско-эстетических идей
Григория Сковороды и представителей
Черниговского литературно-философского круга)

М.А. ЗАГОРУЛЬКО

Исследуется барочная метафизика «земного» и «небесного» в философско-эстетических взглядах Г. Сковороды и представителей Черниговского литературно-философского круга. Постулируется, что в барочной иконике этот принцип наиболее полно реализуется через художественный образ и образ-концепт «сад», который вообрал в себя барочную антитетику. Сакральная антитетика «земного» и «небесного» находит свою гармонию в «чистом сердце». Основанный на барочной метафизике «земного» и «небесного», сборник Г. Сковороды «Сад божественных песен» демонстрирует стадию завершения в становлении отечественного «донаучного» эстетического дискурса.

Ключевые слова: философско-эстетические идеи, барочная метафизика, антитетика «земное-небесное», «внешнее-внутреннее», образ-концепт «сад».

The baroque metaphysics of «the earth» and «the heavens» in philosophical and aesthetic views of G. Skovoroda and representatives of the Chernihiv literary and philosophical circle are revealed. It is stated that in the baroque iconics this principle is more likely realized through the image and concept of «garden», integrating baroque antithetics. Sacral antithetics of «the earth and the heavens» finds its harmony in «a pure heart». Based on baroque metaphysics of «the earth» and «the heavens», the anthology «The Garden of Divine Songs» by G. Skovoroda demonstrates the final stage of the process of the patriotic «before-scientific» aesthetic discourse formation.

Keywords: philosophical and aesthetic ideas, baroque metaphysics, antithetics «the earth and the heavens», «the external and the internal», image-concept «garden».

Основополагающей идеей украинского барочного мировоззрения является метафизика «земного» и «небесного», что влияет на синкретизм религиозного, научно-философского знания и искусства. Сакральная метафизика «земного» и «небесного» становится интегральным принципом, который насквозь пронизывает культуру и находит свое отображение в философских, литературных и художественных памятниках украинского барокко. В барочной иконике (символической образности) этот принцип наиболее полно реализуется через художественный образ и одновременно образ-концепт «Сад», который архетипно воспринимается как «райский сад» – сад удивительной красоты, где произрастают различные деревья и цветы, которые дают прекрасные (добрые) плоды. Поэтому барочную метафизику «земного» и «небесного» целесообразно рассматривать и сквозь призму концепта «Сад».

На современном этапе возрождения духовности украинской нации и появления необарочных тенденций в отечественной культуре и искусстве *актуальным* становится анализ идейно-эстетической природы феномена барочности в украинской ментальности и этнокультуре. К данной проблематике обращались Л. Довга, В. Личковах, А. Макаров, М. Ольховик, С. Уланова, Л. Ушкалов, А. Царенок, а также некоторые другие ученые. Но до сих пор не был проведен сравнительный анализ философско-эстетических идей Григория Сковороды и представителей Черниговского литературно-философского круга (Лазарь Баранович, Иоаникий Галятовский, Лаврентий Крщонович, Дмитрий Туптало, Иоанн Максимович, Антоний Стаховский и др.).

В украинской культуре Григорий Сковорода и представители Черниговского литературно-философского круга (который образно называли «Черниговскими Афинами») представляют зрелое украинское барокко. Григорий Сковорода относится к его завершающей стадии, в то время как представители «Черниговских Афин» – ко второй половине XVII – первой половине XVIII в. Цель данной статьи – исследовать метафизику «земного» и «небесного» на примере философско-эстетических идей Григория Сковороды и представителей Черниговского литературно-философского круга (как типичного репрезентанта украинского барокко).

В «программном» сборнике Григория Сковороды «Сад божественных песен» (далее «Сад...») [10, с. 25–54] в сконцентрированном виде представлена барочная художественно-образная система, основные наставления школьных поэтик и риторик, имплицитно содержащих в себе протонаучную эстетику эпохи украинского барокко. «Сад...» Григория Сковороды создавался на протяжении более тридцати лет (1753–1785 гг.). Компаративный анализ этого литературного памятника дает возможность говорить не только о его поэтической образности, но также об эволюции и кристаллизации философско-эстетических взглядов эпохи украинского барокко.

Синкретизм барочного мировоззрения, который определялся единством религии, философии и искусства, повлиял на идейно-эстетическое содержание «Сада...» Григория Сковороды. Поэзия сквородиновского «Сада...» настолько проникнута глубоким религиозным чувством, что это дает возможность называть ее в некотором смысле «покрайными» записями на полях Библии» [11, с. 9]. Эпиграфом к каждой «Песне» этого сборника выступают цитаты из Библии. Проникнутые глубокой религиозностью, стихотворные строки «Сада...» продолжают традицию религиозного стихосложения на маргиналиях богослужебной литературы. В этой связи уместным будет упомянуть и поэзию основателя «Черниговских Афин» Лазаря Барановича, составленную на свободных местах-полях в старопечатной богослужебной литературе: Лазарь Баранович от руки записывал свои стихотворения [13].

Следующее, что заслуживает внимания в «Саду...» с точки зрения особенностей барочного дискурса, так это «поэтическая автобиография» Григория Сковороды. В его поэзии отражена духовная борьба «внутреннего человека»: духовная брань между «миром, плотью и дьяволом» [10]. В результате такой духовной борьбы «ветхий» человек, как и в представлении Лазаря Барановича, постепенно изменяется: из «ветхого Адама» он становится «новым Адамом», т. е. преображается. Речь о преображении «внутреннего» человека невозможна без обращения к его чувственно-эмоциональной и разумной сферам. Поэтому философ и мыслитель Григорий Сковорода обращается, фактически, к характерным для украинского барочного «мышления» философско-эстетическим принципам «рациональной чувственности» и «софийного знания», которые реализовываются через понятие «сердце».

Опираясь на традиции украинского барочного «мышления», «Сердце» выступает важным термином-понятием философско-эстетического тезауруса Григория Сковороды: в произведениях Григория Сковороды слово «сердце» встречается 1146 раз [9, с. 299]. Это не случайное, а закономерное явление, поскольку для религиозной культуры украинского Барокко нужно было «чистое сердце»: «ибо сердцем не чист не может Бога узрѣть» (Песнь 2-я) [10, с. 26]. Антитетика «земного» и «небесного» находит свою гармонию именно в «чистом сердце», а интенциональность их диалектики выразительно раскрывается в эпиграфе к этой же 2-й Песне: «по землѣ ходящее обращеніе имамы на небесѣх» [10, с. 26]. Поэтому «сердце» становится неотъемлемой составляющей барочного тезауруса, в т.ч. эстетического, определяет его этнонациональный и духовно-религиозный характер.

Показательно, что понятие «сердце» использовалось и в литературно-философских текстах «Черниговских Афин». Сердце то «веселится», то «смущается», «печалится». Сердцем чувствуем «сладость духовную»; мы можем чего-то желать «всем сердцем»; оно также может быть «мудрым» и «познавать истину»; из него выходят «благие желания» (а могут и злые) [6, сс. 113, 117, 206, 188, 197, 214]. Слова могут «одобрить» (сделать добрым) сердце, а «веселие», которое идет из него, вполне способно «укрепить душу» [6, с. 138]. Итак, «сердце» является не только органом чувств, но так же связано с познавательными, моральными, эстетическими функциями души.

Сердце может «надмеваться в гордыне» и «возноситься», а может быть смиренным и преуспевать в добродетелях. Так, например, «мудрое» сердце «ограждено добродетелями» [6, с. 197]. Таким образом, сердце в философско-эстетическом тезаурусе украинского барокко является аналогом разума, но тесно связано с чувственностью (ощущениями, чувствами) и нравственностью.

Для подтверждения этого из поэтико-философского наследия Лазаря Барановича узнаем, что сердце одновременно является органом чувств и познания, ибо в «сердце» сходятся понимание literalного – *sensus literalis* – (истории; буквальный уровень), вера – *fides* – (аллегорический уровень), поступки – *facta* – (моральный уровень) и надежда – *spes* – (анагогический уровень, которая возводит наш ум и сердце к горнему) [15, л. 34 обр.]. В Сердце

находится и «внутреннее чувство». Кроме этого, вполне становится понятной «оценочная» способность сердца, так как «внутреннее чувство оценочное» [16, л. 182]. Следовательно, просматривается связь украинского кордоцентризма с эстетическим вкусом и суждениями. Таким образом, уже в барочном философском и художественно-поэтическом мышлении можно выделить сферу «рациональной чувственности» (эвристической), связанной с концептом «сердце». Это доказывает существование эстетического дискурса в культуре и искусстве украинского барокко, доставшееся Григорию Сковороде в духовное «наследство».

На активизации сферы «рациональной чувственности» в художественной культуре барокко основаны курьезная поэзия и эмблематическое искусство. В художественно-поэтическом мышлении появляется эстетическая нагрузка на образ, через который передается символическое значение, нежели просто понимание (А. Потебня) [7]. Символически-аллегорические образы искусства барокко ведут реципиента к пониманию сакральных и философско-эстетических идей. Через «рациональную чувственность» (образы курьезных стихов и эмблематического искусства) конструируется, выстраивается целостное или, по крайней мере, более полное значение, смысл художественного изображения.

В конце 26-й Песни Григорий Сковорода написал стихотворение-мелодию к эмблематическому изображению Богородицы, под ногами Которой земной шар, убывающая Луна и змей с яблоком [10, с. 49]. Яблоко символизирует плотскую сласть (т. е. сладострастие – З.М.), хитрый змей – плоть, искушающую человека; земной шар – злую смесь светских мыслей – мнѣний, убывающая Луна – светское добро (имущество). Пречистая Дева Богородица побеждает все это, так как в Ней поселился Христос-Мудрость. Таким образом, Сковорода призывает быть чистым и мудрым. Софийность, по мнению путешествующего поэта и философа, дает «ясный свет» и «добродетели» [10, с. 49].

В творческом наследии «Черниговских Афин» также можно встретить образы с эмблематикой. Это, например, образ бабочки, кружащей над зажженной свечой; или реморы-«прилипалы» – рыбы, которая прилепляется к днищу корабля и удерживает его, корабль тогда не может сдвинуться с места; образ журавля, стоящего на страже и т. д. А барочный образ фонтана используют Иван Орновский, свт. Иоанн (Максимович) и Григорий Сковорода. У последнего «фонтан» подает всем «равную неравность», которая заключается в том, что водой наполняются разные сосуды: большие и малые.

В «Саду...» Григорий Сковорода не обходит и барочной темы непостоянства мира и жизни (эта тема также разрабатывалась в «Черниговских Афинах»), используя образ «морья» («океана»), а также относящиеся к нему образы «кита», «сирен», «лодки», «гидры», «птицы», «Геракла», «скалы», «гавани», «Ноевой горлицы», «радуги», и «вѣдра» (слав. *вѣдро* – небесная светлость и чистота воздуха; философско-эстетическая ценность данного образа раскрывается в исихастской «эстетике света») [14]. С точки зрения барочной герменевтики обратим внимание на то, что море – символ человеческой жизни; лодка – тело; птица – душа; сирены – искушения; кит – страсти; гидра – злая человеческая воля, ведущая к греховности; горлица с оливковой ветвью (как и радуга) – Богородица и милость Божия; Геракл, скала и гавань – Иисус Христос. В другом сакрально-эстетическом значении гавань является символом того небесного покоя, который еще на земле может обрести благочестивый и целомудренный человек.

Художественно-символические образы «морья», «лодки» или «корабля» соединяются с образом «кормчего». Умелым Кормчим («навклиром» – Песня 29-я) есть Сам Иисус Христос. Он спасает человека от всех напастей, укрощает страсти и благополучно направляет лодку (корабль) – человека – посреди бушующего моря – лукавого и опасного мира – к тихой пристани (гавани) – берега спасения. Об этом в свое время писал Лазарь Баранович: «...Вніди в серце моє, аки в корабль, и буди того управителем, да не потопит его буря страстная...» [1, л. 150 об.].

Исихастская «эстетика света» нашла отображение в текстах «Черниговских Афин» также в связи с соединением эстетического со сферой морального. Так, например в «Феатроне» свт. Иоанна (Максимовича) добродетель «светится» перед человеком, как свет [5, л. 1].

В аспекте единства религиозного, морального и эстетического, риторическая культура украинского барокко глубоко ценила не только добрые дела, чистое (целомудренное) сердце, красивое слово, но также слово, идущее от «доброты сердца» («добротердечное слово»). Развивая библейскую метафору «духовного меча», Лазарь Баранович удачно ее использовал для названия своего сборника проповедей («Меч духовный»), содержащих в себе энергичные и

теургические возможности слова. Григорий Сковорода идет дальше, раскрывая метафизику «земного» и «небесного» через антитетическую связь «плотское-духовное», с помощью метафоры-концепта «меч небесный (духовный) в плотных ножнах» (Песня 19-я). Этот «меч» – Христос – Божие Слово, действующее в «ножнах», – плоти каждого человека [9, с. 41]. Такой удивительный меч способный победить, разогнать «гадких зверей» – «льва» и «змия» (символы печали и скуки), ведущих ко греху [там же]. Как видим, логосная и эстетическая сила барочного «чудо-слова» заключается в изменении энергийного образа человека, на что указывал и свт. Димитрий (Туптало) [12, с. 289].

В идее «меча духовного» барочная метафизика «земного» и «небесного» экстраполируется на философские размышления о Человеке – мудром простаке. Такой мудрый простак чист сердцем и душой, он «вооружен» и «укреплен» «латами» и «стенами» – добродетелями. Материального оружия ему не надо: его броня – непорочность, алмазная стена и святой град – невинность, щит и меч – сам Господь Бог. Августиновская антитетика «град земной-град небесный» и отечественная барочная традиция антитетики «земного-небесного» впоследствии приводит Григория Сковороду к таким философским размышлениям: земной мир с его городами, царскими дворцами – «бессовестный прах», а святой, прекрасный небесный град (Иерусалим) – в земном человеке, когда он становится храминой Св. Духу.: «...свят .../...всѣгда цѣл и не горѣл. / Непорочность есть то адамант, / И невинность есть святыи то град./ Там полещи! И там почий. / ...Гдѣ ж есть оный столь прекрасный град? / Сам ты град, з души вон выгнав яд. / Святому Духу храм и град”. Невинность также называется “небесным двором” [10, с. 42].» Здесь уместно упомянуть и об Иоаникии Галытовском, который в поэтической форме молился к Богородице о том, чтобы Она вводила людей на небо: небесные «царскую улицу» и «дом» [17, л. 8].

В 22-й Песне Григорий Сковорода продолжает размышлять о «небесном граде». Оказывается, что свойства этого города такие же, как и «сада заключенного» (концепт *hortus conclusus* – «сад заключенный» тоже разрабатывался в «Черниговских Афинах»), а именно: небесный Сион огражденный. К нему можно добраться лишь узкой дорогой, взимающейся вверх. Поэтому, стоящий на возвышении и огражденный город находится в безопасности. А Иерихон расположен внизу, к нему ведет широкая дорога, по которой разбойники легко добираются и проникают в город. Иерихон, в отличие от небесного Иерусалима (Сиона), – образ тщеславного и искушающего города, «земного града». Потому Григорий Сковорода предупреждает: нужно жить в Сионе, а в Иерихоне жить небезопасно, и «блажен той един, кто разумѣет» [10, с. 44]. Иерусалим (Сион) и Иерихон становятся метафорическими названиями городов, символизирующих духовные «небесный град» и «земной град», «горный» и «дольный» миры.

Антитетика «внешнего-внутреннего», «видимого-невидимого» в контексте метафизики «земного» и «небесного» в поэзии «Сада...» снова передается с помощью понятия «сердце» и «эстетики света» в связи с разработкой учения о счастье как «весели сердца». Счастье, согласно взглядам Григория Сковороды, является нашим «ясным светом» и «красным цветом», т. е. прекрасным цветком (Песня 21-я). Онтологически счастья в природе нет ни на земле, ни на небе. Счастье экзистенциально живет в сердцах людей. Сакрально счастье заключается в том, чтобы в наших сердцах поселился Христос. Именно Ему мы должны открывать наши сердца и приглашать Его в наш «душевный дом» (Песня 4-я). Иисус нам дает душевный покой и помогает победить грехи.

Источник скорбей – грех, человеческое недовольство: «Ах ничем мы недовольны!», а поскольку в сердцах кипят страсти, то у нас нет мудрости (Песня 24-я). Высшая мудрость состоит в том, что счастье – это та часть Божиих даров, Божией благодати, которую нам дает Господь. Для каждого человека Бог выбрал отдельную чашу, но полную: именно столько даров может принять отдельно взятый человек (но и этого в полной мере человек довольно часто не получает по своей злой воле). С самого рождения Бог «мудрости дал часть» каждому (Песня 24-я). Нужно лишь познать эту Мудрость и бережно распоряжаться данными нам дарами. В этом усматриваем религиозно-философские истоки сквородиновского учения о «сродном труде», а также его тезис «познай самого себя». Философия Сковороды: познай себя и стань мудрым, развивай дары-таланты, заложенные Творцом, и занимайся «сродным трудом», очищай свое сердце, чтобы там поселился Христос, и будешь иметь «счастье», будешь на самом деле счастливым. Тогда и в бедности будешь богатым и счастливым, и в богатстве тоже можешь стать счастливым.

С учением о счастье у Григория Сковороды соединяются понятия «веселие сердца» и «радость сердца». По-настоящему счастливый человек всегда счастлив и радостен. Когда же ты не весел, то ты [духовно] «нищ и гол», потому что «внутри рыдает сердце» и «душа рыдает» – тогда ты [духовно] «мертв, подл и гол» (Песня 28-я). О таких духовных «мертвецах», развивая идеи Г. Сковороды, будет дальше писать Н.В. Гоголь («Мертвые души»), Л.Н. Толстой («Живой труп»), показывая человеческие грехи с точки зрения убожества духа. А представитель Черниговского литературно-философского круга («Черниговских Афин») свт. Иоанн (Максимович) вопросу о человеческом счастье уделял должное внимание в связи с сообразованием человеческой воли с Божественной волей [8].

Как полагал Григорий Сковорода, человеческая воля и воля Божия – это двое ворот: адские и райские. Воля человека, не согласованная с Божией волей, пленяет и мучает человека, но, согласованная с Божественной волей, дает человеку веселость и духовную сладость. Тогда сам Христос вселяется в сердце человека; Он единственный «всѣм жизнь и радость», «всѣм рай и сладость» (Песня 28-я).

Религиозно-философское положение о согласовании своей воли с Божественной волей связано с идеей «сораспятия» Христу. Одновременно мотив «сораспятия» является неотъемлемой частью барочного поэтико-риторического дискурса [6]. А в «Саду...» этот мотив проявляется в следующих строках: «Сраспи ты мое тѣло, спригвозди на крест, /...дабы внутри воскрес» [10, с. 31]. Под идеей «сораспятия» имеется ввиду несение жизненных скорбей, которыми очищаются человеческое сердце и душа, и «внутренний человек» преобразуется. Такому человеку не страшна смерть, так как у целомудренного и благочестивого человека «совѣсть, как чистый хрусталь» (Песня 10-я).

Религиозно-моральному очищению сердца и души человека способствует «упразднение ума»: отстранение от будничного, временного и тленного, и наоборот, обращение к сакральному, вечному, к святости, т. е. метафизическое возвышение от «земного» к «небесному», духовно-эстетический катарсис. С этим соединено «блаженство духовной нищеты» (смиренно-мудрие) и «мудрая простота» (как антипод велиречивости и высокоумия, надменности). Таким настроением «упразднения ума» проникнута 10-я Песня «Сада...»: «не хочу и наук новых, кромѣ здравого ума. / Кромѣ умностей Христовых, в коих сладостна дума» [10, с. 35].

Идея «упразднения ума» – важная составляющая философского дискурса и искусства украинского барокко, в т. ч. «эстетики аскетизма» (В. Бычков) [2]. Исследуя эстетический тезаурус Черниговского литературно-философского круга с позиций лингвоэстетического подхода и анализируя философско-эстетические взгляды Григория Сковороды, приходим к выводу, что сковородиновский «покой», которого он так отчаянно искал, «бегая» мира, и широко распространенный в украинском барокко термин-понятие «утѣшеніе сердца», имеют эстетическое основание, а именно, «небезразличное» отношение к миру, что порождает эстетический эскапизм от греховной будничности и серой «прозы дня». Вместе с тем «утешение сердца» и «покой» (спокойствие) связаны с духовным наслаждением через «радость» и «веселие сердца», что так характерны для украинской культуры данной исторической эпохи, – кордоцентризм Киевской Руси получил свое продолжение в философско-эстетических идеях о «сердце» в наследии Лазаря Барановича, свт. Иоанна (Максимовича), Григория Сковороды.

Особенностью деятелей искусства и мыслителей украинского барокко было также то, что они искали не просто земную мудрость, но небесную софийность: получать только «внешнее знание» – это пустая трата, тщета [11, с. 3–24]. Почему же тогда научно-образовательные заведения того времени (Киево-Могилянская академия, Черниговский коллегиум, Харьковский коллегиум) называли прекрасными «садами»? Например, в 27-й Песне Харьковский коллегиум назван «высших наук садом святым» [10, с. 49]. Ответ очевиден: студентов учили софийности, а «земные науки» излагались сквозь призму софиологии.

В связи с этим метафизика «земного» и «небесного» обнаруживается через изображение Григорием Сковородой двух разновидностей «сада»: «сад земной» и «сад небесный». Они аккумулируют двойную антитетику: «земное-небесное» и «внешнее-внутреннее». Символом «земного сада» становится образ французского Версаля – сладострастного сада (так называемых «версальских садов»), полного неизреченных светских утех (28-я Песня). Поэтому в сознании Григория Сковороды «земной сад» – это сад земного, полного различных искушений, мира, от

которого нужно «бегать». Здесь уместно вспомнить и необарочный концепт «сад желаний» современной писательницы М. Городовой [3], что, по-нашему мнению, свидетельствует о возрождении идей барокко в эпоху постмодерна. Необарочный «сад желаний» – поэтический образ, олицетворяющий собой современный мир начала XXI в.: «Современный мир – это сад желаний. Он соблазняет, искушает, зовет... Красивыми и утонченными вещами, когда непонятно, то-ли это чудо техники, или вершина дизайнерского искусства. Или необычными, до сих пор недоступными возможностями, чудесными завораживающими ощущениями. А еще интересной работой, ярким, увлекающим отдыхом и, наконец, самой красотой, хорошим здоровьем, неувядающей молодостью. И все это зовет, обещает, манит, притягивая, прельщая, очаровывая. И кажется, вот еще чуть-чуть, и заветные плоды дивного сада в твоих руках...» [3, с. 246]. Итак, «земной сад» сегодня полон прельщений и искушений, на которые поддается «*пост*-человек», у которого в сердце бурлят страсти, несовместимые с «садом небесным».

В отличие от выше изображенной картины, барочные деятели искусства и мыслители, в частности представители «Черниговских Афин» и Григорий Сковорода, призывают возделывать «сад души», который получил «прописку» в человеческом сердце. Тогда в человеке вырастает «небесный сад», в чем проявляется барочная диалектика «горнего-дольнего», «внешнего-внутреннего». Тогда становятся понятными строки: «Щаслив тот и без [земных] утѣх, кто побѣдил смертный грѣх. / Душа его – Божій град. Душа его – Божій сад. / Всегда сей сад даст цвѣты, всегда сей сад даст плоды. / Всегда весною там цвѣтет и лист его не падет» (Песня 3-я). Цветы такого «сада» – невинность (целомудрие), а плоды – любовь и мир. Такой «сад» наполняет человека духовными утешением и наслаждением, духовной радостью, сладостью сердечной, и человек уже на земле наслаждается жизнью (Песня 30-я). Духовная радость наполняет человека, и он, словно малая птичка, «поет песни» своему Творцу.

В этих философско-поэтических положениях заключается «ключ» к расшифровке названия сборника поэзии Григория Сковороды «Сад божественных песен, прозябший из зерен Священного Писания». Архетипный образ чудо-сада как «райского сада» [4] всплывает из бессознательного этнокультуры через характерные черты: «добрые плоды деревьев», «певучесть птиц», а поэтому метафоры «сад» и «птица (птичка)» украинского барочного эстетического дискурса символизируют целомудренную душу человека.

Таким образом, в изложенных выше компаративных положениях видим, что в своем сборнике «Сад божественных песен» Григорий Сковорода воплотил и развил практически все философско-эстетические идеи, представленные украинской барочной культурой и искусством, в т. ч. и в «Черниговских Афинах». Интегральным принципом построения эстетических взглядов эпохи украинского барокко была метафизика «земного» и «небесного», которая приобретала различные спецификации в философской терминологии и художественных образах, поэтике, риторике и искусстве второй половины XVII – первой половины XVIII в.

Литература

1. Баранович, Л. Меч духовный / Л. Баранович. – К. : Типография Киево-Печерской Лавры, 1666. – 445 с.
2. Бычков, В. В. Эстетика : учебник / В.В. Бычков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 2006. – 573 л.
3. Городова, М. Сад желаний / М. Городова. – М. : Никея, 2010. – 272 с.
4. Личковах, В. *Sacrum* як ідея святовідношення в українській філософії мистецтва / В. Личковах // Дивосад культури : Вибрані статті з естетики, культурології, філософії мистецтва. – Чернігів : РВК : «Деснянська правда», 2006. – С. 75–89.
5. Максимович, И. Оѣатров, или Позор нравоучительный / И. Максимович. – Чернигов, 1708. – 424 л.
6. Максимович, И. Царский путь креста Господня, вводящий в живот вечный / И. Максимович. – М. : Общ-во Любителей Правосл. лит-ры, Изд-во им. свт. Льва, Папы Римского, 2010. – 248 с.
7. Потебня, А. А. Слово и миф / А.А. Потебня. – М. : Правда, 1989. – 624 с.
8. Святитель Иоанн (Максимович). Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей / Свт. Иоанн (Максимович). – М. : Благовест, 2001. – 510 с.
9. Сковорода, Григорій. Вибрані твори / Григорій Сковорода ; Упорядкування та передмова Л. Ушкалова ; примітки й коментарі Л. Ушкалова та С. Вакуленка. – Харків : Прапор, 2007. – 384 с.

10. Сковорода, Григорій. Сад божественних п'єсней / Г. Сковорода // Вибрані твори. – Харків : Прапор, 2007. – 384 с.
11. Ушкалов, Л. «Світ ловив мене, та не спіймав» / Л. Ушкалов // Григорій Сковорода. Вибрані твори. – Харків : Прапор, 2007. – 384 с.
12. Царенок, А.В. Проповідь та сповідь: до питання про духовно-естетичні аспекти взаємодії / А.В. Царенок // Колізії синтезу філософії і релігії в історії вітчизняної філософії : Український часопис російської філософії. Вісник товариства російської філософії при Українському філософському фонді. – Вип. 7. – Полтава, 2007. – С. 288–293.
13. Шамрай, М. Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15–17 ст. з фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / М. Шамрай. – К., 2005. – 332 с.
14. Ширяєва, Л.С. Релігійно-естетичні транспозиції в мистецтві Київської Русі / Л.С. Ширяєва // Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. – Вип. 95. – Чернігів : ЧНПУ, 2011. – С. 168–171.
15. Baranowicz, L. Księga śmierci. / L. Baranowicz. – Nowgorod Siewierskiy, 1676. – 69 л.
16. Cursus totius philosophiae. – Czernihoviam, 1740–1747 // Державний архів Чернігівської області. – Ф. 1781. – Оп. 1. – Спр. 9. – 234 арк.
17. Galatowskiy, I. Sophia Mądrość / I. Galatowskiy. – Czernihow, 1686. – 26 kart.

Черниговский национальный
педагогический университет им. Т.Г. Шевченко

Поступила в редакцию 11.06.2014

Отчуждение как модус человеческого существования

В.Н. КАЛМЫКОВ

Выявлена сущность отчуждения, охарактеризованы переходы к данному феномену в истории философии и в современной философской мысли. Раскрыта противоречивость отчуждения, отмечено, что в ходе трансформации социума будут всегда возникать новые проблемы и трудности, новые варианты отчуждения.

Ключевые слова: отчуждение, деятельность, труд, свобода, снятие, противоречие, культура, цивилизация, дегуманизация.

The essence of alienation is revealed and the conversion to this phenomenon both in the history of philosophy and in modern philosophical thought is characterized. The contradiction of alienation is exposed. It is noted that in the course of society transformation there will always be new problems and challenges, new variants of alienation.

Keywords: alienation, work, activity, freedom, withdrawal, contradiction, culture, civilization, dehumanization.

Важнейшими формами бытия человека выступают труд, мышление, эмоции, воля, нравственность, предметно-практическая, социально-политическая и духовная деятельность, самосозидание и самосовершенствование в ходе социализации и культуризации. Наряду со страхом, фантазией, игрой, любовью и т. п. одним из социокультурных модусов человеческого бытия является отчуждение.

Встает задача выявить сущность отчуждения, охарактеризовать подходы к данному феномену в истории философии и в современной философской мысли.

Феномен отчуждения характеризует ситуацию, когда, во-первых, созданное человеком так или иначе противостоит ему; во-вторых, если какие-либо явления и отношения в искаженном сознании людей превращаются в нечто иное, чем они являются сами по себе; в-третьих, когда происходит разрыв между функцией какой-нибудь системы и ее основой.

Отдельные фрагменты предидеи отчуждения обнаруживаются в античной философии. По Платону, первичное духовное отторгает от себя сотворенный мир. В эпоху Возрождения считалось, что природа, внешний мир противостоят человеку, ограничивают его деятельность, а устранить это противоречие возможно с помощью разума человека. Представитель философии Нового времени Т. Гоббс обратил внимание на противоречия между устремлениями индивидов к свободе и интересами государства. Утрата людьми части своей свободы ради общего блага, достигаемого в учрежденном благодаря общественному договору государстве, разумно и обосновано [1, с. 118–119]. Ж.-Ж. Руссо утверждал, что культура разрушает естественность человека и превращает его в подвластного индивида. Руссо связывал появление частной собственности с возникновением социального подчинения. Вместе с тем он стоял за увековечивание мелкой собственности.

В немецкой классической философии отчуждение выделено в самостоятельный объект исследования. У И. Фихте полагание «я» предмета («не-я») выступает как отчуждения. Г. Гегель считал, что труд сковывает дух человека вещественной предметностью и вместе с тем развивает человека, делает его господином природы, является средством самовоспроизводства, возвышения, самореализации личности. Отчуждение наделяется статусом необходимости и противоречия, оно надлежит в будущем снятию на более высокой и окончательной ступени движения. Уничтожение отчуждения человека философ изображал как духовный акт, осуществляемый в рамках саморазвития «абсолютной идеи». Л. Фейербах полагал, что люди отчуждают свою абстрактную родовую сущность, основанную на любви, в пользу выдуманной сверхреальности, названной Богом. Человек приписывает Богу то, что он отрицает в себе. Фейербах основную причину отчуждения видел в природе человека, его психологическом состоянии, в вечном чувстве страха, неуверенности и неопределенности. Средством преодоления отчуждения называлось просвещение.

К. Маркс в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» рассматривал отчуждение по ряду направлений: а) отчуждение общества и человека от природы; б) от производителя продукта и результата его труда; в) отчуждение от работника процесса и содержания труда; г) отчуждение от труженика содержания личности или его родовой сущности; д) отчуждение в социуме человека от другого человека. Маркс обращал внимание на противоречивый характер труда, который приносит как удовлетворение, так и страдание, что зависит не только от содержания труда, но и от состояния общественных отношений. Общественное состояние, где люди существуют как функции, а вещи господствуют над творцом, Маркс подверг анализу в «Капитале». Вслед за Марксом Ф. Ницше и Ф.М. Достоевский главным пороком европейской цивилизации считали власть вещей над человеком. Социальное отчуждение, полагал Маркс, наряду с противоречием между производительными силами и производственными отношениями, классовой борьбой, является одним из побудительных мотивов революции.

Разотчуждение рассматривалось Марксом по тем же параметрам, что и процесс отчуждения: а) по гармонизации отношений между обществом и природой; б) по присвоению предмета труда и его результата; в) по освобождению самой деятельности; г) по присвоению человеком труда общей «родовой сущности»; д) по гармонизации отношений людей между собой.

Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге» отметил, что производственные отношения, основанные на частной собственности, выступают условиями прямого порождения отчуждения. Одновременно в этих производственных отношениях заложены и средства преодоления отмеченного зла. Утверждение государственной собственности пролетариатом, по мнению Энгельса, высказанного в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства», несет в себе формальное средство, лишь возможность устранения отчуждения, когда до минимума сводится фактор стихийности общественного развития. Задуманное как посредник, государство из системы обеспечения превращается в систему самообеспечения. Обладая публичной властью и правом взимания налогов, чиновники становятся носителями отчуждающей от общества власти.

В.И. Ленин показал, что капитализм как суммарная форма отчуждения не только давит, угнетает и ведет к вырождению, но и развивает, организует, дисциплинирует работников. Отчуждение может быть преодолено усилиями субъективного фактора истории и государства на пути значительного роста производительных сил, изменения качества производственных отношений. Отмечена необходимость культурной революции с учетом преемственности общечеловеческих начал. Без этого процесса задачи экономического и политического характера останутся в области пожеланий без надежды на их осуществление.

Ряд положений о природе отчуждения высказано в философии XX в. Г. Зиммель видел в эпохе XX в. внешние достоинства: огромный рост техники, науки, бытового комфорта, индустрии развлечений и т. д. Одновременно он определил черты этого периода как «утомление», что несет в себе опасность: средства жизни превосходят по своему значению ее цели; объективные образования культуры обретают самостоятельное развитие и становятся чуждыми субъективной культуре. Х. Ортега-и-Гассет размышлял о проблеме «жизненной дезориентации», выражающейся в том, что жизнь индивида приобрела неопределенность, а ценности стали размытыми. З. Фрейд утверждал, что культура и общество – чуждые и враждебные индивиду силы. Неофрейдисты указывали, что неврозы увеличивают отчуждение и самоотчуждение человека. К. Ясперс основным источником отчуждения назвал технику. Выдающийся физик А. Эйнштейн предупреждал, что может придти день, когда технологии превзойдут живое человеческое общение и мир получит поколение идиотов. Эта мысль ученого актуальна в связи с тем, что в электронно-вычислительных машинах, способных осуществлять мыслительные операции, дело ограничивается информационным логическим процессом, протекающим в форме физико-химического движения, а мышление (и общение) человека осуществляется на более сложном нейрофизиологическом уровне, где важную роль играют общественная практика, опыт, эмоции, фантазия, интуиция. Согласно Э. Мунье, все каналы, позволяющие человеку пробиться к общению с другими людьми, перекрыты, что порождает эгоизм, равнодушие и безответственность [2]. М. Хайдеггер считал, что отчуждение есть форма существования человека в обезличенном мире повседневности. Г. Маркузе ввел понятие одномерного мышления и соответственно одномерного поведения человека в индустриальном обществе. Такое общество лишено протеста, поскольку человек существует вне альтернативы установившемуся

порядку. Поэтому люди отчуждены в своем основании от своих возможностей [3]. Э. Фромм связывал отчуждение с превращением человека в «вещь», с бегством от свободы. В целях преодоления такого положения был выдвинут проект создания гармоничного «здорового общества» и преодоления положения человека как «марионетки», управляемой нитями социальных обстоятельств. Это суждение Фромма находит подтверждение: в условиях гегемонии капитала современный работник часто «растворяется» в фирме и логикой своего существования нацелен на конформизм, а не на критически-диалектические подходы.

В каждом человеке, согласно экзистенциализму, есть некая пустота, врожденное несовершенство, что вызывает тревогу и страх. А. Камю исходил из того, что человек является чужим, «посторонним» в мире, что абсурд есть «разлад между человеком и его жизнью, актером и декорациями». Чувство абсурдности проистекает из скуки, которая «является результатом машинной жизни, но она же приводит в движение сознание» [4, сс. 26, 30]. Осознание безучастности мира по отношению к человеку, ощутившему бесплодность своих усилий – такова сущность абсурда в понимании Камю. Оказавшись в чуждом пространстве, человек вынужден постоянно создавать себя, опираясь только на свои возможности, он не может объяснять свои ошибки «обстоятельствами». В данной позиции абсолютизировано индивидуально-личностное начало. Но не все экзистенциалисты стоят на этой точке зрения. Так, К. Ясперс в работе «Смысл и назначение истории» писал, что путь в развитии человека идет через мир и историю.

В современной философской мысли отчуждение в основном рассматривается через призму процессов дегуманизации социума, ведущих к «обесчеловечиванию» личности, утраты чувства «я», следствием чего является возникновение бездушной и безличной Мегамашины, то есть предельно рационализированной, технократической социальной организации, подавляющей творческие начала личности. М. Бубер назвал три сферы отчуждения: область техники (человек стал придатком машины), сферу хозяйства (процесс производства и потребления благ вышел из-под контроля человека) и область политики (человек находится во власти иррациональных сил) [5, с. 193]. Государственные и общественные институты изображаются как враждебные человеку силы. Увеличилась пропасть между способностью людей к производству через научную технологию и способностью контролировать ее.

Чтобы ощутить собственное «я» и не быть безликой частью некой системы, человек начинает ценить свою приватную жизнь. Многие люди, неудовлетворенные своим существованием, «убегают» от повседневности в мир общения с Богом через молитву (надежда на вечную жизнь позволяет претерпевать бедствия и серость этого мира), компьютерные игры, общение в Интернете и т. п. Такое поведение связано как с увеличением времени досуга, так и с отсутствием устойчивых идеалов. Проявляется и противоположная тенденция: происходит отчуждение от индивида его собственной приватной жизни в пользу подражания выставленной напоказ в средствах массовой информации и в различных шоу жизни «звезд». Обывателю нередко навязывается культ потребительства, которому подчиняется частная жизнь.

Классический гуманизм идентичность человека полагал неотделимой от его телесности. Современные трансгуманисты считают необходимым использовать новые технологические методы для выхода за пределы этого существования. Включение в тело искусственных органов, различных протезов, кардиостимуляторов и т. п. разумно и необходимо для повышения продолжительности жизни и эффективности функционирования организма, но оно не должно переходить рубеж, когда человек перестает быть самим собой. Например, как оценить вживление чипа в человеческий мозг, ведь подобные действия принципиально меняют сам способ общения, включения индивида в социум? Или переконструирование биологической основы человека путем усиления умственных и физических способностей, улучшения функционирования нервной системы открывает новую зону риска и выступает одним из условий проявления антропологического кризиса. Ведь при перестройке каких-то генов, программирующих определенные свойства организма, возможно искажение других свойств, нарушение естественного саморазвития организма.

Опыт показал, что отчуждение тем сильнее, чем ниже уровень производительных сил. Слабое развитие орудий труда взваливает на человека за счет его физического и нервного перенапряжения всю тяжесть производства, порождая технологическое отчуждение. Человек при этом выступает как придаток какого-либо средства труда или какой-либо производст-

венной функции. Технологическое отчуждение возможно и при высоком, в условиях компьютеризации, уровне производительных сил. Интернет – сфера творческого самоутверждения человека и вместе с тем своеобразной психологической компенсации непризнанности и нереализованности в жизни, что толкает человека к выстраиванию «параллельной жизни» как заменителя и суррогата реальной жизни.

При принудительной организации труда (в обществе казарменного типа) производство и потребление оказываются разорванными, приводя к социально-экономическому отчуждению. А в либеральной рыночной экономике человек часто встраивается в структуру корпораций, растворяется в них и при этом порой отчуждает свои способности.

Политическая основа отчуждения связана с деятельностью государства, когда создаются возможности для формирования аппарата, интересы которого противостоят обществу и направлены на обеспечение своих внутренних защитных механизмов, что сокращает возможности к коррекции общественного развития.

В состояниях неопределенности, нестабильности (экономической, социальной, политической) отчуждение сопровождается субъективными переживаниями бессилия человека над результатами своей деятельности, личность психологически лишается ощущения ее значимости, смысла жизни, возникают растерянность, разочарование. При этом разрушаются межличностные связи, в поведении части людей ослабляется рациональность и возрастает роль инстинктов.

Отчуждение в технолого-экономической и социально-политической сферах дополняется отчуждением в духовной жизни. Одна из форм духовного отчуждения – утрата исторической памяти. Отчуждение в духовной культуре, начиная с последней трети XX в., стало возможным потому, что знаки и системы символов, которые создавались для объяснения и понимания человеком окружающего мира, стали, как полагают некоторые исследователи, непроницаемой стеной, отгораживающей человека от реальности.

Преодоление негативных форм отчуждения коренится в общественном прогрессе. Достойное будущее человечества – в социуме, при котором личность вырывается из отчужденного состояния стихийных процессов (но и при сохранении позитивной стихийности как естественности) и тоталитарной системы, обретает условия для реализации своей индивидуальности на общем фоне коллективности. В современных условиях, когда возрастает доля информационного продукта, усиливается тенденция к использованию, прежде всего, возможностей человека как разработчика новых программ, контролера, оператора, наладчика. Преодоление отторжения человека от своих творений связано с тем, что в мировой экономике возрастает уровень системности: наряду с наличием самоналаживающихся, во многом хаотических, процессов, восстанавливаются политические регулирующие механизмы. Обозначенную тенденцию, впрочем, нельзя преувеличивать. На XXIII Всемирном философском конгрессе (Афины, август 2013 г.) российский философ А.Н. Чумаков говорил, что современный глобализирующийся мир, тем не менее, лишен универсального управления именно системой в целом, что приводит к тому, что в качестве противоборствующих субъектов выступают уже не отдельные индивиды, а национальные государства [6, с. 144].

Ф. Энгельс высказал идеи о необходимости превращения старой цивилизации в общество нового типа, основанное на присвоении «ассоциированными» индивидами всей культуры, способными поставить под контроль свое отношение к природе и свои собственные отношения, покончить с всеобщим отчуждением. Современные философы полагают, что в сложных саморазвивающихся системах природы и общества наряду с определенностью и некоторой предсказуемостью, в условиях рискогенности, существуют так называемые «факторы икс» – явления, которые намечаются и последствия которых пока непонятны, непредсказуемы, особенно на большом промежутке времени, но могут оказать серьезное влияние на мир в будущем. Спектр возможных альтернатив развития множественен. Применительно к обществу принципиальная невозможность точно предсказать будущие траектории его развития каждый раз ставит перед действующим субъектом проблему выбора. При этом важно не попасть в катастрофические для человека линии, по возможности отсекая или хотя бы смягчая неблагоприятные сценарии развития.

Отделение от человека созданного им объективно. Это выражено, прежде всего, в характере деятельности, в механизм которой входят целеполагание, опредмечивание, получение конечных результатов, что свидетельствует о потенциальных способностях в условиях общественного разделения труда к обособлению.

Отчуждение в полном объеме неустранимо еще и потому, что оно, наряду с негативными своими сторонами, является нормальной характеристикой человека, свидетельствует о его способности к самовыражению и самоотдаче [7, с. 306–308]. Еще Г. Гегель продемонстрировал, что в акте отчуждения имеется не только «утрата», но и «присвоение». В целом отчуждение двойственно: способствует самопроявлению человека и одновременно обезличивает его. В ходе трансформации общества будут всегда, в любой общественной системе, возникать новые проблемы и трудности, новые варианты отчуждения.

Литература

1. Гоббс, Т. Левиафан / Т. Гоббс. – М. : Мысль, 2001. – 478 с.
2. Мунье, Э. Что такое персонализм? / Э. Мунье. – М. : Издательство гуманитарной литературы, 1994. – 128 с.
3. Маркузе, Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. Исследования по идеологии развитого индустриального общества / Г. Маркузе. – М. : АСТ, 2002. – 526 с.
4. Камю, А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / А. Камю. – М. : Политиздат, 1990. – 415 с.
5. Бубер, М. Проблема человека / М. Бубер. – М. : Республика, 1995. – С. 157–231.
6. Чумаков, А.Н. XXIII Всемирный философский конгресс. Российская философия во всемирном измерении / А.Н. Чумаков, А.Д. Королев // Философские науки. – 2014. – № 8. – С. 136–147.
7. Калмыков, В.Н. Устранимо ли отчуждение? / В.Н. Калмыков // Мировоззренческие и философско-методологические основания инновационного развития современного общества : Беларусь, регион, мир. – Минск, ИООО «Право и экономика», 2008. – С. 306–308.

Онтология и аксиология: современность истоков вопроса о «Логосе» у Хайдеггера и Плотина

Д.В. МАЛАХОВ

Предлагается ценностная интерпретация учений Плотина и М. Хайдеггера о Логосе. В качестве основной рассматривается проблема материи (Плотин) и ничто (Хайдеггер), на основании которой автором делается вывод о Логосе как онтологическом средоточии бытия сущего в созерцательной и экзистенциальной направленности к Благоу и Бытию.

Ключевые слова: Логос, Единое, Благо, вертикальная триада, ипостась, материя, ничто, свобода, бытие, бытие сущего, созерцание, экзистенция.

The valuable interpretation of Logos in Plotinus and Heidegger's conceptions is proposed. The main problem of Matter and Non-Real is considered for the author's deduction of Logos as an ontological centre point of meditative and existential intention of beings towards Good and Being.

Keywords: Logos, One, Good, Vertical Triad, Hypostasis, Matter, Non-Real, Freedom, Being, Beings, Contemplation, Existence.

Целью настоящей работы является рассмотрение в свете платиновского и хайдеггеровского учений о Логосе изначального вопроса философии, формулируемого М. Хайдеггером следующим образом: «Почему вообще есть сущее, а не наоборот – ничто?» [1, с. 104]. Способ постановки вопроса, в смысловую связку которого попадают «ничто» и «нечто», весьма провокационен. Действительно, аксиологические основания мышления в лице идеала обоснованного позитивного знания традиционно уходят от вопроса о «ничто» во всех возможных его вариациях («небытие», «не-сущее», «беспредельное», «неопределённое»). Само собой разумеющимся считается, что достоверное мышление и характер достоверности в целом не совместимы с мышлением о не-сущем.

Логическая достоверность, связываемая с понятием «Логоса» как с непротиворечивым законом разума философии или же с сиянием Божественного Логоса-Слова теологии, меркнет, стоит только задаться целью продумать присутствие «ничто» в рациональном мышлении или в самой божественной жизни. И всё же, следуя интенции М. Хайдеггера, мы возобновляем вопрос о «ничто» как вопрос о человеке и сущем в ракурсе, предложенном М. Коншем, различающим философскую достоверность в соответствии со способом исходной установки мышления: по образцу нововременного *Cogito* субстанциально обоснованного субъекта познания или же по образцу *Dasein* – человека как такового в экзистенциальной открытости сущему, предшествующей любому рефлексивно-познавательному утверждению «Я» [2, с. 239–240].

В первом случае изначальный вопрос выступает как риторический – предмет репрезентативного мышления, теряя логическую структуру, выходит за границы истинного познания в неопределённую область «незаконнорожденного умозаключения» (Платон, «Тимей», 52 в-2) [3, с. 493]; во втором случае вопрос становится формой собственного существования, в которой поиск истины определяется не структурными композициями логических связей, но, согласно изначальной интенции древнегреческого вопрошания, основанием непрестанного образующегося мира сущего, источника этого основания и природы его силы [2, с. 240].

Мы намереваемся прояснить способ, каким изначальный философский вопрос может иметь предельный ценностный смысл для человеческой жизни в контексте богатейшей композиции смыслов, исторически соотносимых с термином «Логос».

Обращение к двум, на первый взгляд столь разным, философам не случайно. В их лице мы обнаруживаем философствование в пору высочайшей зрелости: античности, встретившейся с христианством и христианством, с высоты исторического пути обратившего взор на изначальное вопрошание античности. В чисто философском плане мы сталкиваемся с глубокими

разработками темы субъекта, созерцания, экзистенции, Блага и Бытия, однако и в том и в другом случае обращаем особое внимание на онтологическую и аксиологическую многогранность этих учений, освещающих существо связки изначального философского вопроса.

В комментаторской традиции нередко встречаются интерпретации телеологических высказываний Плотина об освобождении от материи как последовательном сбрасывании оков телесного и невозвратном воспарении души в сферы истинно сущего и Блага. Авторы при этом зачастую ссылаются на известные благодаря Порфирию факты жизни самого Плотина, решительно отказывавшего предоставить возможность художественно воплотить его лицо. Между тем, платиновское учение о материи ясно разграничивает то, что он именует «не-сущим» и телесность, относимую им не к материи, а к природе, космосу. Противопоставление истинно сущего (эйдоса) и материи в принципе не свойственно платонической традиции. Как замечает Ю.А. Шичалин, «исходная и значимая для Платона оппозиция – это оппозиция идеи и т е л а, подражающего соответствующей идее» и «только в связи с этой оппозицией и встаёт проблема “третьего вида”, т. е. материи...» [4, с. 148]. Стоит отметить, что в античной традиции философствования разработка понятия «неаффицируемой материи» [4, с. 154] у Плотина представляется наиболее глубокой и последовательной и в значительной степени проясняет неточности прямых сопоставлений ипостасей триады с ипостасями Св. Троицы в патристике.

Итак, свобода от материи предстаёт у Плотина как свобода от зла, поскольку «... именно материя – причина болезни души и её зла. Именно она – изначально злая, и именно она – первое зло» [5, с. 173]. Не существуя сама по себе, материя являет полную противоположность всему, что связывается с мерой, добром, истиной, определённой. Не являясь ни телом, ни видом, материя «неопределённа, бесформенна, неделима, неосвещена, лишена количества, качества, мысли, её нельзя познать, у неё нет цвета, образа, блеска» [4, с. 151]. Как отмечает М.И. Владиславлев, эти характеристики «не суть простые, случайные ... признаки, но составляют самую сущность его [зла]» [6, с. 42]. Чувственный мир (мир природы) напротив – не является злом по своему существу [5, с. 173] и выступает, в силу своей погружённости в материю, неким специфическим полем проявления зла, которое «извращает и сам чувственный мир и делает его только подобием истинно существующего первообраза» [6, с. 43]. Согласно Ю.А. Шичалину, неаффицируемая материя оказывается как бы не-сущим *зеркалом*, на *отражающей* поверхности которого сущее, воспроизводимое «словно в призрачном видении ... становится не-сущим (οὐκ ὄν), как бы пустой забавой» [4, с. 154].

Действительно, Плотин (III.6) связывает существо зла с неким подобием действия, исходящим с отражающей поверхности материи, которая (поверхность) в бесконечно умножении «производит» подобия (εἰδωλον) и подобия подобий (εἰδωλον ἐν εἰδωλῳ) множественного сущего, выступая их «ирреальной границей» [4, с. 155]: «поистине не-сущее, призрачное подобие массы, и стремление к опоре, и покоящееся не в покое, невидимое само по себе, и избегающее стремящегося видеть, а когда кто не видит – возникающее, для того же, кто всматривается – не зримое, и всегда в себе самом создающее призрак противоположного»; «...то, что кажется в ней возникающим, является забавой, попросту отражением в отражении, как в зеркале, когда [предмет] помещается с одной стороны, а его призрачное отражение [возникает] с другой» (перевод Ю.А. Шичалина) [4, с. 154].

Но ведь у материи нет никакого действия, она не производит в собственном смысле слова, но отражает, выступая неким условием видимости, лжи. Так благодаря чему и каким образом не-сущее включено в ткань Универсума так, что не поглощает сущее, но лишь отражает его, задавая, скорее, онтологический *дефект*, *нужду*, но не уничтожение? Отметим, что материя выступает у Плотина двояко: как умопостигаемая (не лишённая сущностных оснований) и как чувственная (полная лишённость, не-сущее). Умопостигаемая материя – материя вечной Души или «духовная материя», как предлагает именовать её А. Армстронг [7, с. 66], не составляет предмета настоящей статьи и упоминание о ней связано, скорее, с возможностью более ясного понимания смысла содержаний триады. Духовная материя, будучи прообразом чувственной материи, не лишает последнюю зла, но делает возможным его преодоление, освобождение, поскольку в умопостигаемой материи это зло отсутствует: взаимные отражения Ума и Души – совершенной красоты вечной иерархии – не производят подобий и подобий в подобном, но остаются друг в друге как в истинно созерцаемых образах [4, с. 155]. Действительно, согласно Плотину (II.4.14), «даже в умопостигаемых вещах материя есть беспредельное и про-

исходит ... от беспредельности самого Единого или Его силы и вечности; не она в Нём, но Он творит её» [8, с. 209]. Присутствие духовной материи в чувственных вещах (телах) обуславливает их существование как причастных или имеющих *логос* этой материи [8, с. 208].

Обратимся теперь к хайдеггеровскому «ничто». Согласно М. Хайдеггеру, Ничто имеет направленный характер действия. По сути, ничто, будучи некоторым – органическим, жизненным – образом, включённым в бытие, хотя и не как особенное сущее (у М. Хайдеггера бытие *не есть* ничто, форма связи предложена иная – «Бытие: ничто» [9, с. 134]), но, скорее, как судьба самого бытия, – действует исходя из этой судьбы. В отношении сущего в целом действие ничто приводит к его обезличиванию, опустошению: «Ничто не затягивает в себя, а сообразно своему существу отсылает от себя. Отсылание от себя как таковое есть вместе с тем – за счёт того, что оно заставляет сущее ускользать, – отсылание к тонущему сущему в целом. Это отталкивание-отсылание к ускользающему сущему в целом, отовсюду теснящее нас при ужасе, есть существо Ничто: ничтожение. ... Ничто само ничтожит [10, с. 31]».

Ситуация человека как средоточия исторического бытия сущего рисуется М. Хайдеггером, исходя из описанного характера связи Бытия и Ничто, и именуется «падением»: «Забывание истины бытия под напором непродуманного в своей сути сущего названо в «Бытии и времени» падением. Под этим словом подразумевается не какое-то отпадение человека, «этико-философски» переосмысленное и вместе секуляризованное; оно означает некое сущностное отношение человека к бытию внутри отношения бытия к человеческому существу. Соответственно предварительные рубрики «подлинности» и «неподлинности» знаменуют не нравственно-экзистенциальное, не «антропологическое» различие, а впервые только ещё подлежащее осмыслению, ибо от философии прежде таившееся, «экстатическое» отношение человеческого существа к истине бытия. Однако отношение это всегда оказывается таким, каково оно есть, не на почве и не по причине экзистенции, а наоборот, существо экзистенции экзистенциально-экстатически осуществляется благодаря истине бытия» [11, с. 203].

Таким образом, мы видим определённое сходство в понимании материи у Плотина и ничто у М. Хайдеггера. И в том, и в другом случае перед нами предстаёт некое искажающее и разрушающее сущее действие. И, насколько ничто оказывается сопровождающим судьбу хайдеггеровского бытия, настолько же, как замечает Дж. Рист, материя не только «не может быть тьмой, не зависимой от Единого», но «не отделена от Единого, ибо разве могло бы Единое не быть равным какому-либо свершению?» [12, с. 139]. Более того, не присутствуя как нечто самостоятельное в целостности действий ипостасей, материя «сопровождает» эманации, т. е. бытие самой триады [12, с. 137]. Несмотря на то, что, на первый взгляд, плотинская материя, абсолютно лишённая способности действовать самостоятельно, отличается от хайдеггеровского ничто, которое, будучи включённым в судьбу бытия, «само ничтожит», мы обратимся к структуре, исходя из которой, как полагаем, возможно говорить о существенном сходстве не столько в совместном понимании материи и ничто, сколько в видении единства универсума и специфики *нужды*, в которой две онтологии соприкасаются. Такой структурой у Плотина и М. Хайдеггера предстаёт для нас Логос (λογος).

Для лучшего понимания назначения Логоса обратимся вначале к Плотину (III.2.15), для которого «... Логос есть начало, и все вещи суть Логос» [13, с. 150].

А.Ф. Лосев, воссоздаёт плотинский Логос в качестве онтологической структуры, связанной с ипостасями Единого, Ума и Души, но вместе с тем трагически разделённой как с ними, так и внутри себя: «Логос ... не есть то Единое, которое обнимает всё существующее в одной и неделимой точке, поскольку логос, о котором идёт речь, есть нечто раздельное. Он ... есть сценарий мировой трагедии, её смысловое либретто и уже по одному этому нечто раздельное, а не просто единое, или, точнее говоря, нечто единое-раздельное. Но он не есть также и Ум или Душа, поскольку он осмысляет всякую деятельность в её подвижной структуре, а Ум и Душа в этом смысле вполне неподвижны. Он есть то, что на основании трёх основных ипостасей осмысляет космическую жизнь. Сам он хотя и происходит от трёх основных ипостасей, но не есть они сами, а только их проявление, их эманация, их осмысляющая деятельность» [14, с. 702–703].

Примечателен акцент, содержащий указание на степень вовлечённости в трагическую судьбу само-разделённого Логоса ипостасей Ума и Души, который делает Плотин (III.2.16): «... Логос ... давая себя полноте вещей, он даёт себя всему полностью. Противопологая части друг другу, производя недостаток, он поддерживает сущее в состоянии [непрерывных] войн и битв; он производит становление, будучи благодаря этому Единым Всем, не будучи, пожалуй,

[только] Единым. Возникнув, таким образом, враждующим с собой на уровне своих частей, он остаётся [в себе] единым и себе дружественным, подобно сюжету драмы, остающемуся единым, несмотря на множество содержащихся в нём сражений. Сюжет драмы вводит борющиеся стороны в единое гармоническое созвучие, благодаря созданию всеобъемлющего повествования о сражающихся людях» [13, с. 153–154].

Таким образом, Логосом у Плотина выступает онтологически отделённая от ипостасей триады структура, которая не вбирает в себя трагедию разделения и войны мироздания, а организует как эту трагедию, так и её преодоление, преобразование в собственной гармонии. При этом, существенным является недвусмысленное указание Плотина на способ, каким обеспечивается единство и гармоничность Логоса в условиях само-разделённости – участие в нём «неистощимых» ипостасей Ума, остающегося сущим и неизменным для истекающего из него Логоса, и Души, оживотворяющей Логос и превращающей его не только в мыслящий, но и действительно существующий [13, с. 152–153].

Каков, однако, исток предлагаемой нам трагедии? Единственным возможным ответом на данный вопрос исходя из сказанного выше, представляется ответ: плотинский Логос напрямую связан с материей, ставится в непосредственное и, видимо, по своей сути трагическое отношение к ней или же непосредственно сам и есть то отношение, в которое множественное сущее вступает с материей. Действительно, различая беспредельное как таковое (материю) и бытие беспредельным (бытие материей), Плотин указывает, что беспредельной в себе материя может быть только в своей противоположности Логосу, который также, как мы сказали выше, не есть материя, но включает в своё целостное существование раздор и вражду – присутствия зла в сущем, истоком которого и является не-сущее – материя.

Как показывает Ю.А. Шичалин, Логос выступает принципом *умаления* иерархической организации как внутреннего бытия триады, так и бытия чувственного мира: «С понятием логоса – произнесённого слова у Плотина вообще связано представление об относительном ущербе за счёт распространения и развёртывания в Логосе того, что ступенью выше пребывает в неразвёрнутом единстве. Сам ум – развёртывание и в то же время известное ограничение и ослабление единого; душа – ограничение ума; чувственный мир – ущербное воспроизведение ума посредством души в материи; далее следуют логосы человека, животных и растений. Сказать точнее – логос для Плотина – ограниченное, частичное выражение некоего образца (выражаемого). Ограничения производятся всякий раз соответствующей материей. Единое, ограниченное материей-умом, производит прообраз всякого слова – умопостигаемый космос; отразившийся в материи-душе, этот космос выступает, во-первых, в виде системы «семенных» логосов, которые, прорастая, дают, во-вторых, чувственный прекрасный космос и иерархию логосов в нём, опять-таки всякий раз сообразно с соответствующей материей» [15, с. 162].

Согласно же Г.-Ф. Мюллеру, Логос выступает как «творящий и связующий» принцип всецелого «внутреннего единства», подразумевая «в числе прочего некую *жизненную, творческую, формирующую способность*» (цит. по: [14, с. 391–394]). Итак, мы можем интерпретировать плотинский Логос как принцип или непостасное начало упорядочивания и внесения предела, благодаря которому материя изначально как бы *облегчена или упорядочена для сущего* благодаря действию привходящего неё, но не растворяющегося в ней и не меняющего её по существу Логоса [8, с. 210–211]. Здесь мы подходим к плотинскому положению о том, что материя существует лишь в отношении, т. е. каким-то образом изначально введена в него или, иначе, *выхвачена для сущего, схвачена* в качестве его (сущего) возможности осуществиться. Таким схватывающим принципом и выступает у Плотина *Логос*.

Обратимся теперь к тому, как понимает Логос М. Хайдеггер. Фундаментальная онтология в отличие от метафизики и позитивных наук, имеет трёхчастную композицию: бытие – логос – сущее, в которой логос, выступая в качестве дистанции и обозначая сосредотачивающее собирание сущего, эксплицирует принцип лада – меры изначальной гармонии в различении бытия и сущего: «Бытие показывает себя как раскрывающее превосходение. Сущее как таковое является в модусе хранящего себя в нескрытости выхода в мир: Бытие в смысле раскрывающего превосходения и сущее как таковое в смысле хранящего выхода в мир, будучи так различены, бытийствуют из того же, из различающего раздела. Он впервые дарует и разверзает Между, в котором превосходение и выход удержаны друг с другом вместе, отдельно и согласно слажены

друг с другом. Различие бытия и сущего как раздел превосхождения и выхода есть их раскрывающе-сохраняющий лад. В ладе правит просвет замыкающего и скрывающегося, и это правление дарует раздельность и согласие превосхождения и выхода» [8, с. 50–51].

Исходя из понимания Логоса как всецелого собирания (*λέγειν*) сущего в присутствии *уже* собранного в себе бытия (подчеркиваем: не *по образу* бытия, а *в его присутствии* – Д.М.), Логос эксплицирует нужду: бытия, отделённого от сущего как не поглощённости им (а, значит, и господствующим ничто); сущего, нуждающегося в самостоянии в истине бытия или существе истины (свободе); человека, историческое бытие которого есть Логос как «собирание и разумение бытия сущего» [1, с. 245]. При этом, нужда самого бытия, на первый взгляд представляющего попадающим в зависимость умаления от того, что им не является, на самом деле говорит об обратном – достоинстве дарящего (не это ли имел в виду Плотин, говоря о благом действии ни в чём не нуждающегося и не изменяющегося Единого?): «...Бытие нуждается в *λέγειν*. Но не становится ли оно через это зависимым от человека, коль скоро *λέγειν* есть «человеческое» в человеке? Тогда надо спросить: что здесь означает «зависимость»? Умалает ли эта зависимость достоинство бытия? Что если бытие нуждается в *λέγειν* потому, что оно, бытие, как раз независимое? Что если эта независимость бытия состоит в том, что бытие, исконно есть всё ... собирающее и, стало быть, средоточивающее – Логос? ...Поскольку бытие есть Логос, оно нуждается в *λέγειν*. Бытие нуждается в нём ради сохранения своей независимости. Здесь мы мыслим в той области истины бытия, где все отношения совсем не такие, как в сферах сущего» [16, с. 458–459]. Таким образом, будучи основанием трёхчастной структуры, Логос предстаёт у М. Хайдеггера в виде экстатической связи бытия и человека (хранителя сущего).

Не выглядит ли обосновываемая нами связь двух онтологий натяжкой, подгонкой смыслов, тем более, что речь идёт о философах, интерпретация которых признаётся крайне затруднительной? Пожалуй, наибольшую сложность представляет проблема человека. В христианской традиции, столь мощно вошедшей в философскую мысль, человек в естественном состоянии выступает скорее средоточием страданий и смерти сущего. Сказать о человеке как о шансе сущего на причастность к божественному миру, которому предназначен сам человек, было бы подлинной революцией: сотериология получила бы новое – онтологическое измерение. В современных исследованиях не прояснённым остаётся вопрос об онтологической связи бытия и мышления человека с бытием сущего и его судьбой. Отвечать на данный вопрос формально, наподобие того, что человек является венцом творения, – бессмысленно, поскольку такой ответ никоим образом не объясняет долг милосердия в отношении сущего. Между тем, именно Плотин, по мнению Дж. Риста, полагает нужду или недостаточность материального мира не в отсутствии блага в процессе его возникновения или рождения, но «в позиции индивидуальной души» [12, с. 147]. Попробуем сопоставить, насколько схожим является понимание Платином и М. Хайдеггером существа носителя средоточия – мышления индивидуальной души или, высказываясь более современно, – субъекта.

Субъектом у Платина (*ὁλοκείμενον*) как раз и выступает материя, исходя из которой индивидуальная душа открывает путь созерцания Единого или Блага благодаря привносимых в материю Логосом предела, качества, меры. Захватывающее индивидуальную душу стремление к Единому или Благу образует специфику всецелой включённости в познание на фоне своего рода истока, который, как мы показали, сопутствует восхождению индивидуальной души. Это – принцип его триады: ипостасное бытие, чтобы со-причастовать благу, т. е. быть благом (а иное ипостасное бытие Плотин вообще не рассматривает в качестве истинного), нуждается в вышестоящем начале – благом начале самом по себе (Единое) или превосходящим мерой блага собственное ипостасное или индивидуальное существо. Говоря проще, мышлению, чтобы быть собой и свободным, необходимо вышестоящее объективное начало – двоякий телос или истинная жизнь, которая, пребывая с одной стороны как бы вне субъективного содержания, с другой стороны есть глубина и подлинность самого субъекта [12, с. 55]. Платиновское созерцание высшего начала низшим, в котором первое присутствует всецело, на наш взгляд вполне коррелируемо с «экзистенцией» М. Хайдеггера. Плотин (V.3.15) говорит, что Единое, содержа в себе все вещи, содержит не их совокупность, а их *бытие*, обуславливая и сохраняя единство каждой из них в Уме как истинно сущих и распространяя в Душе как сущих в многообразии [17, с. 89]. Созерцание единства в себе и Единого или Блага требует, как показывает Плотин (V.1.5) «собственной совершенной глубины» [18, с. 59].

Об этом типе мышления и говорит М. Хайдеггер, выстраивая концепцию *экзистенции*, которую мы с полным правом можем назвать ценностной в смысле открытости к существованию *для* другого. Ответственность человека за бытие, бытие сущего и себя самого осуществляется в экзистенции, означающей «выступление в истину Бытия» и именующей «определяющее место человека в истории истины. ... Фраза “человек эк-зистировать” отвечает не на вопрос, существует ли человек в действительности, она отвечает на вопрос о “существовании” человека. ... В качестве эк-зистировующего человек несёт на себе бытие-вот (Dasein), поскольку делает «вот» как просвет Бытия своей “заботой”. А бытие-вот существует как “брошенное”. Оно коренится в броске Бытия как посылающее-исторического» [11, с. 199–200]. Напомним, что «просвет бытия» или «существование истины» понимается М. Хайдеггером как *свобода*: «Экзистенция, уходящая своими корнями в истину, как в свободу, представляет собой вход в обнаружение сущего как такового» [19, с. 18].

Говоря об ипостасях триады как о действии, «приходящем от величайшей силы» [12, с. 86], мы вправе поставить следующие вопросы: какое именно действие содержится в интимных глубинах истинно сущего у Плотина? сходно ли оно с действием экстатического существования у М. Хайдеггера?

Считаем справедливым и обоснованным вывод И.В. Берестова о платоновской свободе как «свободе полагания своего подлежащего» [20, с. 221], совершаемого *для* ипостасей и сущего, а не ради себя, поскольку, как замечает также В.В. Болотов, Единое, не нуждаясь ни в чём, «не имеет нужды даже в самом себе» [21, с. 23]. Что в данном случае может означать действие *для* другого? И.В. Берестов интерпретирует такое действие как распространение Блага, в соответствии с которым «Первоначало есть Благо как благое действие лишь по отношению к иному», сущностью которого (действия) оказывается противостояние «распространению зла» или «ограничению свободы», т. е. как «распространение свободы» [22, с. 311–312]. Действительно, *свобода от не-сущего*, рассматривается Платином (VI.5.1) в качестве присутствия Блага во всех вещах: «...как это, спрашивается, благо могло бы находиться где-то вне сущего, т. е. падать в область не-сущего? Так как благо не есть же что-либо не-сущее, то ясно, что оно может находиться лишь в области сущего. А если это так, если благо само есть сущее и находится всегда в сущем, то это значит, что пребывая в самом себе, оно в то же время присутствует и каждому из нас» [23, с. 172–173].

Таким образом, природа индивидуальной души, как и природа сущего в целом, подразумевает у Плотина *нужду* в освобождающем действии Единого или Блага, которое также нуждается в ином, чтобы быть Благом. Благо дарует свободу от не-сущего, обретаемую в созерцательном возвратном движении к Первоначалу. Фактически, это и есть свобода, где материя, не уничтожаясь и субстанциально не поглощаясь, схвачена в просветляющем действии.

Существенным же моментом у М. Хайдеггера является то, что средоточием нужды и преодоления ничто в масштабе целого выступает именно человеческая экзистенция, откликающаяся на Зов Бытия. Возможно ли сущностное сходство двух позиций? Мы могли бы вспомнить слова Плотина на смертном одре, записанные его учеником Порфирием: «Стремлюсь возвести божественное во мне к божественному во всём» (цит. по [24, с. 124]). Однако этого недостаточно для реконструкции. Возможно, больше ясности внесло бы обращение к учению об индивидуальной душе, представляющее таинственное единство и мировой души и ипостаси Души. Однако, подлинным и единственным способом выявления общего центра является вопрос о Логосе, в котором и осуществляется средоточие как у Плотина, так и у М. Хайдеггера.

Постановка на первое место вопроса о Логосе означает, что онтология на двух своеобразных завершениях истории мышления связывается с аксиологией. Не следует забывать, что истоком бед этого мира Плотин считал забвение душами Бога. Греческая изначальность даёт единство опыта и мышления, этики и эпистемологии, для которого истина – это то, что есть и нераздельно полагается в Едином или Благе как добро.

Располагая в основании сущего логос, М. Хайдеггер показывает не просто возможность сопоставления онтологии и теологии, но изначальное «единство того, о чём спрашивается и мыслится в онтологии и теологии: о сущем *как таковом* в общем и первом единстве с сущим как таковым в высочайшем и последнем. Единство этого единства – такого рода, что последнее по-своему обосновывает первое, а первое – по-своему последнее» [25, с. 47]. Следует

иметь в виду как декларируемое негативное отношение М. Хайдеггера к возможностям «христианской философии», так и явное сходство его метафизики с исконным аскетическим опытом Предания. Предание, в отличие от поздней модификации живого опыта богопознания (теологии и религиозной философии) высказывается о Божественном изнутри опыта, в котором Оно реально присутствует. Мышление, в котором формируется религиозный догмат, не обладает предпосылочным знанием теологии и философии и знанием об искуплении не подменяет само искупление. Поэтому слова М. Хайдеггера исполнены глубокого смысла: теология и религиозная философия, будучи внешним знанием, кладут предел искупительному единству Бога и человека. Фактически, философия М. Хайдеггера производит разрушение наиболее сложной квазирелигиозной структуры: господства человека, осознавшего себя искупленным и противопоставившим могущество своего искупления нужде бытия Бога и бытия сущего в нём. Концептуализируя структуру Логоса как средоточия бытия, сущего и человека, М. Хайдеггер тем самым воссоздаёт исконную ситуацию онтологической нужды друг в друге.

Действительно, при формировании христологических догматов, понимание Логоса связывалось в основном с искупительным действием Сына. Согласно М.Э. Поснову, в богословском определении о единосущности (Никейский Вселенский собор) решается ключевая проблема соизмеримости Логоса как принципа творения и искупления человеку и мирозданию [26, с. 335], устанавливается основная черта онтологии: вечный Логос и Логос творения – это *один и тот же* Логос, одна и та же онтологическая структура единства и множественности. Тем не менее, разрыв с античной мыслью, обозначивший, как отмечает Ю.А. Шичалин, линию взаимной «доктринальной несовместимости» [27, с. 315] в значительной мере связан с нерелевантным использованием неоплатонического термина «ипостась», который, как отмечает В.М. Лурье, «оказался той самой точкой, через которую сквозь оболочку греческой философии стало зиять далеко не «греческое» содержание – содержание христианского Откровения. Само это слово было заимствовано христианским богословием из языка греческой философии, но никогда не определялось так, как это могло быть сделано у философов» [28, с. 66].

Разбирая значение «логоса» у Гераклита, М. Хайдеггер показывает, что разделение с христианской философией идёт по линии понимания логоса как бытия (смысла, закона) сущего, с одной стороны, и *особенного* сущего (Сына Божия, Логоса Крестного искупления), с другой [1, с. 212]. Данное положение ведёт нас к крайне значимому вопросу об истинности соотношения вертикальной триады Плотина «Единое–Ум–Душа» с ипостасями Св. Троицы «Бог–Отец–Бог–Сын–Бог–Св. Дух», как это происходит, начиная с Евсевия Кесарийского [29, с. 124–125], и достигает формы окончательного вердикта у Великих Каппадокийцев [30, с. 517–525].

Наше предположение сводится к следующему: в философии Плотина представлена глубоко проработанная *онтология* Начала, которое *сотериологически* воспринималось, метафизически осваивалось и христологически утверждалось в период патристики как Вторая ипостась (Лицо) Св. Троицы – Логос. То есть, вертикальная триада Плотина «Единое–Ум–Душа», будучи единством трёх ипостасей (Начал) позднеантичной традиции, описывает то (конечно, ни о каком «тождестве» в сотериологии речь не идёт и не может идти), что принципиально не описывалось в традиции патристики – собственное *кенотическое* (добровольно умалюющееся) бытие Второго Лица Св. Троицы как бытия сущего. Как мы отмечали выше, при взгляде на платоновскую ипостась с позиции действия силы, вертикальную триаду следует рассматривать не «как учение о Божестве, а, скорее, объяснение того, как происходит космос ... Оно имеет космологический смысл и более описывает как от совершенного Первоначала появился ущербный космос» [31, с. 41].

В этом случае предмет философского мышления оказывается *тем же самым*, что и изначальный предмет христологических полемик. Разделение же предмета созерцания и стремления философии и религии приводит к катастрофическим последствиям как на ценностном (противопоставление «двух миров»: философии и богословия, разума и веры, онтологии и сотериологии, жизни и мышления или же, наоборот, подчинение мышления телесному началу), так и на онтологическом (смещение философских и научных категорий в различного рода «синтезах», концептуальные игры и искусственное упрощение предмета мышления) уровнях познания. Клеймо «языческая философия», поставленное на античной мысли и

вызавшее столь острое неприятие у М. Хайдеггера, фактически разрушает католический ценностный аспект философии: философствовать из греческого начала подразумевает собой отказ от христианских смыслов спасения.

Возможно, на сегодняшний день проблема единства предмета стоит как никогда остро: избыток квазирелигиозных содержаний, с одной стороны, и изощрённый аналитизм и коммерциализация в институциональном философском мышлении, с другой, задаёт разрыв между мышлением и ценностями. В этом отношении важно не только и не столько историко-философское обращение к патристике или античности как к *различным* истокам европейской цивилизации, сколько, если говорить словами М. Хайдеггера, вопрошание их изначальнейшего истока. С учётом царящего в сфере ценностей концептуального и фактического произвола, требования, выдвигаемые изначальным философским вопросом, трудны и, пожалуй, институционально не объективируемы. Тем не менее, мы видим, что постановка вопроса о Логосе как драматическом средоточии созерцательного / экстатичного бытия сущего предоставляет горизонт для целого ряда бытийно-ценностных синтезов как в историко-философских и более специальных исследованиях, так и в формах творческого осуществления личностного милосердия.

Литература

1. Хайдеггер, М. Введение в метафизику / М. Хайдеггер. – СПб. : Издательство Высшей религиозно-философской школы, 1997. – С. 301.
2. Конш, М. Какая философия нужна для завтрашнего дня? / М. Конш // Историко-философский ежегодник ; отв. ред. Н.В. Мотрошилова. – М. : Наука, 2005. – С. 231–245.
3. Платон. Тимей / Платон. Сочинения : в 3 т. ; общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса. – М. : Мысль, 1971. – Т. 3 (1) – С. 455–542.
4. Шичалин, Ю.А. «Третий вид» у Платона и материя-зеркало у Плотина / Ю.А. Шичалин // Вестник древней истории. – № 1 (143). – М. : Наука, 1978. – С. 148–161.
5. Плотин. О природе и источнике зла (I. 8) / Плотин. Эннеады I. 8 [51] // Историко-философский ежегодник ; отв. ред. Н.В. Мотрошилова. – М. : Наука, 1989. – С. 161–178.
6. Владиславлев, М.И. Главы из книги «Философия Плотина». Глава 3. Пути к диалектике. Части философии / М.И. Владиславлев // Плотин. Сочинения (Плотин в русских переводах). – СПб. : Алетейя, 1995. – С. 26–49.
7. Armstrong, A.H. The Architecture of the Intelligible Universe of the Philosophy of Plotinus. An Analytical and Historical Study / A.H. Armstrong. – Cambridge, 1940.
8. Плотин. О материи (II. 4) / Плотин. Вторая Эннеада. – СПб. : Издательство Олега Абышко, 2004. – С. 183–214.
9. Хайдеггер, М. Семинар в Ле-Торе, 1969 год / М. Хайдеггер // Вопросы философии. – 1993. – № 10. – С. 123–151.
10. Хайдеггер, М. Что такое метафизика? / М. Хайдеггер // Время и бытие. – СПб. : Наука, 2007. – С. 23–38.
11. Хайдеггер, М. Письмо о гуманизме / М. Хайдеггер // Время и бытие. – М. : Республика, 1993. – С. 192–220.
12. Рист, Дж. Плотин: путь к реальности / Дж. Рист. – СПб. : Издательство Олега Абышко, 2005. – С. 320.
13. Плотин. О промысле. Трактат первый (III. 2) / Плотин. Третья Эннеада. – СПб. : Издательство Олега Абышко, 2004. – С. 121–166.
14. Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм / А.Ф. Лосев. – М. : Искусство, 1980. – С. 766.
15. Шичалин, Ю.А. Язык у Плотина (постановка вопроса) / Ю.А. Шичалин // Языковая практика и теория языка. – Вып. 2. – М. : Издательство МГУ, 1978. – С. 157–175.
16. Хайдеггер, М. Гераклит / М. Хайдеггер. – СПб. : Владимир Даль, 2011. – С. 503.
17. Плотин. Сочинения (Плотин в русских переводах) / Плотин. (). – СПб. : Алетейя, 1995. V. 3 : О субстанциях интеллектуальных и о верховном начале. – С. 69–92.
18. Плотин. Сочинения (Плотин в русских переводах) / Плотин. – СПб. : Алетейя, 1995. – V. 1 : О трёх первых началах, или субстанциях. – С. 52–67.
19. Хайдеггер, М. О сущности истины / М. Хайдеггер // Разговор на просёлочной дороге. – М. : Высшая школа, 1991. – С. 8–27.
20. Берестов, И.В. Свобода в философии Плотина / И.В. Берестов. – СПб. : Издательство СПбГУ, 2007. – С. 382.

21. Болотов, В.В. Собрание церковно-исторических трудов / В.В. Болотов. – М. : Мартис, 1999. – Т. 1 : Учение Оригена о Св. Троице. – С. 583.
22. Берестов, И.В. Необходима ли эманация? / И.В. Берестов // Дж. Рист. Плотин: путь к реальности. – СПб. : Издательство Олега Абышко, 2005. – С. 289–318.
23. Плотин. Сочинения (Плотин в русских переводах) / Плотин. – СПб. : Алетея, 1995. – VI. 5 : О том, что единое тождественное сущее везде во всем присутствует во всей своей целостности (исследование второе). – С. 172–185.
24. Адо, П. Плотин или простота взгляда / П. Адо. – М. : Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1991. – С. 141.
25. Хайдеггер, М. Закон тождества / М. Хайдеггер // Разговор на просёлочной дороге. – М. : Высшая школа, 1991. – С. 69–79.
26. Поснов, М.Э. История христианской церкви (до разделения церквей – 1054 г.) / М.Э. Поснов. – Брюссель, 1964. – С. 614.
27. Шичалин, Ю.А. История античного платонизма в институциональном аспекте / Ю.А. Шичалин. – М. : Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2000. – С. 439.
28. Лурье, В.М. История византийской философии. Формативный период / В.М. Лурье. – СПб. : Аxioma, 2006. – С. 553.
29. Шичалин, Ю.А. По поводу названия трактата Плотина «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΩΝ» (Enn. V. 1) / Ю.А. Шичалин // Вестник древней истории. – № 4 (179). – М.: Наука, 1986. – С. 118–125.
30. Спасский, А. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов (в связи с учениями того времени). Тринитарный вопрос / А. Спасский. – Сергиев Посад, 1914. – С. 648.
31. Ситников, А.А. Философия Плотина и традиция христианской патристики / А.В. Ситников. – СПб. : Алетея, 2001. – С. 242.

«Клиповая культура» в современном потреблении информации

К.А. Полищук

Дается философско-культурологическое осмысление термину «баннерная слепота». Дополняется и уточняется термин «клиповое мышление». Демонстрируется переход «клиповости мышления» из СМИ через Интернет в литературу, кинематограф и культуру в целом об организации культуры потребления информации, а также предупреждении деструктивного влияния феноменов «клипового мышления» и «баннерной слепоты» на внимание и мышление современного человека.

Ключевые слова: мышление, blip culture, информация, баннерная слепота, контент, облачные сервисы, внимание, web Tap, обучение.

The philosophical-cultural understanding of the term «banner blindness» is presented. The term «blip thinking» is supplemented and clarified. The transition of «blip thinking» from the media over the Internet in literature, film and culture in general is demonstrated. The problem of organization of the culture of information consumption as well as prevention of destructive influence of the phenomena of «blip thinking» and «banner blindness» on the attention and thinking of a modern man is considered.

Keywords: thinking, blip culture, information, banner blindness, content, cloud services, attention, web Tap, training.

Обобщив многочисленные определения, можно кратко описать мышление как способность мозга человека отражать окружающую действительность, предметы и явления и конструировать определенные выводы и смыслы. Аристотель считал, что мышление является одной из частей и свойств души. Опираясь на это, мыслитель в своих исследованиях создает целую систему форм и законов мышления – логику.

В дальнейшем, в эпоху Нового времени (Modern), исследователи (Д. Локк, Ф. Бэкон, Д. Юм, Р. Декарт, Б. Спиноза), переосмысливая и дополняя античные достижения, выделяют определенные проявления (воображение, ощущение, созерцание, рефлексия), уровни (рассудок, разум) и действия мышления (сомнение, вера, понимание). Определяющим для эпохи было то, что исследователи считали мышление лишь инструментом на пути получения знания. Далее немецкие классики, в общности своей (И. Кант, Г. Фихте, Г. Гегель, Ф.В. Шelling,) говорят, что мышление не просто путь к знанию, а его причина, что знания могут являться продуктом акта самодетельности субъекта.

Зацикленное на себе мышление не сможет дать объективного знания о реальности, не сможет бесконечно анализировать и синтезировать, и, таким образом, для собственной «жизнедеятельности» нуждается в подпитке данными из окружающего мира – любой информации.

Время, скорость и расстояние – три фундаментальные категории для информационного потока. В современном мире информация умножается крайне быстрыми темпами. Между тем гонка завоевания человеческого внимания в информационном поле наносит колоссальный вред качеству преподносимой информации. Поэтому речь пойдет о трансформации и побочных эффектах мышления современного человека в условиях информационной среды, в частности о феноменах «клипового (blip) мышления» и «баннерной слепоты».

Феномены «клипового мышления» и «баннерной слепоты» представлен статьями Т. Скрыбиной, О. Гриценя, Т. Удовицькой. Работа Т. Скрыбиной «Клиповое мышление и способность к обучению: взаимосвязь или взаимоисключаемость» очерчивает негативное влияние «клиповости» в образовании современных студентов и учеников. Т. Удовицькая «Кліпове мислення» молоді: особливості прояву в процесі навчання (до постановки проблеми) (2013 г.) ставит проблему «клиповости» шире, говорит о необходимости развития категориального аппарата проблемы для качественно нового современного дискурса. Важно отметить, что исследователь Т. Удовицькая говорит о позитивной стороне «клипового мышления» и о возможностях качественно использовать его в дальнейшем развитии современного образования. О. Гриценя «Феномен «кліповості» у парадигмі сучасної інформаційної культури» (2011 г.) обобщает проблему клипового мышления.

К обозначенной проблеме обращена статья Г. Бахтиной «Математика как «прививка» против «клиповости» информации и «коллажа» современного мышления».

В российской сети доступна статья К. Фрумкина «Клиповое мышление и судьба линейного текста» (2010 г.) Также достоин внимания доклад белорусского исследователя Н.В. Азаренка «Клиповое сознание и его влияние на психологию человека в современном мире» (2009 г.). Ф.И. Гиренок в работе «Метафизика пата (косноязычие усталого человека)» (1995 г.) первым применил этот термин в постсоветской литературе.

Явлению «баннерной слепоты» философского или культурологического осмысления не дано. Доступны только короткие мотивационные советы владельцам рекламы по предотвращению такого феномена. И, конечно, русскоязычные рецепции классических текстов философов и культурологов Э. Тоффлера, М. Маклюэна, М. Кастельса, Ж. Бодрийяра, Г. Маркузе.

Цель данной статьи состоит в философско-культурологическом переосмыслении термина «баннерная слепота», уточнении термина «клиповое мышление», обобщении этих феноменов в общий массив «blip culture», анализе их деструктивного влияния и прогнозах их конструктивного использования.

Важным для исследования современного человека является влияние потока информации на его жизнедеятельность, в частности феномены, рождающиеся при таком влиянии. Одним из интересующих нас является «клиповое мышление». Стоит остановить внимание на самом понятии «клиповое мышление». Везде украинское научное сообщество отталкивается от английского «clip», что в переводе означает фрагмент текста, отрывок из фильма или вырезка из газеты. Между тем Э. Тоффлер использует связку «blip culture» [1],[2], для обозначения того феномена, что отечественная научная мысль назвала «клиповой культурой» от которого является производным «клиповое мышление». Слово «blip» буквально означает «вспышка на мониторе радара». Мы полагаем, что такое понимание термина в украинском пространстве более целесообразно, так как демонстрирует не просто осмысления фрагментов и отрывков как таковых, а их непрерывный импульс – то вспыхивает, то затухает. Так что «клиповое мышление», а лучше «мышление в blip culture» – это комплекс фрагментов любого вида информационных фактов, не связанных или мало связанных между собой.

Именно СМИ, а не Интернет впервые начали активно использовать стратегии «blip culture» в собственных интересах, распространяя информацию актуальными, острыми, яркими фрагментами. Видимо, живя сегодня, Э. Тоффлер вспомнил бы о Twitter, где для размещения информации в одной записи отведено 140 символов. Даже в современной литературе прослеживается тенденция романов, состоящих из глав, небольших по объему и составляющих законченную историю, которая затем вписывается в общий нарратив произведения, например «Игра в классики» Х. Кортасара, и в основном серия фэнтези-романов Дж. Мартина «Песнь льда и пламени». Все это демонстрирует нам развитие «blip culture» от СМИ, через Интернет и литературу в сознание современного повседневного пользователя.

Почему люди так много времени тратят в блогах, социальных сетях и в Интернете в целом? Потому что просмотреть 10 изображений с определенной частью текста интереснее, чем прочитать 10 примечаний. Все визуальные площадки типа Pinterest, Tumblr, Instagram задают такой тон. Такие Интернет – ресурсы представляют собой классическую анкету пользователя с лентой новостей от других анкет, на которые подписан автор исходной страницы. Непрерывный поток некачественной или качественной информации может повредить способности разума мыслить, синтезировать и анализировать, например, сознание считает новости в СМИ связанными, потому что они имеют временную близость, а не фактологическую. Человек склонен все систематизировать для упрощения понимания полученной информации, но при такой бомбардировке фрагментами и обобщениями мозг теряет способность к фундаментальному осмыслению.

Весьма точное обобщение отрицательной стороны «клиповой культуры» дает Г.П. Бахтина: «Опираясь на взгляды исследователей, можно говорить, что клиповое мышление приводит к: массовому синдрому расстройства внимания; потере желания познания нового; уничтожению потребности и способности к творчеству, чему способствует постоянное использование вторичной информации на уровне ее переработки и комбинирования; неструктурированности в желаниях и поступках; несоответствия образа мыслей образу жизни; непоследовательности в принятии решений, даже чисто жизненных и ослаблению ответственности за

их последствия; оперированию только содержанием фиксированной длины, неумению работать с семиотическими структурами произвольной сложности и сосредоточиться на любой информации на долгое время; снижению способности к анализу и синтезу; «Виртуальной наркомании», зависимости от поиска информации, коммуникации в сети и других видах деятельности человека в информационном пространстве всемирной паутины; антиинтеллектуализму и плагиату; массовой неграмотности молодежи и феномена надменной увлеченности своим невежеством; абсолютной уверенности в своей правоте, благодаря тому, что люди, которые олицетворяют антиинтеллектуализм, не осознают данной проблемы; диспропорции между формальным и реальным уровнем знаний; резкому снижению коэффициента усвоения знаний и фактической успеваемости; фальсификации оценки [3], [4].

«Его Величество Визуальный Веб» слишком хорошо знает склонность человеческого сознания к упрощению восприятия информации и живо использует подобное положение вещей. Вспомним о рекламе. Рекламные возможности за счет хештегов впечатляют. Хештег (англ. Hashtag от Hash – символ «решетка») – это слово или фраза, которым предшествует символ #. Пользователи соцсетей могут объединять группу сообщений по теме или типу с использованием хештегов – слов или фраз, которые начинаются с #. Переход по гиперссылке хэштэга например #Политика, открывает все сообщения и новости, обозначенные в этой ссылкой. Таким образом, есть возможность выбирать информацию по предпочтениям. Это живая интерактивная библиотека по интересам. Однако быстрый доступ к интересующему полю не значит доступ к качественному контенту, зачастую в таких «сборниках» скрыто много завуалированной рекламы и статей, не относящихся к заданной теме.

Отсюда можно сделать вывод: качественную информацию для получения истинного знания следует тщательно и долго подбирать. Потребители информационного поля это знают и приспосабливаются – человек, ищущий что-то, лишен веры в то, что определенный ответ, приведенный в одном источнике, будет исчерпывающим, так что «сыщик» будет стремиться проработать участки побольше, попробовать поискать во многих местах одновременно. Естественно, что такие действия влияют на общее внимание, расшатывая его, ведь невозможно тщательно исследовать большой пласт контента ради малозначительных вопросов, из поиска ответов на которые и состоит большая доля времени, проведенная человеком в сети. Непрерывный поиск, серфинг по страницам сайтов атрофирует внимательность и тщательность.

Мы можем наблюдать такой выборочный подход к поиску на феномене «баннерной слепоты». Баннерная слепота – это игнорирование рекламных баннеров. Феномен был открыт при исследовании usability (англ. «возможности использования» сайта) [5]. Сам термин был описан в 1998 г. Жаном Пенером Бенвеем, исследователем из университета Райса в Хьюстоне штата Техас. Описание касалось феномена игнорирования рекламных баннеров, а как следствие, зависимости заметности содержательного наполнения сайта от его расположения на странице. Если какой-то элемент сайта похож на яркую рекламу, посетитель ее не замечает. Социальные сети и визуальные площадки созданы с учетом этой психологической оптической иллюзии. Вся информация содержится у вас перед глазами достаточно узкой лентой «web Tare» (как в документе word), а пространство между краями экрана и началом контента пустое или заполненное менее нужными инструментами.

Если мы соединим два феномена, то увидим весьма плачевные последствия в получении качественной «пищи» для мышления. Такие последствия особенно деструктивны для личности, которая лишь начинает развиваться, то есть для ребенка. Технологическое развитие призвано упростить обучение и помочь человеку, но безграничный «кладезь информации» под рукой в любой момент делает человека уязвимым.

Современный американский исследователь IT и Интернета Николас Карр пишет: «Сеть – это находка. Исследования, для которого раньше требовались дни в книгохранилищах или залах периодики библиотек, сейчас осуществляется за минуты. Несколько Google-запросов, кликов на гиперссылку – и готов факт или содержательная цитата» [6]. Еще раз иллюстрируя факт мощного потока информации, таким образом, мы видим, что сеть становится формой нашего мышления. Но оторвавшись от электронного гаджета (англ. Gadget, приспособление) мы уносим свое мышление с собой, где бы мы ни были. В реальной жизни люди испытывают те же феномены, что и в сети.

Однако тут пригодится известный принцип Уильяма Оккама, согласно которому мир «умножает сущности без крайней необходимости», а человечество стремится отсечь лишнее, оставляя основное. Стоит сказать, что «blip culture» – это защитная реакция сознания на лишние раздражители. Отметим, что подобный метод может стать ключевым в будущем для обучения и вообще получения качественной информации. Таким образом «blip culture» мы можем понимать как новый вид угнетения собственного сознания и открытия ее для манипуляций извне, а с другой стороны, мы видим защитную реакцию организма к самосохранению в условиях, которых невозможно избежать.

Подытожить можно следующее – феномен клиповости в восприятии информации и феномен баннерной слепоты можно объединить под общим названием «клиповой культуры» (blip culture). Дав несколько иное объяснение термину Э. Тоффлера и дополнив его новыми аспектами, мы показываем концептуальный массив, который влияет на жизнедеятельность современного человека, зачастую деструктивно. Организовав культуру потребления информации, человек сможет использовать возникшие феномены конструктивно на благо человечества, например, трансформировать систему образования под специфику восприятия информации современного студента или ученика. Процесс такой организации потребления информации коснется всех сфер человеческого бытия и требует отдельного исследования. Таким образом, мы видим, как важна оценка качественного потребления и его философское переосмысление.

Литература

1. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М. : АСТ, 1999. – 664 с.
2. Тоффлер, Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. – М. : АСТ, 2002. – 557 с.
3. Бахтіна, Г.П. Математика як «щеплення» проти «кліповості» інформації та «колажу» сучасного мислення / Г.П. Бахтіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2010. – № 1 (188). – С. 144–155.
4. Гриценя, О. Феномен «кліповості» у парадигмі сучасної інформаційної культури / О. Гриценя [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу : <http://kulturolog.org.ua/i-conference/2013-704-hrythenya.html>. – Дата доступу : 18.05.2014.
5. Benway, J. «Banner Blindness: Web Searchers Often Miss 'Obvious' Links» / J.P. Benway, D.M. Lane [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу : http://www.ruf.rice.edu/~lane/papers/banner_blindness.pdf. – Дата доступу : 21.11.2014.
6. Карп, Н. Делает ли Google нас глупее? / Н. Карп ; пер. с англ. А. Лепешкина [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу : <http://media-ecology.blogspot.com/2011/03/google.html>. – Дата доступу : 18.05.2014.

Особенности современного дискурса идентичности

А.К. ФАНДЕЕВА

Длительная традиция истории философской мысли относительно проблемы идентичности обусловила существование множества теорий посвященных данному феномену. Рассматривается современный этап развития концепта «идентичность». В ходе исследования определены характерные особенности дискурса идентичности в эпоху Постмодерна. Помимо поиска источника идентичности, современный период характеризуется расчленением проблемы идентичности на ее составляющие. При этом доминируют два взаимосвязанных направления в современных исследованиях: изучение постмодернистской идентичности вообще и сетевой (обусловленной компьютерными технологиями) – в частности. Общим для двух направлений является повышенное внимание к роли телесности в идентификационных процессах.

Ключевые слова: идентичность, идентификация, самость, субъект, телесность, концепция Другого, виртуальное пространство, Постмодерн.

The long tradition of the history of philosophical thought about the problem of identity has led to the existence of many theories that are devoted to this phenomenon. The current stage of development of the concept of «identity» is considered. The particular qualities of the discourse of identity in the postmodern era were identified. Apart from the search of a source of identity, the modern period is characterized by the division of the problem of identity on its components. At the same time, two interrelated trends in modern research are dominated: the study of post-modern identity in general and the network (due to computer technology) – in particular. Special attention to a corporeality role in identification processes is common for the two directions.

Keywords: identity, identification, self, subject, corporeality, concept of the Other, virtual space, Postmodern.

Концепт «идентичность» является социальным, психологическим, наконец, философским понятием. К теме идентичности мыслители обращались еще со времен античности. Однако в последнее время исследователи отмечают всплеск особого интереса к данному вопросу. З. Бауман даже выделяет исследования идентичности в независимую отрасль знания: «...можно сказать, что «идентичность» становится призмой, через которую рассматриваются, оцениваются и изучаются многие важные черты современной жизни» [1, с. 113]. Так что же изменилось в понимании идентичности в XXI в.? Целью данной статьи является поиск характерных особенностей дискурса идентичности в современную эпоху.

Концепт идентичности многогранен и включает не только личность (в т. ч. тело), но и другого человека, локусы (пространство, с которым человек себя связывает) и артефакты (вещи, принадлежащие человеку) [9].

Исследование идентичности имеет длительную традицию в истории философской мысли. В эпоху античности появились предпосылки для обнаружения двух сторон идентичности – тождества самому себе и изменчивости в ходе развития личности (Гомер, Эпихарм, Платон, Аристотель, Цицерон). Средневековье характеризуется появлением идей, которые в будущем определяют пути формирования идентичности (И. С. Эриугена, М. Экхарт, Й. Таулер). Представители натурфилософии эпохи Возрождения поднимают вопрос различения единства и разнообразия (Н. Кузанский, Б. Спиноза, Дж. Бруно, Б. Телезио). Мыслители Нового времени вывели понятие идентичности в разряд самостоятельных и попытались дать его определение (Р. Декарт, Дж. Локк, Д. Юм, И. Кант, И. Г. Фихте, Г. В. Ф. Гегель, Ф. В. Й. Шеллинг, Л. А. Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Гуссерль, и др.). В данный период появляется концепция Другого. Современные философские теоретические и эмпирические исследования продолжили разработку феномена идентичности. Это прослеживается в трудах как западных мыслителей – Ю. Хабермаса, Б. Вальденфельдса, М. Кастельса, С. Жижека, Э. Гидденса, В. Хесле, С. Холла, Дж. Сулера, Д. Вайс, Ч. Тарта, Ш. Теркл, – так и ученых постсоветского пространства – В.А. Ядова, В.И. Палагуты, И.Ф. Кононова, М.В. Заковоротной и других.

Прежде чем говорить о современности, необходимо упомянуть базис, на который опирается сегодняшнее представление об идентичности. Основополагающие позиции в проблеме идентичности заложены Дж. Г. Мидом и З. Фрейдом. Дж. Мид задал направление, которое подразумевает ролевой подход к идентичности. А З. Фрейд сформировал подход, который определяет идентичность как результат действия подсознательных/бессознательных психических сил. Наиболее последовательно интенции этого подхода были развиты Э. Эриксоном [6]. Эриксон вывел концепт «идентичность» в ранг самостоятельного научного понятия. В своей работе «Идентичность: юность и кризис» он предложил две формулировки данного понятия, опираясь на У. Джемса и З. Фрейда. Согласно первому, идентичность – это субъективное «вдохновенное ощущение тождества и целостности» [15, с. 28]. Второе определение подразумевает «единство личной и культурной идентичностей, берущих начало в прошлом народа» [15, с. 29], т. е. автор различает личную и групповую идентичности. Как психолог он описывает процесс формирования идентичности, который «начинается где-то во время первой “настоящей” “встречи” матери и ребенка – двух людей, познающих друг друга через прикосновение, и не “кончается” до тех пор, пока в человеке не гаснет способность узнавать другого» [15, с. 32]. При этом Эриксон признает, что «традиционный психоанализ не в состоянии целиком постичь идентичность, потому что он не выработал терминологии, описывающей среду» [15, с. 33].

Рассмотрим современные точки зрения на идентичность в ключе названных теорий. К современным авторам мы будем относить тех, кто публикует свои работы по сей день.

В нашей работе мы рассматриваем период, который называется Поздним модерном, Вторым модерном, Постмодерном. Целесообразно вспомнить идеологов Постмодерна. Таковым является М. Фуко. Рассматривая общество Второго модерна, автор приходит к выводу, что это общество «дисциплинарной власти». По мнению Фуко, эта форма власти трансформирует индивидов в субъектов. Это происходит путем классификации индивидов, характеристики их через собственную индивидуальность, привязывание их к их идентичности, т. е. идентичность поработочает личность, превращая ее в субъект, подчиненный благодаря самосознанию или самопознанию. Концепция Другого у Фуко также представлена в свете власти. Обращаясь к проблеме безумия, философ определяет безумие как результат наличия Другого в человеке. Присутствие Другого в человеке, в его бессознательном и делает человека нетождественным самому себе. Безумие – это своего рода неподчинение власти, навязанной идентичностью [12]. Представление о друговости у Фуко перекликается с понятием бессознательного у Фрейда. Часть современного содержания понятия «идентичность» передавалась Фрейдом с помощью понятия «Я» [7]. Я есть измененная часть Оно. Я осуществляет контроль над проявлениями Оно. Контроль – это функция власти.

Некоторым образом линию Фрейда в понятии Другого продолжает Б. Вальденфельдс. Другое автор трактует как Чужое. Идентичность познается через идентификацию с Другим, поэтому она всегда остается, пронизана моментом «не-идентичности», т. е. в каждом Я есть часть Другого. Истоки «чужости» автор находит в языковых различиях, на границе повседневности и необычности, в размежевании пространства на отдельные топосы. Т. е. идентичность рождается на границе между своим и чужим. При этом автор отмечает, что идентичность, возникающая в зеркале чужого взгляда, всегда будет оставаться разбитой идентичностью.

В. Хесле продолжает линию Эриксона, обращаясь к вопросу о кризисе идентичности. Он выделяет формальную и реальную идентичность. Первая присуща всем объектам, вторая – «только эмпирическим объектам и имеет разные формы в зависимости от онтологического статуса конкретного объекта» [14, с. 112]. Философ также затрагивает тему телесности. Он отмечает, что тело является самым важным фактором идентификации, однако не абсолютным ее условием. То же самое он говорит и о памяти. Данный тезис перекликается с воззрениями на идентичность Д. Юма, Дж. Локка, А. Шюца. Однако источником человеческой идентичности В. Хесле считает кантовское первоначальное синтетическое единство апперцепции, т. е. рефлексии «Я». При этом Хесле выделяет Я и самость. Согласно автору, кризис идентичности заключается именно в проблеме их отождествления.

Среди российских ученых данную традицию наследует М.В. Заковоротная, которая исследовала этапы развития идентичности человека. Традиционно разделяя идентичность на индивидуальную и социальную, автор выделяет три аспекта индивидуальной идентичности: интерперсональный (осознание своей целостности), внутреннего потенциала, социальный (потребность в сравнении с другими). Особо отмечается важность телесности в становлении индивидуальной идентичности: «тело – протяжение само, активная часть деятельности всей системы Я» [4]. Заковоротная приходит к выводу, что корректировка всех признаков индивидуальной идентичности происходит на протяжении всей жизни.

Ю. Хабермас наследует традицию интеракционализма в поисках источника идентичности. Согласно немецкому философу, человек постепенно делает себя той личностью, которой он становится через взаимодействие с Другими. Автор понимает самость как индивидуальность. При такой постановке вопроса обязательным является перформативный ракурс рассмотрения данного концепта, а также избегание дескриптивного смысла «единичности». Философ обращается к концепции самости субъекта, «субъекта, который презентует и в конечном счете оправдывает себя *vis-à-vis* к другим сторонам в качестве несомненной и незаменимой личности» [13, с. 3]. Подобно Дж. Локку и З. Бауману Ю. Хабермас усматривает в качестве источника идентичности ответственность личности. Эта концепция подразумевает, что личность «ручается за свою способность-быть-самой-собой». Однако автор уточняет, что идентичность не является внутренней собственностью субъекта, а гарантия «быть-самим-собой» не является моделью обещания.

Д.А. Леонтьев рассматривает проблему самосознания в русле развития личности. Русский психолог особое внимание уделяет поиску подлинного Я, самости. Для него Я – это «форма переживания человеком своей личности, форма, в которой личность открывается сама себе» [8, с. 40]. Автор выделяет пять граней Я: первая грань – Я физическое, вторая – Я социально-ролевое; третья – Я психологическое, которое включает физическое и социально-ролевое Я; четвертая грань – Я экзистенциальное; пятая грань – самоотношение Я, которое включает самоуважение и самовосприятие. Осознание собственного Я, согласно Леонтьеву, осуществляется через мир. Для познания себя необходимым условием является наличие Другого. Леонтьев пришел к выводу, что больше всего в плане познания личности как самого себя, так и другого человека с ее содержательной стороны дает знание о внутреннем отношении человека к чему-либо.

Украинские исследователи также внесли свою лепту в разработку проблемы идентичности. В.И. Палагута утверждает, что концепт «идентичность» неразрывно связан с термином «идентификация». В своей работе «Самоидентификация социального субъекта в дискурсивных пространствах» он определяет идентификацию как практическую категорию субъективности. Согласно автору, в процессе идентификации субъект самостоятельно выбирает себе идентичность. Идентичность – аналитическое понятие, которое подвержено гипостазированию и реификации. В.И. Палагута настаивает на замене термина «идентичность» концептом «самоидентификация» [10].

Утверждение З. Баумана о том, что идентичность становится призмой, через которую рассматриваются многие черты современной жизни, подтвердил на практике И.Ф. Кононов. Развивая психоаналитическую теорию, украинский социолог рассматривает социальность через призму идентичности. Автор выделяет четыре ипостаси социальности – личность, социальная сфера, семиосфера и неорганическое тело. Согласно И.Ф. Кононову, именно идентичность сочетает между собой три из них – личность, социальную систему и семиосферу. Результатом этого сочетания является направленное движение энергии, которое создает неорганическое тело общества [7].

Итак, в современной науке сохраняется тенденция к поиску источника идентичности. Помимо этого развиваются новые направления исследований. Прежде всего, это исследование постмодернистской идентичности, синонимом которой является сетевая идентичность.

Крупнейшим теоретиком информационной эры является М. Кастельс. Согласно автору, организующим принципом в формировании информационных обществ является идентичность. Сегодня мир стремительно меняется. Люди склонны приспосабливаться к изменениям. В качестве механизма приспособления автор называет склонность группироваться вокруг

первичных источников идентичности. Кастельс говорит о формировании сетевой идентичности. Последняя формируется в обществе сетевых структур (network society). При этом автор отмечает парадоксальность роли «Я» в сетевых структурах, а именно – постепенное увеличение дистанции между сетью и «Я» [5]. Под сетевой структурой автор подразумевает комплекс взаимосвязанных узлов, которые представляют собой различные институты. Пространство Интернет является одним из узлов сетевой структуры. Значит, согласно Кастельсу, сетевая идентичность является идентичностью, лишь в некоторой степени обусловленной влиянием компьютерных технологий.

Э. Гидденс исследует идентичность человека эпохи Постмодерна. Подобно З. Бауману он отмечает изменчивость самости и ее потребность в постоянной рефлексии в современном обществе. Особое внимание автор уделяет гендерной идентичности. При этом Гидденс связывает идентичность с телесностью. Тело, согласно английскому социологу, «становится носителем самоидентичности» [3, с. 59]. Оно является интегрирующим началом идентичности, которое может трансформироваться под влиянием самости.

Согласно С. Холлу, в данный период произошли концептуальные сдвиги, которые привели к тому, что «субъект» Просвещения с устойчивой идентичностью подвергся децентрации, превратившись в постмодернистского субъекта с разомкнутыми, противоречивыми, незавершенными, фрагментированными идентичностями. Единственное, что дает человечеству чувство идентичности, по мнению Холла, – это взгляд на историю как на прямую непрерывную линию [17]. История – это память о прошлом, следовательно, воззрения Холла перекликаются с идеями Д. Юма, Дж. Локка, А. Шюца, В. Хесле.

Ч. Тарт придерживается теории множественных личностей. Ссылаясь на Гурджиева, Тарт пишет: «У человека нет постоянного и неизменного “Я”. Каждая мысль, каждое настроение, каждое ощущение говорит “Я”. И в каждом случае считается само собой разумеющимся, что это “Я” относится к Целому, ко всему человеку...» [11, с. 85]. Американский психолог утверждает, что идентичность включает множество субличностей. По мнению автора, это защитный механизм, который позволяет не отождествлять себя с неприемлемой субличностью и тем самым дистанцироваться от неприятных вещей.

В.А. Ядов исследовал вопрос социальной идентичности личности и групповой солидарности в русле концепции постмодернизма. По мнению автора, социологический срез проблемы связан с исследованием социально-культурных детерминант формирования групповых солидарностей. Опираясь на теорию фрейдизма, В. Ядов приходит к выводу, что социальная идентификация обусловлена глубинной потребностью в признании со стороны Других, в групповой защите, а также потребностью в саморегуляции, ожидании позитивной оценки со стороны «своих». Проведя исследование, Ядов обнаружил, что социальные идентичности более явно проявляются в пиковые моменты [16]. Данное исследование подтверждает концепцию «пикового переживания» Маслоу.

Как уже было сказано, сетевая идентичность включает в качестве узла идентичность, обусловленную влиянием компьютерных технологий. Некоторые авторы называют эту идентичность виртуальной, другие сетевой (в смысле компьютерных сетей).

Ряд работ С. Жижека посвящены проблеме становления идентичности в виртуальном пространстве. Автор доказывает несостоятельность концепции, согласно которой идентичность человека заключена в его генетическом коде. В качестве аргумента он использует тот факт, что любая болезнь, за исключением травмы, содержит генетический компонент. Травма является универсальным условием, «с которого начинается процесс «становления человеком» [21]. Травма – это результат вмешательства Другого. В то же время травма имеет отношение к телесности. Следовательно, и идентичность тоже. С. Жижек в качестве источника идентичности видит человеческую духовную трансцендентность, которая существует до тех пор, пока сохраняются гендерные различия.

Дж. Сулер описал феномен сетевой идентичности. Автор полагает, что пространство сети Интернет оказывает влияние на формирование идентичности посредством «эффекта растормаживания». Характерным признаком данной идентичности является размытость границ между «внутренним Я» и «Я-для других». Растормаживание не выявляет «истинное Я»,

а является сдвигом в сторону констелляции (группы эмоций и чувств) в пределах структуры Я, которая отличается от констелляции входящей личности. Согласно автору, концепция «истинного Я» носит условный характер, так как ни одна грань не является более подлинной, чем остальные: «...neither self-presentation is more true» [18, с. 325].

Д. Вайс также занимается феноменом виртуальной идентичности. Опираясь на идеи Мида и Выготского, швейцарский философ трактует идентичность как результат деятельности с Другими. Киберпространство позволяет смоделировать две (и более) идентичности. Их создает один и тот же человек с особой системой ценностей, нравственных ориентиров и набором социальных конвенций. Но личности получаются разные. Д. Вайс приходит к выводу, что мы – те, с кем мы ассоциируемся: «We are who we associate with» [20, с. 10]. Согласно автору, сконструированные образы, принятые роли накладывают отпечаток на первичную идентичность.

Ш. Теркл также занимается вопросом виртуальной идентичности. По мнению психолога, пользователи создают свои сетевые идентичности, которые отличаются от оригинала. Одной из особенностей виртуальной идентичности Теркл называет одновременность исполнения различных ролей. В реальной жизни человек играет множество ролей, однако в разное время, а виртуальная реальность предлагает возможность играть разные роли одновременно. «The windows metaphor suggests self that exists in many worlds and plays many roles at the same time» [19, с. 644]. Автор провела ряд исследований и пришла к выводу, что виртуальный образ оказывает влияние на реальную идентичность.

Обобщая проведенный анализ проблемы, можно сделать вывод, что децентрация, фрагментарность, размытость границ, которые являются характеристиками общества XXI в., коснулись и научных изысканий. Примером тому служит современный дискурс идентичности, который помимо поиска источника идентичности характеризуется расчленением проблемы на ее составляющие. Даже при изучении онтологических и гносеологических оснований данного феномена это разделение сохраняется. Таким образом, концепт идентичность исследуется не в целом, а в частных проявлениях (социальная и индивидуальная, гендерная, региональная, религиозная и др. виды идентичности). При этом доминируют два взаимосвязанных направления в современных исследованиях: изучение постмодернистской идентичности вообще и сетевой (обусловленной компьютерными технологиями) – в частности. Исследователи идентичности, обусловленной влиянием компьютерных технологий, сходятся во мнении, что виртуальный образ оказывает влияние на реальную личность. Идеологи теории Постмодерна доказывают справедливость утверждения о множественности личности. Также характерной чертой современного дискурса идентичности является повышенное внимание к роли телесности в идентификационных процессах. С чем это связано? Ответ на данный вопрос может стать предметом будущих исследований.

Литература

1. Бауман, З. Индивидуализированное общество / З. Бауман. – М. : Логос, 2005. – 390 с.
2. Вальденфельс, Б. Топография Чужого: студії до феноменології Чужого / Б. Вальденфельс. – Київ : ППС, 2002, 2004. – 206 с.
3. Гидденс, Э. Трансформация интимности / Э. Гидденс. – СПб. : Питер, 2004. – 208 с.
4. Заковоротная, М.В. Идентичность человека. Социально-философские аспекты / М.В. Заковоротная [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000729/index.shtml>. – дата доступа : 11.11.2014.
5. Кастельс, М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура / М.Кастельс ; пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М. : ГУ-ВШЭ. – 2000. – 606 с.
6. Кононов, И. Ф. Идентичности крымских татар в контексте крымского сообщества / И.Ф. Кононов, В.В. Певная // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – 2013. – Том 18. – Випуск 2 (18). – Частина 1. – С. 169–180.
7. Кононов, И.Ф. Концепція ідентифікації та ідентичності в психоаналізі: Зигмунд Фройд та Ерік Еріксон / І.Ф. Кононов // ВІСНИК Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (соціологічні науки). – 2013. – № 23 (282). – Частина II. – С. 5–27.
8. Леонтьев, Д.А. Очерк психологии личности / Д.А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1993. – 43 с.

9. Овчинникова, Ю.Г. Личностная идентичность: от философских истоков к психологической сущности / Овчинникова Ю.Г., Селюгина П. Б. // Психология. Журнал высшей школы экономики. – 2012. – Т. 9. – № 1. – С. 153–161.
10. Палагута, В.И. Самоидентификация социального субъекта в дискурсивных пространствах: монография / В.И. Палагута. – Днепропетровск : Инновация, 2010. – 440 с.
11. Тарт Ч. Пробуждение: преодоление препятствий к реализации возможностей человека / Ч.Тарт. – М. : Издательство Трансперсонального Института, 1997. – 213 с.
12. Фуко, М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью / М.Фуко ; пер. с франц. Б.М. Скуратова под общей ред. В.П. Большакова. – М. : Праксис, 2006. – Ч. 3. – 320 с.
13. Хабермас, Ю. Понятие индивидуальности / Ю. Хабермас [Электронный ресурс]. – 2014. – № 2. – Режим доступа: <http://hpsy.ru/authors/x531.htm>. – Дата доступа : 11.11.2014.
14. Хесле, В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности / В. Хесле // Вопросы философии. – 1994. – № 10. – С. 112–123.
15. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон ; пер. с англ., общ. ред. и предисл. А.В. Толстых. – М. : Прогресс, 1996. – 344 с.
16. Ядов, В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности личности / В.А. Ядов // Мир России. – 1995. – № 3–4. – С. 158–181.
17. Hall, S. Who needs «identity»? / Stuart Hall // Questions of Cultural Identity ; ed. by Stuart Hall and Paul du Gay. – Sage publication, 1996. – P. 1–17.
18. Suler, J. The Online Disinhibition Effect / J. Suler // CyberPsychology and Behavior. – Vol. 7 [Electronic resource]. – Mode of access : http://iacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/71994_Suler.pdf. – Date of access : 11.11.2014.
19. Turkle, Sh. Looking Toward Cyberspace: Beyond Grounded Sociology / Sh. Turkle // Contemporary Sociology. – 1999. – Vol. 28, No. 6. – P. 643–648.
20. Wise, Deborah L. Virtual Identity: How Virtual Worlds Affect Identity / Deborah L. Wise. // University of Colorado at Denver and Health Sciences Center [Electronic resource] – Mode of access : http://debwise.com/Matrix_2_files/wise_virtualidentity_presentation.pdf. – Date of access : 11.11.2014.
21. Zizek, S. No sex, please, we're post-human! / S. Zizek [Electronic resource] – 2012. – Mode of access : <http://www.lacan.com/nosex.htm#top>. – Date of access : 11.11.2014.

Гносеология И. Канта и неокантианство Г. Риккерта

В.В. ЦАЦАРИН

Исследуются гносеологические взгляды И. Канта и их развитие в неокантианской философии Г. Риккерта. Показано значение кантовских гносеологических построений, различение вещей самих по себе и явлений, формирование у человека понятий, выделение Кантом стадий осмысления мира (рассудок и разум). Проанализированы гносеологические взгляды Г. Риккерта, его разделение генерализирующего метода исследования естествознания и индивидуализирующего метода гуманитарных наук (на примере истории). Идеи Риккерта о влиянии ценностного отношения ученого на его исследование актуальны в настоящее время не только для гуманитарных, но и для естественных наук.

Ключевые слова: гносеология, априорные суждения, апостериорные суждения, рассудок, разум, генерализирующий метод, индивидуализирующий метод, ценность, оценка.

The epistemological views of Kant and the development of these views in neo-Kantian philosophy of H. Rickert are studied. The significance of the Kantian epistemological constructions, the distinction of things in themselves and phenomena, the formation of human concepts and Kant's selection of world understanding stages (intellect and mind) are demonstrated. Epistemological views of H. Rickert, the separation of his generalizing study method of natural sciences and individualizing method for humanities (history as an example) are analyzed. Rickert's ideas concerning the impact of the scientist's axiological attitude to his research are now important not only for humanities but also for natural sciences.

Keywords: epistemology, a priori judgments, a posteriori judgments, mind, reason, generalizing method, individualizing method, value, attitude.

Иммануил Кант – основоположник немецкой классической философии, один из мыслителей, наследие которых постоянно находится в центре внимания. Проводятся попытки осмыслить и переосмыслить кантовские идеи, касающиеся различных сторон бытия человека и общества, познания. Влияние философии Канта оказалось настолько большим, что возникли несколько школ, относящих себя к неокантианцам – последователям Канта. Одной из них является баденская (фрайбургская) – направление в философии, исходящее из «трансцендентально-психологического» истолкования учения Канта. Согласно неокантианцам-баденцам, познание есть психический процесс, исходящий из «экстенсивного и интенсивного многообразия» опыта и имеющий результатом трансцендентальное, то есть всеобщее и необходимое знание. Последнее возможно, если признать его предметом общеобязательные ценности, с которыми оно должно согласовываться для достижения своей цели (истины). Философия в этой связи оказывается наукой о ценностях.

Проблемы теории познания стоят в центре философской системы Канта и его многочисленных последователей. В предисловии к «Критике чистого разума» Кант пишет: «Я должен был ограничить область знания, чтобы дать место вере» [1, с. 95]. Исходя из этой главной для него задачи, философ разработал сложную гносеологическую конструкцию.

Процесс познания включает в себя три ступени: чувственное, рассудочное и разумное познание. Все наше знание начинается с опыта, с работы органов чувств. На них воздействуют находящиеся вне человека предметы внешнего мира, или, как их называет Кант, «вещи в себе». Ощущения, вызываемые действием вещей в себе на чувственность, по мнению Канта, не похожи на оригиналы. Они принадлежат только к субъективным свойствам чувственности, являются ее модификациями и не дают знания об объекте. Следовательно, хотя ощущения и вызываются воздействием вещей в себе на человеческую чувственность, они ничего общего не имеют с этими вещами. Ощущения – не образы, а символы вещей.

Знание, по Канту, имеет сложный состав и складывается из двух частей. Первую часть философ называет «материей» знания. Это поток ощущений, или знание эмпирическое, даваемое а posteriori, то есть путем опыта. Вторая часть – форма – дается до опыта, а priori и должна целиком готовой находиться в душе, в субъекте.

Понятие априоризма – важнейшее положение учения Канта, на нем он основывал возможности достижения необходимого и достоверного знания. Кант разделял общий предрассудок рационализма, который недооценивал роль опыта, чувственного познания в процессе достижения всеобщего и необходимого знания. По мнению Канта, опыт никогда не может придать суждениям истинной и строгой всеобщности, а лишь предполагаемую и сравнительную всеобщность. Вместе с тем он считал, что математическое знание носит безусловно необходимый характер. Выйти из этого затруднения он пытался при помощи априоризма: только априорные суждения носят всеобщий характер, достоверны и объективны. Для Канта понятия «априорный», «необходимый», «всеобщий», «объективный» тесно переплетаются и употребляются как равнозначные. В то же время он отказывался признавать априорное знание врожденным.

Первая ступень познания – область чувственности – характеризуется способностью человека упорядочивать хаос ощущений при помощи субъективных форм созерцания (пространства и времени). Таким путем, по мысли Канта, образуется предмет чувственности, или мир явлений. Следующая ступень – это область рассудка. Без чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один бы не был мыслим. Мысли без содержания пусты, а наглядные представления без понятий слепы. Знание, таким образом, возникает из двух условий: чувственности и рассудка. Суждения восприятия, полученные на основе чувственности, имеют лишь субъективное значение. Суждение восприятия должно приобрести «объективное», по выражению Канта, значение, то есть получить характер всеобщности и необходимости и стать, благодаря этому, «опытным» суждением. Это происходит путем подведения суждения восприятия под априорную категорию рассудка.

Кант утверждает, что основоположения «чистого рассудка», реализуя применение категорий к опыту, делают возможной саму природу и науку о ней – «чистое» естествознание. Высшее законодательство природы он находил в человеческом рассудке: «Хотя и странно, но, тем не менее, истинно, если я скажу: рассудок не почерпает свои законы (a priori) из природы, а предписывает их ей» [2, с. 107]. Последний и высший этап – это разумное познание. Оно представляет собой «высшую инстанцию» для обработки материала наглядных представлений и для подведения его под высшее единство мышления. Разъясняя эти положения, Кант указывает, что разум, в отличие от рассудка, порождает «трансцендентальные идеи», выходящие за пределы опыта. Таких идей три: 1) психологическая (учение о душе), 2) космологическая (учение о мире), 3) теологическая (учение о Боге). Эти идеи выражают стремление разума к постижению вещей в себе. Разум жадно стремится постичь эти вещи, пытается выйти за пределы опыта, но все тщетно: вещи «бегут от него» и остаются непознанными.

В результате разум создает лишь «паралогизмы», «антиномии» «идеалы без действительности», запутывается в неразрешимых противоречиях. Большое внимание Кант уделяет антиномиям, то есть противоречащим, несовместимым друг с другом положениям, каждое из которых, по мнению Канта, может быть доказано логически безупречно. Антиномии есть противоречия, которые свидетельствуют о бессилии разума, о его неспособности постичь «вещи в себе», выйти за границы опыта. «Есть нечто печальное и унижительное в том, что вообще существует антитетика чистого разума и что разум, составляющий высший трибунал для всех споров, принужден вступать в спор с самим собой» [1, с. 94].

Кантом в «Критике чистого разума» подняты кардинальные проблемы теории познания и логики, сделана попытка диалектического их решения. Кант первым в философии Нового времени показал сложность и противоречивость процесса познания.

Генрих Риккерт – один из основателей баденской школы неокантианства. Он проводит разделение существующих наук не по их предмету исследования, а по методу, который науки используют при исследовании действительности. Риккерт определяет два основных метода познания действительности, выделение которых основано на ценностном подходе к объектам действительности. В некоторых вещах и процессах нас интересует только то, «что они имеют общего» с другими вещами и процессами. Такие вещи и процессы изучаются при помощи генерализирующего метода, который свойственен естественным наукам. С его помощью наука может подвести многообразие действительности под единство понятий и законов. По Риккерту, это возможно потому, что многие явления действительности не имеют для человека

индивидуальной ценности. Но некоторые предметы действительности интересуют нас лишь постольку, поскольку имеют «что-либо особенное». Наш интерес всецело направлен на их индивидуальность. К таким «предметам» подходить при помощи генерализирующего метода нельзя, иначе та ценность, которая обуславливает наш интерес к ним, исчезает. Поэтому существует ряд наук, которые в своих исследованиях используют не генерализирующий, а индивидуализирующий метод. Прежде всего, к таким наукам Риккерт отнес историю [3, с. 143–144]. История рассматривает действительность так, «что при этом имеется в виду частное, так как лишь частное действительно происходит» [4, с. 223]. Философ резко выступает против положения о том, что все науки должны применять единый метод – генерализирующий метод естественных наук. Естествознание и историческая наука всегда должны находиться в принципиальной логической противоположности между собой, иначе эти науки не достигнут своих целей [4, с. 208]. Цель естественных наук – подведение многообразия действительности под единство понятий и выведение законов природы. Цель истории – описание объектов культуры в их индивидуальности и неповторимости. Отсюда вытекает неприятие Риккертом исторических законов. «Там, где действительность должна быть постигнута в ее индивидуальности и конкретности, бессмысленно подводить ее под общие законы или устанавливать законы исторического, которые, как мы знаем, суть не что иное как такие общие понятия, которым свойственна безусловная обязательность» [4, с. 227]. История и наука, формулирующая законы, для Риккерта – взаимоисключающие понятия.

Философ отмечает, что для истории действительность распадается на существенные и несущественные элементы. Риккерт подразделяет индивидуальное на простую разнородность и индивидуальность в узком смысле слова. Именно индивидуальность в узком смысле слова может быть охвачена понятиями исторической науки. В индивидуальности в узком смысле слова воплощаются культурные ценности. Таким образом, культура играет такую же роль при образовании понятий в истории, какую играет природа при образовании понятий в естественных науках: она дает принцип отбора существенного. Логика не обращала внимания на такой способ образования понятий только потому, что понятия истории редко выражаются в абстрактных формулах или определениях. В исторических понятиях больше наглядного материала. Этим Риккерт объясняет непонимание того логического процесса, который лежит в основе исторических трудов, непонимания, которое часто доходит до полного отрицания принципа отбора материала в истории. А вслед за этим шло навязывание истории «единственно возможно» метода науки – генерализирующего метода естественных наук [5, с. 79].

По Риккерту, каждая вещь в мире имеет как свою природу (может быть подведена под общие понятия и законы), так и свою историю (имеет свое индивидуальное становление и развитие). Но то, что мы желаем и можем писать историю только людей, показывает, что мы при этом руководствуемся некоторыми ценностями, без которых историческая наука существовать не может. А тот факт, что это историками, как правило, не осознается, объясняется тем, что выделение существенного основано исключительно на культурных ценностях и чаще происходит на этапе создания исторических источников или представляется историку до такой степени понятным и само собой разумеющимся, что он об этом совершенно не думает. Именно на таком понимании и основывается своеобразие индивидуализирующей науки о культуре.

Риккерт называет индивидуализирующий метод методом отнесения к ценности. Там, где нет такого соотнесения, там события неважны, незначительны, скучны и не входят в историческое изложение. Ценность Риккерт выводит за рамки бытия (но не мира, ибо рассматривает бытие, как часть мира). Он утверждает, что некоторые объекты обладают ценностью или, точнее, в них обнаруживаются ценности. Но такого рода ценности, обнаруживающиеся в действительности, с этой действительностью не совпадают. Например, полотно, краски, лаки и другое не определяют ценности картины. Ценность, таким образом, больше связана с субъектом, оценивающим объект. Но Риккерт не только не отождествляет ценность с оценкой, но резко противопоставляет их. «Проблема ценности есть проблема “значимости” ценности, и этот вопрос ни в коем случае не совпадает с вопросом существования акта оценки» [6, с. 22–23]. Там, где есть интерес, имеется связывание с ценностями. Такого рода интерес связывается Риккертом с психологическими предпосылками, а не с логической структурой наук. С точки зрения логического идеала, естествоиспытателя объекты интересуют лишь постольку, поскольку «он их

стремится понять генерализирующим способом; поэтому каждый из них становится для него безразличным экземпляром рода» [3, с. 155]. Исходя из этого, Риккерт рассматривает объекты как безразличные экземпляры рода, а, следовательно, не соотносит их с ценностями. Иначе обстоит дело с историей, которая использует индивидуализирующий метод. Ценностью, являющуюся предпосылкой истории, составляет не только «сама ее научная *цель*, ... но к логической сущности ее привходят еще и *другие* ценности, которые связаны с ее *объектом* и без которых невозможно вообще никакое индивидуализирующее понимание действительности» [3, с. 156]. Риккерт подвергает критике принцип работы историка, введенный известным немецким историком Леопольдом фон Ранке, согласно которому историк должен описывать все так, «как оно было на самом деле», оставаясь при этом беспристрастным. Историк всегда проявляет свои чувства и свое отношение к изучаемым событиям. Даже сам Ранке не мог этого избежать, благодаря чему и стал великим историком. По Риккерту, если бы историк смог отрешиться от собственного отношения, от собственного «Я», то для него не существовало бы больше истории, а только «бессмысленная масса просто разнородных фактов, одинаково значительных или одинаково лишенных всякого значения, из которых ни один не представлял бы исторического интереса». [5, с. 80].

Интересны рассуждения мыслителя о том, может ли историк высказывать ценностные суждения. Риккерт начинает с определения ценностей как того, что «не представляет собой действительности, ни физической, ни психической» [5, с. 82]. Среди существующих исторических трудов нельзя найти хотя бы один, где не было бы высказываний оценочного характера. В исторических трудах можно найти суждения, в которых к некоторым фактам прилагается сказуемое, выражающее похвалу или порицание. Это Риккерт относит к естественному положению дел для истории, которая отличается от естественных наук тем, что придает значение таким категориям? как порок и добродетель. Далее Риккерт пускается в туманные объяснения, что, будто бы, если историк называет какое-то событие преступлением, то он имеет в виду только то, что имеющиеся источники заставляют признать данное событие преступлением. Если же другой историк обозначит некий поступок иначе, то это не значит, что он тот же поступок иначе оценивает. Здесь мыслитель явно излишне усложняет ситуацию. Но все же он вынужден признать, что, возможно, не только отнесение к ценности, но и оценки «принадлежат к элементам исторической науки» [3, с. 161]. Однако дальше эту тему Риккерт не развивает, вновь отходя на позицию, что оценивать историю должен не историк, а философ истории.

Все это проясняется, если не забывать о неокантианстве Риккерта. Ведь уже Кант четко разделял вещь саму по себе и вещь в сознании человека.

Трудно согласиться с мнением Риккерта, что «объективная ценность совсем не интересует историка, поскольку он только историк, и именно поэтому... с различием основных ценностных ориентаций, со стороны которых историк рассматривает свой объект, может варьироваться также и «акцент», то есть значение объекта для различных отдельных историй» [5, с. 84]. На самом деле, историк не только отбирает события, то есть наделяет их чисто исторической значимостью, но и дает этим событиям «объективную» оценку. Так, начало мировых войн вряд ли можно только констатировать. Наряду с утверждением значимости этих исторических событий именно как событий, повлиявших на дальнейший ход истории мира, историк, естественно, будет давать и оценку этим событиям с точки зрения тех последствий, к которым они привели (человеческие жертвы, разрушенная экономика большинства европейских государств и т. д.).

Право давать оценку историческим событиям и истории в целом Риккерт оставляет за философией истории. Если историк не имеет права рассуждать о том, идет ли развитие истории по прогрессивному пути, или нет (прогресс для Риккерта – это категория «слишком оценочная»), то философ истории как раз имеет право оценивать, является ли определенное историческое развитие прогрессом или регрессом. В противоположность истории, философия истории покидает исторический метод чисто теоретического отнесения к ценности, заменяя его критической оценкой. По Риккерту, использование категории «прогресс» помешало бы непредвзятому пониманию исторических явлений во всем их своеобразии. Наоборот, философия истории не может обойтись без категории прогресса, необходимой ей для того, чтобы подняться над нигилизмом историзма. В связи с расчленением исторического универсума она должна оценить различные стадии единичного процесса развития в отношении того, что каждая из них сделала для

реализации критически обоснованных ценностей. Для этой цели она должна в осознанном противоречии с чисто историческим пониманием действительности судить прошедшее ради настоящего и будущего, «то есть мерить его ценность с точки зрения своего идеала» [7, с. 249].

Таким образом, творчество Риккерта можно рассматривать как некоторое развитие и углубление гносеологических идей Канта. В новых условиях неокантианцы решали и новые проблемы, в частности отстаивали независимый характер наук, которые сейчас принято называть гуманитарными. Риккерт проводит разделение наук не по предмету их исследования (традиционно выделяли науки о природе и науки о духе), а по методу исследования, справедливо отмечая, что, например, история и психология изучают преимущественно относимое к сфере духа, но делают это по-разному, так как используют разные методы. По мнению Риккерта? «научность» таких наук может быть обоснована без подгонки их под естественно-научный идеал науки. Не отрицая важности и роли естественнонаучных методов постижения действительности, Риккерт показывает все же их ограниченность. Применение таких методов правомочно в изучении природы, но их весьма сложно использовать для исследования общества и культуры в целом.

Генерализирующему методу естественных наук, при котором основным моментом является подведение многообразного эмпирического материала под единство общих понятий, Риккерт противопоставил метод индивидуализирующий, который предполагает рассмотрение объектов науки в их индивидуальности, неповторимости, уникальности. Для истории очень важно исследование не только и не столько каких-то закономерных повторяющихся процессов, сколько уникальных и неповторимых явлений во всем их многообразии.

Риккерт обратился к проблеме ценностей для обоснования автономии исторической науки в методологическом отношении от естественных наук. Он справедливо утверждал, что при изучении общества, чем и занимается история, необходимо учитывать намного больше факторов, чем при изучении природы. Так, очень важно здесь учитывать ценность того, что изучается. Правда, нужно отметить, что Риккерт не смог преодолеть некоторые стереотипные представления своего времени о науках. Так, он не считал возможным для наук в целом, и истории в частности, давать оценки того материала, который изучается. Поэтому историк должен оставаться беспристрастным по отношению к тому, что он описывает. При этом отвергается и принцип Ранке, согласно которому историк должен описывать все так, как «оно было на самом деле». Риккерт признает, что историк не может описывать изучаемый материал иначе, как через выражение своего отношения к нему. Но он тут же утверждает, что данный процесс не является процессом оценки. Он проводит сложное разделение между отнесением к ценностям и оценкой. Историк на этапе установления фактов соотносит эти факты с ценностями. На основании таких соотнесенных фактов он строит свое повествование. Производить оценку исторических событий и истории в целом может, по Риккерту, только философ истории.

Литература

1. Кант, И. Собрание сочинений / И. Кант. – М. : Мысль, 1964. – Т. 3. – 799 с.
2. Кант, И. Прелегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки / И. Кант. – М. : Прогресс-ВИА, 1993. – 237 с.
3. Риккерт, Г. Философия истории / Г. Риккерт // Науки о природе и науки о культуре. – М. : Изд-во «Республика», 1998. – С. 129–204.
4. Риккерт, Г. Границы естественнонаучного образования понятий / Г. Риккерт. – СПб. : «Наука», 1997. – 536 с.
5. Риккерт, Г. Науки о природе и науки о культуре / Г. Риккерт // Культурология. XX век. Антология ; под ред. С.И. Гессена. – М. : Юристъ, 1995. – С. 69–103.
6. Риккерт, Г. О понятии философии / Г. Риккерт // Науки о природе и науки о культуре – М. : Изд-во «Республика», 1998. – С. 13–42.
7. Риккерт, Г. Философия жизни / Г. Риккерт. – Киев : Ника-Центр, 1998. – 512 с.

РЕЦЕНЗИЯ

УДК 008-043.5

Кніга пра дыялог культур

У.І. КОВАЛЬ

Рэц. на: Казакова, І.В. Беларуская і кітайская традыцыйныя народныя культуры: параўнальны аспект. – Мінск : Паркус плюс, 2014. – 150 с.

Адметнай асаблівасцю нашага часу з'яўляецца павышэнне цікавасці да традыцыйнай культуры ў самых розных яе праяўленнях. Важна пры гэтым адзначыць, што веданне славянскай (у тым ліку – беларускай) культуры дазваляе вывучаць яе і ў параўнанні з іншымі ўнікальнымі і непаўторнымі старажытнымі культурамі, у прыватнасці – з кітайскай. Гэтай праблеме і прысвечана манаграфія І.В. Казаковай «Беларуская і кітайская традыцыйныя народныя культуры: параўнальны аспект».

Ва ўступнай частцы – «Унікальнасць кітайскай культуры» – выкладаюцца асноўныя звесткі аб геаграфіі, кліматычных умовах, насельніцтве, эканоміцы і гісторыі Кітая, аб вытоках канфуцыянства, даасізма і будызма, аб святкаванні ў сучасным Кітаі розных традыцыйных свят. Асобны раздзел прысвечаны гісторыі вывучэння кітайскіх каляндарных абрадаў і свят у замежным і айчынным усходазнаўстве.

Найбольшую ж цікавасць выклікаюць прадстаўлення ў манаграфіі шматлікія беларуска-кітайскія этнакультурныя паралелі. Напрыклад, у раздзеле «Традыцыйныя абрады і звычай ў беларусаў і кітайцаў: параўнальны аспект» гаворка ідзе аб зімовых і летніх абрадах абодвух народаў, якія так ці інакш арыентаваны на дзве галоўныя часавыя каардынаты – летні і зімовы сонцазвароты. У вясельнай абраднасці беларусаў і кітайцаў аўтар таксама вызначае шмат агульнага: варажба напярэдадні вяселля, магічнае чараванне жаніха і нявесты, сватанне, рытуальнае пітво на заключным этапе сватання, дамінуючае выкарыстанне чырвонага колеру ў адзенні кітайскіх і беларускіх нявест, абавязковы перадвясельны рытуальны плач нявесты і яе перадвясельнае рытуальнае амаванне; захаванне нявестай цнатлівасці да шлюбу. Увогуле трэба адзначыць, што «жаночае бачанне свету» ў абедзвюх культурных традыцыях прадстаўлена ў кнізе І.В. Казаковай даволі грунтоўна.

І ў беларускай, і ў кітайскай традыцыйных культурах, як сведчыць аўтар манаграфіі, захавалася шмат прыкмет і павер'яў, што адлюстроўваюць блізкасць светапогляду беларусаў і кітайцаў. Напрыклад, да ліку добрых прыкмет як беларусы, так і кітайцы адносяць наступныя: убачыць адначасова і дождж, і сонца, а пасля дажджу ўбачыць вясёлку; з'яўленне ў доме сабакі; наяўнасць у доме кошкі; птушыны памёт, які ўпаў на чалавека; божая кароўка як вясёлка гасцей у хаце. Рыба ва ўяўленнях і кітайцаў, і беларусаў сімвалізуе пладавітасць: у Кітаі маладым на вяселле дораць нефрытавую рыбу, жадаючы ім мець многа дзяцей; згодна з беларускімі павер'ямі, калі жанчына бачыць у сне жывую рыбу, то гэта прадказвае ёй цяжарнасць.

Рэцэнзуемая кніга, аўтарам якой з'яўляецца вядомая беларуская даследчыца фальклору і міфалогіі І.В. Казакова, будзе вельмі цікавай і карыснай не толькі спецыялістам у адпаведнай галіне ведаў і студэнтам-філологам, але і ўсім, хто цікавіцца традыцыйнай культурай нашага народу ў яе сувязях з іншымі культурнымі традыцыямі.

Технический редактор: *И.В. Близнец*. Корректоры: *Д.Д. Павловец, Г.Н. Петухова*

Подписано в печать 05.02.2015. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная.
Ризография. Усл. печ. л. 23,9. Уч.-изд. л. 20,9. Тираж 116 экз. Заказ № 98
Цена свободная

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/87 от 18.11.2013.

Специальное разрешение (лицензия) № 02330 / 450 от 18.12.2013.
Ул. Советская, 104, 246019, Гомель.